

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Тоска и в столице была, это правда, но не такая, не цепенящая, там она, по крайней мере, прерывалась неожиданно прекрасным разговором, редкостной книгой, другом из детства. Но я был в городе точно несчастлив, не хватало мне естества, целомудрия, того мечтательного покоя, который ленивыми волнами окатывает многие страницы старых русских романов. Я уехал найти это в деревне, а оказался среди развалин, где без цели и без надежды бродят слившиеся мужики, замотанные бабы, дьяволята, зачатые в водке, мате и безверии. Где ты, Россия. Жива ли ты. А если это и есть Россия, то мне не надо



такой России. Я здесь соплюсь. Или меня убьют. По пьянке. Как непонятное насекомое. Я бы уехал из деревни спустя две недели после приезда, но заболела почтальонша, письмо доставила ее дочь, мгновенно стала мечтой, надеждой, гением русской красоты, и удержала меня на три месяца.

Он перевернулся, закусил подушку. О, моя маленькая почтальонша. Зачем ты меня удержала. Чтобы доставить письмо о том, что не остались на этой земле ни чистота, ни святость, ни надежда?..

Надо встать. Выпить воды. Во рту пересохло и горчит. Да, завтра праздник, — вспомнил учитель. — Годовщина Великой Революции. Во всех домах пьют. Выплю и я.

Александр Мигунов

То, что о Териокском правительстве забыли в СССР, объяснить просто: там не привыкли помнить поражений; а правительство Куусинена, как и вся война, было явным поражением. Куда сложнее понять, почему о Териокском правительстве крайне неохотно вспоминают в самой Финляндии... Правительство Куусинена

не слишком хорошо вписывается в рамки официальной... политики, в основу которой положена концепция о... стратегической и оборонительной природе советских интересов в Финляндии.

Осмо Юссила



...Москва видит Болгарию совсем другими глазами, чем мы с вами. Для Москвы, Болгария — не столько балканская страна, сколько путь на Ближний Восток. Для СССР дорога на Сирию, Ливан, Ирак, Египет проходит через Болгарию, ибо Союз не может воспользоваться турецкой территорией. Когда Советский Союз развил свою деятельность на Ближнем Востоке, стратегическая роль Болгарии выросла. Все советские корабли... идущие на Ближний Восток, проходят через Болгарию.

Ценко Барев



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Петр Григоренко · Милован Джилас
Пьер Дэкс · Ирина Иловайская-Альберти
Эжен Ионеско · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный · Амос Оз · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Авраам Бен-Яков
Avraham Ben-Yakov
6, Hagana str.
Jerusalem 97852, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Veruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
Edward D. Lozansky
508 23rd Street N. W.
Washington, DC 20037, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

48

Издательство «Континент»
1986

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Л о г в и н о в – Зарево рая. Стихи	7
В. Д е н и с о в – Краденый бог. Повесть	14
Татьяна К о т о в и ч – Наши смутные серые зимы. Стихи	34
Александр М и г у н о в – Отель миллион обезьян. Рассказ	39
Леопольд Э п ш т е й н – «Я никогда ничего не хотел от судьбы...» Стихи	64
Владимир М а т л и н – Телеграмма для сеньора Штольца Рассказ	73
Александр В е р н и к – Стихи из сборника «Биография»	85
Филипп Б е р м а н – Косынка в белый горошек. Рассказ	91
Бахыт К е н ж е е в – Новые стихотворения	101
Юрий Л а п и д у с – На очереди. Повесть. Окончание	112
Леонид И о ф ф е – Стихи	159
Вадим Н е ч а е в – Фантом. Отрывок из романа «Побег на родину»	165
Матия Б е ч к о в и ч – «Вековая мечта человечества». Стихи. Пер. с сербскохорватского Н. Горбаневской	180
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Наум К о р ж а в и н – Над страницами из жизни Петра Григоренко	187
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Вацлав Б е л о г р а д с к и й – Живая плоть против мундира	219
ЗАПАД – ВОСТОК	
Осмо Ю с с и л а – Правительство в Териоках 1939 – 1940. Главы из книги. Пер. с финского под ред. Ю. Г. Фельштинского	241
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Валерий С о й ф е р – Лысенкоисты и их судьбы. Главы из книги. Окончание	263

ИСТОКИ	
Александр Х а х у л и н – Рудольф Гаек. – Новичок	299
ИСКУССТВО	
Ирина Я н у ш е в с к а я – Записки о петербургском Шемякине	309
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Юрий К о л к е р – Порядок вещей. О стихах Владимира Лифшица	323
ВМЕСТО КОЛОНКИ РЕДАКТОРА	353
НАША ПОЧТА	355
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Майя М у р а в н и к – Какая может быть честь у дворни?..	363
Юрий Т у в и м – Хрестоматия ошибок	369
Иосиф К о с и н с к и й – Трава пробивает асфальт	372
И. Г л и е р – Послужишь – поймешь	384
Игнатий Ш е н ф е л ь д – Польское дополнение к «Архипелагу ГУЛаг»	388
Галина К е л л е р м а н – «Скажи изюм» – роман о России и эмиграции	394
Дмитрий Б о б ы ш е в – Memento mori	397
КОРОТКО О КНИГАХ	403
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	411
НАША АНКЕТА	
Беседа с главным редактором журнала «Будущее» Ценко Б а р е в ы м . Ведет <i>Ольга Минц</i>	415
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	
ПЕРЕД СДАЧЕЙ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ	

ЗАРЕВО РАЯ

* *
*

Рай
на весь край. И на долгое лето
Благословение. И ветер
в кожу и в волосы и за трамвай.
Дым. Всё растаяло. Пахнут дети
сном и рекою. И через край –
Рай.

1972

ПОКРОВ

Выпадал белый снег на Русскую землю.
Как на праздник Покрова Богородицы
Собирались люди в святых церквах,
Зажигали свечи пред светел лик.
По тому по снегу по чистому
Приходила сама Богородица,
Приходила во Русскую землю.
А душа-то у самой Пречистой болит:
Слышит Богородица шум битвы неслыханной,
Где не кони ржут, не пушки бьют,
А проходит битва чрез сердце каждое,
Даже если кому о том неведомо.

Стихи присланы из России. Об авторе нам ничего неизвестно.

Одна-то душа светлым-светла,
А другая смутой наполнена,
И не русская уж, а врагами в плен взята.

А беды грозят еще неслыханней.

Светло березовая страна сном спит,
Но родят жены-землехранительницы богатырей.
Уже крепнет сильный воинов дух.

Простирает над нами Богородица свой плат.

В Богохранимой родной земле
Будут птицы петь, будут кони играть,
Будут лики для будущих икон.

Падает на Русскую землю белый снег.

2 янв. 80

ВЯТКА

И Трифон здесь и Прокопий здесь,
И кремль и соборы, и всё как есть.

Вятка так и пребудет Вяткой!
Когда сердце твое вынимали
В современной из операций,
О небесной реанимации
Забывали.

Не тебе быть конфеткой сладкой,
Но цветет в тебе сказка
И поет в тебе пасха.

Трифон и Прокопий – святые-покровители Вятки, основные исторические ценности которой были уничтожены в 30-60 годы XX в.

Сказка в глазах и игрушках,
Пасха в кружевах и гармошках...

И Трифон здесь и Прокопий здесь,
И кремль и соборы, и всё как есть.

КОСМИЧЕСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

(Цикл из шести стихотворений)

1. ИКОНОГРАФИЯ

*...Крест не за себя одну
Несёшь ты, и кто измерит
Его величину?..*

Горящая книга летала
не сгорая.
Деревья ракетами стояли в огне
не тлея.
Не знаю, как это напоминало
зареву Рая,
Но здесь на Земле – над землей
шла эта аллея.

И ты – Царицей в сиянье
острей алмазов.
Ни золота на тебе,
ни изумрудов.
Всё это под ногами огромной грудой,
Змею зажав
с блестящим каменным глазом.

Сквозь аромат,
напоминавший ладан,
Шел мощный гул творения мирозданья.

Подобность музыки
и на Земле мы знаем,
Но этой – Главная Воля
являлась ладом.

И с птицы лица моего
пот бил градом.
Дымились аорты,
не выдержав напряженья,
Когда на Земле
человеком со мною рядом
Творились силы
космического притяженья.

2. * *

*

Когда ветер меня потрясет,
Посметет и листья и афиши,
Я огромное дерево вижу,
Что от края до края растет,

Что от Рая до Рая растет,
Словно лестница в небо крутая,
От адамова древнего Рая –
Через Я – до того, что взойдет.

Мы с тобою царями в венцах.
Брат с сестрой. Муж с женой. Кость от кости.
Держим черный бриллиант на руках.
К нам вселенные съехались в гости.

Но к одной нас Земле приковал
Позвочника змей из таланта.
Раздробил, матерьялизовал,
И Вселенной лишил бриллианта.

22 марта 84

3.

* *
*

Великим постом, когда Солнце всё раньше
вставало
Промерзлую Землю прогреть до самых корней
корней,
Мне целой подробной Вселенной уже
не хватало,
Когда по ночам мне не снились сказанья
о ней.

Само Сердце Мира в груди у меня
трепетало.
И целая жизнь открывалась любому
из дней.
Но кажется, даже и этого
стало мне мало,
Когда наяву не сбывались свидания
с Ней.

4.

* *
*

Понимаешь, любой человек – как планета,
Что из мрака вытягивается на простор.
И лечу я к тебе траекторией света,
Чтобы, вспыхнув, с тобою вступить
в разговор.

Твое сердце во мне бьется в ритме
Вселенной.
Руки тянем друг к другу – орбиты планет.
Но немыслимость встречи в земном
измереньи
Заставляет любовь трансмутировать
в свет.

И тянусь я к тебе всем своим зодиаком.
Мои ноги вольны, мои крылья легки.
Так, звездою Рахиль повстречавши, Иаков
Переписывал жизнь до последней строки.

7 марта 84

5. * *
 *
 *

...когда после ядерной бомбардировки
негативный скелет твой
сопоставят с моим,
их химический состав
окажется почти одним,

ведь с тобой мы от века – семья,
кость от кости моя,
плоть от плоти моя!

вот тогда и войдем мы в рай.
я – адам, ты – ева-мария.
а ты знаешь, там травы какие!
(негативен земле этот край).

4 марта 84

6. ПОЛЕТ

Очень сильно мешает астральная пыль.
Есть планеты-вампиры, планеты-монстры,
что ищут тебя раздавить,
 возвратить,
 разорвать на куски.

Твои руки да будут крепки!

**Знай, где светят друзья твои,
Космоса маяки.**

**Только выдержи, сердце!
Пылай,
но как метеор не сгорай,
падая к сердцу любимой звезды.
Удержись! Ты пробьешь и ее бытие
и погубишь свое.**

**А тебе еще надо так много суметь
пролететь
через звездную пыль,
через боль, через боль,
в бесконечном пространстве
непостоянстве
успеть.**

23 февр. 84

* *
*

КАК ВО ПСКОВЕ есть Великая река –
Что стекло стоит темна и глубока.
Так во Пскове церковь Троицы легка,
Что на тыщу верст видна издалека.

**Много много чудотворных там икон.
Простывает на ветру малинов звон.
Образа как в многоценных жемчугах
Русских души в серых северных очах.**

**Там во Пскове есть один заветный дом.
Солнце всходит в нем, Луна заходит в нем.
Там сокровище как нет в краю ином!
Сохрани Господь живущих в доме том!**

8 марта 84

КРАДЕННЫЙ БОГ

...Мне отмщение, Аз воздам...

Рим. 12, 19.

Действительно, был раньше такой способ печатать книжки, и я сейчас объясню, что это еще порой встречается за тонкая тетрадка в бумажной обложке, где узор из остролиста или чертополоха обвивает невесомую глазастую барышню в искусной легкой прическе-модерн; а внутри прямо на полуслове — совсем как мое вступление в теперешний разговор — начинается незнакомая быстрая повесть, через сотню-полторы страниц столь же внезапно обрывающаяся без конца. Дело в том, что в те относительно бесхитростные времена тиснили разного рода сочинения не целиком, а постепенно, по несколько печатных листов, которые по дешевке продавались в рассрочку; так, например, вышли почти все знаменитые приложения к журналу «Нива» в издании Маркса — другого Маркса, непосредственно занимавшегося торговлей, — достающиеся еще кое-кому иногда в наследство от двоюродных бабушек и других родственников из отдаленных колен семейного дерева. Мне в таком виде однажды попалась замечательная середина собрания стихов Алексея Толстого — но не того «красного графа», что на самом-то деле никакой и не граф, а именно настоящего и, так сказать, вполне в этом смысле белого, несмотря даже на то, что жил он и похоронен в своем имении под названием Красный рог.

Правда, собственная моя родня, доложу вам, далеко не книжная и вовсе уже не княжья, и поэтому сей огрызок чужого приданого я попросту украл в одном север-

Рукопись получена из России. © R. Guetta.

ном русском городке, потихоньку вновь обращаемся в деревню, из пустой местной библиотеки — да, как сейчас сами увидите, грех, кажется, было бы не украсть.

Прошлым летом я проторчал там здоровенный беспутный день в ожидании пересадки на катер. Посетил в порядке их расположения по пути от пристани к погосту клуб позади клумбы с бронзовеющей статуей пионера, напоминавшей подгоревшего при свержении с небес падшего ангела со сломанной дудкой вместо трубы; столовую леспромхоза; магазин «Товары ежедневного спроса», где сразу купил оба, четвертинку водки и банку купавшегося в собственном томате снетка, — а затем заглянул и в избу-читальню. Поначалу казалось, что ничего против ожидания привлекательнее содержимого предыдущего заведения найти тут не удастся, и только уже при выходе я будто нарочно споткнулся о стопку книг, которая, рассыпавшись от удара, предъявила двести явно еще дореволюционные. Как оказалось, все они, будучи за ненадобностью или ветхостью списаны, отправлялись в расход — на растопку; и, хотя я всячески увещевал, ластился и высокопарно балагурил чуть ли не полчаса, благо времени было не жалко — библиотечная сиделица не только не позволила забрать чего-нибудь даром, но и продать также спокойно отказалась, руководствуясь циклопической одноглазой заповедью «не положено». Ну, вот тогда-то я с легким сердцем и позволил себе ловко подтибрить томик, ничуть уже не сомневаясь в своем на то праве — напрасно ведь погибало добро, что очевидно, как говорится, и колючему ежу. Напротив, погибавшую ценность требовалось некоторым образом спасти...

Листая свежее приобретение, добрел я до конечного пункта движения в этом местечке — кладбища, наглядно и вместе образно обозначавшего край обжитой земли; и нужно же было случиться такому соблазнительному совпадению — не последнему, сразу оговорюсь, из всей их бесконечно тянущейся, будто из шляпы

фокусника, связки — что поэма, которую тогда пробежал глазами наискосок, бросила отблеск на одну из первых же могил: надгробие ее буквально отозвалось последним двестишием только что прочитанного куплета, полностью звучащего так:

Какая сладость в жизни сей
Земной печали не причастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели, —
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!

Замечательно бодро сказано, прямо крышкой гроба да по лбу. Но там на севере всё же эти так нам здесь неприятные заведения, прошу прощенья, телесных свалок, несколько иначе устроены и в другом, что ли, ключе воспринимаются. Вот, к примеру, тот же самый крест, на котором красовалось помянутое выше стихотворное не то прошение, не то требование, на поперечной перекладине был прорезан глубокой строкой:

**«КРЕСТЬЯНИН ФЕДОР ЗЛИЩЕВ ОКОНЧИЛ
ЖИЗНЬ В ЛЕТО ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА 7403»**

И, если пристальней прислушаться к ее испорченному ямбу, то выступит уже не двойное, а перекрещива-

ющеся — четверичное, по числу концов памятника, совпадение: под крестом лежит крестьянин — оба слова, по-видимому, не случайно общего происхождения. К тому же, на тех могилах нет принятого теперь обозначения года рождения, из-за чего всякий пришедший сюда живым не мучается неволью в уме дурацким вычитанием первой цифры из второй, как будто величина остатка может когда-то получиться бесконечной.

Кстати, вы вообще обращали внимание, насколько современная, так внешне уверенная в себе секулярная, то есть по-русски обмирщенная культура панически боится упоминаний о смерти, до того суеверно, что обычные в старину сцены с кладбищами почти устранены не только из литературы, но и по мере возможности — вон из наших городов? У меня рядом с домом еще стоят остатки бывшего села Дьяково, входящего в музей «Коломенское»; так вот, когда к Олимпиаде стали благоустраивать берег Москвы-реки, забрали в трубу впадающий в нее ручей и выстроили тут пристань, то решено было также, что пришлым туристам ютившиеся на дьяковском пригорке старые могилы будут *портить настроение* — и все их раннею весной почем зря скovyрнули трактором. Я уж не говорю о том, что предкам устройство такого блага в голову бы не взошло, — не уважили даже чуть ли не трехтысячелетнего возраста кладбища, так торопились поскорее убрать его с глаз долой. Правда, кое-что обществу охраны памятников удалось отвоевать — в итоге две дюжины известковых резных саркофагов стащили с належанных мест и выложили рядком у дорожки: устроили, так сказать, «Могилу неизвестного отца».

Конечно, чересчур сосредоточиваться на всем этом тоже опасно, может так занести далеко, что и хода обратно не найдешь, сам ляжешь костями. Вот тут недавно кто-то рассказывал про один такой систематизированный кошмар: будто бы на горе Афон в Греции монахи через три года нарочно отрывают скелеты умер-

ших и складывают в особую библиотеку — череп с надписанным именем к черепку, берцо к берцу, тазы и ребра каждое на свое место в отдельные шкафчики; и при том по цвету их определяют, какой был жизни покойник: если праведной, то косточки его должны сделаться чисты и медвяно-желты, а коли тело еще не успело истлеть, то значит, не приходится оно по нраву матери-земле за грехи. — Чересчур это дышит дотошностью в выяснении тайн, хотя, согласитесь, не вовсе лишено смысла, и даже любопытно было бы кое-где покопать и в миру, а?..

Ну да ладно, оставим до поры; главное, я тогда порадовался — пусть и не слишком подходящие окрестности для подобного чувства — той простоте, с которой справляли в этой части России последнюю земную заботу и выводили заключение:

**«ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ТЕЛО ИВАНА СПАСЁНОВА
ЖИТИЯ ЕГО БЫЛО 88 ЛЕТ».**

Слышите, какое в одном предложении дышит достоинство? И существует, между прочим, такой крест-голубец, покрытый от дождей двумя пологими дощечками поверху, ровно столько, сколько обычно помнят на свете людей в лицо — три-четыре поколения, примерно до правнуков.

Потом, дочитывая графскую поэму уже с большей осторожностью, я добрел до конца густого, славно удобренного леска на пригорке, или, как называют их там, «горушке», уткнулся в подпиравшую ее с другого бока стенку из валунов и тут, оторвавшись от книги, привстал на цыпочках и застыл. Впереди плавно раскрывалось могучее поле пространства, видимого оттуда по самый предел способности человеческого глаза; все оно было нетесно, но плотно наполнено лесами и перелесками самых разных родов деревьев, связано жгутом узкой речки с венами ручьев, начисто прочищено гудящим на

«ля» ветром и повенчано вогнутым небом с облаками в сорок оттенков серого цвета. То есть это была словно живая карта совершенно родной по взаимному общему чувству страны; для сравнения, ежели вам когда-нибудь придется встретить такую рукопись — Даниил Андреев, сын писателя Леонида, «Роза мира», то обратите внимание на происшествие, с которого начались у него откровения о природе — как однажды близ приднепровского городка Триполье он бросился с прихольма в поле обниматься с подсолнухами, потому что почувствовал, что они его *любят*...

А на самом уже краю зрения, далеко-далеко показывалось одно-единственное село; не понять только было точно — село оно в самом деле или, так сказать, осело, высело да и стало невесело. Сами знаете, чем по определению отличается оно от деревни — тем, что имеет свой собственный храм; ну а там хотя церковь и явно была видна, но, по всей вероятности, затворенная, и что тогда тому поселению имя, угадать не умею — не поселок же городского типа при двух-трех жилых-то домах? Однако зря врать остерегусь, мне совестно вскоре сделалось за кладбищенское настроение о родине — разве можно так с первого взгляда мрачно судить. Кто знает, вдруг и село многолюдное, да и постройка древняя еще не при смерти: пусть купол покосился, просел к востоку, но шатерок колокольни как будто бы ровно вверх тянется, держится бодро и даже поблескивает. Или это всего лишь солнце садилось и играло последними лучами в крестики-нолики по верхушкам — а все же очень хотелось, чтобы там взаправду оставалась жизнь: я и в детстве всегда почему-то болел против ноликов.

Улегшись прямо под стенкою, немного прикорнул, раз уж до прихода катера оставалась еще прорва пустого времени, занять которое более было нечем; но спалось мне на пропитанной покойниками земле довольно-таки беспокойно, постоянно внутри век поперек сновидений

носились какие-то огненные тени. Проснулся, а все лицо горит, и руки сами машинально принялись сначала поглаживать его, потом чухаться, почесываться и в конце яростно скрести ногтями по щекам. Оказалось, что лежу подле самого подземного муравейника, и за час-другой рыжие пройдохи, обшаривая прищельца, все открытые части тела успели порядочно изъязвить.

Скоростное судно речного пароходства, как не по чину пышно именовалась небольшая посудина на воздушной подметке, явилось уже когда начинало темнеть. Чапало оно к тому же еле-еле, потому что река служила сплавною дорогой для леса; сосновый-еловый топляк до и дело бухал в дно, чуть не тараня его насквозь, так что от непрестанной мелкой дрожи палубы под ногами ныли коленки.

Я пристроился наверху, на открытой корме, около двух теток, натянувших поперек себя плед и что-то тонко мяучивших из очков в очки. То есть, возможно они в чем-либо ином ходили, я не помню досконально подробностей, — только носили такие босые морды поверх лица, что выставлять их наружу неодетыми было бы попросту неприлично.

С тоски и безделья мы постепенно разговорились и, слово за слово, выяснилось, что они тоже путешествуют по Северу где пешком, а где водой или иным попутным транспортом. Тут-то я их и спросил про то, что вы сейчас, небось, собрались у меня нетерпеливо пытаться: можно ли где достать иконы. Надеюсь, что, как и мне, вам они нужны не для продажи или какой другой материальной выгоды; просто как-то сложилось теперь так, что из деревни — а из архангельской да вологодской в особенности — всякий приезжий старается притащить эту старину, называя ее порою по-свойски досками или даже, учась помаленьку хамить, дровами. Сделалось как бы стыдно возвращаться оттуда без них порожним, словно с юга без загара и фруктов; такой это стал ценный наш русский народный диковинный плод — прад-

довский образ в резном киоте. Достать же его с каждым годом все труднее: число охотников растет, а местные жители и законы сильно посуровели. Мне тогда это было и совсем впервой — не удавалось начать ну никак, хоть прямо тресни с натуги; а изнутри уж принимался сосать червь недовольства собственной неловкостью и нерасторопностью, отпугивавшими охотничье счастье. Но спаренные попутчицы в ответ поглядели мне подозрительно в лицо и сказали, что ищут другую, гораздо более древнюю живопись — петроглифы, то есть рисунки первобытных людей на камнях вдоль рек или в пещерах.

Увидав, впрочем, что вопрос мой был искренним и навряд ли опасно хищным, они попытались утешить принесенное разочарование диковинной повестью про то, как недавно неожиданно наткнулись на как будто бы выклубившуюся из недр средневековья деревню-колонию тяжело увечных инвалидов, которых свезли туда для взаимного житья подальше от пугливых обитателей городов, чтобы они своим видом не тревожили — как в известной сказке про царевича Будду — каламбурно выражаясь, не пробуждали лишних аллергий в их расхристанных душах. Эту историю я позже дома передавал уже как свою — не от какой-либо особенной любви ко вранью, а сама собой она как-то в первом лице с языка слетела, да потом при повторениях ради простоты изложения вместе с авторством и приросла.

Вообще же очковые туристки настолько невыносимо умильно вели беседу, величая себя примерно так: «Что вы на это, Ириночка Петровна, скажете?» — «Да ничего против вашего, Еленочка Сергеевна, добавить не нахожу», — что трудно было долго сдерживаться как-нибудь не нагрубить, и я поэтому ушел от греха да и от усиливавшегося ветра подальше внутрь, в душный нижний «салон».

Там среди сгущавшегося сумрака медленно переваливалась куча остро разящего прелым носком дорож-

ного люда, посреди которого, словно языческая богиня вокзалов, сидела обязательная при всякой почти транспортной сцене беременная молодуха с мечтательным рыболицым мужем, кормившиеся толстой домашней снедью так же отталкивающе-притягательно, как пахнет забродившая летом помойка. Мне, глядя на них, самому тоже до страсти захотелось поесть и выпить; вынудив предусмотрительно приобретенные «ежедневные товары», я их давясь потребил и чуть ли не тотчас же меня сморила вторая серия недосмотренного на кладбище тягостного сна. Продолжение его развивалось в том навязчивом, неоднократно повторяющемся в сновидениях срамном ключе, когда, например, чувствуешь себя стоящим голяком посреди гогочущей толпы и никак не удается куда-нибудь ускользнуть от нее прочь или хотя бы прикрыться рукой. В этот раз мне ярко представилось, что я кого-то убил и с часу на час жду исполнения неминуемого высшего наказания; причем жалкий страх перед ним усугублялся еще обидой на самого себя: я отлично помнил, что меня не раз предостерегали от такого дикого поступка, и в то же время никак не мог сообразить — как все-таки умудрился его совершить. Получалось, что происходившее до и после него я ясно воспринимал, а вот именно момент убийства прошел мимо сознания — будто оно приключилось мгновенно в ходе отчаянной пьянки, когда на следующий день никто не помнит второй половины вещей. Друзья и знакомые, окружившие меня перед казнью, у которых пытался что-то выяснить, в ответ только становились в гордую позу «а мы говорили!..» — и мне одному предстояло сполна расплачиваться незнамо за что; все это напоминало ситуацию с первородным грехом, кару за который должны нести сгорбившиеся поколения ни в чем вроде бы не повинных потомков, совершенно чистых детей.

С болеющей остатками такого морока душой я проснулся на следующий день в городке чуть покрупнее

предыдущего, но ничуть не более отрадном с виду; оборотивши пословицу с конца на начало, можно сказать — забытом всеми, кроме Бога. Имя его тоже происходило из числа тех нешуточных совпадений, наваждений и уловок, какими природа любит подпихивать человека к пропасти: и «тать» в нем слышался, и вместе «тьма» — тать-и-тьма, — что легко превращалось в уме в сочетания типа «мракобес», «волкодлак» и тому подобные. Вы уже, наверное, заметили, что слова у меня сами вскипают на языке, играя, перетасовываясь и поминутно меняя смысл на противоположный; это как раз идет с тех времен, о которых речь. В тот день, правда, я их еще только начинал перекачивать вверх-вниз по небу, как морская волна мелкие камешки: тать-вор-кат-каторга-воробей-вора бей!, — а уж к ним откуда-то издалека художник Татлин спешил навстречу; в общем, чёрт-те что.

Набережная злоименитого поселения была вся уставлена брошенными церквями с заколоченными накрест окнами, напоминавшими путевые знаки какой-то огромной прошедшей тут любви — или орды? Меня и самого пугает их какое-то усиленное мелькание среди картин всей этой истории, но, как ни крути, приходится признать за голую правду, что в путешествиях или еще, чем я недавно занимался, при разборе привезенных из них путеводителей и рекламных проспектов, на поверхность неожиданно властно выступает непременно что-нибудь вроде собора или часовни; получается так, что суетились люди, старались, строили и стирали в прах, страдали и старились, а после всего того снаружи остаются кресты да забытые храмы. Теперь городок с его деревянными домиками откатился от зачавшей его реки, и, словно покинутые командой корабли-крестососцы, они рядком вытянулись вдоль нее, сиротливо отражаясь в медленном течении потока. Из подвалов их через пустынную дорогу к воде и обратно прыскали только голодные египетские звери кошки.

Ко внутренним неудобствам — чесотке в лице, поташниванию от бултыхавшегося в желудке снетка, испорченному приснившейся пакостью настроению — постепенно начинали приходить в гости и внешние неприятности. Первым был мелкий холодный дождик, не дававший додремать часа, ранним прибытием украденного у ночного покоя. Я попытался все же пренебречь несонной погодой и примостился в укромном скверике на скамейке под сенью неканонического бетонного памятника без постамента, изображавшего сидящего в креслах нога на ногу тонколицего субъекта с дужкой от стекол над глазами и бородой-эспаньолкой; но тут вдруг втесалось в мозги пустое желание выяснить, кто таков этот увековеченный. Прохожие, сколько я их ни расспрашивал, лишь неуверенно качали головами и вообще удивлялись, увидав его сознательно как будто впервые: нешто Дзержинский? Луначарский?.. Чацкий? — В таких ненужных хлопотах я совсем потерял необходимую для грез беззаботность мыслей и окончательно убедился, что здесь мне уже вздремнуть не удастся. Так что, как видите, в наскучивших позах привычных монументов скрыта немалая польза для нашего душевного спокойствия; запросто расшифровываемые символы неспособны морочить голову, и я почти уверен, что под каждым из них при необходимости безмятежно засну в любое ненастье — хотя, конечно, лучше бы все же не доходить до подобной нужды.

Протомившись среди осадивших вхолостую работавшее соображение напрасных помыслов довольно долго, я достиг только того, что слегка отсырел. Пришлось снова вставать и, вычистив пальцем зубы, которые ломило от непрекращающейся зевоты, продолжить одинокое в-пути-шествие, отправившись на полуневольный осмотр городских достойнопримечательностей.

Лучшей среди них я считаю жуткий музей — жуткий тем, что за все время моего блуждания внутри этого уве-

систого двухэтажного строения я так и не встретил там ни единой души. А в самой глубине, после зала с выставкой изделий кустарной промышленности — заметьте, что край этот настолько въялся своих холодом в характер населяющих его людей, что даже главным местным промыслом стало наведение «мороза по жести», прямо как по коже, — завернув за угол, я услышал в ушах свистящий крик. Но это, как оказалось, внутри охнуло от испуга сердце: посреди темной комнаты, куда я с разбегу влетел, сидел громадный бородатый мужичище, молча не шевелясь глядевший мне в лицо тяжелым паучьим взором. От неожиданности я не сразу сообразил, что он не живой, а лишь выполненное сверх благоразумной меры достоверно чучело, украшение и гордость макета крестьянской избы.

Отдохнув от переполоха чувств, я решил отомстить за обман коварством и, легко переправившись через веревочное ограждение, забрался на сцену этого театра одного зрителя. Щелкнул пальцем по самовару, попробовал остроту косы, стряхнул пыль с расшитого полотенца и наконец осмелился потрепать по щечке убедительно-наглядное идолище. Разогнав опасения, я вынул из красного угла икону, повертел в руках и — вернул на полку: это была раскрашенная олеография, наклеенная поверх штампованной жести. При том в сознании отчего-то без особого внешнего повода завертелась мысль о том, насколько неуклюжий и вовсе как бы не русский звук у слова «сердце», — а ведь в действительности оно одно из наших наиболее природных и происходит, кажется, от «середины» — кстати, «сердиться» с «усердием» из той же семьи.

Потом снова целый день блуждал деревянными мостовыми по быстро надоевшим переулкам, которые вскоре перекрестил недоулками, много и беспорядочно ел. Под самый уже вечер забрел и в единственную сохранившуюся живой церковь, что помещалась в колокольне выстроенного в классическом стиле собора,

пущенного теперь под склад винных ящиков. Служба окончилась, две-три оставшиеся старухи молча скоблили каменный пол широченными, желтыми от наросшего на них воску ножами, а сама внутренность представляла зрелище чего-то среднего между складом и кладбищем, как бы некое складбище, куда, очевидно, сносили уцелевшие останки убранства из закрывавшихся монастырей, храмов и просто выморочных домов — и все они оседали тут по мере накопления в совершенном беспорядке.

Проще всего это можно было проследить на длинной связке икон, гирляндой свешивавшейся с потолка над свечным ящиком в закутке у самой паперти и стукавшейся о стенку с разноцветными звуками на манер дикого ксилофона каждый раз, когда отворялась или закрывалась дверь. Здесь была представлена живопись любых возможных и невозможных сортов и стилей; на очередном качке я, потянувшись, поймал рукой веревку и, пользуясь тем, что маленькое помещение у входа изнутри храма не просматривалось, принялся их сверху вниз внимательно изучать. Так я безнаказанно любовался чужим добром, пока, как раз подобравшись к последней, той, за которую держал весь ряд, не заметил краем глаза бесшумно кравшуюся сзади бабулю. Связка тотчас выскочила из пальцев, и я споро двинулся вон, сопровождаемый сердитым ворчанием земного и постепенно затихающими хлопками небесного.

Из всего набора мне не удалось хорошенько разглядеть только нижний образ, и вот, как водится, чем дальше он отступал прочь в пространстве и времени, тем делался в воображении все более привлекательным; как бутон, распускался под лучами памяти его неясный зрительный спечаток и расцветал преувеличенно яркими красками упорхнувшей из сачка бабочки. Вы, конечно, слышали, что понятие «икона» имеет целый веер, радугу значений и толкований в промежутке между куском доски с красками — и невыразимым сло-

вами мистическим знаком; для меня же все они тогда собрались в одно необычное ощущение чего-то дорогого и безвозвратно утраченного. Язва и язва души ножом воспоминания, я пытался восстановить его реальный облик — и вместо того вдруг понял, что, как в живого человека, влюбился в него, в этот совсем в сущности незнакомый образ.

Но, как говорится, первая и последняя мысли от Бога, вторая же от лукавого; почти тотчас пришло на ум, что именно сегодня я прихватил с собою на всякий случай из рюкзака ножницы, — откуда рукой подать было до колючего сожаления, чуть ли не с картинным жестом битья кулаком по собственному лбу: да как же сразу-то не догадался взять — и отрезать?! Я вынул эти бесполезные сейчас «два крючочка-два кружочка», ловко перекрещивающиеся на гвоздике лезвия, праздно валявшиеся в кармане куртки и, продолжая все большей укорять себя за головотяпство, одновременно бессознательно ускорял шаги. — А насколько подходящий, пожалуй даже неповторимый был момент: пустая комната, искомая икона не где-нибудь посреди, а в наиболее удобном положении, внизу ряда, и уже держал ее в руках почти что минуту, да еще и ножницы прямо под сердцем, — но этого-то последнего хода, соединяющего цепь благоприятных совпадений в живую удачу, не сумел сделать!

Теперь же нечего и мечтать, — испуганно убеждало само себя положительное соображение, косясь на угрожающе возрастающее в душе намерение вернуться и попытать счастья еще раз, добрать недобранное, пока не остыло, — в кои-то веки нужные для успеха обстоятельства сойдутся снова вместе. Судьба ведь отнюдь не склонна к буквальным совпадениям, не говоря уж о том, что страх вообще скует члены и попросту не даст ничего взять. Причем страх усиленный, двойной: не в обыкновенном месте кража...

Я, знаете ли, вместе с большим числом нынешнего народа и не суеверный, и не верующий, а где-то посередине, так сказать, интересующийся данным кругом вопросов; но тем не менее искренне считаю, что обворовавши Бога — пусть будучи и не очень убежден в Его буквальном существовании, — навряд ли потом хорошо кончишь. Не углубляясь в сверхъестественное, можно уверенно предугадать, что впечатление на психику это сделает тяжкое; первую же после того неудачу в любом деле совесть сочтет за наказание, и так все время будешь сугубо отмечать беды и бояться за радости. В итоге, наконец, вывод получится тот же самый, что и у верующего — как это и должно всегда по справедливости выходить: ведь ежели религия вела бы ко зримой земной выгоде, давным-давно все люди стали бы поголовно убежденными фанатиками; но только грош цена подобному выбору по указке.

Примерно такими доводами рассудок мой, стакнувшийся с трусоватостью, уговаривал алчность прекратить жалеть о бесповоротно потерянном; и как будто бы это им нанемного удалось: сколько ни порывался мой внутренний добытчик совершить новую попытку, сколько ни дразнил, натравливая самолюбие на слабоволие и нерешительность, — назад я в тот день так и не вернулся.

Речной трамвайчик, вскоре после того доставивший меня из узкой Сухоны на большой теплоход, стоявший уже в Северной Двине, окончательно решил вопрос о направлении дороги, физически отрезав возможность возвращения. Через час с небольшим наш «Лев Толстой» споро двинулся в долгий путь прямо вверх на север к студеному морю до самого Архангельска.

Почти всю ночь я проворочался в спальном мешке, стараясь выдернуть из сердца корень влюбчивого до страстности чувства собственности. Какие только соблазнительные возможности не толклись в воображении, какие кощунственные и вместе приятные картины

не манили умное око, и что понадобилась за уйма душевных сил, чтобы перечеркнуть их прелесть, побороть, напугать встречным страхом — думается, нет смысла зря пересказывать; что вы, смерти, что ли, ни разу по ночам не боялись и не помните, какими отгораживаются от представления о ней отчаянно-утешительными рассуждениями... Тогда-то я, видимо, душой и поколебался, а это, между прочим, совсем не равная помешательству болезнь: умом подвинувшийся есть в тесном значении слова с-ума-сшедший; душевно же нездоровый вовсе не то — с мышлением тут все в порядке, но, так сказать, произошло смещение перегородки в сознании, закрывающей нам днем вид на смертную память или какую-то иную, сверх наших сил мощную мысль. У него начинает блуждать центр нравственной тяжести, утрачивается уверенность в существовании на свете какой-то главной идеи, о которую можно опереться спиной в совершенной надежде, что уж она-то не пошатнется.

Перед рассветом я все-таки немного забылся, а когда продрал глаза, по сторонам покойной чередой проходили обширные виды, от августовской воды с реки подымались прохлада и сырость, парок летел изо рта в небо, а с неба чистый свет проливался к нам вниз. Припоминая вчерашнее, я теперь подивился, откуда взялась такая сила у мучительного наваждения и как оно незаметно схлынуло вместе с бессонницей. Единственным следом пережитых волнений стало незнакомое прежде состояние временного равновесия воли, которое иногда доходило до того, что мне не удавалось выбрать, которым из двух или более дел заняться в первую очередь; несколько раз я вообще не сумел принудить себя двинуться с места, переживая свои намерения, словно губами их пережевывая, пока они совсем не исчезали в немых пропастях безмолвия и я не оставался без всяких желаний.

Но сомнения и помыслы об иконе потом начали с возрастающей настойчивостью приходить вновь; все-

цело погруженный в борьбу с ними, я уже не слишком подробно присматривался к происходившему вокруг, и потому двинское плавание представляется мне происшедшим как-то так не подряд, а прерывисто, в виде череды ярких объемных картин, обступивших ход основной темы. Несмотря на всю свою кажущуюся внеположенность и независимость, они на самом деле плотно подпирают ее с боков, будто раскиданные вдоль речных берегов деревни с серебристо-изумрудного цвета замшелыми избами, живут ее соком подобно тем ветвистым внутренним органам, чьи сизые изображения на медицинском плакате назидательно повисли кругом аорты, держатся лишь на ее струне как столбик сморщенных сушеных грибов на нйзке и, даже удаляясь в сторону, тем самым отрицательно свидетельствуют о существовании единого стержня, словно раскустившиеся листья растения, к цветку которого трудолюбиво карабкается усатый муравей.

Первая сценка — это обед в столовой на корме, когда теплоход шел еще по мелководу, а колебания, производимые винтом, ударяясь о дно, сейчас же возвращались обратно и сотрясали внутренность его так, что все обычно мертвые вещи скакали и звякали как бешеные; среди такого бунта предметов ложки и вилки приходилось подвязывать на веревочке, чтобы они не отправились бродить со столов на пол.

Потом другой эпизод: во второй или третий день я вышел на открытый воздух из теплой кают-компани, где ночи напролет сменявшиеся люди бескорыстно продавали часы своей жизни в карты, и вдруг попал в невидимую sprыснутую дождем сосновую рощу — это с плывших рядом плотов доносило чудный запах свежеспиленной мокрой древесины.

Да и вообще многое тогда казалось каким-то подчеркнуто особенным, вроде того театрального «прохожего», который призван в одну реплику вложить весь густой запас народной мудрости; иногда для этого не

требуется и слов, достаточно пары жестов. Например, мой сосед по дешевым местам на нижней палубе, лысый пенсионер из Ташкента, разгуливавший везде в излюбленном нашими проезжими спортивном трико, целыми днями занимал себя расчесыванием эдакой полуживой-полукукольной болонки, отказывавшейся самостоятельно проявлять всякие признаки существования. Однажды я присутствовал при том, как он выводил ее по собачьей надобности к вонючему человеческому туалету рядом с машинным отделением: ленивый зверек, помещенный на пол и энергично подпихиваемый, стоял там, тем не менее, неподвижно на манер тумбочки и справил наконец нужду, только когда хозяин сам задрал ему лапку и что-то такое ущипнул под хвостом. После этого ташкентец поднял его за загривок и со всей силы стряхнул, словно зимнюю шапку от снега.

А еще я заметил у северных жителей особое качество речи, открытую близость образных выражений к исходному корневому значению слов, какая появляется в городе лишь у неожиданно потрясенного чем-то, вдруг в обалдении, застревающая мыслями на пустяках, задумывающегося над общепринятыми оборотами, или вот как сегодня у меня, основательно хмельного человека. Как-то капитан, отчитывая при всем народе мальчишкунюгу за безмозглую тупую работу, договорился в сердцах чуть ли не до пословицы: де-трудолюбие это не любовь к труду, а любовь с трудом — в противном случае, по уже проторенной присказке, сколько дурака ни учи Богу молиться, он только лоб расшибет.

Вскоре мне самому почти что заехало в лоб совсем уж, казалось бы, знакомым словом, когда на остановке один из набежавших с берега к буфету за продуктами крестьян, что-то торопливо пояснив мне, в ответ на «спасибо» спокойно отказался: «Ну, не на чем и спасаться от такой-то малости». Если заключенный в этой фразе такт не слишком для вас сразу заметен, то сравните ее хотя бы с тем, как еще до сих пор дожившие подмос-

ковные старообрядцы по поводу того же усеченного «спаси-Бог» предпочитают въедливо доказывать, будто бы «бо» есть имя беса, и поэтому тот, кто опускает букву «г» на конце благодарности, вызывает к себе сатану.

Из всего Архангельска в памяти сохранилось стеклянное пивное заведение на окраине, но вряд ли справедливо меня за это, не выслушав оправдания, осудить. Широко рассуждая о ерунде, можно даже наоборот заметить, что винный отдел продуктового магазина, общественный туалет и пивная остались в нашем значительно изменившемся с дореволюционных, теперь вполне книжных времен, новом мире чем-то наподобие социального заповедника, где в непосредственной близости от своего дома вы даром, когда придет охота, сумеете повидать абсолютно, так сказать, всякое. Тут постоянно сохраняется небольшое пространство для того, чтобы на законном основании несколько распоясать душу; но и в отсутствие подобной потребности навещать эти места поучительно — сколь иронически ни звучало бы высокомерное похихикиванье «будь, браток, попроще, постой покури с народом». Народ попроще действительно курит здесь.

В тот раз я повстречал там голосистого набухавшего моряка, превратившего застольный тост над «ершом» в публичное обличение заездивших его «кровососов». Из дальнейшей его речи неожиданно выяснилось, что квалификацию нужно понимать буквально: дело состояло в том, что в городе завели оригинальный медицинский обычай — для производства своей даме аборта муж либо иной виновник должен сдать в качестве донора пару стаканов полноценной крови. Не знаю уж, в благодарность ли ее из него выкачивали, в наказание или в урок на будущее, чтобы тоже нес свою долю, — но без справки станции переливания ни одну женщину в роддом на аборт не принимали. Клявший нововведение на чем свет стоит матрос запустил в заключение еще и

другим прицепчивым, как репей, выражением: хрен вас всех поешь на берегу, — пожаловался он в сердцах, — не разбери-поймешь, чего хотите: огород городить или город огораживать.

Окончание – в следующем номере

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны, Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка, Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка. В цену входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под редакцией А. М. Некрича.

Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.

НАШИ СМУТНЫЕ СЕРЫЕ ЗИМЫ...

* *
*

Август. Соседи мои в отпусках.
Тесная кухня в цветочных горшках.
Выставили на мое попеченье.
Изредка я поливаю растенья.

Копится стопка соседских газет.
Мирно пылится в прихожей паркет.
Дождик. Соседских газет не читаю.
Блеклым цветам я названий не знаю.

К вечеру светом залью коридор.
Перепроверю в прихожей затвор.

Все-таки я человек коммунальный!
Век проживу за стеной капитальной –
В грохоте чайников, в сплетнях, в слезах,
В комнатных этих безвестных цветах.

* *
*

Затылком прислонюсь к стене –
Дрожит стена.
Заснуть – вот все, что нужно мне.
Но нету сна.

Гул бесконечный, заводской,
Рабочих крик.
Мне нужно жизни не такой,
Мне нужно книг.

Я начинаю уставать,
Рабочий класс.
Стакан бы чаю, да в кровать –
Мне в самый раз.

Лениться, Господи, хочу.
Мой дух окреп.
Я слишком дорого плачу
За этот хлеб.

* *
*

Морозы оттепель сменяют то и дело.
Болезненная дрожь не покидает тела.
Январская Нева
Растаяла и вновь заледенела,
И ветер задувает в рукава.

Под мокрым снегопадом набухая,
Спешит к закату, волны подгоняя,
Идти готова вспять.
То черная, то мертвенно-седая,
То белая, то черная опять.

Как можно жить с такой рекой под боком,
На четырех ветрах?
Простор Невы окидывая оком,
Я замолчу с бессмысленным упреком,
Застывшим на губах.

Вот родина моя, знобящая, в тумане,
Вот город мой, прямой и жесткий в плане,
Невою огражден.
Кто из друзей с волнением не помянет
Всех трех его имен?

1978

* *
*

Березок призрачных гряда
На мшистом подберезовом болоте.
Здесь пропадешь – и не найдут следа.
И как вы тут еще живете!

Весь этот гиблый, утлый уголок,
Моховиками ржавыми поросший,
Как грудь болезная – к моей груди прилег.
И как слеза умыл – но только горше.

Потом меня начнет всю ночь знобить.
К утру – в жару я руки разбросаю.
Что ж! Это – всё, что я должна любить.
И я люблю, за что – сама не знаю.

1970

* *
*

Отсырев, потемнели дома.
Продают мандарины в палатке.
В виде мокрого снега осадки.
Ленинградская брезжит зима.

Для того, кто родился не здесь,
Вероятно, едва выносимы
Наши смутные серые зимы.
Пахнет ржавчиной камень и жечь.

Проторчу на работе весь день.
Или дома. Ступать неохота
В непролазное это болото:
Всё измокнет, чего ни надень.

Но люблю этот хмурый снежок,
Талый шум, что проходит дворами
В час, когда зажигается в раме
Мой глубокий ночной огонек.

* *
*

Кто родился, тот право имеет на хлеб,
А потом уже право на труд.
Оглянись – и увидишь ты, если не слеп,
Лишь насытый трудящийся люд.

Я считаю гроши, потирая висок:
Чем я завтра себя прокормлю?
Унижение работы за хлеба кусок
Ради смерти голодной терплю.

За проклятья мои над рабочим станком,
За урчанье в пустом животе –
подавлюсь я когда-нибудь хлеба куском,
Заработанным в честном труде.

1972

КОТОВИЧ Татьяна Николаевна – живет в Ленинграде. Несколько стихотворных публикаций в советских изданиях (с середины 1960-х по начало 1970-х). В течение всей жизни работает на самых низкооплачиваемых должностях (почтальоном, рабочим на хлебозаводе и в типографии, и т. п.), живет в крайней бедности и полном одиночестве. Стихи взяты из антологии неподцензурной поэзии «Острова» (Ленинград, 1982).

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор **Андрей С е д ы х**

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue, New York, N. Y. 10018

С 1 октября 1985 г. – ЗАГРАНИЧНАЯ ПОДПИСКА
в любую часть света (кроме Канады) *обычной почтой*:
(газеты за неделю высылаются бандеролью)

	1 год	6 мес.
Ежедневные и воскресные издания:	\$ 160.00	\$ 85.00
Воскресные издания только:	\$ 65.00	\$ 40.00

В страны Европы и Латинской Америки *воздушной почтой*:

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 325.00	\$ 175.00
Воскресные издания только:	\$ 125.00	\$ 70.00

В страны Азии, Африки и Австралии *воздушной почтой*:

Ежедневные и воскресные издания:	\$ 350.00	\$ 200.00
Воскресные издания только:	\$ 145.00	\$ 85.00

Подписываясь на газету, будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа в американских долларах.

При продлении подписки обязательно прикрепите компьютерную наклейку с Вашим адресом.

ОТЕЛЬ МИЛЛИОН ОБЕЗЬЯН

Плавать по морю необходимо,
жить не так уж необходимо.

*Древняя
матросская
поговорка.*

1

И учитель остался один. Прошелся к окну, хмурясь на доски, скрипучие и грязные, как все в этой деревне, еле взглянул на позднюю осень, круто развернулся и сквозь треснувшие линзы пристально глянул в пустой школьный класс. Низкорослый и неказистый, в пиджаке цвета земли, в плохо отмытых сапогах, учитель был подстать пейзажу за спиной, где сутулились бревенчатые халупы, всхлипывало небо, кривились лужи, с голых ветвей слетали вороны.

Взгляд учителя оживился, в нем оказалась одна парта. Он подошел к ней, опустил на колени. Посветлело лицо учителя, и подумал он, жадно вглядываясь в самое обыкновенное сидение: нарисуй мне, талантливый художник, тусклую, наплывами, черную краску, паутинки трещин, чернильные брызги, ТОЛЯ, вырезанное ножом, след от гвоздя, дыру от сучка; нарисуй все это слегка теплым, пусть все с сожалением расправляется от рубцов малиновой юбки, над этим пусть будет лицо меня-мальчика и бег неостуженного сердца; нарисуй мне, художник, такую картину, и ты повторишь мгновение жизни, которое, как я теперь понимаю, поднесло меня к счастью гораздо ближе, чем последующие мгновения.

Учитель ниже склонил лицо, вдохнул запах давно покрашенного дерева, и обнаружил себя в полумраке деревенского коридора, и побрел параллельно бревнам, мимо мешков с запасами на зиму, и дернул за руку старую дверь, и ослеп от сентябрьского солнца и того, что оно освещало, и обругал свой дырявый халат, нечесанную голову, небритое лицо, вялые зачитанные глаза. Перед ним, на расстоянии порога, солнце обтекало и золотило незнакомую девочку лет пятнадцати, с почтальонской тяжелой сумкой. Она протягивала письмо. Щурясь, и будто нет сил смотреть прямо, он поглядел на свои тапки, замусоленные и растоптанные. Близко к ним, за деревянным перевалом, жались друг к другу кукольные туфельки, густо исцарапанные деревенской жизнью, из них уносились от земли, к небесным критериям красоты, ноги с полуженскими обводами, в простых, рубчиками, чулках, коленки таяли от застенчивости и торопились под складки юбки цвета сладкой малины, чуть сбоку и выше хрупкой игрушкой качалась полупрозрачная кисть, потом начиналась по-русски бескрайняя, по-русски ухабистая местность серой отцовской телогрейки, потом из ворота, как из земли, вырывалась бледная шея, ее венчал золотистый туман с нестерпимо огромными глазами. Он взял письмо, она улыбнулась, что-то хотела сказать, но смолчала, резче, чем надо, отвернулась, сумка качнулась, она изогнулась, чтоб удержаться на ногах, оступилась, застыла, хихикнула, обернула к нему лицо, золотистое, свежее, милое, измененное тем, что солнце по-иному раскинуло тени...

Шаги школьного коридора. Гулкие, замедленные, томительные, так ходят по школе сторож, истопник, директор или убийца. Учитель отшатнулся от воспоминания, успел встать с коленей и оправиться, и голова, возникшая в двери, нашла его рассеянно гуляющим меж партами. Голова была мелкой, с хилой травой, перепутанной разносторонними ветрами, с густой паутиной

глинистых морщин, с кое-как приклеенными розовыми глазками, которые смотрели сразу на и мимо. Из на и мимо вышел учитель, и директор полностью вдвинулся в класс. Он был маленький, тощий, помятый, в костюме на здорового мужика, изображал интеллигента и начальника.

— Где ученики-то? — спросил директор строго. — Отпустил? Зря. Набедокурят. Напьются вина. А шишки на нас.

— Уже напились, — сказал учитель. — Прямо на уроке. Потому и отпустил.

— Бутылку забрал? У кого была?

— Булькало в разных концах класса, — вяло сказал учитель.

• Директор подпрыгнул, сел на стол, закурил, сощурил глаза на скучный двор за окном.

— Виновник неясен, говоришь. Зря не дознался. Чревато последствиями. Вот пример. Молодцы из шестого. На уроке распили бутылку. На перемене достали топор. Девчонку на парту повалили. Голову, как курице, пригнули. И отсекли начисто косу. Потом спрашиваю: вы что? А так, отвечают, для хохмы. Или недавние молдаване. Электромонтажники. Линию тянули. Застигли в лесу. Пикник устроили. Распивали вино и безобразничали. С кем, думаешь. С твоими восьмиклассницами.

Учитель вздрогнул, стал сер лицом.

— С кем именно?

— Да все там были.

— И... ваша дочка?

— И Катюха. — Директор заслонился белым дымом.

— И... Наташа?

— Все, — сказал директор.

Топор сначала убил сосну, потом отрубил ей руки и голову, потом кое-как ободрал кожу, оглядел длинную кость и отскочил к другой сосне. Когда-то потом потемневшие кости подобрали колхозные мужички в серых измызганных телогрейках. Пользуясь небритыми матерными челюстями, мужички взвалили кости на тележку и долго везли по мху и корягам, по коварному, в ямах, дну реки, вдоль главной улицы, сильно пострадавшей от стремления жить еще лучше. Железный конь, весь в солидоле и грязи, умывавшийся разве мочой мужичков, творил былинные чудеса, кабина лопалась от выражений, мужичков, оседлавших кости, мотало, обивало и студило, и чудилось им, что они на танке, и заграничные окрестности вокруг плавали в прищуренных глазах, как в лужах из собственной крови. Трактор лихо свернул в пустырь, и все мужички на тракторе ахнули, и привскочили, и ослабились, когда убедились, что голубоватые сороковки в руках метнувшегося изпод гусениц не разбились, а только забрызгались. Мужички вмиг приземлили кости на месте будущих жизненных циклов, еще скорее справились с водкой, а потом месяца три уже никуда не торопились. Они прилетали на кости с рассветом, под уютный дымок плиты, сбивались в тесную дружную стайку, матерились о разных вещах, владелец костей таскал им водку, жена его стряпала, дети пособили, а когда день склонял голову, а ночь ее поднимала, неторопливо разлетались, хмельные, сытые и благодушные. Когда-нибудь в дряхлости, оценивая жизнь, они всплакнут по тем прекрасным дням, прекрасным даже в дожди и вьюги, возможно, решат, что они были лучшими, что это и было то самое счастье, за которым все так гоняются, но тогда они этого не понимали, тогда им было просто хорошо. Так беззаботно, сытно и пьяно мужички намеревались скоротать еще минимум месячишко, как вдруг в одно про-

мозглое утро, когда все живое таскает ноги лишь в сторону опохмела, владелец костей вместо полных стаканов протянул мужичкам кукиш. Ладно бы просто сложил да насыпал и, как положено, выдал стаканы, и все посмеялись бы как над шуткой, но кукиш почему-то не рассыпался, а продолжал враждебно целиться.

— Брось, пошел, твою мать, — угрюмо сказали мужички.

Владелец костей окровавил глаза, ощерил зубы и прохрипел: вы обещали, прошли три месяца, вы только пили, ели, разговаривали, скоро дожди, а ну-ка. (Речь его очищена до неузнаваемости, удалось сохранить только смысл). Мужички возразили с яростью похмелья, удержались от избиения, сутуло пошли прочь. Владелец костей знал русскую душу, он спокойно стоял и ждал, когда один из них обернется. И дождался. И выхватил бутылку из теплого погреба пазухи, и помахал ею, как знаменем. К ночи сруб был почти готов. Его обмывали обильно и с песнями водкой, мочой и рвотой. Владелец сруба стал падать в стружки, его в последний момент подхватили и попросили расплатиться. Деньги обнаружили в портянке. Считали до первых петухов, пока тела, рубли и стружки не перемешались до заключения, что утро вечера мудренее. Утром владельца сруба избили за недоплату и нежелание предоставить немедленный опохмел. Но это мелочи, суета. Главное, сруб, без пяти минут дом, прочно стоял посреди России и пустыми глазницами окон видел ее странное будущее, судьбы своих будущих хозяев, учителя русского языка, лежащего в грязных сапогах на железной скрипучей койке, предоставленной сельсоветом.

Так появился этот дом, и вот что впитали в себя эти бревна, — думал учитель, разглядывая потолок. Он так лежал, как вернулся из школы, с тех пор, как узнал, что над его любовью надругались приезжие молдаване. — Вот откуда на меня веет эта тяжелая тоска. Тоска и в столице была, это правда, но не такая, не цепенящая,

там она, по крайней мере, прерывалась неожиданно прекрасным разговором, редкостной книгой, другом из детства. Но я был в городе точно несчастлив, не хватало мне естества, целомудрия, того мечтательного покоя, который ленивыми волнами окатывает многие страницы старых русских романов. Я уехал найти это в деревне, а оказался среди развалин, где без цели и без надежды бродят спившиеся мужики, замотанные бабы, дьяволята, зачатые в водке, мате и безверии. Где ты, Россия. Жива ли ты. А если это и есть Россия, то мне не надо такой России. Я здесь сопьюсь. Или меня убьют. По пьянке. Как непонятое насекомое. Я бы уехал из деревни спустя две недели после приезда, но заболела почтальонша, письмо доставила ее дочь, мгновенно стала мечтой, надеждой, гением русской красоты, и удержала меня на три месяца.

Он перевернулся, закусил подушку. О, моя маленькая почтальонша. Зачем ты меня удержала. Чтобы доставить письмо о том, что не остались на этой земле ни чистота, ни святость, ни надежда? Чем мог соблазнить тебя молдаванин. Или ему помогло электричество. Пальцы его касались тебя, как обнаженные провода, губы были твердые, как клеммы, копна волос мерцала и потрескивала, в глазах металась синие искры. Будь ты проклят, электромонтажник, будь проклято все электричество.

Надо встать. Выпить воды. Во рту пересохло и горчит. Да, завтра праздник, — вспомнил учитель. — Годовщина Великой Революции. Во всех домах пьют. Выпью и я.

Спустя полчаса он сидел в углу между столом, печкой, оконцем, смотрел на темные облака, на рыжие полупрозрачные ветви, с которых часто срывались листья, на худой низкий забор, на заколоченные окна соседнего, крепкого с виду дома, на лохматую черную птицу, недавно возникшую на крыше и неподвижную, как чучело, на столб буквой А с четырьмя проводами,

на высохших мух на подоконнике, на непонятный узор клеенки, на несколько мисок с соленой капустой, холодной картошкой, салом и хлебом, на бутылку Московской водки, на пустой граненый стакан.

Сидеть в полумраке тихой избы, в окружении темных бревен, которые были когда-то соснами, задумчивыми сумрачными существами, сидеть и просто водить глазами, видеть простые понятные вещи, наблюдать, как по телу с кровью неторопливо расходится водка, расплавляет все, расслабляет и возвращает на места, и услышать вдруг тихий звон. Словно текла река молчаливая, вдруг зазвенели чуть слышно все капли, звон миллионов капель сомкнулся — примерно такой вдруг услышать звон. Сжаться, напрячься, ослабить дыхание, вслушаться в звон, погрузиться в него, и унести в его тихо и нежно позванивающих струях...

3

Я буду сидеть под древним деревом в одиночестве и в темноте, перед бутылкой душистого рома. Любопытным невидимым зверем буду смотреть на огни отеля, на свечи перед неясными лицами, на быстрые силуэты слуг. Будут невнятные разговоры, женский смех, сто тысяч цикад, всплески надрывной восточной мелодии, сонные вскрики обезьяны или птицы.

Ко мне приблизится официант, и в какой-то раз уточнит, достаточно ли я проголодался.

— Нет, не достаточно, — скажу я. — Я все еще в своем любимом состоянии. Оно опустилось на меня, как цветное волшебное облако, и вдруг застыло, и меня сковало сладостным хрупким оцепенением. Я даже боюсь глубже вдохнуть, повернуться, заглянуть в меню, я и с вами-то разговариваю, едва шевеля губами. Так что, пожалуйста, отойдите.

Он отойдет, его силуэт сгорит в ярких огнях отеля. Я вновь останусь наедине с древним и мудрым деревом. Из неземного оцепенения буду слушать тихий шелест кроны, вдыхать благоухание ее цветов, смотреть на пепельный отблеск луны, задумчиво качающийся на листьях. Сердце усиленно забьется. Да, это знак, я давно его ждал, это тот самый момент задать вечности Главный Вопрос.

Скажи, Почтенное Дерево, КАК МНЕ НАЙТИ РАЙ НА ЗЕМЛЕ?

Листья по-особому зашелестят, луна нарисует на листьях знаки, цветы запахнут, как что-то знакомое. Жадно, старательно буду внимать им...

— Я знаю, вы любите одиночество, но сегодня отель переполнен, могу я посадить здесь других людей?

Облако хрустнет, и рассыпется, оцепенение отпадет, как сладко-тесная скорлупа, я мрачно взгляну на официанта и вяло пожму плечами. Он кивнет, побежит к отелю, не подозревая, негодяй, что своими тривиальными заботами помешал мне отгадать ответ древнего дерева. Придет сейчас группа инженеров или семья с детьми и тетками, будут болтать, обсасывать пальцы, чавкать, рыгать, хохотать, капризничать, будут бесконечно озираться на меня.

Официант принесет стол и стулья. Приблизятся четыре силуэта. Шуршанье материи. Скрип стульев. Чирканье спички. Спичка сломается. Вторая испустит искрящийся дым. Третья спичка зажжет свечу, свеча осветит красивую женщину и двух белокурых девочек в шляпках.

Я с первого взгляда влюблюсь в эту женщину. Мы будем сидеть в кругу одной кроны, нам будет светить одна свеча, мы обязаны познакомиться. Я с ужасом осознаю, что бреду к соседнему столику.

— Простите меня, — прохриплю или прокаркаю. — Не хотите отведать рому?

Она не плеснет в меня кока-колой, она весело улыбнется.

— Несите стул, — скажет она.

Я вмиг принесу стул и сяду, и это будет мой прочный плот, и я оттолкнусь и, уверенно правя, понесусь по быстрой реке, совершенно неважно куда.

— Когда перед вами зажглась свеча, — начну я уверенно и вдохновенно, — мне показалось, передо мной сцена из старого английского романа. Вы ведь англичанка?

Она кивнет, подопрет щеку ладошкой, приготовится слушать дальше. Ее лицо, подсвеченное снизу... Веревки окажутся гнилыми, плот развалится, я забарахтаюсь, задохнусь и хвачу рома. Она для меня будет слишком красивой, а лишняя женская красота требует лишней мужской самоуверенности, каковой, извините, не обладаю. Она увидит меня, жалкого, судорожно вцепившегося в бревно, уносимое быстрой рекой, и с высокого пышного берега бросит мне веточку в виде вопроса:

— А вы по акценту, наверное, швед?

— Я русский.

— О да, турист?

— Нет, не турист. Я..., как бы выразиться...

Господи, как мне научиться прямо и твердо отвечать, что везде и в любую минуту я ищу на земле рай. А остальные ярлычки, как то: турист, учитель, гражданин, — так же глупы, как, скажем, зубочистщик. Как объяснить тебе, незнакомка, что ты потому явишься мне, что в эту минуту я разочарован поискамирая в настоящем и пытаюсь найти его в будущем.

— Я в служебной командировке, — скучно солгу я. — А как вы оказались в Индии?

— Приплыли пароходом. — Она засмеется, волнисто двинет лицо к небу, светлые волосы бурно отхлынут, блеснет дорогой камень серьги. — Мы останавли-

ваемся, где понравится, и живем там сколько хотим. Я очарована этой страной. Даже запахом и нищетой.

Она накроет рукой руку девочки.

— Скажите русскому джентльмену, вам нравится Индия?

— О да, очень, — шепнут девочки.

— Их заразил Индией Киплинг. Вы знаете, — вновь повернется ко мне, — я безумно люблю путешествовать.

Стакан пискнет в моих пальцах. Темно-желтое пламя свечи задрожит, разлетится вдребезги. Я внимательно буду смотреть, как разлетается вдребезги пламя. Мне сорок пять, я уже с брюшком, лысоватый, подслеповатый, я прочитал половину всех книг, я много любил, пусть безответно, я думал о всем, я страдал за всех, но мне не удалось попутешествовать по свету. Я отниму от стакана руку, осколки пламени соединятся, в роме опять спокойно, чуть вздрагивая, будет гореть темно-желтое пламя.

— Я тоже безумно люблю путешествовать, — глухо скажу я.

— Что больше всего вам понравилось в Индии? — спрошу я спустя какое-то время.

— Гоа! — воскликнет она уверенно. — Не были там? Прелестное место! Бывшая португальская колония. Вообразите город Панджим: лазурная бухта в зеленых холмах, пустынные пляжи с белым песком, лодки с рваными парусами, у берега памятник Васко да Гама, очаровательные таверны, много свежей дешевой рыбы, виски и ром тоже дешевые... — Она умолкнет, глядя сквозь меня на бывшую колонию Португалии.

Как я уже раньше упомяну, она окажется слишком красивой для плюгавого застенчивого меня. Плевать, какой я, — буду твердить себе, — ведь все это только в воображении, а где же еще, как не в мире фантазий, отыгрываться плюгавеньким да застенчивым. Плевать, какой ты, — шептать будет ром, — ты на меня поло-

жись, понял. Второй храбрый Я и приятель Ром будут назойливо тискать плечи, греть по спине, вдыхать жарко в уши лесть, ободрения, ругань, советы. Но все напрасно. Под их напором буду взглядывать на нее, и неизменно обжигаться, и нырять для остужения в стакан. Там в основном и пробарахтаюсь, пока не случится, что вместо меня перед нею усядется Гоа. Вот тогда-то и отыграюсь. Брошусь в рассеянные зрачки, догоню убегающую по лугу, повалю в цветы, и сделаю все.

Она спохватится, я обожгусь, выпрыгну и забарахтаюсь в стакане. Робко взгляну, она сузит глаза и слабо, но дьявольски усмехнется. Я вспотею, похолодею, стакан завопит под десятком пальцев. Она глянет в счет, достанет деньги, встанет, вежливо улыбнется.

— Спасибо за ром и за компанию.

Стоя, я провожу их взглядом. Деревья, огни и разные тени постепенно размоют их силуэты.

— Спасибо, — скажу я древнему дереву. — Завтра же утром я еду в Гоа.

4

Кажется, звук возник давно, но звуки будущего довели. В какой-то момент звук прорвался к сознанию, и оказалось, что где-то вдали гулко, размеренно стучат. Учитель подлил. Водка звонко булькала. И опять размеренный стук. Учитель выпил. Какая мерзость. Жаль, нет на столе запить. Торопливо куснул хлеба. Вещи подрагивали, расплывались, и иногда тихонько кружились. Будто далекое сердце стучит. Может быть, только я его слышу. Может, оно для меня стучит. Может, я должен сейчас встать, выйти из дому и пойти. Пойти напрямик через реки, леса, горные хребты и океаны. Может быть, в этом смысл моей жизни. Пристально, как вызывая духов, он смотрел на пустой стакан. Грани дрожали и расплывались. Вот зазвенели и расплылись.

Наощупь, шатаясь, пройду к постели, отброшу в черную ночь одежду, свалюсь в бурный мир сновидений. Сразу же встречу там Васко да Гама, и мы поплывем открывать путь в Индию. Мы ступим на берег в районе Гоа. Нас поразит красота окрестностей. Не желаете рому? — спрошу я Васко. Он не ответит. Я обернусь. Он будет стоять на постаменте. Непонятный тревожный грохот. С трудом продираясь сквозь вязкий воздух, я побегу назад, к нашей шляпке. Грохот сзади меня усилится. Я попытаюсь бежать быстрее. Вот и берег. Но шляпка исчезнет. Взыбится, обрушится громадная волна. Вплавь не спастись. Я обернусь. Ко мне будут бежать людоеды с гнилыми окровавленными ртами, у каждого на шее барабан, обтянутый заживо содранной кожей, и каждый колотит по коже камнем...

Песок милосердно даст мне провалиться в полумрак гостиничной комнаты. Я буду сидеть, и мычать, и весь мокрый, пляясь на мохнатый вентилятор, взбивающий сизый белок рассвета. Я с облегчением вздохну, выдую полграфина воды, свернусь под изжеванной простыней, закрою глаза и буду без сна слушать грохот над головой и представлять всякую чушь. Будут плясать вокруг костра те же людоеды с барабанами, на вертеле, конечно, буду я. Будет сыпаться гравий с самолетов. Будет уворовывать железо с крыши местная бездомная беднота. Будут пятнашки обезьян..., но это реальность, не представление. Их стая живет в кронах над крышей. На рассвете, едва проснувшись, они начинают играть в пятнашки. Летят друг за дружкой на хлестких ветвях. Широко и цепко расставив лапы, пролетают немислимые расстояния между как угодно отстоящими деревьями. Несутся к железной гремучей крыше, лишь затем, чтоб отскочить с прыгучестью шариков пинг-понга к любой, пусть самой тоненькой ветке, и вознестись на ней хоть к луне. Странно, что если такой же грохот на

даче в какой-нибудь Салтыковке, пятнашки обезьян были б чистой фантазией. А, пустое это занятие делить реальность и представление, ненужное запутывание мыслей. Полеживай себе под грохотом на крыше и верь, что приоткрылась дверца самолета, перегруженного щебенкой, и на крышу сыпятся камни...

Та-та-та-та-та, — пробарабанят лапы. Вас-ко-да-га-ма, — послышится мне. Что я знаю о Васко да Гама?

Из детства выплывет учебник географии, облепленный тиной названий и дат, я, ученик какого-то класса, склонюсь над распластанной планетой, взгляд захватят и поведут линии на синих океанах. Одна из линий начнется в Португалии 8 июля 1497-го, углубится в Атлантический океан, неровно спустится вдоль всей Африки, обогнет мыс Доброй Надежды, пересечет Индийский океан, и 20 мая 1498-го уткнется в западный берег Индии. С острой завистью буду склоняться над полетом подрубленных мачт, над бунтом команд, над клинками в зубах, над жаждой, цынгой и лихорадкой, над горбоносым сухим лицом, потрясенным от возгласа ЗЕМЛЯ! На этой линии своей жизни Васко да Гама потерял корабль и 105 человек команды. Этой же линией, вчekanенной в историю, Васко да Гама открыл морской путь в Индию, определил очертания Африки, доказал, что Индийское море — океан. Второй раз он отправился в Индию с 13 военными кораблями, привез королю богатейшую дань и был возвеличен в графы. В третий раз он приплыл в Индию как ее вице-король. Не так ли надо жить, господа.

Грохот утихнет, наконец. Обезьяны усядутся завтракать. Редкие стуки, очевидно, будут от падения огрызков, но под них можно будет спать, и я буду спать до стука в дверь. Слуга принесет утренний чай.

— Надеюсь, вы к нам еще заглянете, — утвердительно спросит хозяин отеля, срочно подсчитывая мои долги.

— Конечно, мистер Верма. Мне понравился отель. Одни обезьяны чего стоят.

— О, в Индии много отелей с обезьянами. В нашей стране достаточно свистнуть, и к вам прибежит миллион обезьян.

— Миллион обезьян? Даю вам идею. Назовите отель **МИЛЛИОН ОБЕЗЬЯН**, и вы загребете миллионы.

— Ха-ха. Я подумаю над этим.

— Лишний миллион не забудьте за идею.

— Ха-ха. Непременно. Что вы сделаете с миллионом?

— Скорее всего, куплю себе парусник. Может быть, именно он мне поможет отыскать рай на земле.

— Ха-ха. С вас триста сорок семь рупий и восемьдесят пять пайсов.

Жизнь скупа на этот подарок — ощущение полноты жизни, многие его никогда не получают, а чаще, думаю, получают путешественники, и я его точно получу, когда мне под колеса понесется экзотическая древняя страна. Огромные встречные грузовики будут делать вид, что набросятся, но в последний момент отвернут. Задумчивые буйволы и волы и арбы с деревянными колесами будут медленно и с достоинством проносить своих хозяев по горячей и пыльной жизни. Мудрые козы будут спокойно отходить к ближней обочине, а бездомных белых коров и худых сонных собак, как всегда, разорвут две обочины. Смуглые люди в свободной одежде будут пить чай с молоком в неутомимой тени деревьев. Возникнет заброшенный временем храм и пропадет, мне тоже ненужный. Стая макак, жующих бананы, глянут исподлобья, и отлетят, и, проклятые памятью чужеземца, больше ничто не смогут в жизни делать, а только жевать и исподлобья взглядывать. Блеснет речушка, в ней головы буйволов и девочки, стирающие белье. Группа грифов будет совещаться, где искать очередную падаль. Догоню, обгоню, пожалею тысячелетнего сло-

на, нелепо попавшего в рабство мухе, севшей на спину, с человеческим лицом. Молоденькая женщина в лохмотьях, стройная, как кинозвезда, с младенцем, развалившимся на бедре, оглянется на чужеземного принца, и тот унесется в прекрасную жизнь, а она, быстро старея, будет нести на голове тяжелый мешок с зерном. Из сказки в сказку, а между дорогами, перелетит зеленый попугай. В тени большого, как площадь, баньяна, будут сидеть на земле школьники, и, пока я буду их видеть, учительница им, возможно, объяснит, что португалец Васко да Гама не такой уж хороший человек. С него, дети, началось ограбление и порабощение индийского народа вот такими, — укажет на меня, — португальцами и англичанами. Дети оглянутся на меня, я покраснею, отведу глаза и унесусь продолжать политику завуалированного колониализма. Да, вот так, Васко да Гама, в жизни всегда так: за одно и то же этот любит, а тот не любит. Тебя та учителька не любит, зато я тебя обожаю, хоть я не португалец и не англичанин, и даже не географ или историк. Обожаю тебя не за открытия, не за трюмы, набитые изумрудами, не за титул вице-короля, не за силу характера, храбрость и мужество, которыми ты, несомненно, обладал. Я обожаю тебя за то, что ты, как пустую консервную банку, отшвыривал матросским башмаком домашний уют, покой, благополучие, безопасность, семейное счастье, заботы о старости и здоровье, взбегал на шхуну и несся навстречу бурям, рифам и людоедам. И дело не в том, что тебе поручали отыскать дорогу к сокровищам, а в том, что ты хорошо понимал, что для поисков всего нового надо отталкиваться от старого смело, решительно, с блеском в глазах, становиться свободной птицей и лететь, и только тогда в разрывах клубящихся облаков может мелькнуть остров сокровищ. Со скоростью семьдесят миль в час я буду лететь в новую даль, буду восторженно озираться среди экзотического пространства, буду чувствовать, что живу.

Равнину начнут рассекать овраги, на горизонте встанут холмы, деревьев прибавится, дорога запетляет. Значит, скоро горный хребет, за которым лежит Гоа.

Три бандита с большой дороги, усталость, жажда и голод, приставят нож в пустынейшем месте. Не сбрасывая скорости, проверю карту. До Гоа еще ехать и ехать, в основном по горному серпантину, и представляю, как там, в облаках, на острой скале, в холодной разреженности меня укачает, и замутит, и стошнит остатками завтрака. Так, сглотну сухо и нервно, а что в этой парочке желтеньких точек, означающих мелкие поселения, не придется ли там заморить червячка. В желтенькой точке, что поближе, возникнет грязноватая харчевня, клочок меню на местном языке, тощий бесполовый официант с двухсловным (да, сэр) запасом английского. Ткну наугад в три строчки меню и, заказав еще «танда пани», стакан холодной мутной воды, буду ждать три поганые карты. Мне неслыханно повезет, если одно из заказанных блюд окажется серой, кислосоленой, сильно наперченной простоквашей. К другим двум блюдам я не притронусь: горшочек с ярко-желтыми стручками в дегте, горшочек с буро-зеленым веществом.

Бандиты вконец изрежут ножами, особенно область желудка и горла, когда выскочит из-за поворота ближняя желтенькая точка, и набежит, оглушит городишко. Вот он, набитый пылью, жарой, коровами, козами, собаками, голыми младенцами, зеваками, лавчонками с чем угодно на свете, только не с тем, что можно купить. Проскочив пару харчевен, в которых один-два посетителя будут знать, что делать с горшочками, я прочитаю: СИРЕНЕВЫЙ БАР. С визгом и пылью развернусь, брошу машину рядом с быком, мрачно стынувшим на дороге, еще раз прочитаю вывеску и, абсолютно не веря, что БАР и, тем более, что СИРЕНЕВЫЙ, отворю входную дверь.

Стук. Стемнело. И, кроме стука, тихо. Странно, ни разу за этот вечер за окном не крикнули пьяным голосом, не вырвался из приоткрывшейся двери обрывок застольного веселья, не хохотнула баба, не пробежали дети с запыхавшимися голосами. Что за таинственная тишина в канун всенародного праздника. Или здесь так всегда празднуют: тихо напьются, и с копыт. А может..., ну да, я о том забыл из-за новости о Наташе, сейчас идет торжественное собрание, Абрам Серафимович, парторг, стоит на здоровой ноге за трибуной, подпертой с двух сторон костылями, сурово оглядывает зал поверх очков, вскидывает палец, звякает медалями, читает часовой конспект о Революции. В клубе сейчас прилично и тихо, с культурным скрипом стульев и покашливанием, русско-советский человек вообще культурен и терпелив, если на нем лучший костюм, а впереди бутылка с грибочками.

Тук..., тук..., тук..., тук... Будто лежишь в земле и слушаешь, как тебя кто-то откапывает. Пожилой трезвый мужик. Земля слежавшаяся, сухая. Мужик долбит ее киркой. Если пойти в сторону стука, можно узнать, что он означает. Скажем, кто-то делает навес. Скучно. Лучше сидеть в темноте, пить водку и представлять.

Пусть глыбится бык посреди дороги. Ноги — четыре наклонных столба. Голова пригнута к земле. Грозно отсвечивают рога. Между ними кровавая каша. В нее методично падает молот. Каша разбрызгивается в стороны. Кровь ручейком стекает к ноздрям, оmyвает их и срывается в пыльную лужицу на дороге. Молот в присохших и свежих кусочках раздробленной кожи и волос. Забрызганы кровью штаны и рубаха. Мужик швыряет молот, отходит. Стоит распаренный, пьяный, качаясь, смотрит, как точно такой же мужик хватается молот, подходит к быку, заносит молот, приседает,

молот, сверкнув, врезается в лоб. Хрясь! Бык, чуть качнувшись, стоит, как вкопанный.

Пусть мой приятель, только из Москвы, тоже услышит такой стук и спросит: что это, мол, за стук. А, скажу, обычное дело, мужики забивают быка. Как, заволнуется приятель. А, ерунда, не обращай внимания, давай-ка еще выпьем по маленькой. Приятель выскочит из избы. Скоро вернется. Там нет быка, там сколачивают навес, зачем ты меня обманул. Не я обманул тебя, а реальность. Я на тусклую ее краску наложил пару мазков, вышла необыденная картина, она нас обоих взволновала, ты даже бросил свет и тепло и побежал в грязную тьму полюбоваться, как ты думал, подлинником, из чего заключаю, что в серый камень, неприметно валявшийся посреди мира, Бог моими устами вдохнул красоту, и стал этот камень прекрасным и хрупким, как вся Всемирная красота, но в той грязной тьме ты нашел мужика, он мрачно сколачивал навес для озябшей тощей коровы, ты с отвращением отшатнулся, пудовым от грязи мокасином раздавил красоту и смешал ее с грязью, и вот сидишь, разочарованный и злой. Не знаю, отчего так, но многие люди, и я боюсь слова «большинство», словно родились для надругательства над красотой, то есть для уничтожения того, что составляет основу счастья. И что это значит, — спрошу я приятеля. — А то, — отвечу нетерпеливо, — что Господь любовно удобрил, вспахал и засеял семенами красоты и счастья участок жизни любого человека, но какие-то силы, явно нечистые, заставляют людей беспощадно выпалывать Господние прекрасные ростки и усердно ухаживать за сорняками. Вот и опасаясь, не то ли же я делаю, вот и пытаюсь найти счастье хотя бы в воображении. Но знаешь, — скажу, кося в темный угол, — поискам счастья в воображении тоже что-то здорово мешает. Кажется, так просто в мире фантазий искать идеальное для тебя: отбирай, что угодно, комбинируй, как угодно, улучшай, складывай в желанные конструкции. Так нет,

к отобранному обязательно примешается нежелаемое, и вся конструкция с треском разваливается. Да вот тебе свеженький пример. Встретил прекрасную незнакомку, идеализировал ее, а вдруг набросился и изнасиловал. А она, представляешь, не оскорбилась, а дьявольски усмехнулась.

Учитель налил еще полстакана. С отвращением понюхал. Без воды не затолкнешь. Поднялся со стула. Тьма закачалась. В центре ее появилась точка. Тьма закружилась вокруг точки. По спирали. Вползая в точку. Точка всасывала тьму. Он наощупь пошел вокруг печки. Главное, надо идти напрямик, не поддаваться движению тьмы. Иначе тоже пойдешь по спирали. А любопытно поддаться тьме, пойти по спирали, всосаться в точку и оказаться в другом мире, где абсолютно все не такое. Ткнулся рукой в холодный бак. Ага, а на крышке должен быть ковш. Пошарил рукой. Ковш загремел. Стал на колени. Ощупал пол. Нету ковша. Как провалился. Ударился лбом. Лавка. Под лавкой. Нету. А где же. Надо подумать. Тот же глухой размеренный стук, но почему-то намного громче. Будто рядом. И где-то справа. Пополз осторожно в сторону стука. Что-то брызжет. Мелко, колюче. Ткнулся лбом в мокрое что-то. Табурет. Над ним умывальник. Таза нету, и капли, срываясь, глухо стучат о табурет. Нащупал полотенце, положил на табурет. Теперь не стучит. Пополз за ковшом. Вот так все в жизни. Не сердце далекое, а просто капли из умывальника. К быку подошел трезвый мужик, поглядел, приволок жердь, сунул между ногами быка, дернул жердь, бык рухнул, как памятник. Он давно уже был мертв, возможно, с первого же удара. А, вот и ковш. Вернулся к столу, расплескав по избе чуть не всю воду. Поглубже вдохнул. Вылил в рот водку. Глотая водку, вылил в рот воду. И стал ожидать звона.

Ступлю в темное и прохладное. Тихо. А там, что там впереди просвечивает сиреневым. Кто-то смутный, в сиренево-белом, как белый кот, увиденный в детстве в темном заброшенном доме, тронет мой локоть и поведет в сторону сиреневого свечения.

Только что я, ученик седьмого, толкался у рентгеновского кабинета, уловил исчезновение красного НЕ ВХОДИТЬ, скользнул в узкую черную щель, забился в бархатной занавеске, выпутался, наконец, и в темноте увидел сиреневое. Я замер, как на пороге дома, в котором живет великий волшебник. Еле дыша, я смотрел, как в сиреновом возникали сиреневый стол, стопка сиреневых бумаг, бледно-сиреневая шапочка. Все это вдруг чем-то залилось, я услышал короткий смешок, почувствовал тонкий лекарственный запах, запах молочного дыхания, запах блестящих пышных волос, запах..., так могут пахнуть только красивые молоденькие медсестры. И долго мы будем здесь стоять, — услышал ее насмешливый голос. Но с места не тронулся. Пробормотал: здесь так темно, ничего не видно. О хитрый, хитрющий семиклассник, ты хотел ее теплой руки к твоему охлажденному телу. Она коснулась, я радостно сжался, по коже запрыгали мурашки. Легонько сжимая мой локоть, она повела меня куда-то. Я очень любил эти мгновения: она, взрослая и красивая, тепло касаясь моего тела, ведет меня в сиреневый сумрак.

— Простите, — скажу я, останавливаясь, — у вас есть европейская пицца?

— Разумеется, сэр. Большой выбор, — промурлычет бело-сиреневый кот.

Я оглянусь. Мне почудятся люди в удаленном темном углу. Прищурюсь на них, и они развеются.

— Кабинка, сэр? — встревожится кот, щурясь в тот же далекий угол.

И кабинки. Люблю кабинки за изысканное одиночество; во всем мире ты и розетка с икрой, запотевший графинчик водки, мягкие птицы твоих фантазий, птица напротив — аристократка из какого угодно столетия, птица сбоку — деревенская девчонка в коротком воздушном платье. Вместе с котом оглядим кабинки. Пусто, пусто, узел волос, венчающий невидимую женщину. Узел вздрагивает. Она смеется, или плачет, или говорит. Я дорисую ее собеседника. Усики, выпуклые глаза, блестящие гладкие черные волосы, от затылка до лба рассеченные тонкой белой полоской кожи.

— Пусть сегодня моей кабинкой будет безлюдный сиреневый зал, — закажу я метродотелю.

Он бурно одобрит мое решение, я выберу стол, закажу бокал вермута, выпью по-русски, залпом и жадно. Развалюсь. Послушаю музыку; она будет тихо стекать с потолка, бесконечная и надрывная, и напомнит выюжную степь, коней, влюбленного ямщика. Сбоку светло-сиреневым облаком будет плыть сиреневый бар. Среди выряженных бутылок замечу одну с двойными стенками, со стеклянной парусной шхуной внутри.

Дверь ресторана распахнется, ослепительный луч солнца внесет силуэты, мужской и девичий, пылинки ресторана побледнеют, взволнованно закружатся перед силуэтами, дверь захлопнется, станет темно, мимо скользнет метродотель.

В надрывную музыку вплетется шуршание ее платья. ШУРШАНЬЕ ПЛАТЬЯ ТВОЕГО, КАК ТИХОЙ ОСЕНИ ШУРШАНЬЕ, — с тихим кипением выдохнул Павлик, замедливая и растягивая каждый звук, и что он наделал тогда во мне, юноше летнего южного вечера, с душой, расплавленной душистым Бессарабским, страстно любившим каждую женщину и ни одной в ответ не любимым, с тех пор для меня в слове шуршание глубокая великолепная печаль, боль в корнях волос, слезы в стакан красного. Шуршанье усилится, вдруг напомнит шелест листьев древнего дерева; два

силуэта, мужской и девичий, поравняются с моим столиком, я всмотрюсь в смутное ее лицо, она на миг его обернет, меня придушит, завертит пространство, в котором, как в теплой южной ночи, звезды, музыка, чье-то дыхание, шепот, светляки, женский смех, цикады, мягкий плеск волн, уголек сигареты, черная пропасть пышного дерева, скамейка и двое, летящие в пропасть.

Мужчина и девушка сядут за столик в левом углу моего взгляда. Я вежливо отвернусь, взгляд мой поблудит и остановится на стеклянной шхуне в бутылке.

Под стеклянными парусами стеклянный хозяин стеклянного отеля стеклянной шариковой ручкой подпишет стопку стеклянных чеков, блеснет стеклянными зубами. А, это вы, мистер Донат, — стеклянно запрыгают слова. — Мы расстались только вчера, а я уже, ха-ха, миллиардер. Мой отель МИЛЛИОН ОБЕЗЬЯН популярнейший в мире отель. Все богатейшие люди Земли хотят жить в отеле с таким названием. Они раскошеляются еще охотнее, когда узнают, что этот отель на борту парусной шхуны. Они окончательно сходят с ума и отдают мне последний цент, когда узнают, куда мы плывем. Нет, вы подохнете от хохота, если увидите эту толпу, вчера богатейших, сегодня нищих, смиренно плывущих по маршруту, который прокладываю я. Вы прокладываете маршрут? — с изумлением спрошу я. — Не для себя, а для целой толпы? О, пустяки, мистер Донат. Рай есть рай, какая разница, кто прокладывает маршрут. Мистер Верма, вы ошибаетесь, один рай для всех невероятен. Вы родились, и вы шарик, покотившийся по ложбинке. Вам не видно ее продолжение, она в сложнейшем переплетении с бесчисленным количеством других ложбинок, но в рай, если вы туда попадете, вас приведет только ваша ложбинка. Не рассчитывайте на толпу. Толпа, если сразу много шариков временно катятся параллельно. Не рассчитывайте на любовь и дружбу. Это всего лишь когда два шарика временно катятся параллельно. Но рано ли, поздно, они разойдут-

ся. Мы с дня рождения одиноки. Как поезд в ночи, как луна, как лист в луже, как покойник, как я, как вы. Мистер Донат, вы пессимист. Я думаю, все превосходно устроено. Я стал миллиардером, я плыву в рай. И мне, извините, плевать на ложбинки, если они, ха-ха, не на женщине. А что, мистер Верма, можно и так, женщины стоят чего угодно. Послушайте, Верма, мы знаем друг друга, давайте без мистеров, будем друзьями, я просто Донат, а вы просто Верма. У вас без мистера винное имя. Вы желтое, сладкое и крепленое, с привкусом жженого орешка. Я сухое, белое, кислое. Мы две бутылки с разными винами. Где ваш бокал, давайте чокнемся, я выпью вас, а вы меня. А вы недурное вино, Верма. Слушайте, Верма, видите столик в левом углу моего взгляда, там молчат два человека, грузный стареющий мужчина и изящная трепетная девушка. Так, а теперь посмотрите на бар. В той бутылке с двойными стенками с бледно-коричневым напитком стынет великая мечта. Какой-то чудак, ни разу не падавший, не ушибавшийся о жизнь, решил оградить свою мечту двойным стеклянным ограждением и укрепил его напитком, который все называют крепким, а выпьют, слабеют. Слушайте, Верма, вам не кажется, что столик слева и эта бутылка чем-то удивительно похожи. Что мужчина похож на бутылку, а девушка на парусную шхуну. Слушайте, Верма, давайте выпьем грузного стареющего мужчину, и мечта достанется мне.

Ко мне приблизится официант.

— Сэр, могу я принять заказ?

Бокал будет пуст.

— Да, еще вермута. Что заказали те двое?

Он обернется на столик слева, тесно уставленный горшочками, тарелками.

— Извольте, сэр. Сааб и мемса едят рис бриани, дамские пальчики, папад, чиклзы, чатни, расам...

— Принесите мне то же самое, — прерву я официанта.

- Как вам угодно. Сэр, и расам?
- Что?
- Вы не пробовали расама?
- Я не знаю. Может быть, пробовал. А что, он очень распространен?
- Очень, сэр.
- Как он хоть выглядит?
- Это, сэр, это похоже, я не знаю, как объяснить. Это сложно, вкусно и горько.
- Что означает слово расам?
- В санскрите есть слово раса. Раса значит жизненный сок, или то, что питает жизнь.
- Так, любопытно. Из чего его готовят?
- Я не помню точных пропорций, но для расама нужны дал, черный перец, чеснок, семя джира, сырой имбирь, тамаринд, асафетида, полужелтый помидор, соль и только что сорванная с дерева свежая веточка кербелы. Все это варится очень долго и на медленном огне.
- Ладно, расам и все остальное.

Он облегченно кивнет, убежит. Сложное вкусное горькое блюдо. Точно этими же словами я описал бы нашу жизнь.

Знакомый шелест, от тихого к бурному. Оглушительный шелест вокруг меня, словно я в глубине кроны, терзаемой ураганом.

ВОН ТВОЯ ВЕТОЧКА КЕРБЕЛЫ БЕРИ ЕЕ ПОСКОРЕЙ ПОКА РЯДОМ А БЕЗ НЕЕ ТВОЙ РАЙ НЕВОЗМОЖЕН, — услышу я, или мне послышится.

Тихо. Мгновенная тишина. Как хорошо, когда тишина. Как хорошо, когда в тишине мягкое звяканье приборов и надрывная тихая музыка. Я быстро взгляну на девушку. Нет, я ошибся. Не на меня. Девушка будет смотреть на отца. Отец — вздрагивающий затылок, внизу обрамленный завитушками, круглая грузная спи-

на. Этот затылок. Эта спина. Я буду враждебно смотреть на преграду между мной и веточкой кербелы.

8

В комнате было темно, как в могиле. И тишина была, как в могиле. И настроение стало такое, с каким, наверно, лежат в могиле. И все эти видения из будущего напоминали видения духа, отделившегося от тела и витающего где-то там. И только квадрат окна перед ним, такой, словно черная ткань пространства в этом месте слегка выгорела, только выгоревший квадрат мешал поверить, что он в могиле.

Он наощупь нашел бутылку, встряхнул, слабо плеснулись остатки. Стал водить рукой по столу, разыскивая стакан. А-а, — замычал он, как в кошмаре. Сердце заметалось, а легкие окаменели. А как бы вы себя ощутили, если бы в полной тиши и тьме, почти поверив, что вы в могиле, ткнулись рукой в холодного, скользкого, разлагающегося покойника. Рука отдернулась, об пол хрястнуло и рассыпчато зазвенело. Это стакан. А перед этим было сало. Это допью и пойду спать. Завтра праздник. Буду валяться.

А засыпая, когда все кружилось, а он проваливался и взлетал, он увидел, как кто-то приблизился, он посмотрел, а это Наташенька, и виновато ему улыбается. Ладно, шепнул он, ладно, миленькая, ладно, моя веточка кербелы. Она засмеялась, и отлетела, и тут же слилась с общим кружением.

МИГУНОВ Александр – род. в 1945 году в Ленинграде. Окончил строительный техникум. Работал в Сибири, затем корреспондентом в новороссийской газете. Закончил факультет журналистики МГУ. В 1979 году эмигрировал. В настоящее время живет в США.

«Я НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ХОТЕЛ
ОТ СУДЬБЫ...»

* *
*

В гордом храме Мельпомены
Я служил рабочим сцены,
Слезы, клятвы и измены
Наблюдал с колосника.
С этих пор на эти сцены
(Клятвы, слезы и измены)
Я взираю свысока.

Ибо мы живем и сами
Как герои в мелодраме,
Где среди живых ветвей
День и ночь поет над нами
Бутафорский соловей.

1976

* *
*

Разыгрываю страсть в манере современной –
Ни декораций, ни суфлера, ни плаща,
Растянутая боль вдоль левого плеча,
Система рычагов над поворотной сценой,
И публика – как саранча.

Нельзя ни вжиться в роль, ни отойти от роли,
Ни обратиться в боль, ни ускользнуть от боли.
Ах, современный стиль!

Откуда ты?

Давно ли

Один актер играет обе роли –
Героя-узника и друга-палача?
Давно ли я вживаюсь в эту лажу? –
Всё – контуром. В открытую. И даже
Ни декораций, ни суффлера, ни плаща.

1974

* *
*

И всё, что не сбылось и сбыться не могло,
Сегодня грудь мою вдруг обручем стеснило.
И небо плакало, и солнце голосило,
И дерево засохшее цвело.
И всё, чем не был я, чем я еще не стал,
Меня толкало к неблагополучью,
Из мертвого ствола росли живые сучья
С цветами и росой на заспанных листьях
И было днем темно, а по ночам светло,
И я простил тебе, и ты мне всё простила...

А то, что не сбылось и сбыться не могло,
Мне мстило за себя. И справедливо мстило.

1977

ГРУЗИНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Вчерашний день – как дерево в тумане, сегодняш-
ний – как медяки в кармане, а завтрашний – как повесть
без конца.

Чтоб подлечить разбитые сердца – езжайте в Грузию, смотрите Пиросмани. Пусть вспоминает вечная душа вкус шашлыка и запах мукузани, земных событий радостную суть – свечение быка, паренье лани, кутеж друзей без мысли об обмане и щедрой женщины тугую грудь.

И станет ясно – так же хороша жизнь, как была. Не надо ни гроша для счастья, только стоит не спеша приглядываться пристально к предметам. Не жечь мостов. Не доверять приметам. Не торопиться видеть дно в стакане. Неграмотный художник Пиросмани так учит нас.

И правда только в этом.

1977

* * *

Все в Грузии естественно, как жизнь,
Где молодость предполагает старость,
А то, что нам от прадедов досталось,
Не нам, а правнукам принадлежит.

Неторопливого грузинского письма
Прекрасный и причудливый рисунок
Зовет плениться, обмануть рассудок,
Собраться с духом – и сойти с ума!

Проститься с тем, чем маялась душа.
Прельститься простотой. Плести корзинки.
Стать виноградарем. Жениться на грузинке.
И позабыть отчизну неспеша.

Учиться жить, других не обижая,
Не тяготиться длительностью тоста...
Всё в Грузии естественно и просто –
Как жизнь и смерть. Как праздник урожая.

1977



...В Виннице кладбище перерастает в лес.
Каждый год переносят все дальше ограду;
Там, где хоронят, ограды, как правило, нет.

То ли деревья к себе принимают людей
На вечный постой, то ли люди к себе
Допускают деревья впервые.

Прямо в чащу уходят дорожки кривые,
А на опушке белеют цветы полевые.
Если бы мертвые знали то, что знают живые...

Как он жесток и загадочен, этот процесс –
Перерастание леса в кладбище
И превращения кладбища в лес...

1975

НЕПОДПИСАННОЕ ПИСЬМО (СЕРЕДИНА XIX ВЕКА)
(Из цикла «Анонимные архивы»)

Не о пирах, не о белых перчатках
Я сожалею, поверь мне, о нет.
Мне одного не хватает – печальных,
Душу терзающих, долгих бесед.
Темною полночью, после веселья,
После игры, полонеза, вина,
Мы выходили, набросив шинели...

Друг мой, ты помнишь ли те времена?

Слышались трубы в сияющей зале,
Пахло в беседке дубовой корой...
Как мы тогда свою совесть терзали,
Как мы друг друга казнили порой!

Юный задор не терпел оговорок,
Разум был ясен и требовал дел,
Честное сердце взрывалось, как порох...

Как ты там, друг мой? – небось постарел?

Видел собаку, что делает стойку?
Видел, как кот стережет голубей? –
Так я встречаю почтовую тройку,
Чтобы хоть в письмах услышать друзей.
Холодно. Снова метет с перевала.
Край сей чудесен, и дик, и суров.
Кланяйся Марье. Пришли мне журналов.

Благослови тебя Бог. Будь здоров.

1976

* *
*

Свою ладонь с моей соедини.
Решительность отчаянью сродни.
Раз выбор сложен – остается подвиг
Жить как живется. Риск велик? – Рискни!
Сегодня – время, завтра – будет поздно,
А послезавтра – нет уж, извини.

Уж если делать глупость – то с умом,
С умом и без оглядки – все умрем...
Когда решение тянешь, как резину,
Торываешь что-то в нем самом.
А в самом главном и невыразимом
Приходится казаться болтуном,

Но знаешь...

1976

* *
*

...страданиями людскими душа моя уязвлена стала.

Радищев

Окрест взглянул я, и душа моя
Уязвлена страданиями стала.
И женщина брела на костылях,
И яблоня засохшая стояла.
Мальчишки били жаб на берегу.
Младенец заливался за стеною.
И я увидел, что не сберегу
Свое здоровье никакой ценою.

Смени работу, обменяй жильё,
Женись вторично, чтоб прийти к комфорту –
Но стоит оглянуться, и твое
Благополучье разлетится к чёрту.
Обманчива ночная тишина.
Вкус горечи – в отечественном дыме.
Окрест взглянул я – и уязвлена
Душа моя страданьями людскими.

1975

* *
*

Товарищ мой умер, и мы разбираем бумаги.
Как много в его чемодане скопилось словесной бодяги –
Любовные письма, суровый отказ из журнала,
И замыслы, замыслы... Времени все не хватало.

Жизнь вроде длинна. А взглядишься – урывки, урывки.
А вот остаются – обрывки. Отрывки, отрывки...
Начало романа (кончается словом *вчера*)
И титульный лист мелодрамы «Судьба и игра»...

Письмо: «Понимаешь, отсюда до Бога – не близко,
От Бога до нас, понимаешь, рукою подать.
Конечно, Ростов – не Гавайи и не Сан-Франциско,
Но ранней весною, порой, и у нас благодать.
Давай, приезжай!

Заверяю без всякого риска –
Здесь можно не хуже, чем всюду, и жить, и страдать.
Вот только зима сыровата...».

Я глянул в окно.
Февраль шел к концу. День сгорал. Становилось темно.
И снег был густым и тяжелым, как мокрая вата.

1976

* *
*

А. К.

У русской поэзии подлинной – медленный ритм,
затяжной,
Как наши равнины:
Как будто бы едешь и едешь – и все стороной –
Дорогою длинной.

И осень. И низкие облака. Сжатый, угрюмый объем.
Медлительность пытки.
И выдохлись кони. И тянется нудный подъем
Тяжелой кибитки.

Мы учимся с вялостью этой смиряться, пока не умрем
в разгаре ученья.
Как много пустого пространства в отечестве снежном
моем,
Как много мученья.

Какой нестерпимый в нем холод, какой в нем отчаянный
зной –

Жесток и бесстрастен.

У русской поэзии подлинной – медленный ритм,
затяжной.

Он нам неподвластен.

1979

* *
*

Холод серебряный. Утро весны затяжной
Больше похоже на оттепель встречи случайной –
Легкой, веселой, но в сущности – очень печальной.
«Как ты живешь?» – «Замечательно». (Но не со мной,
не со мной!)

Воспоминаний отравы уже затуманила взгляд.
«Помнишь, когда-то?..» – «Не стоит об этом». –
«Не буду».

Жизнь – неожиданна и настоящему чуду
Этим подобна. Никто из нас не виноват
В несостоявшемся. Прочь элегический строй! –
Легкой улыбкой друг друга напутствуем снова.
Холод серебряный. *Прошлое* – глупое слово.
Жди. Уповай на удачу. И планов не строй.

Матч остановлен, но форвард не слышит свистка.
Мир подчиняется року, а не соглашениям.
Всё бы наладилось, кабы не эта тоска
По несвершенным возможностям и невозможным
свершениям.

Всё бы наладилось, всё успокоилось бы,
Жизнь бы вошла в благодатные рамки режима...

Я никогда ничего не хотел от судьбы,
Кроме того, что заведомо недостижимо.

1980

ЭПШТЕЙН Леопольд – родился в 1947 г. в Виннице, окончил механико-математический факультет Московского университета, живет в Новочеркасске (Ростовской обл.). В первой половине 1970-х сделал в СССР две или три стихотворных публикации под различными псевдонимами.

ТЕЛЕГРАММА ДЛЯ СЕНЬОРА ШТОЛЬЦА

Завернутая в белое покрывало фигура медленно раскачивалась.

Зев приблизился и тронул деда за плечо:

— Зейде, а зейде...

Дед продолжал раскачиваться, не обращая на него внимания. Зев слышал бормотание.

— Зейде, мне надо тебя спросить.

Бормотание прекратилось. Дед медленно стянул с головы талес, повернулся и проговорил своим мягким, сильным голосом:

— Тебе ужасно некогда, да? Тебе так некогда, что не даешь деду помолиться.

— Прости, зейде, только один вопрос... Почему тогда... ну, помнишь, в Поречье... почему ты спрятал меня на хуторе, а сам вернулся? Ведь ты не знал, к чему идет...

— Конечно, знал, все знали... Но я же не мог спрятать всех.

— Тогда почему ты не спрятался сам?

Дед вздохнул и покачал головой:

— Как тебе сказать, чтоб ты понял, Велвеле?

— Мне уже не семь лет, как тогда. Я уже давно взрослый.

— Взрослый? — дед опять покачал головой. — Не все взрослые понимают. Разве они не взрослые? — дед кивнул в сторону окна. — Но понимать они не могут.

— Ты не ответил на мой вопрос, зейде.

Дед поднял указательный палец.

— Ты слышишь? Тебе пора. Это очень важный для тебя день, верно?

Зев и сам уже некоторое время слышал настойчивое, знакомое попискивание.

— Только я тебя очень прошу быть осторожным, — сказал дед. — Особенно днем — никуда не выходи. Понимаешь? Ночью тебя Степан отведет погулять, а днем сиди тихо. Это очень опасно, Велвеле.

Зеев сел на кровати и, не глядя, нажал кнопку на будильнике. Попискивание прекратилось, а он продолжал сидеть с закрытыми глазами. В последнее время ему часто снился дед — каким он запомнил его в Поречье. Он с трудом мог вспомнить мать, совсем не помнил отца, а деда видел как живого.

Он поднялся с кровати и по мягкому ковру прошел в ванную. Бреясь перед зеркалом, он не без любопытства поглядывал на свое отражение: в последние недели он отпустил усы, это придавало ему сходство с местными жителями.

Чемодан был запакован с вечера. Отглаженная рубашка и брюки висели на спинке кровати. Он быстро оделся. Хотя на улице наверняка уже было жарко, он застегнул рубашку до верху: под самой ключицей у него красовался багровый шрам, и Зеев его тщательно прятал. Никаких особых примет!

Ровно в восемь он спустился на лифте и оплатил счет за гостиницу.

— Счастливого полета, — сказал портье по-английски. — Вызвать такси?

— Нет, спасибо.

С чемоданом в руках Зеев прошел два квартала, перешел на параллельную улицу и там взял такси. Через пятнадцать минут он был на вокзале. Без труда найдя свободную автоматическую багажную камеру, он поставил туда свой чемодан и набрал четырехзначный номер. Затем налегке вышел на вокзальную площадь.

Часы показывали без двадцати девять. Автобусы еще были переполнены — особенно те, что без кондиционированного воздуха и стоят дешевле. Зеев втиснулся в такой автобус и сошел минут через тридцать

возле фуникулерной станции, у подножья отвесной горы, на вершине которой высилась огромная белая фигура Иисуса Христа.

Несмотря на довольно ранний час — около десяти, — наверху, на смотровой площадке, было людно — в основном, американские туристы. Зев протолпился к самому парапету и увидел Лею.

Она стояла, опершись о парапет, и была поглощена созерцанием пейзажа — залива, глубоко вдающегося в город, и цепочки зеленых островов, идущих параллельно берегу. На ней было открытое платье, и загорелая шея казалась еще смуглей из-за белизны ткани и светлых волос.

Зев стал рядом с ней и едва коснулся ее плеча.

— Разве это не прекрасно? — сказала Лея громко, не глядя на него. Говорила она по-английски: в публичных местах полагалось говорить по-английски. Прежде чем он составил ответную фразу, стоявшая рядом старушка в седых завитках и розовых полиестровых брюках радостно подхватила:

— Совершенно восхитительно! Фантастика!

— Потрясающе, — сказал Зев. — А не пора ли позавтракать? Я тут возле фуникулера заметил ресторан.

— В таких местах кормят плохо, — вступил в разговор толстяк в полосатой трикотажной рубашке, обтягивающей необъятный живот. — В таких местах деньги берут за пейзаж.

— Желаю удачи, — сказала старушка и игриво помахала рукой.

Завтрак был классический бразильский: кофе, булочки, сыр и множество фруктов, названия которых Зев не всегда знал. Одних бананов было три сорта. Пока два официанта приносили и расставляли все это на столе, Зев поглядывал на Лею, пытаясь определить, какую новость она принесла. Но ее лицо было непроницаемо, она давала указания официантам и весело шути-

ла. Зеев невольно позавидовал ее английскому произношению.

Наконец официанты удалились, и они остались одни в почти пустом зале. Зеев молча смотрел на нее, ему было не до еды. Она незаметно оглянулась, поставила чашку на блюде и вздохнула.

— Я знаю, что очень вас огорчу, но приказ есть приказ. Вся работа прекращается. Дается один день на ликвидацию дел, завтра вы должны вылететь в Европу.

— С кем ты говорила? — спросил Зеев на иврите.

— С самим. Банковский счет вы должны перевести в Швейцарию, — ответила она по-английски.

— Но почему? Вся работа сделана, осталось закончить... Почему вдруг? Должны же быть причины! — он продолжал говорить на иврите.

— Официально нам причин не объявили. Но насколько я понимаю... Самое главное: как мы докажем, что этот Штольц — тот самый человек? Для депортации нужны серьезные данные. А где их взять? Из Вены сообщили, что русские наотрез отказались сотрудничать...

— Но можно действовать и по-другому...

— А вот это забудь! — она тоже перешла на иврит. — Сейчас другие времена, и другая страна. И фигура не того масштаба — это не Эйхман.

Они замолчали. Она всматривалась в его лицо, а он отсутствующим взглядом смотрел вдаль — на темно-зеленые острова в ярко-зеленом море. Она положила свою загорелую руку на его запястье:

— Когда мы теперь увидимся?

Он, не шевелясь, продолжал смотреть в одну точку.

— Неужели тебе все равно, когда мы увидимся? — спросила она дрогнувшим голосом.

Он резко повернулся к ней:

— Это всё засранцы из министерства! Собственной тени боятся... Шесть лет работы — кошке под хвост...

Лея отдернула руку, схватила со стула сумку и резко поднялась.

— Ладно, прощай. Уплати за завтрак, будь джентльменом.

В нарушение правил, она сказала это громко на иврите и пошла к выходу. Почти у дверей она остановилась и медленно обернулась. Он сидел, опустив голову, и сосредоточенно думал. Она подбежала сзади, обняла его за плечи и быстро проговорила в ухо:

— Только не делай глупостей, слышишь, не смей! Всякие акции запрещены, слышишь? Нарушения приказа тебе не простят. Не делай глупостей!

Он еще долго сидел после ее ухода. К полудню ресторан заполнился проголодавшимися туристами. Февральское солнце невыносимо пекло. Над городом поднялось дрожащее марево, и сквозь него зеленые острова казались далекими и размытыми. А над его головой, раскинув руки, парил белый Христос.

Платформы не было, и Зев спрыгнул с нижней ступеньки вагона прямо на землю. В чудовищно грязном станционном сортире он помылся ржавой водой, но бриться не стал. Впрочем, небритость придавала ему еще большее сходство с местными жителями, на которых он и так был похож смуглой кожей, черными усами и прической. Брюки, рубашка и ботинки были куплены в этой стране.

Кофе он ухитрился заказать, не произнеся ни слова: в этой глуши акцент мог привлечь внимание.

От вокзала до городка было километра полтора. Зев решил пройтись пешком. Времени у него было много, и, кроме того, он нуждался в прогулке после ночи, проведенной в душном сидячем вагоне. Накануне он изрядно устал, бегая по городу и изображая «ликвидацию дел», чтобы усыпить бдительность командования. И Леи — она была заодно с ними...

Он шагал к городку, уверенно выбирая дорогу, хотя никогда здесь раньше не бывал. В течение нескольких месяцев он штудировал все это на плане и по фотографиям, которые готовили для него коллеги. Через тридцать минут он уже подходил к тихой окраинной улице с редкими домиками.

Он перемахнул через какой-то забор, укрылся за сараем и быстро напялил на себя полотняную куртку и фуражку, которые достал из висевшей у него на плече кожаной сумки. Фуражка была с желтым околышком, как носят в этих местах почтовые служащие. Этот хорошо известный вариант был все же признан «лучшим при данных обстоятельствах».

Вскоре он уже настойчиво стучал в дверь дома в конце улицы.

Долго никто не отзывался, хотя Зеев отчетливо слышал за дверью шорох и лязг металлической цепочки. Он продолжал стучать. Наконец, низкий старческий голос задал какой-то вопрос. Он тут же ответил фразой по-португальски, которую ежедневно репетировал в течение пяти недель:

— Телеграмма для сеньора Штольца. Прошу расписаться.

Дверь приоткрылась, и он успел разглядеть лысый старческий череп и внимательно смотрящий голубой глаз.

— Прошу расписаться, сеньор Штолец, — повторил Зеев и подал в щель розовую квитанцию и шариковую ручку.

Старик наклонил голову, пытаясь рассмотреть квитанцию, и в этот момент Зеев ударом ноги сорвал дверь с цепочки и прыгнул на старика. Он ударил его в живот и в голову — тот упал, выронив черный кольт с коротким стволом, который держал за спиной.

Зеев захлопнул дверь и склонился над стариком.

Тот лежал без чувств на спине. Зеев разглядывал вблизи старческие морщины и остановившийся взгляд.

Сколько лет он думал об этом моменте! Собственно, всю свою жизнь, сколько помнил себя.

Зев подтащил старика к стене и усадил его на полу. Сам он сел на стул напротив, достал из-под куртки пистолет и не спеша стал навинчивать на ствол глушитель, не отводя взгляда от старика.

По сути дела, несколько лет подряд он обманывал командование, утверждая, что сможет узнать Вуляка. Он видел его в семилетнем возрасте, один раз, на улице в Поречье — и ничего не запомнил, кроме серого мундира и высокой фуражки. Впрочем, и это могли быть позднейшие наслоения памяти.

Он огляделся. Небольшая, бедно обставленная комната была чисто убрана, повсюду расставлены глиняные горшки с комнатными цветами. Стены украшены фотографиями, вырезанными из журналов и наклеенными на картон, — в основном, пейзажи. Никаких книг и вообще ничего, что указывало бы на интересы хозяина или его происхождение. На столе, покрытом скатертью, остатки прерванного завтрака: огурец и кружка молока.

Зеву показалось, что водянисто-голубые глаза старика проявляют признаки жизни. Вместе со стулом он придвинулся и впился взглядом в зрачки. Хотя Зев изучил десятки его фотографий, старик оказался меньше ростом и худее. Белая, застиранная майка открывала немощные плечи. Ему был семьдесят один год, Зев знал это точно, но выглядел он старше.

Определенно старик смотрел на Зева.

Зев направил на него длинный ствол пистолета и сказал по-русски, отчетливо выговаривая слова:

— Что, Вуляк, не ждал гостей? А? Вуляк!

Выражение худого морщинистого лица не изменилось, и невозможно было определить, понял ли он обращенные к нему слова.

— Думал, спрятался? — сказал Зев еще более громко и настойчиво. — Не ждал, что искать будут? А, Вуляк?

Лицо старика не отражало никаких чувств, когда он вдруг проговорил хриплым голосом, делая длинные паузы между короткими фразами:

— Ждал... Всю жизнь вас ждал... как отца моего в двадцать восьмом году взяли... так и жду.

Чувство облегчения, которое испытал Зев, можно было назвать радостью. Он всем — и себе тоже — повторял без конца, что да, это Вуляк; этот Штольц никем другим быть не может. И только тогда, когда он услышал русские слова, произнесенные с особым акцентом, с каким говорили в их местах, там, где сходятся Польша, Украина и Белоруссия, только тогда сомнения, которыми он мучался все это время, оставили его. Дальше будь что будет! Пусть он поплатится положением, карьерой, даже свободой, но самого худшего он уже не сделает: не убьет невинного человека.

— Нет, Вуляк, ошибаешься, это не советские тебя отыскивали. Им, Вуляк, ты не нужен. Ошибаешься, Вуляк! — Зев с упоением повторял его имя.

— А откуда ж ты? — старик даже спрашивал без всякой интонации, и весь вид его выражал полное безразличие.

— Откуда? А помнишь Ромашевский овраг, за рекой, повыше пристани? Помнишь, Вуляк? Две тысячи триста человек, что ты там закопал? Я из них...

— Помню, чего ж не помнить? — сказал старик спокойно. — А ты что, сам-то из Поречья?

— Говорю тебе: я оттуда. Я тебе и свидетель, и судья. Шубиных помнишь, на Ковельской жили?

— Это кто же — Мендель Шубин? — Вуляк с любопытством посмотрел на Зева, — первый раз он проявил какой-то интерес к происходящему. — Кто ж не знал старика Шубина? Его даже хуторяне святым почитали... Только я чтой-то сыновей у него не припомню. Дочка у

него была, в Минске на врача училась. Замуж за русского вышла.

— Я внук Менделя. Святым, говоришь, почитали. А ты его... в Ромашевском овраге. Что он тебе сделал, а, Вуляк?

Старик пожал плечами:

— Да ничего не сделал. Ты думаешь — это по злобе? Не было никакой злобы у меня против них. Мне все одинаковы — что евреи, что поляки, что белорусы. Мы ведь раньше как жили — никто никому не мешал.

— Так зачем же ты...

— Зачем? Известно, зачем: жизнь свою спасал, вот зачем. У меня ни против кого злобы не было, я человек смиренный. Это вот ты ко мне с пистолетом пришел старое вспоминать, а я жизнь свою спасал.

— Это старая песня, Вуляк, это мы слышали: во всем немцы виноваты, а ты тут сам жертва.

Вуляк покачал головой и все так же равнодушно проговорил:

— Я ни от чего не отказываюсь, что было — то было. Я делал все, что приказывали. Но только как это получается: ты ко мне с пистолетом приходишь, убивать меня хочешь, а они все, кто больше меня виноват, — они в стороне оказались... Как же это получается, Шубин? Меня ты по всему свету ищешь, а они у всех на виду.

— Ладно, Вуляк, хватит! Много разговоров...

Зев повел в его сторону стволом со звукоглушителем.

— Ты не думай, что я твоего пистолета испугался. Мне вон худшая смерть приготовлена, — Вуляк кивнул головой в сторону стола с остатками завтрака. — Вон, видишь, стакана молока допить не могу. Рак желудка. Полгода мне осталось, а может, меньше... Я твоего пистолета не боюсь. А если хочешь знать правду, то началось не с немцев. Я говорю тебе, раньше злобы такой в людях не было. А потом пришли большевики и все отняли. У всех — у евреев тоже. А потом говорят:

ладно, работайте, делайте дело, помогайте стране... Ну, мой отец, царство ему небесное, и открыл мельницу. Все хорошо, только в двадцать седьмом году опять отняли, а в двадцать восьмом из энкэвэдэ пришли, самого забрали. С тех пор мы его не видели... Теперь смотри, что получается: я уже сын врага, мне ходу нет. Из техникума выгнали, на хорошую работу — и не мечтай... А я в семье старший, у матери еще трое... И вот тут нашелся приличный человек, не побоялся на ней жениться. Моисей Дворкин — не помнишь такого? Бухгалтером в заводууправлении работал, не помнишь? Ладно, жить стали лучше. Моисей меня на завод устроил. Живем, не голодаем. Теперь: начинается война, приходят немцы. А у меня отчим — Дворкин, понимаешь?

— И что — ты этого Дворкина тоже в Ромашевском овраге убил? В благодарность...

— Нет, они с матерью успели спрятаться, я помог. Они еще после войны жили, мне люди рассказывали... Да, так вот мне и говорят: ты — Дворкин. Я говорю: вы что? Я тут ни при чем. Они говорят: докажи на деле! Деваться некуда, пошел служить. Сначала рядовым, потом повышение...

— Конечно, Вуляк, тебя слушаешь — вас всех заставили...

— Нет, многие шли служить своей волей. К этому времени уж столько злобы в людях накопилось... Особенно против евреев: что им при большевиках лучше жилось, чем другим. Но и против друг друга. Озверели прямо люди. А я пошел служить, потому что себя спасал.

Странные чувства овладели Зеевом. Этот немощный старик, убийца его деда и сотен других людей, не вызывал в нем ненависти. Вот он сидит и своим хриплым стариковским голосом рассуждает о жизни — самый обыкновенный старик, похожий на всех других, даже на его «зейде»... Эта мысль показалась Зееву кощунственной, он вскочил со стула и сделал несколько шагов по

комнате. Потом подошел к старику и неожиданно для себя задал вопрос, который с самого начала решил не задавать, хотя он все время приходил ему в голову:

— Скажи, Вуляк... я хочу спросить, ты деда Менделя помнишь там, в овраге... когда вы его расстреливали?

Вуляк отвел глаза, прокашлялся и сказал все так же без интонаций, только еще более глухим голосом:

— Не, в овраге не помню... Я в тот день в овраге не был, я отвечал за конвой. Мне в отряд этих новых, только из деревни... Они же ничегохоньки не умеют. Они же боятся хуже жидов... А майор Носке все видит, а отвечать мне... Я только помню, он в белом из дома вышел, старик Шубин, как в простыню завернулся. Я даже подумал, чего это он в простыню завернулся?... А в овраге я не был. Мне и с этим пацаньем деревенским хватало... А ты сам-то где был — в Минске, что ли?

— Меня перед самой войной мать в Поречье к деду привезла. А когда уже стало ясно, что гетто будут ликвидировать, дед меня на хуторе спрятал, у Степана Киселева, я там до конца войны дожил. Родители в Минске погибли...

Зачем он все это рассказывает? И вообще — чего он ждет, разве не все ясно?

Зев опять прошелся по комнате. Этот старик не вызывал у него никаких чувств, кроме жалости. Зев посмотрел на недопитое молоко. Шесть месяцев? Вряд ли он протянет и три... Но тогда — может, не стоит? И для него, для Зеева, все могло бы обойтись благополучно: ну, влетело бы ему за поездку к Вуляку, но это же все-таки не самовольная расправа, за это под суд не отдадут.

Он повернулся к Вуляку — и увидел направленный на него черный кольт с коротким стволом. Это было последнее, что он видел. Сильный удар в грудь бросил его назад, на стену. Комната перевернулась в его глазах,

и он начал медленно сползать на пол по забрызганной кровью стене...

Зев двигался по очень длинному темному туннелю, в конце которого отчетливо был виден яркий свет. Сначала ему казалось, что он один, но потом он различил возле себя завернутую в белое фигуру. Зев пригляделся и узнал деда Менделя. Он улыбался своей мягкой, смущенной улыбкой, как всегда улыбался, когда не молился и не спал.

— Зейде, а зейде, — позвал Зев.

— Ну, что ты хочешь, Велвеле?

— Я хочу понять, зейде. Помнишь, я всегда хотел быть сильным, даже там, в гетто, когда мне было семь лет?

— Я помню, Велвеле. Ты был такой беспокойный мальчик. И как это Степан смог прятать тебя так долго?

— Всю жизнь я хотел быть сильным, а теперь хочу понять...

— Конечно, Велвеле. Понять очень трудно, это труднее, чем быть сильным.

— Зейде, а смогу я когда-нибудь понять?

— Конечно, Велвеле. Теперь уже скоро...

— конец —

СТИХИ ИЗ СБОРНИКА «БИОГРАФИЯ»

* *
*

Проказа памяти, а и смерть сама
проступают жиром на школьном снимке.
Я тогда положил не сойти с ума
и посох купил на Благовещенском рынке.

СТИХОТВОРЕНИЕ О МОЕЙ СМЕРТИ

Вероятно, весь я умру во вторник
часа в четыре
на старом диване
легко и сразу

Степан Васильевич, дворник,
пойдет шагать по моей квартире
– начальник! –
и отдавать приказы.

Тетя Ксения давай с ним спорить:
– ты кто такой, чтобы распоряжаться. –

Жена воротится с работы. Вскоре
гости в мой дом начнут съезжаться.
.....

Служка повиснет над куклой в белой тряпице –
знаки, летящие влево на ней по закону.

А непришедший станет мелко креститься,
не плакать
и видеть в углу икону.

март, 1984
Иерусалим

СОН

Это неправда, что нет
в доме моем ни кола. —
Кол-то как раз и вбит
посреди стола.

Чтобы столу не встать
полночью упырем.

— как я хотел бы спать —

комнату приберем,
песенки пропоем.

Горницу убрала
неслышно жена чуть свет —
а не сыскать следа.

Это неправда, что нет.

апрель 1984

* *
 *
 *

И. Хрущицкой

Заглянуть в себя,
увидеть,
заглядеться
и тотчас — прочь:

точно падаль, гниют обиды.
Чем пытаться помочь,
почитай мне из «Энеиды»
или повесть «Дворянская дочь».

Измельчала порода,
по-людски чтоб похоронить
при стеченье народа.
Было б вовсе не жить.
Что напрасно хулить природу –
брось природу хулить.

Слышишь, мыши за книжной полкой,
тащат мыши вчерашнюю снедь,
и стучат, и сучат, и только:
он не смог преступить и сметь!

Помнишь, в Харькове на барахолке
павильон «Под куполом смерть».

июль 1984

* *
*

Манфреду Винклеру

Вот бегун –
задыхается,
падает не дыша.
Вот строка –
столь беспомощна, что.
Но не стать и не сбыться не смеет.

Так к душе прикипает душа
к сорока
и от радости
столбенеет

от ужаса, от
невозможности вместе и без
неумения сладить.

Но полет
сей души прикипевшей –
сладчайший порез,
он болит,
он уже не болит,
он живет!
Так приснится вам смерть,
рассветет –
вы проснулись и живы.
Перестаньте – он сладок.

Здесь начнется такое – хоть святых выноси на мороз.
Все тишкóм да нишкóм,
чтоб не сглазить, не вытравить чтобы,
вдруг наотмашь снежком –
до февральских – откуда здесь, Господи, – слез,
и шагаешь пешком,
а навстречу сияют сугробы.

август 1984.
Иерусалим

РОМАНС

Полет ночной, спаси аэроплан!
Небес развертка в пятнах маскхалата,
но самолету чудится Монблан
в роскошествах восточного заката.
В округлостях холмов сокрыт обман
– ищите женщину. Она не виновата. –

Столь резок переход от света к тьме,
что самолету кажется вполне
бездарной песня о друзьях-пилотах.
Он знает, что пилота не спасти,
и по ночам, когда находит стих,
гудит романс о смерти самолета.

Приемничек расхлябанно поет –
наследие британского мандата,
а мальчик собирается в полет,
– он подтвердил. Она не виновата. –
Его, по тексту, точно в пять уьбет:

таков романс – ночной полет, расплата,
кремнистый путь, холодная рука
и на погонах крылья мотылька.

сентябрь 1984

ИНТЕРМЕЦЦО

(Подражание, вероятно, французскому)

Когда ночные сторожа
стучат по звездам колотушкой,
ладонь на сердце положи,
отгородившись подушкой

от мира, с юной потаскушкой
я засыпаю, не дыша
от счастья. Голубая вша
у ней жирует на макушке.

Что значит колер голубой,
коль скоро и любой другой
сгодится на такое дело?

А ничего. Для спящих нас
осталось радости на час,
пока она не заболела.

сентябрь 1984

Книга стихотворений Александра Верника
«БИОГРАФИЯ»

выходит в Иерусалиме.

Ее можно заказать по адресу:

Alexander Vernik, Gilo «В» – 306,

Margalit Str. 1/10, Jerusalem 93384, Israel.

Стоимость за границей – 7 долларов,
в Израиле – 9 новых шекелей.

КОСЫНКА В БЕЛЫЙ ГОРОШЕК

Так всегда бывает в этих местах, да и не только в этих, до поры сухо, а потом заладят дожди, захлестнут все, а дел еще непочатый край. И так по неделе частят, с утра, с небольшими дневными или вечерними перерывами, под сплюсненным небом. И вроде бы не сильный, а мелкий, и хворый дождь. Расползутся дороги, станут мылкими. И машины крутит из стороны в сторону, делают пережег бензина. И тогда вернее транспорта, чем лошадь, нет.

Теперь Антонов пожалел, что свернул на эту развилку, потому что геодезиста он так и не нашел, хотя проехал он уже много, а теперь и вовсе не знал, куда сворачивать.

Лысый плелся понуро, копыта его часто разъезжались, он припадал, но быстро восстанавливал свое первоначальное положение, как человек, поскользнувшийся на льду. Однако телега выскивала свою колею сама, и тем облегчала продвижение Лысому.

Антонов сидел на мокром сене. Ехать ему было далеко, и собираясь, он положил побольше сена. От долгой и валкой дороги он устал и потому иногда ложился в телегу, уставившись в хмурое, будто застиранное небо. Дорогу ему никто не указывал, дали лошадь, да и он сам думал, что найдет, потому что степь не лес, и однажды он уже был там. Он вспомнил всю свою дорогу, по которой он с утра тянулся, и подумал, что обратно возвращаться уж резона нет, а дорога должна была все-таки привести к какому-нибудь жилью, потому что обратно, в этой одинаковой кругом степи, можно опять поехать не туда.

Дорога действительно привела его в деревеньку из нескольких дворов, расположенных, однако, далеко

друг от друга, а возможно, это был только отшиб даже большой деревни, скрытой отсюда сопками.

Он въехал в первый же ближний шаткий двор, стал там, и пошел к черному от воды, старому срубу. Сперва попал он в маленькую переднюю, а потом толкнул дверь и оказался в основной, наверное, и единственной комнате, где было темно.

— Можно? — спросил Антонов, став уже за порог и ожидая.

— Ктой-то, незванный? — отозвался резкий женский голос из-за ситцевой, от пола на всю комнату, занавески. Антонов оглядел комнату, досчатый пол с щелями в палец, прямо перед ним открытую без дверцы печь, которая едва топилась и давала в комнату небольшой жар и свет. Справа под низким и нешироким окном, вдоль всей стены, стояла длинная лавка. Из-за занавески вышла женщина, босая, застегивая юбку. Сверху она была в белой и чистой из грубого полотна рубашке под самое горло, не оставляющей ничего открытым.

— Чего глаза пялишь, — сказала она Антонову, прикрыв грудь ладонью, — дверь затворите, небось, холод.

Антонов неловко прикрыл дверь и теперь стоял, ожидая, что она скажет. Она вышла, чтобы прибрать волосы и набросить платок на плечи, и Антонов увидел на занавеске выпирающую ее ногу.

— Идите к лавке, чего пнем стоять-то, — сказала она.

Антонов прошел к лавке, стараясь меньше грязнить, сел и положил руки на колени. Он подумал, что, может, у нее нет мужика, и ночевать у нее будет неловко, и потом начнут говорить, что привела к себе заезжего командировочного.

— Чего надо-то, чего мне с вами делать-то? — спросила она, осматривая Антонова.

— Геодезист мне нужен, — сказал Антонов, — дома надо ставить. Сейчас не успеем, зимой поздно будет.

— До Степаныча далеко будет, — сказала она, — куда ж теперь до него-то. С утра надо.

— С утра и еду, — ответил Антонов.

Он посмотрел в окно, снял свой намокший брезентовый плащ, и не найдя на стене гвоздя, положил в угол.

— Как звать вас? — спросил Антонов.

— Настей звать, — ответила она. — А зачем вам?

Он не знал, что ему сказать, они помолчали немного и, решившись, Антонов сказал:

— Переночевать мне надо, Настя, вот что.

Она встала, прошла босиком до печки, вынула неостывшую еще из духовки и неочищенную картошку и дала Антонову.

— Нельзя мне. Двое у меня детишек от разных мужиков за занавеской. А своего нету.

Антонов посмотрел и вспомнил, как она прикрыла ладонью грудь, и подумал, что было ей не больше двадцати шести.

Он разломал картошку и, очищая шкурки, раскладывал их на лавке, чтобы потом класть туда чистую. Потом достал из полевой своей сумки, от Парамоныча, выданный им же спирт для геодезиста, и черную буханку хлеба, купленную в Харлове. Антонов решил, что стоит уж сегодня выпить, раз уж неизвестно где будет ночевать сегодня и будет ли вообще, хоть и был спирт для геодезиста.

— Что ж я соли-то не подала? — сказала Настя.

Она быстро встала и ушла за занавеску и принесла оттуда банку соли.

— Давайте выпьем, Настя, — сказал Антонов. — Только стаканы нужны, а потом я пойду.

Она принесла стаканы. Он налил по полстакана ей и себе, и они выпили. Она сидела тоже на скамье, и между ними была чистая картошка на разложенной им

шелухе, и банка соли, и начатая неполная бутылка спирта, и два стакана.

Антонов разломал хлеб. Подал половину Насте, густо посыпав солью.

Они съели по куску хлеба с солью и по картошке. Картошка была даже теплая.

Лампа стояла на подоконнике, и им было светло.

— И лук есть? — спросил Антонов.

— Есть, — обрадованно сказала Настя. Она достала лук, очистила и теперь сама, макнув целую головку в соль, подала ее Антонову.

— Люблю смотреть, как мужик ест, — засмеялась она.

Она и сама взяла луку, и теперь они оба ели картошку и хрустели луком с солью и черным хлебом.

После спирта Антонову стало тепло, и он подумал, после того как Настя засмеялась, что хорошо бы остаться здесь и никуда не ходить.

И Насте тоже стало тепло, она радовалась, что может посидеть тихо, поесть картошки и выпить с мужиком. И вся ее дневная маята исчезла сейчас, и она подумала, что хоть и нескладная ее жизнь, но бывают и у нее хорошие дни.

Антонов налил еще, и они выпили снова.

— Хорошо пошла, — сказал Антонов.

— И у меня тоже, — ответила Настя, и они оба рассмеялись.

Они съели еще картошки и луку, и теперь они ели только отломанные от хлеба запеченные корки, а мякоть оставляли, потому что голод уже притаили.

— А как вас звать-то? — спросила Настя, теперь уже не смущаясь этого незванного мужика.

— Антонов, — сказал он, привыкнув к фамилии своей в институте.

— Значит, Антоша, — сказала Настя.

— Можно и так, — сказал Антонов, улыбаясь.

Кто-то из ребят задвигался за занавеской, и Настя встала посмотреть. Потом она вернулась. Они доели картошку, теперь уже без лука и хлеба, просто с солью. Потом они посидели еще.

Антонов молчал и не знал, что сказать. Он подумал, что, может быть, это и есть счастье.

Лампа на окне погасла. Антонов вздрогнул.

— Кончился керосин, — сказала Настя тихо, — идти за ним далеко, аж за сопку.

Антонов ничего не ответил. В комнате было уже совсем темно.

Между ними, на лавке, стояла банка соли и расстеленная по лавке шелуха, и лежал плохопропеченный мягкий хлеб.

Он отломал кусок этого хлеба.

— Пойдемте, — сказала Настя.

— Я останусь здесь, — сказал Антонов. — Я никуда уже не пойду.

Настя встала и принесла ему его брезент из угла, и он начал медленно натягивать его.

Она вышла поглядеть на улицу.

Она открыла дверь, и ее обдало дождевым шумом. Теперь лил серьезный настоящий дождь надолго. Она глянула в темноту и ничего не увидела, ни двора ни кола, даже своего валкого забора.

И ей стало горько оттого, что нигде не было света, что гостил у нее чужой незванный мужчина, что Антонову надо уходить и что ей теперь уже придется оставить его у себя. Она прислонилась к косяку и тихо заплакала. Но ничего не было слышно, потому что лил серьезный настоящий дождь надолго. Потом она вытерла глаза и вошла в дом.

Пока она так стояла, будто вся жизнь ее уже прошла и закончилась.

Антонов уже оделся и ждал ее, чтобы проститься. Он уже не думал о погоде, о домах, и о том, где ему придется спать.

— Раздевайтесь, Антоша, — сказала Настя. — Положу спать у себя.

Он снова начал раздеваться и побросал все в угол. Она подметала, где готовила ему постель.

— Вы не беспокойтесь, сумею, мягко будет, — сказала Настя, постилая на пол цветастое, из разных кусков, ватное одеяло.

Она забыла про свою горечь, когда распахнула в дождь дверь, про свои горькие бабьи слезы и про нелегкую ее жизнь. И ей снова стало хорошо, будто они сидели с Антоновым на лавке, ели вместе хлеб и говорили.

— Только бы с полу не дуло, всежки холод, — сказала она.

Потом она принесла подушку, взбила ее и сама легла испробовать.

Она примостилась и так и эдак, перевернулась с боку на бок, а потом легла на спину.

— Хорошо будет, — сказала она довольная и встала.

— Спасибо, — глухо сказал Антонов. Он снял с правой ноги ботинок и, когда она поворачивалась, смотрел на нее. Он подумал, что вид у него, наверное, несуразный, в военных отцовских брюках, без сапог, с распущенной поверх гимнастеркой.

Настя ушла за занавеску, и Антонов услышал, как закрипели под ней доски, когда она укладывалась.

Потом он слышал, как она встала, хлопнула дважды сенями и долго не возвращалась. Когда она вошла, он оглянулся к ней. Она стояла в мокрой телогрейке и платке.

— Что ж вы лошадь-то забыли, Антоша, — рассмеялась она, — а сами-то улеглись, ботинки сняли. Сразу видно, что городской.

— Вы меня простите, Настя, — про лошадь я забыл.

Ночью Настя не спала, она думала об Антонове, о том, что плохо все-таки ему постелила, как бы не дуло. Она вспомнила, что ей было хорошо с ним, когда они сидели и ели картошку с солью и луком, и черный хлеб. И она забыла, что на улице лил настоящий дождь надолго, и что скажут завтра соседи, и про двух детишек от разных мужиков, которые спали теперь в ряд, вместе с нею, на досках.

Антонов тоже не спал ночью, ворочался с боку на бок и думал о Насте, о том, что до холодов надо поставить дома, что его ожидают в заготпункте и что, зря он, наверное, сбился на эту развилку и попал в Настин дом и теперь мается. Потом он услышал, что она встала босая. Она вышла из-за занавески в рубашке и быстро пошла к тому месту, где он лежал на полу.

— Дай хотя бы полежу возле тебя, возле мужика-то, — сказала она виновато и, присев, быстро юркнула к нему, укрываясь его брезентом и прижимаясь к нему вся. Антонову сделалось жарко, и, обнимая ее, он подумал, что вместе с ними, здесь же, были ее дети, в одной с ними комнате, и что живет она на отшибе, может, даже большой деревни.

— А мужика, ой как хочется, — быстро говорила она, целуя его лицо и глаза, — и все мужики по деревне по своим бабам. А кто был, так кто в городе пропал, другой в армии остался. И такого бы мужика, как ты, Антонушка.

Антонов был на Алтае полгода. В поселке стояли выложенные из бутового камня склады, ожидая, когда пойдет зерно. Камень били где-то у Колованского хребта, на границе с Монголией.

Кроме складов, ничего не было. Сам он жил в землянке, оббитой сосновой доской.

Сначала он варил в котлах асфальт, делали у складов тока под зерно. Потом пошло зерно.

Когда машины буксовали, они сбрасывали его под колеса.

Были только грунтовые дороги.

Ночью небо было черным, без просветов с боков, но без туманов и облаков, чистое, с большими яркими звездами.

От них только и шел ночной свет. И от этого виделась чернота неба.

Дождевой шум вдруг разом стих. Так бывает в этих местах. Можно ехать часами по мылкой дороге, машину будет вести из стороны в сторону, дождь падает плотной завесой, промокнешь до костей, наберешь на сапоги пуд глины и надорвешь мотор, и вдруг, будто чудо, будто Бог тебя услышал, на две половины разделится дорога, прочертится как ниткой на две половины, и там где ты был, там тебя уже нет; и машина рванет по сухому на все свои сто двадцать лошадей, пойдет сухая без дождей дорога, а потом глядишь, через сто метров, уже жарко палит солнце.

Когда дождевой шум стих разом, Антонову вдруг пришла шальная мысль. Он вспомнил долгую и валкую дорогу, как он подъезжал к ее дому, горы горячего после просушки зерна, асфальт, который он варил в котлах ноль семьдесят пять куба.

— А самолет ты видела, — неожиданно спросил Антонов.

— Откуда ж мне видать-то его, — сказала она шепотом, сбивая дыхание свое и снова обцеловывая Антонова. — Ни самолета, ни мужика близко нету. А так, они-то летают, иногда пролетит какой. Протрачусь только. Да куда я от ребятишек, с ними-то я на всю жизнь. Да зачем мне самолет-то, Антонушка? Разве что с тобой куда улететь, милый.

Потом она сказала Антонову: если бы однажды было синее небо,

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишневую.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришел, то это было бы ее счастье.

Остался бы милый, сказала Настя утром, сладко мне с-тобой.

Антонов ничего не сказал, только крепче обнял ее.

Тогда Настя ему сказала: я же воду из-под тебя пить буду, Антонушка. И дома все выскребу. И печку побелю.

Я ж не злая и на работу скорая. От жизни это все.

Вот такая у нее была жизнь, а сейчас станет другая.

— Учиться мне надо, Настенька, — сказал Антонов.

— Сколько же учиться? — спросила Настя тихо.

— Три года, — сказал Антонов.

— Как в армии, — вздохнула Настя, — долго.

— Долго, — сказал Антонов.

Утром Настя собирала его в дорогу, как своего мужа.

Пока он спал, она постирала всю его одежду. Развела огонь в дворовой печке и раскалила чугунный утюг. Потом просушила под утюгом всю его одежду: гимнастерку, военные штаны и рубашку.

Антонов смотрел на нее, как она принесла чистые его брюки и гимнастерку. Глаза ее и лицо просветлели после ночи. Он вспомнил ее дрожащее тело, и ему стало горько.

Приедешь в город если, сказал Антонов, заходи.

На клочке бумаги он написал ей адрес общежития.

Настя вышла вслед ему, но не пошла дальше сеней.

Антонов сел в телегу, и не оглядываясь, дернул Лысого.

Настя не смотрела ему вслед. Она закрыла глаза, чтобы все, что было у них, увидеть снова и оставить в своем сердце навсегда.

Когда она открыла глаза, Антонов был уже далеко, дорога изогнулась крюком на подходе к сопкам, и

Лысый шел будто теперь к ней, выискивая колею колесами, и лицо Антонова будто бы было тоже обращено к ней, и он тоже шел к ней, и он что-то говорил ей, близко, в самые губы.

Она же говорила ему: если бы однажды было синее небо.

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишневую.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришел, то это было бы ее счастье.

август, 1985

Журнал «БЪДЕЩЕ»

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* *
*

Деревянные дроги,
да осиновый дом.
Не отыщешь дороги
в вертограде ночном.
Позабудешь о доме,
что остался нигде,
в подоженной соломе,
в неприкрытой беде.

Жалок наш околоток,
а осенний – вдвойне.
Житель, тёмн и кроток,
неподвижен во сне.
Он в жилье некрасивом
изнывает впотьмах,
задремавши за пивом
с сигаретой в зубах.

Впрочем, есть и иные.
Знай, бормочут не в лад,
тянут ручки дверные,
да в окошки стучат.
Ходят градом предзимним,
спирт метиловый пьют,
поливая бензином
деревянный уют.

Оттого и не спится
ни одной, ни вдвоем
перепуганной птице
с обожженным крылом,
и обиженный некто
с обожженной рукой –
будто алый прожектор
в тесноте городской.

Он бежит на свободу
по дорожке кривой
к деревянному своду
над дурной головой.
От витрины к витрине
в милицейских свистках –
и сгущается иней
на открытых глазах.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

А. Ц.

I

Что там маячит за мглою колючей,
сквозь приснопамятный вой?
Видимо, родины сгорбленный случай
вышел на промысел свой.
Видимо, снова запахло удачей,
если веселый юрод
палкой ореховой в холод собачий
землю звенящую бьет.
Ах, сколько было пинков-зуботычин,
сколько ночей под дождем!
Дай-ка поделимся, милый, добычей,
всю аккуратно сочтем.

Вот тебе камень у самой дороги,
выпей со мною, уважь.
Хоть мы и скромные были пророки –
жалко, что вышли в тираж.
Вот тебе шкалик и хлебная корка,
птицу покормишь из рук.
Нет. Умирать в наши годы недорого,
зря сомневаешься, друг.
Только погода такая холодная...
Где ж ты, ворона, утешь!
Или мы пугала огородные,
или ты хлеба не ешь?

II

Что там маячит в чащобе ампирной,
светит без лишних прикрас?
Это отечества пряник имбирный
с красной смородиной глаз.
Там, без подряда с торговой палатой,
хитрым товаром звеня,
едет на ярмарку тип небогатый,
весело гонит коня.
Множество в роще безлюдных дорожек,
есть и такие, что ах!
За голенищем хозяйственный ножик,
светлая злоба в глазах.

Превозмогая, скорбя и ревнуя
к честным господским трудам,
эту судьбу – золотую, хмельную –
я никому не отдам.
Заголосила на рынке старуха,
глядь – и застыли во льду
гири клейменные, рваное ухо,
драка в охотном ряду.

Надо б добавить багрового цвета,
снега, особых примет...
Надо б расплакаться – только на это
места и времени нет.

* *
*

Хорошо безруким нищим
на углу стоять,
или ветром на кладбищем
вымершим летать,
хорошо, как в поговорке,
двадцать тысяч лет
посылать на землю зоркий
отраженный свет.

И не мучайся, не стоит
давнюю виной.
Хорошо бежать пустою
улицей ночной,
и очнуться у вокзала
в злые времена,
чтобы поздняя звучала
скрипка из окна.

Город бедный, город старый,
деревянный звон.
На худой конец гитара,
или патефон.
Хорошо об эту пору
раздавать долги,
чтобы сзади – Командора
быстрые шаги.

В обреченности свободной,
через волчий вой
хорошо бежать холодной
звездной мостовой,
хорошо спешить, покуда
ночь еще тверда...
А легко мне или худо –
не твоя беда.

* *
*

То ключ, то паспорт потеряешь,
проснешься не в своем уме –
и удивленно замираешь,
готовясь к медленной зиме,
там, не загадывая на год,
не ведая, как смерть долга,
на землю выпретенную лягут
неторопливые снега –
метель, а может быть, и выстрел,
не обернуться на бегу –
и наши тени, словно листья,
оцепенели на снегу.

Я снова стану суеверен
декабрьским вечером одним.
Зажгу свечу, закрою двери,
вдохну неповторимый дым.
Забыла? Плакала? Любила?
Тревожилась? На мокрый лед
все то, что будет, все, что было,
горящим воском упадет,
и незадачливый алхимик
ушедшей ночи вопреки
знай смотрит в зеркальце, в сухие
неосвященные зрачки...



Развал переулков булыжных,
арбузы, да запах борща,
где чаще всего передвижник,
сюжет социальный ища...
Он знает – здесь травятся газом,
зеленое глушат вино,
и вот – наблюдательным глазом
в подвальное смотрит окно.
Этюд – папиросный окурок
в бутылке. Учитель-еврей
вполголоса слушает хмурых
отцов и глухих матерей.
И замысел – трое с поллитрой
в подъезде, с намеком на вред
правительства, с бедной палитрой,
где цвета лазурного нет...

Работай – я спорить не буду,
под медленный шепот дождя
с авоськой порожней посуды
в заброшенный дворик входя.
С весны еще пахнет сиренью
и с юности – горькой листвой.
Осеннее сердцебиенье
водою бежит дождевой.
Что мертвые – третьему Риму!
Глаза им клюют соловьи.
Соседи за пьяного примут,
оставят лежать у скамьи.
Шумит, багровея, рябина,
архангел играет с трубой,
и смотрит упавшему в спину
свободы клочок голубой...



Лишь изредка. Не насмерть, а слегка.
Самовлюбленно и неторопливо
подросток-ветер гонит облака,
но кораблей на плоскости залива

не трогает. Провисли паруса.
Уснула речь в своей каморке дымной.
Как в негритянском гимне, небеса
не столь угрюмы, сколь гостеприимны.

И то сказать – довольно прежних бед,
накликанных по глупости, себе же
на голову. Приморский серый свет
избыточен, прекрасен, безмятежен...

Ну что же ты, цикада, стрекочи,
пой песенку свою, перелетая
с куста на куст в раскидистой ночи...
Нет. Все молчит. И музыка простая

подхвачена все тем же ветерком,
унесена – в небесные селенья?
Бог весть куда? – и тает в отдаленье,
не жалуясь, не помня ни о ком...

И даже ты не слушаешь, на зов
не откликаешься, и мячика не ловишь.
Давай попробуем, давай начнем с азов –
ну что же ты, поймай меня на слове...



Горше хины людская свобода,
жарче пуха, морознее льдин,
говорил в отдаленные годы
одаренный философ один.
Обреченные мы от рожденья,
некрасиво живем, тяжело –
вот такие он вел рассужденья,
безоглядному сердцу назло.

Паровозы в январском провале,
шпиль вокзала, иные миры...
Было грустно, и звезды мерцали,
будто ангелы в небе гоняли,
биллиардные гнали шары.
Не встречаться хотелось – проститься.
Не трезветь – приложиться к вину.
Или, может быть, просто катиться,
по зеленому мчатся сукну...

Было ветрено. Пальцы озябли.
И стакан замутился пустой.
Было трудно по ложке, по капле
принимать этот горький настой.
А промерзшие рельсы играли,
и вагоны дрожали, стучали,
и уже различалось едва,
как за нами, в великой печали,
Атлантидой сияла Москва.

Что, любитель проклятых вопросов,
мореплатель, бабник, герой,
с кем-то пьешь, слабогрудый философ,
с кем торопишься после второй?

С кем беседуешь, выпучив очи,
погружаясь в надмирную высь?
Хорошо по развалинам ночи,
хорошо по развалинам ночи
на свидание с жизнью нестись...

* *
*

Выбирай инструмент музыкальный
наугад, в неположенный час.
Если песенка будет печальной –
что поделатъ, тем хуже для нас.
Если будет протяжною, волчьей,
если оттепелью за окном –
не беда, мы послушаем молча,
и вином подходящим запьем.

И судьбу выбирай наудачу,
несуразную жизнь допоздна.
Проиграй, и на медную сдачу
осуши свою чашу до дна.
А глядишь – и очнешься с победой,
и с медалью пойдешь на парад...
Не завидуй, и горя не ведай,
набирайся терпения, брат.

Я признаюсь тебе без утайки,
что и сам по колено в снегу.
Даже собственной кошки-лентяйки
ничему научить не могу.
Но зато в переулках шуршащих
знаю тайный такой поворот,
где любого из заживо спящих
гальванической полночью бьет.

Знаю голос равнинного снега,
немоту, растворенную в нем.
Жди. Твое суеверное небо
подыхает лиловым огнем.
Погоди, на окраине света,
после всех леденящих потерь
даже властная музыка эта
превратится в ночную метель...

* *
 *

Молчание – тоже работа.
Забота, и боль, и тщета.
С вороньего смотришь полета –
И детское, жалкое что-то
Тебе затворяет уста.

Ах, ворон, какое нам дело
До счастья, соринки в глазу!
Остывшее – перекипело,
Устало, простилось несмело –
И снегом белеет внизу.

И только чернеет дорога,
Венозною кровью полна.
На кухне у Господа Бога
Молчание – тоже тревога,
Свобода, ночная война...

И ворон, что черное пламя –
Стремителен или влюблен,
На бедную землю кругами,
Детей суеверных пугая,
Неслышно спускается он...

И снова ты один, как десять лет назад.
Один, как десять тысяч километров
Назад, и десять тысяч стихотворных строк –
Но этим громким цифрам далеко
До заклинанья, это просто так,
Нули да единицы, а душа,
Как прежде, поднимается кругами,
Спиралями, порывисто дыша,
Выходит в стратосферу, и оттуда
Летит, ломая восковые крылья,
Крутясь, крича, и больше не считая
Прошедших лет, вагонных километров
И типографских знаков.

Эту песню
Ты позабыл, ты напеваешь только
Припев, один, как много лет назад,
Как, скажем, десять тысяч километров
Назад, и чёрт-те знает сколько строк.
Ползешь себе в истоме насекомой,
Да мусор памяти ерошишь перед сном,
И с каждой новой цифрой забываешь:
Ее любили ангелы, и может
Быть, за секунду от земли, где ты
Угрюмо смотришь в сторону, подхватят,
И унесут. И это будет тем
Последним одиночеством, в котором
Уже ни песни нету, ни припева...
Ну-ну, молчу. Не мне тебя учить.
Ты знаешь сам – возврата нет. Осталось
Падение, а если повезет –
Еще одно мгновение полета.

Монреаль, 1985 г.

НА ОЧЕРЕДИ

Повесть

Галя Абрамовна понимала, что столь милосердная забота о ее до-поры-до-временном благополучии заслуживает благодарности; и однако же, ей мешало скверное ощущение, что ее провели за нос. Обманывали целых 87 лет. Где-то и в милосердии этом, и в заботе скрывался какой-то подвох, какое-то «якобы»; но она не могла понять – где, в чем. Что делать, так уж устроен человек, это бедное, неустроенное мыкало: по правдолюбию своему не может жить в неведении и лжи и ищет истину, вынести которую не может по своему же мало-душию.

Да-да. Но вот она прожила уже все отпущенное количество жизни, она вычерпала всю положенную на ее долю порцию милосердного обмана, порцию радости и горя, сладости любви и горечи утрат, комфорта обеспеченной жизни и тягот рождения и воспитания ребенка, и здоровой дисциплины работы – словом, всю, всю без остатка порцию сильных ощущений жизни, заслоняющих ее суть. Суть, состоящую в том, что всякий животворный глоток воды, воздуха или вина стремится нас к смерти. Глоток жизни есть глоток смерти; и значит, жизнь – это есть смерть.

Да-да. Прожила жизнь, а умирать не умираешь. И не собираешься. У смерти такие белые зубы; такие крепкие зубы, протезы ей ни к чему. Скольких она уже съела, а теперь вот... Не хочу, не хочу. Не хочу. Значит, хочу жить? Значит: не хочу умирать. Да, но не умереть – это жить. Пусть так. Но смысла нет, сама же видишь!

Окончание. Начало см. в № 47.

А и не надо. И без него обойдусь. Необходимо одно: не умереть.

И она жила, чтобы не умереть. Почти безногая, глухая, полуслепая, утратившая цветовое восприятие тех расплывчатых пятен окружающей ее действительности, которые еще были ей зримы, вернувшаяся к черно-белой оптике, свойственной, как считают, быкам и собакам, с конечностями, эпидерма которых словно отсохла от медлительности кровоснабжения, старуха жила, она оказывалась способной сразу к двум формам чувствования: обонянию и вкусу. И она ела; она ела, хотя нужно ей было очень немного.

Она ела, чтобы чем-то наполнить свою жизнь. Чтобы убить время. Не потому, что ей было скучно – старческое угасание почти свело на нет силу притязаний ее «я» на развлечения и утехи, – но чтобы заглушить в себе страх смерти. Самое загадочное в ее существовании было то, что, панически боясь прихода смерти, то есть окончательного уничтожения всего запаса живого времени, который у нее еще имелся, она тем не менее вынуждена была сама убивать свое время, ускорять его уничтожение, так как медленное его течение было непереносимо именно из-за наполняющего это время до краев страха смерти.

Ибо после того ночного, как бы предупреждающего, визита смерти страх постоянно жил в ней. Это напоминало постоянно ноющий зуб, который мешает спать или думать, однако не властен совсем уже прекратить процесс сна или мышления. Изумительная, невероятная сила всех без исключения жизненных процессов делала даже распад, самое угасание организма настолько живуче-сильным, что слабое, хотя и постоянное напряжение страха смерти не могло помешать старухе отключиться и задремать в любую минуту.

Но стоило смерти пожелать напомнить о себе, стоило нажать кнопку – и сильнейший страх сотрясал ее, пронзал ее естество; всего более это походило на пытку

электротоком, как Галя Абрамовна представляла ее себе по газетам. И так как вспышки страха были непредсказуемы, подобно эпилептическому припадку, она боялась теперь страха смерти больше, нежели самой смерти; и она делала все, что в ее власти, чтобы отделаться от мучительно-навязчивой боязни страха.

Галя Абрамовна извлекала на свет Божий сразу все свои припасы: немного масла, приносимого Лилей последнее время все реже, колечко вареной колбасы, банки, судки и прочую больничную тару с изделиями домашнего стола, так удававшимися Лиле всегда: желтый, мутно-наваристый куриный бульон с клецками, пару прелестных, с чесноком и перчиком, котлеток или десятка полтора уже сваренных, начавших уже расползаться пельмешков, а в иные дни Лиля баловала ее теми яствами смешанной русско-еврейской кухни, которые свидетельствуют о празднике в доме: паштетом из печенки с гусиным салом и шкварками, пирогами с капустой, мясом и ливером, фаршированной рыбой с хреном, холодцом из коровьей ноги или моталыги, домашней бужениной, рыбой под красным маринадом и... – всего не назовешь, чем умела еще Лиля радовать ее алчущее небо, ласкать трепещущие ноздри и отягощать старушечий желудок. Галя Абрамовна, знавшая простой секрет вкусного стола, раскладывала содержимое банок и судков по маленьким тарелочкам и уставляла ими весь стол. Она наполняла графин компотом из чернослива и кураги или клюквенным морсом, тоже Лилиного изготовления, и водружала красный мерцающий конус (цвет которого видела уже только зрением памяти) в центр стола. За годы жизни с Алексеем Дмитричем, который просто не сел бы обедать, если бы на столе не ждал его графинчик старки или перцовки (хотя больше одной-двух рюмок он не пил, только по праздникам разрешая себе третью), Галя Абрамовна привыкла к определенной картине, определенной полноте стола.

Полуслепая старуха не могла уже насладиться особым, коричнево-серым тоном горки паштета, в центре которой отливало золотом жареного лука и шкварок, или нежнейшей мутно-белесой поверхностью правильно сваренного, хорошо застывшего студня; но с тем большей силой пьянили, кружили ей голову запахи чеснока и хрена, подгоревшей корочки голубца, горьковато-терпкий запах печени и сладчайший, дивный аромат фаршированной гусиной шейки, готовить которую по-настоящему умела только одна Мария Моисеевна, Лилина мать, женщина прекрасно сохранившаяся (хотя Галя Абрамовна легко поспорила бы с ней, будь ей всего 75); причем делалось это блюдо – а соответственно, и доставалось Гале Абрамовне – только раз в год, на день рождения Лили.

Поняв еще в пору молодости серьезный смысл материального благополучия, состоящий в его способности отгородить человека от опасностей и тревог жизни, создать устойчивое поле душевного равновесия, комфорта, Галя Абрамовна, не будучи уже в состоянии окружить себя ворохом вещей, грудой безделушек (а было же, право, было и у нее когда-то кое-что, какие-то меха, какие-то чуть ли не драгоценности), обносила себя теперь взамен как бы частоколом съедобностей, понятно, куда менее долговечных, нежели золото или хрусталь, но столь же надежных в том отношении, что, лишённые свободной воли, они не грозили предать, подвести – словом, обратиться против тебя.

Она привыкла думать, что ест очень немного, как и подобает следящей за собой женщине; так, человек, некогда обладавший пышной шевелюрой, продолжает представлять себя с нею до тех пор, покуда не облысеет окончательно. Не имея точного, четкого представления о собственном зрительном образе (что характерно для большинства людей, за исключением тех, для кого смотреться в зеркало – профессия или наслаждение), человек чаще всего представляет себя таким, каким когда-то

запомнился себе, однажды придясь себе по душе, не любящей расставаться с представлениями, ей дорогими. Подобно тому и старуха представляла теперь, что не ест, а всего лишь поклевывает; на самом же деле она ела сейчас за взрослого, здорового мужчину, а когда расстроенный ее желудок отказывался вместить много сразу, она возмещала это тем, что ела пять-шесть раз на дню понемногу. Однако она продолжала думать, что ест мало, не только потому, что противоположная точка зрения была бы для нее оскорбительна, но потому еще, что, впадая по старости в склеротическое рассеяние, она могла продолжать есть, вполне искренно удивляясь потом, куда это подевались все те вкусные вещи, изобилие которых еще утром давало ей радость предвкушения долгих, неоднократных наслаждений.

И все же поглощение пищи не могло наполнить даже и ее уменьшенного, усохшего, подобно мумии, существования. Слишком уж много времени в праздных, долгих, беззвучных сутках; и снова, снова она слышала шум дождя в ясный солнечный день, и слышала еще, как встряхиваются, осыпаясь, как движутся в ней частицы ее пустой жизни; и вновь утверждалась она в том новом знании, которое ей было отныне дано: жизнь ее в чистом виде, жизнь по существу – и есть только вот это движение неких частиц из никуда в никуда, не только не обладающее и не могущее обладать истинным смыслом, действительной целью, непреходящей ценностью, но и представляющее из себя крайне тяжелое, почти непереносимое бремя для человека, который, подобно ей, лишен возможности надуть себя, залить душу вином, забить ее работой, заполнить половой или родительской любовью и потому обречен видеть жизнь такой, как она есть, хронически, безотрывно глядеть в ее истинное, бессмысленное и безобразное лицо.

И Галя Абрамовна, понимая предельно ясно, каким милосердным избавлением от унижительной бессмысли-

цы, беспросветных тягот, безнадежных мучений старости явилось бы для нее ниспослание смерти, все-таки никак не могла понять до конца: почему же ожидаемый приход смерти не только не радовал ее, но он-то, казалось бы, столь желанный, он-то как раз и рождал этот неистовый, этот безумный страх, который и страхом-то может быть назван только за убожество языка человеческого, только бедности его ради? Почему человек, стоящий у черты и занесший над ней ногу (или лучше: которого т я н у т за ногу), чувствует только: словно бы столбняк сковывает всего тебя – и здесь чей-то быстрый нож вспарывает горло под кадыком у межключичной ямки, и – лезет кто-то схватить тот туго натянутый шнур, на который нанизано твое тело, тонкий провод, по которому течет ток твоей души, твое ды-ха-ние, хватает его, и, затянув, дергает на себя через взрезанную глотку, и ты бьешься в удушье, как рыба на кукане, ты задыхаешься, хлюпаешь ртом, и тошнит, тошнит...

Этот столбняк, эта судорога, холод внизу живота и окаменелость ног... это горло, пробитое страхом, – что все это значит?

Боязнь разрушения прежнего порядка. Патология самосознания. Пожалуй. Но это не все; есть какой-то остаток. И приличный остаток: чувство, будто ты не просто кончаешься, не просто уходит навсегда привычный порядок вещей; ты не просто исчезаешь, нет, но ты – отправляешься в путь. В путешествие. Ты уходишь не в пустоту, но во что-то огромное и темное, подобное ночному морю. И ты слышишь шум в ушах своих, и день ото дня он все громче, пока не понимаешь в какой-то из дней, что это не шум твоей крови, а рокот волн, по которым вот-вот – и ты тронешься в путь. И хотя ты знаешь, что т а м ничего на самом деле нет, что загробная жизнь – предрассудок и опиум для народа, но чувство, что т а м тебя караулят, ждут, что т а м ч е г о - т о х о т я т от тебя, что после смерти ты не растворишься

бесследно во всем, но тебя уведут к у д а - т о, это чувство, это достоверное, как тошнота, ощущение рядом с собой одушевленной, стерегущей тебя, неизмеримо большой и ужасной стихии не покидает тебя. Оно может быть большим или меньшим, но оно всегда в тебе, в твоём страхе, это чувство стихии, чувство живого моря. Нельзя объяснить его людям, ещё полным жизни, но оно знакомо, оно должно было быть знакомо всем, стоявшим когда-либо на пороге смерти. И наверняка так оно и было.

Она вспомнила лицо Алексея Дмитрича, разбитого насмерть ударом в Новокуйбышевске, в гостях у Лизы, своей дочери от первого брака (такое уж её еврейское везение; самые близкие ей люди, как нарочно, умирали, когда её не было рядом; на сей раз, правда, с перевозкой тела обошлось почти без хлопот: до Новокуйбышевска всего 35 километров, взяли грузовое такси; да, всего 35 верст от дома – и вот, пожалуйста...). Он лежал в гробу с улыбкой, прекрасно ей знакомой: так он улыбался, чтобы скрыть страх, по его мнению, недостойный мужчины. Он всю жизнь оставался мальчишкой-гимназистом. Так он улыбался – она запомнила это и спросонок, – когда в 38-м под утро, как это у н и х водилось, постучали в дверь. Он улыбался, одеваясь, чтобы пойти открыть. Был март. Было холодно, отвратительно слабо светил ночник в предутренней мгле их дома. И когда он вернулся назад всего-навсего с той же все Лизой, ехавшей к ним сюрпризом из Свердловска, где она тогда жила, и в Оренбурге отставшей от поезда – так что сюрприз она приготовила не только им, но и себе, – лицо его расслабилось, кончики усов задрожали, и он нервно и радостно рассмеялся. И сейчас та же улыбка топорщила кончики тех же лучших в мире усов, и она могла бы поклясться, что если бы приподнять закрытые дочерью его веки и посмотреть ему в глаза, то в них показался бы страх. Страх встречи и знание того, с к е м произошла встреча. Галя Абрамовна чувствовала

тогда себя, как и позже, когда умерла Зара, словно под уколом; она не испытывала ничего, кроме холодного, некрасивого любопытства к смерти. Ее так и подмывало открыть мужу веки, и теперь она почти укоряла себя, что не осмелилась тогда на это. Но довольно, слишком довольно было его улыбки; слишком знакомой улыбки.

А Марк, Марк с трехдневными его мучениями, с дикими болями в левой стороне груди, с удушьем и кислородной подушкой; и как на третий день к вечеру, как раз, когда боль немного утихла, он выдернул изо рта рожок кислородной подушки, крикнув, или застонав, или булькнув: «Не могу больше», – и задохнулся. Фактически, это было самоубийство, она знала, на сей раз она видела глаза умирающего; и Галя Абрамовна, никогда не понимавшая психологию самоубийцы, здесь впервые поняла, как, почему человек может наложить на себя руки: из страха смерти. Марк в и д е л – по глазам было ясно, что видел – смерть, – и не мог долго смотреть на нее. Он не вынес, не вытерпел смерти во всей ее полноте и решил сократить ее.

Но бывали на ее памяти и другие случаи. Случаи, когда боль оказывалась еще сильнее страха. Ее троюродный брат в Кишиневе, мужчина лет 45 – здоровяк, трезвенник, семьянин – ударился об угол, когда перевозил мебель на дачу. Саркома бедра; он сгорел в три недели. Последние несколько дней он не переставая просил смерти; морфий не помогал.

Как тяжело, как кошмарно тяжело умирают люди! Она вспомнила Софью Ильиничну, умершую от водянки, и другую свою знакомую, сведенную в могилу склерозом почек. Рак, цирроз печени, паралич, белокровие, грудная жаба, острая сердечная недостаточность, туберкулез, заражение крови, гангрена, тиф, дизентерия, дистрофия... Тут она спохватилась, что память ее опять перепутала времена (как это у нее повелось с... Бог знает его, когда) и бродит по дорогам какой-то из

пережитых ею войн, а может быть, всех трех войн сразу. Старуха сделала усилие, чтобы связать нить времени, что ей не всегда удавалось; на этот раз, однако, ей повезло, она смогла вернуться к людям, о которых вспоминала.

Всех, всех их смерть вводила в страхе или мучениях плоти; и хорошо еще, если можно было поставить «или» вместо «и». И все они были в сознании, достаточном, чтобы невыразимо страдать душой и телом. Кроме двоих: ее матери Софьи Абрамовны и ее дочери Зары.

Зара, голубка, умерла в беспамятстве, не ведая страха. Она умерла в Петропавловске, в больнице. 41°. При 41° не до страха. Галя Абрамовна летела самолетом Бог весть сколько часов и минут; если бы ее не выворачивало наизнанку всю дорогу, она бы не пережила столь долгого ожидания. Она везла с собой 10 тысяч, все свои сбережения, и все их, за исключением стоимости билета, просадила на лучших тамошних врачей, на их звонки в Москву разным светилам, лекарства, уход и проч. А Зара провалялась в бреду две недели и еще два дня, на третий у нее отнялись конечности, а на пятый ее не стало.

И ни разу не пришла в сознание, не узнала мать! Галя Абрамовна думала, что сойдет с ума, она ничего уже не понимала и не видела, кроме механизма собственного мозга, перемалывающего пустоту за совершенно прозрачными стенками черепной коробки; однако все кончилось только полной глухотой. Оглохла она, точнее, осознала это уже в Куйбышеве, недели полторы спустя, а тогда, на Камчатке, сделала без колебаний то, что решила еще давно относительно себя, с о е й смерти: распорядилась кремировать Зарино тело, лично досмотрела, чтобы не произошло обычного недоразумения: не перепутали прах, – и, получив в свое распоряжение урну с пеплом, повезла ее домой уже в поезде, боясь, что самолет разобьется и Зару не удастся похоронить. Галя Абрамовна всегда решительно выска-

зывалась за кремацию; недаром в свое время считалась она одной из первых красавиц Самары, недаром ката-лась на тройке с самим Собиновым, – мысль о разложе-нии прекрасного женского тела, о пустоглазом лысом черепе на месте хорошенького румяного личика, с какими-нибудь ямочками на щеках или на подбородке, внушала ей отвращение необычайное. Она никогда не говорила с дочерью об этом, но знала точно: Зара с ее очаровательно-простодушной самовлюбленностью и наследственной гигиеничностью телесной жизни ни-когда не допустила бы, чтобы ее положили в сырую, чумазую землю и скормили розовым, влажным червям. Урну поставили на носилки, понесли в 6-й тупик, место всех трех городских кладбищ: русского, еврейского и татарского – она, Лиля и Сема Понаровские, Марк Борисович и его жена Софья Ильинична, и все, кто знал и любил (и даже те, кто не любил) Зарочку, и даже Николай Александрович, популярнейший тенор (и что это он надумал махнуть в Израиль, позже, в конце 60-х? Она никогда не могла понять; как можно, будучи извест-ным, уважаемым человеком, отправиться из родной страны за тридцать земель в какой-то Израиль, в пес-ки, к этим кровожадным сионистам, ни за что ни про что уничтожающим ни в чем не повинных арабов, этих бед-ных феллахов и бедуинов? Понятно еще – в страшные годы гражданской войны, как это сделали два ее кузена – Яша и Сема, и троюродная сестра Катя. Они писали ей из Нью-Йорка, где недурно устроились: Яша по спе-циальности – дантистом, Сема – коммерческим агентом, а Катя вышла замуж за Сему и могла позволить себе роскошь быть домохозяйкой. Они звали к себе, писали, что там «тоже антисемитизм, но, по крайней мере, без резни и погромов, а у людей есть твердый годовой доход и есть то, что на него можно купить». Но она считала всегда: где человек родился и вырос – там его родина. Там ему жить, там и умереть. И никто никогда и ника-кими доводами не мог убедить ее в обратном), приехал

на похороны из Москвы; поговаривали, будто между ним и Зарой что-то было – возможно, ее это не волновало: что было – было, а сейчас есть только вот урна с пеплом, да место на еврейском кладбище, купленное у синагоги загодя впрок на всю семью. Кроме Алексея Дмитрича, его похоронили в ста метрах отсюда, на русском кладбище.

Она стояла молча, недвижно и теряла драгоценные секунды, пока урну с пеплом не забросали еще землей, пока еще можно было проститься, еще можно... А слез все не было, и ни звука в душе и вокруг; только солнце пекло голову сквозь черный платок, и все время хотелось пить. Галя Абрамовна представляла, как достанет дома из подпола запотевший кувшин домашнего кваса (она совсем забыла, что кваса давно уже никто не делал: ей было не до кваса, а мама, которую никакое горе не могло заставить забыть дом и обязанности, вторую неделю лежала с воспалением легких), и ей не терпелось скорее домой, и мучительно стыдно было за свое чудовищное бесчувствие...

Да, Зара не узнала страха. А боли? И боли, наверное, тоже. Счастливая, она умерла в бреду. Счастливая. А мама? Мама умерла во сне, от старости: остановилось сердце. Ей было 92 года, а когда-нибудь сердце должно же остановиться. Она умерла во сне, и у нее уже не спросишь, что испытала она в момент остановки сердца.

Но вряд ли... вряд ли. Вряд ли это так приятно, так безболезненно, как полагают чающие такой смерти. Смерть во сне – заветная мечта многих и многих. Ну и глупо. В молодости у нее был кардионевроз (потом он исчез, словно канул куда-то; один из тех случаев, когда болезнь приходит и уходит сама, беспричинно, ставя под сомнение так называемые «научные знания» о человеке), и часто снился ей один и тот же сон: будто катится, катится куда-то все, и она катится вместе со всем, а сердце-то и не поспекает, и вот-вот остановится... и – страшно-то как, и надо проснуться, чтобы все оказалось

сном. И просыпалась, и все оказывалось сном. А ну как на этот-то раз – и не проснешься? Дернешься – подернешься, да все без толку. И умрешь в судороге, душа на выкате. Мама родная! Так ли было? Так ли будет? Кто может знать.

Гале Абрамовне по-прежнему казалось, что смерть не любит повторений, и ей не грозит смерть во сне, хотя она шла по стопам матери в том смысле, что дожила почти до ее лет, как и мать, ничем выдающимся не хворающая. Все же вряд ли ей грозит смерть во сне, тем более, что она сосет леденец; хотя – что это значит? Только то, что ей грозит какая-нибудь из других смертей. А ведь они все безобразны! Все до единой. Нет ни одной смерти, мало-мальски приличной. Ни-од-ной.

Хорошо еще, что судьбой лишена она случая попасть под поезд или просто упасть с лестницы. Скажешь тут спасибо и старости, и немощи. Вот что значит наша неблагодарность. Ведь если так страшна нормальная, естественная смерть в преклонном возрасте в своей постели, что человек просит убить его поскорей или сам убивает себя, то что после этого сказать о ненормальной, о какой-нибудь дурацки внезапной смерти? О той глупейшей возможности, когда, например, падает тебе с большой высоты на голову предмет весом в несколько килограммов? Такой случай произошел однажды у нее на глазах, и не где-нибудь – в Москве. Году в... или еще был старый рубль? ...словом, когда еще она ездила к Зарочке в гости. С крыши дома по улице Горького, где магазин «Подарки», в конце марта слетела огромная сосулька, угодив острием в голову гражданина в фетровой шляпе... и бежевом пальто-реглан. Он свалился не пикнув. Хотела бы она посмотреть, кто пикнул бы на его месте.

Нет, нет и нет. Все это: «Хочу умереть внезапно, чтобы не мучиться», – все это разговоры. Как так: прожить одна за другой все фазы жизни – и не увидеть, не распробовать, не узнать как следует самого главного в

ней – смерти (разве не главное то, что **н а в с е г д а**)? Все-таки она же не корова какая-нибудь, разрядом тока в лоб превращаемая в мясо на мясокомбинате. Да и та, говорят (как-то она ставила золотой нижний мост одному работнику мясокомбината), чувствует близкую смерть и сама отравляет себя (ибо страх ядотворен!), вырабатывая в крови огромное количество адреналина, как бы мстя отравлением мяса своим пожирателям-убийцам. Какое же количество яда выделяет организм человека, видящего, скажем, как на него несется самосвал, который через полсекунды намажет его на мостовую, как масло на хлеб?! Да, такой человек избавлен от тягот медленного умирания, но то, что успеет он пережить за последние эти полсекунды, – какой мерой мерить? С чем сравнить?

Страшнее разве только насильственная смерть. Сто лет наисчастливейшего счастья мало будет дать за последние полсекунды в жизни человека, зарезываемого у двери своего дома, часов этак около 11-ти, когда возвращался он из гостей и думал... например, что нет ничего тоскливее вечера воскресного дня: вот сейчас ляжешь спать, а завтра на работу. Ой-ой! Во всю свою жизнь никогда не надевала она, если выходила на улицу одна, драгоценностей, кроме обручального кольца; даже серьги надевала почти всегда только дома, по праздникам, от одного праздника до другого дырки в ушах успевали слегка зарости, так что вдевать каждый раз серьги было больно.

Но любые человеческие меры предосторожности бессильны перед злой волей случая. Ее тетя Сима в 1918, в Киеве, была уведена прямо из дома – на глазах мужа – петлюровцами, и с тех пор о ней никто никогда не слышал. Красивая молодая женщина; остается только вообразить, что они с ней сделали! А из соседей никто не пострадал. Что тут скажешь, что? Как у Бабея (который и сам, если она не ошибается, оказался не застрахован от одного из неприятных недоразумений жизни):

«Был человек – нет человека». Был – и нет, очень просто. Цена человеческой жизни – копейка. Но кого это утешит? Своя копейка подороже чужого рубля.

Нет уж, все лучше вот так, как она: мало-помалу, потихоньку-полегоньку, так сказать, подобру-поздорову. А вдруг произойдет чудо, одно на миллион, и она все-таки уйдет незаметно, растворится в небытии, спокойно пережив момент перехода. Главное – пережить момент перехода, а там хоть и умереть. Почему не умереть, если незаметно? Всегда пожалуйста! И хотя Галя Абрамовна только что вывела неопровержимо, что легких и незаметных смертей не бывает, какая-то глупая надежда теплилась в ней. Помогала жить. Пусть старая, пусть развалина, пусть. Но живая.

Да и что уж так бояться они все старости? «Все, что угодно, только не одинокая старость!» «Я хочу умереть прежде, чем стану всем в тягость!» Жеманство. Игра в бирюльки. Что скрывать, она сама отдала дань этому заблуждению; да оно и понятно. Когда видишь старух, ходящих под себя, ставших обузой для детей и внуков, разумеется, не хочешь попасть в их число. Глядя на них со стороны, когда самой до старости еще далеко. Но себя-то саму ты видишь не со стороны, ты живешь в н у т р и себя, в своей шкуре, живешь непрерывно, час за часом, и стареешь, разрушаешься неприметно для себя, день за днем, и все разрушения, все уродства твоих отправлений так привычны и, значит, естественны, а умереть (правда твоя, Марк) всегда хочется завтра, а не сегодня, и... и вдруг ты понимаешь всю правильность старой, как человечество, поговорки: свое дерьмо не пахнет.

Так почему бы им не поухаживать за вами, ведь вы стирали же их пеленки когда-то?!

Галя Абрамовна, милостью судеб, под себя не ходила. Это подтверждало ее мнение, что среди многих несправедливостей мироустройства помещаются и многие справедливости, так что на долю каждого достается

и то, и другое. Не должно же, в самом-то деле, быть так, чтобы человек ходил под себя, когда его некому обиходить. Ценою потери всех своих близких она купила высокое право в 90 без малого лет самостоятельно отправлять свои потребности. Вялость кишечника, запоры... но у кого их нет в такие-то годы; к тому же Лиля доставала ей превосходнейшее патентованное средство, «Сенаде», индийское, кажется, и оно прекрасно действовало.

Вот чего действительно она уже не могла сама – это мыться: не было сил залезть в ванну. Но ведь мыться нужно не каждый день (надо сказать, что Галя Абрамовна, женщина во всем остальном чрезвычайно опрятная, чистоplotная, и раньше не считала необходимым принимать ванну каждый день. Причина проста: у нее никогда не было своей ванны до тех пор, пока в 1969 году ее дом не сломали и ее не поселили в однокомнатной квартирке 9-этажного дома на Молодогвардейской, где кассы Аэрофлота; она мылась холодной водой до пояса, а по субботам, как водится, ходила в баню – так уж перемешалось все в ее жизни по законам интернационализма: ребенок от чеха, русский муж, русская же субботняя баня и маца из непосещаемой синагоги, почему-то, по какой-то необъяснимой инерции родовой памяти до сих пор закупаемая каждую весну на пасху), достаточно раза в неделю. А раз в неделю – конечно, в субботу – ее могла помыть и Лиля, в большом зеленом тазу.

Конечно, надежды надеждами, а смерть есть смерть. А все ж таки смерть от старости – это, как говорится, с в о я смерть. О внезапной, а тем более насильственной смерти и так ведь не скажешь. Нет, нет и нет (ай, холодно).

А что сказать о тех уже невообразимо вздорных вариантах смерти, которые мерещатся иным сумасбродам? Тот же Марк, например, уверял, что его мечта умереть в постели, на женщине. Он так и говорил: «На жен-

щине», – бесстыдник, селадон, как говорили в дни ее юности. Подобное могло прийти в голову только Марку. Что может быть чудовищнее этой фантазии? Все нутро ее, самый склад натуры приличной, воспитанной женщины, ценящей прежде всего не столько саму вещь, сколько ее уместность, правильный порядок вещей, наконец, ее чувство меры, – восставали против столь варварского смешения этих двух: смерти и интимной близости. Надо же такое выдумать! Впрочем, Марк всегда чудил, до конца дней своих он красил в рыжий цвет волосы на голове и ходил специальной ходьбой: «Ходьба – это здоровье, это жизнь. Это молодость. Мне 57 лет, а я еще нравлюсь женщинам. А что ты думаешь? Я еще ого-го! У меня щеки как персики, видишь?» Ему было 76 (нашел, кому врать!), ни о каком «ого-го», конечно, и речи идти не могло, и щеки у него были не как персики, а как печеные яблочки. Однажды она ему так и сказала: «Как печеные яблочки», – при общей воспитанности она всегда отличалась прямоотой, была резка на язык; и видели бы вы, как он обиделся! До слез. Да, да... В ноздри ей ударил вдруг запах его одеколона. В старости он все время душился каким-то краковским одеколоном (вероятно, запасся по случаю), недорогим, крепким, что называется, мужественным, пытаюсь, и весьма успешно, затмить запах распада, источаемый его тлеющим телом; и все же обоняние Гали Абрамовны, истончившееся – вследствие постоянной работы за себя и еще за атрофировавшиеся органы чувств – до дробности нюхательных ощущений, различало за этой попольски воинственной пеленой ароматов гвоздики, еще какой-то знакомой до боли травки и плохо очищенного спирта не только общий приторно-тяжелый дух разлагающегося тела, но и его составные: запахи множества отмирающих клеточек, каждая из которых, пожалуй, даже приятно пахла прелым осенним листочком; однако умножение запахов давало, как и всегда, новое, неприятно сильное качество навязчивости, совершенно пра-

вильно характеризующее Марка с его нервической ажитацией, лихорадочным еврейским румянцем на обвисших щеках и той остротой пустопорожней активности, которой отличалась вся его долгая жизнь. Эх, Марк, умница Марк, где-то ты теперь, чудак-человек, твой синий олимпийский костюм с белыми полосами, твоя гордость: «Сто процентов чистой шерсти! Хочешь проверить? Выдерни нитку и подожги!» И горела, славно горела подожженная нитка; и он выходил по утрам и вечерам в стопроцентном своем костюме с гордо поднятой головой... Эх, Марк, Марк, как некрасиво ты умер: задохнулся, а попросту – с-дох, и ходьба-выручалочка не спасла...

Все мы там будем. Допустим; впрочем, тебе-то уж – что допускать; ты там будешь безо всяких допущений и очень быстро. Будешь там, где тебя не будет. Непонятно, но факт. Что же, старая перечница, туда тебе и дорога. И все-таки непонятно.

Дать человеку жизнь и в придачу к жизни инстинкт самосохранения, дать ему сознание, то есть страх смерти, дать ему всю силу и крепость соединения, называемого: «я», – и забрать все это назад, навсегда забрать, обрекая тем самым на н е и з б е ж н о с т ь страданий, которые должен испытать человек, на веки вечные расставаясь со всем, что у него есть, со всем решительно, включая самого себя! Да еще чуть ли не с рождения поставить его в известность о том, что он обречен. Поступить так с миллиардами – с каждым из миллиардов – людей, прошедших по земле от начала, рождать на таких условиях или создать самую возможность рождения смертного, знающего, что он смертен, могла только сила безжалостно жестокая.

Но она существовала, эта сила, и ею управлялся мир! Одушевленная сила. Не безотчетная игра неодушевленных стихий по законам немецкой диалектики. В эти ученые сказки можно было верить в гимназии, где девочка 15-16 лет должна была иметь в своем багаже

наряду с Надсоном и Блоком Бебеля, Маркса и еще что-нибудь новенькое, кого-нибудь из наших, Плеханова, например, или Струве, если хотела завести и поддерживать знакомство с приличными, интеллигентными молодыми людьми. И она читала и верила. Еще бы, в том и состояло гимназическое сгедо, чтобы верить в прямо противоположное тому, чему учат преподаватели. А когда на уроках Закона Божия седовласый и чернобородый отец Петр отправлял их двоих, ее и Цилю Рубинчик, из класса – как завидовали тогда им все девочки, а те из них, кто сидел у окна, во все глаза глядели, как они прогуливались по двору, уплетая пироги с морковью, ливером или солеными рыжиками, купленными здесь же во дворе у конопатого, рыжего разносчика Фили по пятаку пара. Да, то были восхитительные минуты; и Галя, которой зеленый шум ее весеннего цветения мешал услышать что-либо и кого-либо, кроме себя, с жаром отрицала не только бытие Бога, но и вообще существование каких бы то ни было сверхматериальных сил.

Абрам Наумович, ее отец, только что не молился трижды на день «бецибур» и не носил цицит под верхней одеждой; однако он соблюдал субботу, постился и каялся перед иом-кипур – судным днем и новым годом – рош-гашана, а в ночь на иом-кипур совершал капорес: трижды вертел над головой петуха, что-то бормоча на иврите; после чего петух съедался, зарезанный по правилам шехиты, так, чтобы в бедной птице не осталось ни кровиночки. В детстве ночные манипуляции с петухом ужасали Гелю, страшный обескровленный петух, теряя перья и тряся бородкой, летел на нее в детских ее снах, нацеливая клюв ей в горло, видимо, затем, чтобы, напившись ее крови, возместить потерю своей; в юности же петуховращение скорее смешило ее и сердило полным несоответствием своим начинающемуся XX веку. Отец был властный человек, твердых устоев, хотя и коммерсант, причем коммерсант преуспевающий. Но и

Геля твердо стояла на том, что «наше время, научно разоблачившее библейские выдумки, дало нам свободу совести», а «свобода исключает рабство перед Богом». «Плохо я тебя воспитывал, – отвечал мрачно Абрам Наумович, – плохо я тебя воспитывал, Геля. Порол я тебя мало, Геля, гореть мне за то в Шеоле». Он настоял на своем, не выдал ее замуж за Алексея Дмитрича; по его и только по его вине они смогли соединиться только через много лет, когда у нее уже был ребенок от человека в ее жизни случайного, хотя и первого ее мужчины (а между тем, отец, узнай он об истории с Мирославом, умер бы от разрыва сердца, не умри он за год до того от заражения крови, летом 1917 года, пока она заканчивала курсы дантистов в Москве).

Алексей Дмитрич, чистейший человек, все простил, все забыл и любил Зару, о чем уже говорилось, больше, чем родную дочь. Но Геля не простила этого ни отцу, ни Богу, которого и вообще не было, а были только нелепейшие, невежественные национально-религиозные предрассудки, калечащие жизни любящих людей! Поди пойми после этого Алексея Дмитрича, что-то вдруг ненароком за полгода до смерти взгрустнувшего и сказавшего, помолчав: «Умру – отпоешь». И спустя некоторое время: «Ты меня поняла? Нет? И не надо. Просто сделай, что я прошу». Это Алексей-то Дмитрич, который всю жизнь ходил этаким вольтерьянцем в старом, досоветски-атеистическом стиле, посмеивался в усы над религией и рассказывал анекдоты про попов (надо же, чтобы его именно мать, Ксения Владимировна, одна из самых безалаберных женщин, каких она знала, под конец жизни постриглась в монахини. Летом и осенью 17-го года она отдыхала в Эстонии, откуда уже не вернулась, а в 28 или 29-м там же ушла в монастырь. Русский православный монастырь в Эстонии, подумать только: мы свои закрываем, а они чужие терпят. В молодости Галя Абрамовна приветствовала самые решительные меры по борьбе с церковью – этим

оплотом деспотизма, апологетом невежества и проповедницей рабского смирения и покорности; однако с годами она изменила свою точку зрения; не радикально, конечно, но все же: во всем нужна мера и здравый смысл. Вот хоть и монастыри; кому они мешают? От какой такой борьбы и кого они могут увести в наше-то время? Умный, полный сил и энергии человек в монастырь не пойдет, а если и заскочит по шальному случаю, то быстро выскочит; зато – какое прибежище для старых, несчастных, бездомных, обездоленных, коим в России не было и, увы, несть числа! Что с них взять? Почему не дать им хотя бы этого утешения? И ведь все при деле, за монастырскими стенами, а по улицам и иностранцев не стыдно провести)! В храме, в Покровском соборе, стояла она дура душой все 30, а может быть, 40 минут, глядя, как он лежит с иконой Божией Матери «Взыскание погибших» (как оказалось, бережно хранимой им, несмотря на весь его атеизм, в заветном несесере из телячьей кожи вместе с дорогими безделушками, исчезнувшими в конце концов все до одной в ненасытимой прорве ломбарда; так что по его кончине в несесере обнаружили только вот этот образок и записку: «С ней похорони») в руках, сложенных на животе, и широкой тканой лентой с надписью, называемой почему-то «воздѹх», на лбу; а тем временем старый батюшка Алексей, живший, к слову, в их же дворе, кадит ладаном над новопреставленным своим соседом и тезкой – ладаном, с которым вряд ли что-либо в мире могло бы соперничать в благоуханности, когда бы благоуханный этот чад не был столь густ, столь угарно-пряный – словом, не имел бы той чрезмерной по нынешнему времени существенности запаха, которая скорее раздражает, нежели услаждает изнеженные чувства современного человека (да, есть, есть в этом нечто темное, мрачное, средневековое, нечто в высшей степени чуждое современному человеку!), и бормочет по-своему, по-поповски, бормочет нечто нескладно-складное, нечто

непонятно-благозвучное, из чего как-то сам собою – так бывает с иностранным языком, особенно у женщин с их склонностью к имитации, к восприятию и воспроизведению чужого, – запомнился ей следующий довольно длинный отрывок: «Приидите внуцы Адамовы, увидим на земли поверженного, по образу нашему все благолепие отлагающа, разрушена во гробе гноем, червьми, тьмою, иждиваема, землею покрываема. Егоже невидима оставльше, Христу помолимся, дати во веки сему упокоение». Пораженная полупонятным и оттого особенно величественным и страшным смыслом услышанного, волнуемая древней, пряной, как ладан, музыкой церковнославянских словес, она запомнила их, пропустив мимо ушей дальнейшее: «Егда душа от тела имать нуждею восхитися страшными аггелы, всех забывает сродников изнаемых, и печется о будущих судилищей стоянии...» и т. д., – каковая невнятица, вслушайся она получше, неприятно поразила бы ее по контрасту со скорбной мощью предыдущего.

Что ж, так хотел ее муж, и воля его была для нее свята. Будем справедливы, в церковном обряде и правда есть что-то торжественно-скорбное и в то же время едва ли не утешительное, что-то во всяком случае достойное потрясающего душу факта ухода человека – каждого человека! – из жизни. Но что с того? В церкви, может быть, и впрямь хранится мудрость веков – вперемежку с нелепыми предрассудками, – но эта мудрость есть мудрость народа. Человечества. При чем же здесь Бог?

Да и – что Бог? Где Бог? В синагоге ли, где можно купить мацу и место на кладбище, где молятся на почти уже никому – ей, во всяком случае – не понятном иврите? Или Бог в татарской мечети, куда женщин пускают только на 2-й этаж? Может быть, прикажете носить чадру? Дичь, азиатщина! Или Он в русской церкви, пустой по будням, набитой по воскресеньям? Старухи в черных платках, трясущиеся старички, нищие, калеки. Убожество. Именно: где Бог, там обязательно – у-боже-

ство. Ни одного нормального лица, ни одного сильного, здорового человека!

Правда, году то ли в 56, то ли 58 в городе много шуму наделало пресловутое «стояние Зои». Некая Зоя, девушка лет 18 или 20, у себя дома на вечеринке, не дождавшись своего жениха Николая, схватила то ли в шутку, то ли всерьез родительскую икону Николая Угодника – дескать, не оставаться же ей одной, когда все парами, и раз такое дело, она будет танцевать с этим Николаем взамен того. После чего, обхватив икону обеими руками, пустилась будто бы в пляс. Тут-то вот и произошло чудо: икона прилипла намертво к рукам кощунствующей Зои, а ноги ее так же намертво приросли к полу. И вот с тех-то пор несчастная будто бы так и стояла, и не было ни у кого сил ни вырвать икону из ее рук, ни оторвать ее от пола, ни хотя бы согнуть ее ноги в коленях, чтобы усадить виновную в столь страшном святотатстве Зою; покуда по молитвам некого «старца» она якобы не отлипла – и то ли умерла вскорости, то ли ушла в монастырь. Так ли это было или не так, но у дома Зоиных родителей на улице Буянова собралась толпа невероятная и не расходилась несколько дней. Последнее Галя Абрамовна и сама могла засвидетельствовать: она два-три раза проходила мимо злополучного дома в те дни. Однако все это ее нимало не волновало: во-первых, она была не из любопытных, во-вторых, испытывала сильнейшую неприязнь к мистике и вообще всему иррациональному; в-третьих, из всех видов религиозных... чудачеств, скажем так, ей менее всего импонировало поклонение неким «святым». Молиться Богу – это еще куда ни шло, но – человеку? Какому-то Николе... или кто у них там? Серафим... Сорский, что ли? Человеку, такому же, как и ты? Дичь! Культ личности. Не сотвори себе кумира – ведь это из Библии, кажется? А?

Да говорили, кто попал в дом, что и Зои-то там нет никакой – пусто! Но допустим, есть Зоя. Допустим даже, она прилипла. Что с того-то? Что с того, спра-

шивается? Мало ли кто, где, когда и как мог прилипнуть! Простой психоз; не устраивает? Ну, сложный случай, скажем, кататоническая форма шизофрении. Да, наконец, могло здесь проявиться и действие неких сил. Угаданных народом в поэтической форме мифа про Николу, и науке пока еще неизвестных. Но именно – п о к а е щ е .

Не верить же, в самом деле, что там, в загробном мире, ожившие мертвецы сидят и управляют миром земным. Огромным миром. Да и что – земным? И земля-то сама – всего лишь точка среди бесчисленного множества таких же точек. И всем этим хозяйством управляет сотня, тысяча, пусть сотня тысяч «святых», то есть всего-навсего умерших в незапамятные времена людей?! Это же – мамочка моя родная! Если какой-то Никола, прогневавшись на дурочку Зою, может запросто взять ее и прилепить, то – что же тогда может Бог? Просто нет тогда такой вещи, сделать которую Он бы не смог! А уж наказать человека за подлость и эгоизм или наградить за доброту и самоотверженность – уж это-то Ему, должно быть, пара пустяков. И ведь именно воздаянием по делам Он, говорят, все время и занят!

Но где же в таком случае Его всемогущая десница? Где Он? Чего Он ждет? Почему не явится? Если Он хочет всем спасения, почему не явится всем сразу? Тогда все уверуют, чего Ему, вроде бы, только и надо. Казалось бы; ан нет. Он не идет. Он не карает злых и не награждает добрых. Сколько подлецов жили (и как жили!) многие-многие годы у нее на глазах и кончали как люди, а хороший человек возьмет вдруг и стукнется в расцвете сил о какую-нибудь дрянь, и пожалуйста – саркома бедра! Где справедливость? А Зара? За что Он ее убил? В ее-то годы! А погромы, война, блокада, голод 21 и 29 года в Поволжье, концлагеря? Смерть и нечеловеческие страдания миллионов людей? Где Он тогда был? Почему не помешал, не предотвратил, не спас – Он, Всемогущий и Всеблагий?

Почему? Да очень просто: потому что Его нет. Просто и понятно. Конечно, если человеку так легче жить, пусть его себе верит на здоровье. И кстати, среди верующих – особенно среди баптистов – нередки очень добрые, хорошие люди. Лучше уж верить во всякую чушь – и быть порядочным человеком, чем быть самым что ни на есть материалистом – и подлецом... пожалуй, это сильно сказано. Слишком сильно. Хотя... нет, все-таки слишком сильно. Невозможно развитому, здравомыслящему человеку смириться с унижительным рабством. Рабством перед Тем, кого нет! «Человек – это звучит гордо», – сие не она выдумала. Но она подписалась бы под этим двумя руками.

Конечно, с разрушением храмов перегнули палку. Храм – это все-таки памятник культуры. Красивый памятник. А что, например, сделали в 32-м с кафедральным собором на Соборной площади? Взяли и взорвали динамитом этакую махину! Зачем, когда уже все оборудование для планетария было припасено? Ведь вот бы был пример правильного, творческого освоения культуры прошлого. Сохранить, но перевооружить, так сказать. Перековать мечи на орала; ведь это, кажется, Маркс сказал? Блестяще! Так нет же, взорвали. Ну те-с, и стали на церковном фундаменте возводить здание Дворца культуры имени Куйбышева, с оперным театром, художественным музеем и областной библиотекой – все вместе. Строил очень крупный инженер по проекту крупного архитектора. Так на него настроили донос, что-де он вредитель, что пол зрительного зала не выдержит нагрузки на 2 тысячи мест и провалится. Заварилось крупное дело. Притащили 2 тысячи мешков с песком, положили по мешку на каждое кресло. Интересно, что пол выдержал; вообще, полы – это всегда проблема, с ними не каждому везет, вот у нее, казалось бы, квартира в новом доме, а дыры в полу такие, что ложка проваливается... и тут старуха спохватилась, что снова

потеряла нить рассуждения, и снова сделала усилие, чтобы связать обрывки мыслей; и снова ей повезло.

Бога нет, как нет и вообще никакой сверхприродной силы, о чем свидетельствуют и наука, и ее личный человеческий опыт; так думала она на протяжении нескольких десятков лет. Но в последние 10-12 лет, окончательно предоставленная самой себе, вынужденной, нехорошей беззаботности и полнейшему безделию (если не считать мытья одной чашки, одной тарелки глубокой и одной мелкой, одного блюдечка, одного столового прибора и одной чайной ложечки; квартиру же убирала раньше раз в неделю Маша Телегина, а после ее смерти – в бесплатной больнице для бедных, мерещилось часто Гале Абрамовне, когда она вспоминала о Маше, и тут же приходило ей в голову, что она опять ошиблась во времени: больниц для бедных более не существовало, а бесплатными были теперь все больницы, – после ее смерти за квартирой приходилось ухаживать все той же Лиле), отгороженная от мира, она принуждена была, чтобы скоротать время, проследить и свою жизнь, и многое другое.

Ночное посещение смерти прояснило все. Непереносимый страх смерти ясно сказал ей, что сила, стоящая над жизнью, над природой, сила, существование которой она отрицала, – е с т ь. Сила, высшая естества. Сверхъестественная сила.

Если бы ее сознание, ее душа была продуктом материи, частью природы, пусть особой, но все же частью земной природы вещей, она, как часть природы, уж наверно, была бы готова, приспособлена к любым формам природной жизни, включая ее распад и прекращение. Реакция на нормальные вещи обязательно была бы нормальной. Ведь смерть – нормальна, ибо положена всем. Тяжело, но что поделаешь – терпи: неизбежность. Так ведь нет же! Да уже сам характер смертного страха – тошнота, внутренняя корча, пароксизм – не лучшее ли свидетельство того, что душа – не из материи взялась?

Что естественные земные процессы, когда, казалось бы, уже и пора пришла умирать, когда отмерло 99% тела, для нее – неестественны. Душа телу не очень-то сродни, вот оно что.

И старуха вновь испытала странное, пугающее чувство, что ей предстоит отплыть в море – одной в огромное волнующееся море – и что это одушевленное и зрячее море все время наблюдает за ней, Галей Абрамовной. Да, Сила, давшая ей душу, не была слепой, безотчетной силой материальной стихии. Да, это Она следила, наблюдала сейчас за ней, это Она явилась в виде смерти (или, может быть, смерть была лишь Ее посланницей?). Это была Сила разумная. Как и порождаемые ею души. И впрямь, не может же... ну хотя бы вот этот комод породить хотя бы кошку. Так чем же умнее (неужели лишь тем, что привычнее? А чем же еще?) думать, что скопище космической пыли и камней в конце концов родило – человека? Накопление неодушевленностей произвело душу? Неразумное – разумное?! Нет и нет; подобное порождается лишь подобным.

Галя Абрамовна увидела вдруг ранее разрозненные события своей жизни выстроенными в порядок. Она увидела строй своей жизни, ей открылась железная последовательность событий, состоявшая с какого-то момента времени исключительно в планомерном отделении, откреплении ее сначала от людей, а потом и от какой бы то ни было внешней жизни. Впрочем, в изоляторе было прорублено оконце – с миром ее соединяла Лиля, иначе она умерла бы с голоду. Но всего-навсего оконце, а не дверь, чтобы она не могла выйти.

Все продумано. Все понятно. На ней ставили опыт: как поведет себя человек в полном одиночестве, лишенный физической возможности приносить кому-либо добро или зло; как поведет себя такой человек, если дать ему почти всю долготу дней, отпущенную человеку. А эта явно нарочная, специально посланная

ей бессонница? Эти странные, специально же посланные мысли! А вспомните, как заботится эта Высшая Сила о каждом рожденном на свет, сколько возможностей заглушить свои страхи, заполнить пустоту жизни, сколько разнообразнейших удовольствий, утешений, обманов и самообманов услужливо подсовывает она каждому. До поры до времени; чтобы потом одним злорадным ударом разрушить все это здание на песке, разоблачить все обманы и показать все, как оно есть, во всем его уродливом и ужасном обличье. Ибо – снова, снова и снова – что на этой земле, в этом мире, по сути своей мире присутствия и наличия, иначе говоря, в этом с у щ е с т в у ю щ е м мире может быть ужаснее и уродливее отсутствия? Пустоты. Небытия.

Но и эта разумность, как и это злорадство, это особенное коварство Высшей Силы, скрытое до поры до времени под маской милосердной заботливости, пресловутой «щедрости, красоты и многообразия жизни», – что все это, как не свойства о д у ш е в л е н н о г о существа?

Личности.

Вот что хуже всего: не ч т о - т о , н о К т о - т о ее создал, распоряжается ею и непрестанно – даже и вот сейчас – наблюдает за ней забавы ради. Она сотворена Кем-то с единственной целью: потешить этого Кого-то. Недоброго Кого-то.

Ведь это же ясно, ясно. Сотворить жизнь, бессмысленную и страшную настолько, что тут же понадобилось срочно, вдогон, сотворить всевозможные якобы милосердные (вот оно где, это «якобы»!) формы обмана, чтобы замаскировать ее истинный характер! Чтобы очередной посылаемый в жизнь, то есть на смерть, был способен – сквозь все ужасы и невзгоды – до смерти дожить. И, наконец, отобрать эту жизнь, отобрать в страхе и мучениях. Кто мог сделать это? Ради чего Он мог утруждать себя?

Только плохое, только абсолютно злое и зловредное Существо и только абсолютной же зловредности ради могло все это и задумать, и произвести! Это ясно, ясно. И такая злюка, без тени милосердия, правит миром! Чего же после этого требовать от земных правителей?

Нет, этого не может быть. Но это так. Если... если только одно... Если вот что: если это не конец. Если – как это ни смешно – за жизнью земной, за этим светом, и впрямь последует другой, тот свет. Там (как бы хорошо!) все здешнее приобретает смысл: страдание, одиночество, страх. Все. Тогда, если у Высшей Силы есть на нее, Галю Абрамовну Атливанникову, дальнейшие виды, тогда надлежит вести себя осмотрительнее. По крайней мере, не отзываться о Высшей Силе дурно. Не дерзить.

Однако что-то верится с трудом. Если бы она, эта Высшая Сила, имела хоть каплю доброты, жалости, действительного милосердия, разве могла бы она тогда не прийти на помощь Заре? Блокадным детям? Евреям в Трешлинке, Майданеке, Освенциме, Бабьем Яру? Белорусам в Хатыни? Кампучийцам, забиваемым на смерть мотыгами? Миллионы жизней! Мил-ли-о-ны. Ни в чем неповинных людей.

И если бы еще хоть весточка одна с того света, одно свидетельство, что там хоть что-нибудь есть. Но оттуда еще никто не возвращался; как же в таком случае не верить науке и своим глазам? Как верить детским сказкам? И что вся эта вера, как не порождение наших же страхов? Не более. Не более? А как же..?

Хорошо, тогда так. Пусть есть Бог, или Судьба, или... – в общем: есть не познанная человеком Высшая Сила. Это ясно. Но что с того? К чему сюда бессмертие-то еще приплетать? Сила эта тебя породила. Она же тебя и убьет. Это уж будь благонадежна. С какой стати надеяться на Ее милосердие, коль скоро Она показывала себя во все времена и показывает и теперь только с

одной стороны: как Силу коварную и бесчеловечно жестокую?

Ну, а коли так, за что же любить-то Ее, эту Силу? Преклоняться перед Ней? Благоговеть? Перед собственным палачом? Ни-за-что. Что, в самом-то деле? Бойся, не бойся, все едино: позабавится и убьет. Уж ведь и приготовлено все.

Так Ты – издеваться? Не боюсь! Не приемлю. Плюю на Тебя (Господи, если Ты есть, не слушай меня, старую дуру!). Я заявляю протест. Кому? На Кого? Ой, Геля, Галя, ой, не смей, ведь прихлопнет, как муху. Пусть только попробует! Я не боюсь Тебя. Вот я, Атливанникова Галя Абрамовна, мне 87 лет, но я не собираюсь умирать. И я не умру, пока сама не захочу; а не захочу я никогда. А если Ты меня все-таки убьешь, знай по крайней мере, что с приговором Твоим я несогласна, права казнить и миловать за Тобой не признаю и издеваться над собой не позволю! (Господи, помоги, страшно, страшно!)

И она делала все, чтобы показать свое неприятие Высшей Злой Силы. Она усиленно, демонстративно ж и л а. Она кушала супы и каши, рыбу и мясо, овощи и фрукты; она запивала их клюквенным морсом и компотом из чернослива и кураги, чаем и кофеем, и какао «Серебряный ярлык». Горьковатый, мужественно-сухой вкус рассыпчатой гречневой каши так же приятен был нежному, чувствительному аппарату языка ее и нёба, как и обволакивающая, влажная женственность овсянки; для нее было очевидно, что холодная волжская вода жирна, как молоко, а минеральная вода «Джермук», напротив, постна, тоща, как бы поджара, что разваренная курага сохраняет бархатистость, ворсистость вкуса свежего абрикоса; однако, как тому рано или поздно надлежало быть, обоняние ее и вкус, дойдя до высшего пика обострения, устремились, в свой черед, к смерти вслед за остальными органами чувств. С каждым днем они атрофировались все более, пока, наконец, Галя

Абрамовна не начала незаметно для себя есть по п а м я т и. И, сливая воедино почти неразличимый вкус поглощаемой пищи с острым, отчетливым ароматом и вкусом вспоминаемых яств, старуха уплетала огромные порции жареного хека, лемонемы или минтая, незаметно для себя превращая их в своем сознании в паровую осетрину или стерлядку кольчиком. Лишь некоторое время спустя до нее доходила истина в виде характерной отрыжки, которую отменная мастерица вызывать океаническая мороженая рыба, съеденная в таком количестве, как если бы она была свежей речной; тогда огорошенная старуха грустно думала... нет, даже не думала, а просто ей было грустно, что Лиля стала меньше о ней заботиться. По причине старческого недержания языка у нее однажды сорвалось: «Лилечка, что-то вы стерляди давно не принесли. У вас ведь раньше стерлядь не переводилась». Лилля растерялась, а Галя Абрамовна добавила: «И угри горячего копчения». Лилля, помолчав, написала: «Перебои нынче с угрями, Галя Абрамовна». – «Пе-ре-бо-ои, – глядя в лупу, величественно прокаркала старуха. – Ну, когда они кончатся, эти перебои, вы уж мне принесите, пожалуйста. Я – очень люблю». И она вновь и вновь расставляла свои тарелочки, даже один-единственный кусочек селедочки или колбаски достаивался отдельной тарелки: искусство самосохранения требовало строгой, не знающей исключений дисциплины.

Она догадывалась, что дело здесь не чисто. Что Лилля обманывает ее. Какие могут быть перебои в мирное время? Как это может быть, чтобы в магазинах не было свежей рыбы, швейцарского или хотя бы костромского сыра? Масла, простого сливочного масла, на худой конец? Обычного масла, не вологодского какого-нибудь! Нет-нет, что-то тут не так. Она любила Лиллю, но перестала ей доверять всецело с тех пор, как ей открыли глаза: смотри, как Лилечка старается для чужого человека. Смотри, не нужно ли ей чего от тебя. Да, но

что может быть нужно от глухой старухи? Что у нее есть? А то, что людям нужнее всего: жилплощадь. Ведь у тебя есть жилплощадь. Так вот и не хочет ли твоя Лилечка прописать у тебя своего Витю? Каким образом? Ну, например, опекунство.

Ей раскрыли глаза; действительно, Лиля неоднократно заводила как бы ненароком разговор о чем-то вроде родственного обмена. Что-то такое вроде бы съехаться. Для общей пользы. Разумеется, в конце концов, предупрежденная умными людьми, она решительно отказалась. Тут-то и возник вариант, где фигурировал уже только Лилин сын Витя, которого, кстати, Галя Абрамовна ребенком почти любила – Витя появился на свет год спустя после смерти Зары, когда душа ее словно умерла для живых, теплых чувств, – во всяком случае, учила его правильно обертывать шею кашне и есть яичко всмятку при помощи специальной рюмочки; однако, когда впоследствии Понаровские получили квартиру, Витя не проявлял особого желания навещать ее. Галя Абрамовна вновь отказалась; Лиля продолжала ее навещать, теперь уж, казалось бы, бескорыстно; однако доверие было подорвано. Старухе иногда казалось даже, что Лиля приносит ей отравленную пищу: иначе откуда бы взяться тошноте и в особенности расстройству желудка, когда для нее характерно как раз противоположное? Конечно, трудно поверить... и все же – у Лили имелись причины желать ей смерти: злость за сорвавшееся дело, например; главное же – кому не в тягость такая обуза?

Она приняла кое-какие меры по обеспечению сохранности своей жизни: попросила ту же Лилию (а кого еще попросишь?) добавить к ее рациону молоко, известное своими антиотравляющими свойствами; но обязательно в пакетах (само собой, непечатых) – такова уж, мол, стариковская причуда. То обстоятельство, что Лиля приносила молоко крайне нерегулярно, ссылаясь

по-прежнему на мифические «перебои», только укрепляло Галю Абрамовну в наихудших подозрениях. Как, впрочем, и Лилины отказы разделить с ней трапезу. «Галя Абрамовна, я только из дома, это все вам, чтоб вы ели...» Извольте ли видеть – чтобы она ела! Что вы на это скажете? Нет-нет, воля ваша, здесь дело нечисто, и она это так не оставит.

В действительности же дело обстояло так: съедая в склеротическом забытьи огромные порции и не умея затем объяснить столь быстрое исчезновение пищи, старуха решила, в конце концов, что кто-то крадет у нее из холодильника. Мало ли кто. Любой может подобрать ключ (а у Понаровских и просто б ы л ключ) и, воспользовавшись ее глухотой и немощью, поедать ее припасы. Так соображая, Галя Абрамовна пришла к тому, чтобы держать все продукты у себя в комнате, на окне, где они, точнее, те из них, которые способны были прокисать, разумеется, и кисли самым простейшим образом. Меж тем, в последние недели к утрате обоняния и вкуса прибавилась потеря чувства времени: если еще два-три месяца назад она всего-навсего не отличала 6 часов вечера от 6 часов утра, то сейчас она могла посчитать сутки за два-три часа. В силу этих двух причин она и не ведала, что творила, потребляя в больших количествах уже не суп или уху, а скорее мясной или рыбный квас или же кисель. Все могло бы быть объяснено и выяснено, расскажи она Лиле о симптомах отравления и о своих подозрениях; но в том-то и дело, что, желая разоблачить Лилю, она следила за ней, не раскрывая своих карт. Пусть лучше ее пронесет лишний раз, но она выведет Лилю на чистую воду.

К числу тех немногих наслаждений, тех тонизирующих средств, которые еще оставались ей и которыми надлежало пользоваться умеючи, относились и воспоминания. Конечно, они требовали работы, работы нелегкой, однако же благодарной. Трудность, уже отме-

ченная, заключалась в том, что сами по себе воспоминания ее жизни словно бы подсохли, выпарив из себя всю влагу живого чувства, и отшелушились, подобно зажившей болячке. Некоторые из них были обманчиво податливы, но стоило всерьез попытаться оживить то или иное имя или событие – и мысль упиралась в тупик. Похоже было, что бьешься головой о стену, обитую ватой.

Эту-то кучу отделившихся от нее, словно опавшие листья, воспоминаний следовало разворошить, чтобы отыскать два-три, еще способные источать пусть слабый аромат. То был сбор не воспоминаний собственно, но их теней, отражений, их звучания и отсвета. То были воспоминания о воспоминаниях. Ибо здесь не играла роли ни степень важности вспоминаемого в ее жизни, ни вообще значительность происходившего, ни его когдатощная острота. Все это было и прошло. Но не проходил, оставался с нею тихий свет лампы в 25 свечей, падавший когда-то слева из-под желтого абажура, оставалось случайное тепло, и пришедший сто лет назад, неизвестно когда и при каких обстоятельствах лунный восторг, и кратковременная вечность умиления, когда он уже спит, а ты все смотришь в темноту перед собой, – как памятно жива и сейчас счастливая истома этой одинокой ночной минуты. Но имени его, и лица, и прочего всего – уже не вспомнить, не вспомнить, как ни старайся.

Ловля теней; снова и снова – вкус пирога с морковью во дворе гимназии, снова крик: «Мла-ака, мла-каа, кому млакаа?» летним розовым утром, запах раскаленного асфальта, по которому прошлась поливальная машина... Добыча повещественнее: стальная машинка для набивания папиросных гильз. Она сохранила в себе сипловато-высокий, такой домашний голос своего хозяина: «Ну его к лешему. Сколько ни бейся, а все не „Месаксуди“», – и изумительные усы, и огорченную улыбку, чуть поднимавшую их кончики, и коричневую,

влажную горку папиросного табаку, сушившуюся на подоконнике после того, как Алексей Дмитрич проваривал его в сложном компоте (где были и мед, и корица, и капелька водки... один Бог знает, чего только не было в том компоте), пытаюсь домашними средствами добиться любимого им аромата и вкуса турецкого табака «Месаксуди» или отличнейших папирос отечественной досоветской фабрики Бостанжогло... Это воспоминание всегда рождало в ней нежность и умиление: от него веяло уютом домашних чудачеств, безопасностью и чистотой. Да, чистотой. Ибо она была всего только чистоплотна, а он был – чист; он никогда не ревновал ее, даже в тех случаях, когда ревность была, казалось бы, оправдана. Он просто верил ей на слово: смешно и глупо, но как-то он взялся всерьез убеждать Софью Ильиничну, что тогда, в Стерлитамаке, «между Галочкой и Мариком ничего не было». Он верил ей просто потому, что сам всегда был верен, и плохо представлял те чувства и действия, которых сам не испытывал и не совершал. А она, бессовестная, пару раз воспользовалась этим, ну, всего два раза; если послушать других... ах, какое, какое сейчас это имеет значение?

Однако такое не часто случалось выловить. Можно сколько угодно рыться в старых фотографиях, письмах, которые нет никакой возможности прочесть, обрывках траченных молью старых тканей: панбархата, английского ситчика, китайского шелка, креп-жоржета – все будет мертво, все холодно, все пусто. И опять, опять эта фамилия: Модзалевский. Но она продолжала перебирать свои сокровища, зная, что никакая работа не остается без награды. Неизвестно, когда и как, но она будет вознаграждена. И бывало, устав от поисков, Галя Абрамовна задремывала в отцовском кресле, откинув голову на его высокую резную спинку, и вдруг пробуждалась от тронувшего ее ноздри совершенно явственного запаха мартовского снега 1913 года. Снег пах арбузом; точно так же, как истекает соком арбузная мякоть, сочился

водой весенний снег; однако он был еще крепок, и тройка неслась по нему, и в тройке этой сидела она, семнадцатилетняя Геля, одна из первых красавиц Самары, а рядом с ней – Леонид Витальевич Собинов. Она не видела своего лица (как это совершенно неправильно показывается зачастую в кинематографических воспоминаниях или снах), не видела и лица Собинова, но чувствовала на себе его взгляд и хорошо понимала отчетливо выраженный смысл упорного этого взгляда, в котором несколько хищная прицельность соседствовала с романтической туманноостью, навянной, вероятно, выпитым шампанским, а сдержанная простота культурного человека необъяснимым образом уживалась с победительной самовлюбленностью оперной знаменитости, привыкшей к всеобщему поклонению. Это последнее могло бы охладить Галин восторг, если бы она не чувствовала всем семнадцатилетним своим естеством: Леонид Витальевич, несмотря на всю его победительность, ею совершенно очарован и даже слегка потерял голову; она знала это, и одновременно боялась этому верить, и желала только одного: продлить напряженную двойственность чувства, наслаждение игры с самой собой, эту щекочущую остроту неопределенности... Что-то сосало в груди, и сердце таяло, как тает теперь мятный леденец во рту, и пахло арбузом, и еще крепко несло животным от теплой меховой полости, укутывающей им ноги, и пронзительный, радостный мартовский ветер, ее семнадцать лет, ее кунья муфта и кунья же шапочка, и замерзшая Волга за две недели до ледохода...

Собинов умер. Давно. Кажется, еще до революции. Или после революции, но до войны? А может быть, после войны, но до революции? Что раньше: до войны или после революции? Какая разница, если человек умер. Доподлинно известно, что Собинов умер. Его нет. А Волга – есть еще? Не знаю; наверное, есть. Еще сов-

сем недавно была; я сама видела. По-моему, была. А почему бы и нет?

Тройка остановилась на набережной. Они спустились на берег, прошли по нему, утопая в снегу, затем взошли по деревянному трапу с металлическими, крашенными в голубой цвет поручнями, и оказались в летнем ресторане-поплавке, вмержшем в еще крепкий волжский лед, в ресторане, неведомо почему открытом в это время года. Они сели за столик, покрытый, как водилось в подобных заведениях, несвежей скатертью со следами пролитого красного вина, и заказали на первый случай водки и горячих калачей с мелкой стерляжьей икрой. «С морозцу, – сказал Собинов, – а хороша тут, должно быть, уха». После чего Леонида Витальевича вдруг не стало и больше он уже не появлялся, а над ее головой неожиданно зажегся свет сигнальной лампочки-звонка, и она поняла, что находится у себя дома и что кто-то пришел. Она побрела открывать. За дверью стоял муж. «Здравствуй, – сказала она, – как поживаешь?» – «Неплохо, Галочка, – отвечал Алексей Дмитрич, – там у нас, знаешь, очень неплохо. По крайней мере, не мотают нервы с происхождением». – «Ну, передавай привет всем – Марку и Софочке». – «Ты знаешь, Галочка, что-то я их нигде не вижу. Но если встречу, обязательно передам». И тут только Галя Абрамовна заметила, что Алексей Дмитрич одет в синий спортивный костюм Марка Борисовича, чего быть никак не могло: Марк никому бы не одолжил свой любимый костюм даже на 5 минут. Тогда она поняла, что снова угодила в сон. И проснулась. Рот ее был полон сладкой слюны, стекавшей из уголка рта на подбородок и белый воротничок платья. И снова ей пришлось убедиться, что боязнь будущего в любом без исключения случае есть дело заведомо пустейшее, ибо все всегда случается не так, как представлялось когда-то, и никогда нельзя угадать заранее, чего на самом деле следовало бояться. Как все-таки боялась она когда-то стать

в старости слюнявой идиоткой, вызывающей у всех отвращение; и вот снова и снова ловила себя теперь, когда чаемая беда, наконец, пришла, на полнейшем безразличии к подобным мелочам!

Если слабоумие и слюнявость чем-то все же неприятно поражали ее, то вовсе не своей физиологической неприглядностью, а тем, что являлись непреложным свидетельством, очевиднейшим доказательством не только абсолютного превосходства над ней той силы, с которой она боролась, но, главное, того, что борьба эта, с ее запланированным исходом, шла к своему концу не по дням, а по часам, если уже не по минутам.

Хуже всего, что нападению и разрушениям подвергся самый оплот ее сопротивления, выражаясь газетным языком современности, центр, руководивший борьбой. Старческий маразм размывал границы ее «я», лишал его отчетливости самоощущения и тем катастрофически снижал ее бдительность.

Она старалась, как могла; но результат ее усилий, и без того недостаточный, становился все меньше по мере того, как все меньше она различала себя в движущемся потоке частиц окружающего ее маленького – и все-таки куда большего ее самой – пространства. Странно: если бы не страх смерти (а ведь его-то она и пыталась преодолеть!), хронически заставляющий ее чувствовать границы своего напуганного, судорожно сжимающегося «я», заставляющий чувствовать, что она, Галя Абрамовна Атливанникова, – это одно, а хлеб с маслом или же лупа Алексея Дмитрича – все-таки другое, – если бы не страх смерти, она, как ни старайся, совсем затерялась бы в броуновом потоке более или менее разреженных или скученных частиц окружающей, вспоминаемой и воображаемой жизни и сгинула безвозвратно, заблудившись в млечных туманностях угасающего сознания.

Опасность подстерегала ее на каждом шагу путешествия в тумане; иногда Галя Абрамовна, как-то ненароком, просто и естественно попадала в положения, созна-

вая которые позже, задним числом, не могла надивиться вдоволь тем совершенно невозможным коленцам, которые выкидывала ее, казалось бы, бесповоротно нормальная доселе психика. Так, однажды она оказалась младенцем, сосущим материнскую грудь. Старуха поняла это, ощутив во рту губчатую, шероховатую плоть, заливающую рот, если прихватить ее изо всех сил губами, теплой, сладковато-жирной, необыкновенно вкусной и сытной (что в младенческом правильном сознании одно и то же) жидкой пищей. Одновременно с этим, по ощущению сладостной, если можно так выразиться, идеально-чувственной боли в прикушенной груди и присутствии рядом какой-то теплой, приятной тяжести Галя Абрамовна поняла, что матерью, ее питающей, была она же сама. Тогда ей показалось, что это в порядке вещей. Ее поставили перед фактом, и она приняла его как данность. Но позже она долго ломала голову над удивительным происшествием, смутно, безотчетно догадываясь, что всему виною ее кровь, кровь рода, обрекаемого на уничтожение; древняя, сильная, живая кровь Израиля застоялась в ней, не имея возможности перелиться в новые жилы, и теперь бродила, опьяняя ее седую голову, играя с ней глупую шутку, не лишнюю, однако, – как это часто бывает по пьяному делу – своей правды и своего смысла.

Ведь и она была ребенком; она так боялась и так хотела, чтобы ее защитили. Да, ей было так плохо одной, и так хотелось, чтобы ее пожалели. И она уже не боялась обнаружить себя, как еще совсем недавно, не боялась уронить свое человеческое достоинство. Она долго верила в человеческое достоинство. А теперь она стояла в зеленом тазу с отбитой в двух местах эмалью, маленькая, голая, и Лиля намыливала ее губкой с детским мылом – потому что мочалка и всякое другое мыло вызывали у нее покраснения кожи – и поливала из кастрюльки теплой водой (в ванной был гибкий душ, но крошечная ванная комната не давала возможности разме-

ститься на ее полу вдвоем, а в ванну старуха не смогла бы залезть даже с Лилиной помощью), и вода текла в таз и на пол мутными, чуть пенистыми потоками, похожими на сильно разбавленное молоко; когда теплая вода падала на нее сверху, ей становилось тепло, но тут же делалось ужасно холодно, обвисшая кожа ее покрывалась пупырышками, а Лиля продолжала тереть ее губкой и поливать водой, и от перепадов тепла и холода все в ней ежилось и сладко замирало. В такие минуты она не помнила своих подозрений насчет Лили; перед ней была совершенно другая Лиля – не корыстная особа, интриганка, отравительница, – но Лиля – родное существо, притом существо, гораздо большее и более сильное, а значит, способное защитить ее, Галю Абрамовну, от всех и всяческих бед и нападений. Это была м а т ь; и старуха все норовила прижаться к Лилиной груди, спрятать на ее груди свое лицо и мокрое голое тельце – она понимала сейчас буквально ту истину, что все люди из одного теста, и чувствовала себя маленьким кусочком теста, хотящим более всего прилепиться к большому, основному куску, в е р н у т ь с я в н е г о, – но ничего не выходило, кроме потеков и ошметок мыльной пены на Лилином платье; и старуха плакала от невозможности спрятаться, защититься от смерти, невозможности, тем более горькой, что спасение было вот здесь, совсем рядом; а Лиля все мылила и смывала, молча, и нельзя было понять, что она думает, а старуха плакала от счастья соединения с родным сильным существом, и сердце ее начинало стучать быстрее от подключенной к нему энергии Лилиного сердца, и она знала, что не умрет вот сейчас, сейчас не умрет, и сейчас, и опять не умрет сейчас, и никогда сейчас не умрет. Она жива сейчас, и жива сейчас, и будет вечно жива сейчас, вечно жива. И еще раз вечно.

«Слава Богу, на этот раз мне не было так страшно, как прежде, я даже слышала тихую музыку, а главное –

не было темно. Как я благодарна. Силы оставляют меня. Прощай, мой любимый...»*

* * *

Она боялась, что смерть придет ночью, и надеялась, что та придет утром или днем: так, ей казалось, легче уйти: в светлое, а не во тьму. Смерть пришла под вечер, когда ее меньше всего ждали, в долгий июньский вечер, чей рассеянный свет понятен и мил даже полуслепому человеку. Смерть пришла, когда ее не ждали.

Галя Абрамовна сидела за столом и разводила костер из спичек, клочков бумаги и стружек карандаша. Столь простой способ защиты от холода никогда раньше не приходил ей в голову, а, казалось бы, что может быть проще? Она поднесла горящую спичку к клочку газеты, и тут в ней обнаружилась смерть. Она возникла вдруг мгновенно и просто, с непостижимой простотой узнаваемости, с невозможностью не быть узнанной сразу; так вдруг мгновенно и отчетливо возникает жажда, и кажется: ты всегда только и хотел пить; вот почему – как и в тот раз, – когда старуха поняла, кто это, изменить что-либо было уже невозможно.

Опять она не уследила, опять. Смерть быстро отключила внешний, вечерний свет и включила свой фонарик, так что Галя Абрамовна, погрузившись вдруг во тьму кромешную, могла зато, как и в первый раз, ясно видеть внутри себя. Она поняла, что настал ее смертный час, поняла потому, что страх смерти, мучивший ее все время, внезапно исчез, уступив место самой смерти. Он исчез потому, что сделался ненужным, как не нужен посланник, когда появляется тот, кто его послал.

Это исчезновение страха было самое плохое, самое страшное, что могло с ней случиться. Она ощутила

* Перевод В. Хинкиса.

физическую тяжесть истины как ношу, от которой над-рывалась сердечная мышца, и сильный звон миновал ее бесполезные перепонки и вошел прямо в мозг, отчего тот расширился, распирая череп. Что-то или кто-то, взяв ее за затылок, пригибал голову книзу, в то время как таз и ноги словно подкидывало к потолку. Она пыталась сопротивляться, но от борьбы, от столкнове-ния ее только сильнее тошнило.

Игра в кошки-мышки кончилась; ее пришли – уби-вать. Ее уже убивают. Через минуту-две ее убьют. Сопротивление бесполезно. «Мужество», «гордость», «достоинство» – нет большего вздора, когда...когда...когда...!

Она прекратила сопротивление. Она забилась в угол себя – откуда видела, как пускают слюну и дерга-ются ее белые губы, – оцепенелая, измученная давле-нием и тошнотой, сломленная, во всем покорная отныне своей победительнице – смерти.

Древнее упрямство, гордыня ее отцов и дедов, спрессованная в ней, хрустнув, переломилась, как соло-минка, в чьих-то сильных руках. Но сейчас она даже не обратила внимания на унижительность этого факта. Ей было не до таких мелочей. Она хотела только одного: чтобы ее убили побыстрее и ее перестало бы тошнить. Она попробовала уменьшить тошноту, применив усвоенную в детстве науку медленного, ровного дыха-ния носом, но все было напрасно; поняв окончательно, что не в ее воле хотя бы на йоту уменьшить муку расста-вания с жизнью, она смирилась с тошнотой и ждала сле-дующей акции смерти, готовая, как это ни было мучи-тельно, подчиниться, не противясь.

Неожиданно ее перестало тошнить, и давление упало. Подтверждалось, таким образом, что старуха имела дело с силой одушевленной, то есть такой, которой можно угодить или не угодить. И вот сейчас своей покорностью и готовностью претерпеть все до конца

Галя Абрамовна силе этой – угодила, получив в награду облегчение смертных мук. Нужно было только слушаться – и ничего больше.

За такую-то малостью было дело! Галя Абрамовна полностью отдалась на волю смерти, в одной надежде: что та не оставит ее своею милостью. И упования ее не были посрамлены.

Старухе дали видеть, что происходило внутри нее при тусклом свете фонарика смерти. Она видела, как душу ее отделяют от тела, и воспринимала это как ласку. Она чувствовала, как от внутренних стенок ее естества словно бы отлепляют пластырь, доставляя ей нежную, щекочущую боль наслаждения. Нега делалась все пронзительней; Галя Абрамовна чувствовала связь ее с чем-то давним, некогда важным для нее, чего никак не могла вспомнить.

Нега и боль еще усилились; и вдруг она вспомнила. Она у в и д е л а запах деревянного дома, каким бывает он в разгаре июля, днем, – ровный запах сухих, нагретых старых досок и сырой половой тряпки; увидела луч июльского солнца, бьющий в окно и расщепляющий, дырявящий, превращающий в блинное кружево все, что стоит на его пути: человек ли, доски ли пола или самый воздух, остановившийся воздух остановившегося июльского дня в Самаре 1918 года, той Самаре с ее как будто еще довоенным изобилием, которая казалась раем прибывавшим из центральных губерний беженцам от голода и смуты революции, но которая на самом деле стояла уже на пороге небывалых в ее истории бедствий. Человек этот, угодивший под солнечный луч, – квартирующий у них поручик Мирослав; и он смотрит на нее. Его розовое, детски-пухлосекое, по-взрослому бритое лицо, белесые ресницы, взгляд из-под тяжелых, иностранных век, непрерывно следующий за всеми ее передвижениями по комнате; ее тогдашние ноги, сухие, с выпирающими щиколотками, одетые в полосатые сине-белые носки и обутые в красные сафьяновые

домашние чувяки. Ноги передвигаются по дощатым, вощеным, скрипящим половицам. Он приближается, все так же неотрывно глядя на нее; легкий запах подмышек и одеколona для бритья. Она чувствует вдруг, как эта здоровая жизнь и н о г о, непохожего на ее, мужского тела становится для нее чрезвычайно интересной, как между ними устанавливается связь. Ее страх и трепет, камнем вниз от страха желанная упавшее сердце, ее душа, взалкавшая вдруг впервые выхода из тела и понимающая: выйти за пределы тела можно только при помощи тела. То возникло в ней чувство, заставляющее женщину мириться и со стыдом обнажаемого тела, и с болью первой близости: чувство неизбежности физического выражения любви. То плотское чувство духовной природы даже самой кратковременной, даже, казалось бы, ненастоящей, п о д м е н н о й любви (как, сам того не зная, подменил Алексея Дмитрича Мирослав, слишком своевременно оказавшийся на ее пути и ушедший затем навсегда из ее жизни, а может быть, и вообще из жизни, вместе с остатками группы полковника Чечека, откатившимися к Уралу после взятия Самары в октябре 18-го года 4-й армией Восточного фронта), которое особенно остро, когда э т о впервые, и которое самый стыд и самую боль наполняет густой, медово-тягучей сладостью.

И Галя Абрамовна увидела снова свои тогдашние ноги, но уже без чувяков, в одних носках, загорелые до середины щиколотки и голубовато-белые во всю их остальную длину; она испытала опять острое, сладкое бесстыдство любви, и энергия любви слилась в ней с энергией смерти в общем стремлении вовне, за пределы себя. В страшном блаженстве исхода.

Границы тела размывались, как бы проницаемые струящимися потоками все более расширяющейся ее души, так что тело не могло уже отдавать себе отчет, каковы его точные формы; место же четкого контура тела в наступившей с приходом смерти темноте заняло

слабое, подобное фосфорическому свечение, вызываемое, вероятно, трением души о тело при переходе его границ.

Старуха решила, что так и умрет, истекши душой, как истекают кровью; но она ошибалась: это был не конец. Ее только готовили к тому, что должно было стать концом. Учили, как правильно умереть.

Ее вдруг закрутило, и понесло, и бросило на самое же себя, как девятибалльная волна бросает корабль на рифы. Но она не разбилась; вместо этого она ударилась о мягкое, податливое, даже слишком податливое, так как почувствовала вдруг, как ее втягивает в какую-то воронку. Этой воронкой было ее собственное горло. Ее стремительно несло вверх, как если бы она глубоко нырнула и сейчас выныривала на поверхность. Однако она никак не могла вынырнуть, не могла выхлестнуть из себя, потому что сделать это можно было только одним путем – через горло; но горло ее оказалось узким. Галя Абрамовна комом застряла у себя в горле, испытывая сильнейшие, чрезвычайные муки удушья, виновницей которых была сама же. Она попыталась вернуться вниз, на свое прежнее место, но слишком сильным было давление смерти, выдавливающее ее из себя, как зубную пасту из тюбика, несущее ее вон, во тьму внешнюю, где она – кончалась, где ее не могло больше – быть... Ей стало невыносимо больно умирать, но она не могла уже прекратить эту боль; ее продолжали вбивать ей же в горло, раздвигая, раздирая его, слишком грубо помогая испустить дух. И старуха закричала, как кричала когда-то во время родов – ей казалось, как и тогда, что боль нужно перекричать, чтобы та умолкла, – она закричала изо всех сил, но это был холостой крик, который ее забитое горло не могло издать, а мертвые уши – слышать. И хотя в мозгу ее звенел неистовый крик, она немотствовала, и только ходил судорожно ее кадык, как у человека, подавившегося слишком большим, неудачно проглоченным куском.

И все же в этой, казалось бы, невообразимой боли было, как и тогда, во время родов, что-то, что помогало ее переносить. Это была та сила, которая жила в ней всегда. Сила, делавшая возможной, почти сносной, чуть ли не осмысленной ее жизнь, когда, казалось бы, бессмысленность ее и безнадежность выяснились совершенно и полностью. Сила, скрывавшая в себе ответ на все безответные вопросы ее последних дней; а между тем ее-то, эту силу, старуха не брала в расчет, вопрошая, так как слилась с ней настолько, что и не в состоянии была найти ее, обнаружить ее существование! Она искала очки, которые все время были у нее на носу; и только теперь услышала она в себе голос этой силы, уже не заглушаемой шумом крови, умолкнувшим навек. Она услышала наконец голос надежды, который жил и в полной безнадежности, надежды, связующей силу, жившую в ней, с Силой, стоящей над ней и убивающей ее сейчас. И ей вдруг открылась сквозь тошноту и удушье, сквозь треск раздираемой материи земной жизни ее принадлежность этой Силе. Вопреки всему, что старуха, ей казалось, знала, ей хотели помочь. Чувствуя, как ее тащат вверх изо всей огромной мощи, желая помочь ей выбраться из трясины, из болота разлагающегося, гниющего тела, Галя Абрамовна поняла, что она не просто – жила и умирает не по своей, но по чьей-то воле, но – что ее вообще нет и не было самой по себе, а она есть только часть пришедшей забрать ее Высшей Силы. Эта Сила, как ни странно, даже чуть ли не нуждалась в ней, Гале Абрамовне Атливанниковой! Ее не могли просто так убить, коль скоро и она зачем-то понадобилась; и значит, смерть ее не была просто необходимой кому-то нелепостью, неуклонно и необратимо волочащей зачем-то каждого в мерзость запустения, называемую – небытие. Ужасная, мучительная смерть ее была чем-то правильным, разумным, чем-то в высшей степени нормальным. Старуха думала, что пони-

мает: жизнь есть смерть, но она ошибалась, и она поняла сейчас: это смерть была жизнью.

Сердце перестало биться, и кровь остановилась в жилах, а Галя Абрамовна все еще корчилась и глотала, безуспешно пытаясь пробиться в смерть сквозь узкую воронку горла, сквозь узкий коридор, казалось, сам пробивающийся куда-то и от того все более вытягивающийся и сужающийся. Она понимала правильность происходящего, но хотела умереть поскорее: пытка удушья превышала ее силы. Но она не знала, как это сделать, и принуждена была вытерпеть все до конца.

И вдруг горло ее поддалось, и в несказанной тоске и смущении духа ее вынесло из себя. Она выдохнула себя со стоном облегчения и теперь падала вверх, в разверзшуюся над ней бездну. Галя Абрамовна поняла, что действительно покинула себя, увидев свое маленькое старушечье тельце в зеленой шерстяной фуфайке поверх гимназического платья с белым воротничком, полулежащее в слишком большом для нее кресле с черной резной спинкой, тельце, скрюченное, сплюснутое, как бы оттиснутое смертью, подобно мышке, убитой мышеловкой, или – чтобы подыскать более приличное сравнение, хотя все на свете приличия потеряли для нее теперь всякую цену, – подобно печатному изображению на тульском или вяземском прянике. Она увидела тающую сосульку леденца на ложечке вывалившегося языка, увидела остекленелые, выпученные от удушья глаза на бывшем своем лице и поняла, что умерла. Она умерла, умерла вне всяких сомнений.

Но она жила. Она жила, будучи мертвой, и это ее не удивляло, как не удивлял и тот факт, что душа ее расширилась, вместив в себя всю бесконечность мира, и в то же время чувствовала себя лишь крошечной точкой этого безграничного мира. Она видела отсюда, что происходило в очень маленькой комнате, где лежало ее мертвое тело; видела, что огонь, разведенный ею, перекинулся на скатерть, прожег ее, и вот-вот пламя охватит

дубовый стол. Это был беспорядок, но она чувствовала себя бессильной устранить его, да и, по правде говоря, ее это больше не волновало. А потом комната исчезла; она перенеслась туда, где исчезло все, кроме дыхания. Она дышала, однако дыхание ее изменилось, перестав быть фазообразным. Она не вдыхала и не выдыхала, но дышала, словно бы сейчас дыханием. Это дыхание было зримым, оно было – прямой луч серебрящегося, прозрачного света; и Галя Абрамовна поняла, что она, ее дыхание и этот свет – едины, что она и есть этот тихий и в то же время яркий луч света; и увидела светящуюся точку, от которой исходил этот луч, то есть она сама; точка непрерывно увеличивалась, и Галя Абрамовна поняла: луч света течет в обратном направлении, возвращаясь к своему источнику. К светильнику.

И ...

Москва, 1983 год

Вышел из печати новый номер бюллетеня инициативного комитета Ассоциации «НОВАЯ РОССИЯ» (эта ассоциация ставит целью создание русскоязычной политической автономии).

Основное место в бюллетене занимают письма, в которых зарубежная русская общественность дает различную оценку движению за «Новую Россию». В их числе – мнения ряда видных представителей русской эмиграции.

Желающих получить бюллетень просим обращаться по адресу: Lavrov Publishing House, P.O.Box 431, Bay Station, Brooklyn, N.Y. 11235. USA.

* *
*

Одна и есть надежда,
что снова проблеснут
когда-нибудь и между
обыденных минут
весенние мгновенья,
живой кропя водой
на речь без оперенья,
на мертвый голос мой.

И речь послушно взмает,
а голос оживет,
захочет петь героев –
о войнах запоет,
и можно петь о дебрях
пороков и любви,
хоть люди – в рифму звери –
по темечко в крови.

Пусть речь моя, отведав
живой воды, потом
об том или об этом
посильный скажет гром,
а коротко ли долго
погромыхает масть, –
пускай речёт – и только
на то не наша власть.

1982 г.

* *
*

И через каждый новый день
я переваливаю, как через высокую,
как через насыпь земляную крутобокую
танк переваливает: вверх ползет, затем
на гребне покачается немного
и вниз поедет еле-еле.
Такая день за днем, неделю
шла за неделей дорога,
дорога через дни, как через насыпи.
Но я ведь все-таки не танк, чтоб землю мучать,
и, чем как танк по дням ползти, уж лучше сразу бы –
или кранты или чтоб выровнялась участь.

1981 г.

* *
*

Сначала ты оголоушен,
что не в жильцы подзалетел,
потом ты – бывший и ненужный
для не больниц и не детей,

потом окопчик под землю
во сне учуешь ты не раз
и на себя приладишь мглою
и вечным холодом у глаз,

потом в отчаяньи бессильном
ты заколотишься – как быть?
То ли отмучиться не пыльно,
то ли хоть как-нибудь пожить.

1982 г.

* *
*

Кто же вы такие, безлошадные?
Мы водились в русском заповеднике,
обликом – подкидыши нескладные,
разумом – ленивые вареники.

Душами подобные болотцам,
с руками наподобие крюков, –
на нас не угодишь ни долгим солнцем,
ни доблестью на родине веков.

Орден безлошадных, неприкаянных –
конченные, конченные мы.
Разве что осталось на окраинах
памяти искать клочки зимы.

1981

* *
*

О, дайте мне застолье,
московское застолье,
я так истосковался
без явной правоты, –
раскованно б сидели
достойные с достойным,
высокое безделье
стояло бы, как дым.

И дайте мне раздолье,
московское раздолье
застольных пересудов
о доме жизни сём,

блистательное вече
достойного с достойным,
когда лесами речи
облеплен жизни дом.

И я спрошу застолье,
московское застолье:
какого цвета кони
пылят по дням земли? –
на стройных посиделках
достойного с достойным
и черный цвет и белый
поля б свои нашли.

И я б сказал застолью,
московскому застолью:
едва ли есть на юге
подобное тебе, –
так выпьем за разлуку,
достойную достойных,
чтоб не было всё глухо,
фатально и т. п.

И выпьем за застолье,
московское застолье, –
едва ли где на свете
подобное найдешь, –
последний заповедник,
достойного достойный,
единственный навеки
родной мне посидёж.

1981 г.

* *
*

Пойдем на озеро лесное,
там искупаемся и ляжем
на берегу его, – покоем
воды наполнить взоры наши.

Воды наполнимся картиной,
душою отойдя, отмокнув, –
и в нас отчаянье утихнет,
и ропот на судьбу умолкнет.

И мы заплываем в объятьях,
плеща руками и телами,
и повторяемыми гладью
воды зеркальными тенями.

1984 г.

* *
*

И я бы тот же вывод сделал,
за Достоевским повторив,
а он – за Пушкиным: Отелло
доверчив был, а не ревнив.

Скоропалителен еще был
и вороных еще мастей, –
и мог на смерть обречь зазную
за смерть любовных миражей.

А я, не мавр и не соперник,
и весь – доверчивость и ржа, –
я чту лишь редкий оклик пенно-
рожденной, им лишь дорожа.

1981 г.

* *
*

Открытая Богу от века, –
тебе ж, только душу мутя,
дарует лишь слабое эхо
недолгая тайна житья,

лишь тот еле видимый отсвет
твоих самых донных огней,
во снах осязаемый на позах
и лицах неплотских людей,

чтоб ты, невесомее тени
на чистом наитии взмыв,
в дурной толкотне сновидений
последний почувствовал смысл

и тут же забыл его снова,
как только единый узор
опять разойдется на слова
и тела с душой разговор.

1981 г.

ФАНТОМ*

Я с детства полюбил овал. Я не терплю крутых поворотов судьбы, хотя и восхищаюсь людьми, способными на это. Вокруг все бурлило и менялось: кто в тюрьму, кто в семью, кто на Запад. Уехал в Париж художник Стрельцов, взорвался как фейерверк и затих. Один за другим уезжали друзья, даря на память книги, рисунки, фотографии. Один из них даже подарил гантели и совет бегать по утрам. Уезжали другие, оставляя после себя черные дыры в пространстве и тонкую печаль. Звали меня с собой, предлагали мне брак: хошь на иностранке, хошь на еврейке, но я не мог решиться на отъезд.

Порой мне снится какой-то готический город в центре Европы, куда я сбегаю из туристической поездки. Снится с ностальгическим счастьем, но я тем не менее тяну нить своего существования у себя на Петроградской, как белая музыкальная мышь. Мышь, живущая в подполье среди партитур прошлых эпох. Даже поездки в Москву стали реже и мучительнее.

Чтобы разрешить эту антиномию: Запад и Восток, я представил себе, что живу как будто в Париже, но только на берегах Невы, не боясь никого и не скрывая своих мыслей. Мы сами с детства строим для себя тюрьму и так привыкаем к ней, что не замечаем ее. Постепенно перестал я ходить на какие-либо собрания, даже отчетно-перевыборные, перестал ездить на музыкальные лекции и жил только на авторские права. Жил я скромно, тем более, что мой друг — философ и рабочий лифта Куприянов убедил меня в пользе аскезы. Он стал ее адептом совсем недавно. Обрадовавшись его

* Отрывок из романа «Побег на родину».

приходу, я выставил на стол бутылку яванского рома. Часа два он кочевряжился, с негодованием глядя на меня, пьющего, а потом не выдержал и прямо присосался к бутылке. Это он мне открыл феномен второй культуры. Черданцев, ты не представляешь, говорил он после третьей рюмки, сколько замечательных поэтов, художников, мыслителей появилось за последнее время. Это же целое культурное движение со своими квартирными выставками, семинарами, подпольной прессой.

— Опять подпольной? Да не хочу я жить больше в подполье, надоело, — говорю я ему.

— Правильно, — говорит Куприянов, — мы будем распространять свой альманах по подписке.

— Это идея! — соглашаюсь я с удовольствием. — Считаю меня своим первым подписчиком. И большой тираж?

— Большой! — не сомневаясь, отвечает Куприянов. — Двадцать экземпляров.

— Только двадцать! Это на всю-то страну — двадцать экземпляров! — восклицаю с изумлением.

Он снисходительно смотрит на меня как на ребенка.

— Это здесь двадцать! Но одновременно — там, — он сделал туманный жест в сторону окна, — там будет печататься в тысячах и пересылаться сюда.

— И сколько же будет пересылаться оттуда сюда? — спрашиваю тоном Фомы неверящего.

Он наливает себе рюмку рома, смотрит на меня с философической иронией:

— Ну, еще двадцать! Но какое это имеет значение? Ты хочешь спасти русскую культуру или нет? Отвечай прямо. Или ты хочешь жить только для себя и своих музыкальных (он покрутил пальцами в воздухе, подыскивая уничижительное слово) штучек. Ты живешь как крот.

— Как крот истории, — парирую я.

— Ты живешь как бумажная мышь, — наступает Куприянов.

— Как белая музыкальная мышь, — уточняю.

— Ты не слышишь шума времени. Оно умчалось далеко вперед, а ты застрял в шестидесятих годах, — говорит Куприянов.

— Прошлого века? — спрашиваю.

Он меня не слышит.

— Твой звездный час там — в прошлом. Ты живешь на его проценты. Что ты написал за последнее время?

— Романсы, — отвечаю со злостью. — Цикл романсов, а что?

— Я так и думал, — он смотрит на меня с сожалением. — Ты давно в творческом и жизненном тупике, по моим наблюдениям.

Он встает и начинает ходить на цыпочках, чтобы казаться выше ростом. Голова его чуть закинута назад, голубые глаза полуприкрыты.

— Сколько за эти двадцать лет накопилось ценностей, сколько рукописей, трактатов, стихотворений. Сколько неопубликованных воспоминаний. Целые архивы лежат в столах, — говорит он мимо меня. — Это все надо собрать, спасти, напечатать.

— Конечно, надо, — соглашаюсь я.

— А ты представляешь, сколько стоит одна перепечатка, а размножение, а переплет? — и неожиданно добавляет: — Что ты скажешь в свое оправдание?

— Деньги нужны? — догадываюсь я робко.

— Не только, — говорит он твердо. — Твоя моральная поддержка.

Иван Куприянов — из тех людей, кому я ни в чем не могу отказать. Он окончил когда-то философский факультет университета, затем аспирантуру, но перед защитой диссертации он вдруг плюнул на свою карьеру и устроился сторожем на лодочной станции. Он пооче-

редно увлекался психологией, социологией, историей партии. Результатом каждого его увлечения становился небольшой трактат. И как на блюдечке с золотой каемочкой он приносил мне новые западные идеи и новые термины. То это была теория социальных ориентаций, то это была философия Барта. Он сознательно пошел на жертвы, пренебрег научной карьерой, превратившись в подлинно-подпольного человека. Он и внешне как-то высох, потеряв возраст. Каким-то образом о нем родилась легенда, что он многолетний лагерный сиделец. Но я-то знал в точности, что даже пятнадцати суток он не пробыл в камере. Однако, как мне кажется, он сам поверил этой легенде, как и в свое величие подпольного философа, все-таки их не так много на Руси.

— Если хочешь возродиться, — прервал он мои мысли, — примыкай к нашему движению. Вступай в редколлегию нашего альманаха.

— В подпольную редколлегию? — не сдаюсь ему.

— Да, подпольную, — говорит Куприянов, — но твое имя мы можем поставить на обложке. Тебя не посадят.

— А ты откуда знаешь?

— Им это невыгодно, — говорит он спокойно, — шумный процесс им невыгоден. Протесты за границей, петиции здесь, нет, Романов на это не пойдет. Я все рассчитал.

— А если меня бутылкой по голове шарахнут в подъезде? — спрашиваю осторожно.

— Мы тебе двух телохранителей найдем, — говорит Куприянов, — но им, конечно, надо зарплату выделит.

— Понятно, — говорю, — два барбоса поселятся у меня дома, выгнав меня на кухню. Я буду ходить для них в магазин, готовить им обед, ставить им чай, бегать за бутылкой, а они зато будут охранять меня и резаться с утра до вечера в карты. Миленькую жизнь ты для меня сочинил, Ваня!

— Не хочешь, как хочешь, — обиженным тоном говорит Ваня, — я думал вывести тебя из обломовской спячки, о твоей пользе думал. Ты же знаешь, как я тебя люблю.

Мы уже слегка накачались, но налили еще по одной.

— Ну, а какие новости о Стрельцове? — спрашивает Иван.

— Тоже издает альманах, только иллюстрированный.

Куприянов побледнел, и я добиваю его:

— Тиражом тысяча экземпляров. Стихи, проза, живопись, материалы по современному искусству.

— У них возможностей больше, — печально роняет Иван, — с западной полиграфией нам не тягаться. Но, — оживляется Иван, — сюда дойдут те же двадцать экземпляров. Чуешь, те же двадцать. Но пока он издаст один номер, мы за это время выпустим пять номеров. Нам типография не нужна. Достаточно двух машинок. В каждом номере будет двести пятьдесят страниц. Одна закладка — это пятьдесят рублей.

Я прошел в свою комнату, достал из стола десять рублей и вынес их Куприянову.

— Мой первый взнос, — сказал я с улыбкой.

Он поблагодарил довольно сухо.

— Не деньги — главное, а твое участие, притом открытое, — подчеркнул Иван.

И тогда я вспомнил, о чем хотел его спросить давно.

— Послушай, Иван, а почему ты не уехал? — И уперся в него взглядом.

Он, лукавый, умел быть честно-откровенным.

— По правде сказать, собирался. Но сорвалось. Заказал я через друзей вызов, он пришел на мое имя, но с другим отчеством. Вместо Иван Иванович было Иван Израильевич. Один из моих приятелей как раз в Москву ехал, в посольство. Я с ним этот вызов и передал, вместе с моим письмом на имя посла. Попросил отчество испра-

вить и вызов мне обратно переслать. Вызова я так и не дождался: то ли он в посольстве затерялся, то ли ГБ передумало и его припрятало. В общем, вызов канул в вечность.

Лицо Ивана опечалилось, как-то в миг постарело. Мечта о Западе и его зацепила крючком. На моих глазах эта мечта умирала, и лицо Ивана становилось все жестче и суше.

— Да как же так? — я поразился. — Так халатно кому-то свой вызов передать. Ведь это была твоя охранная грамота. Сам должен был ехать в Москву, сам идти в посольство. Как же ты прошляпил такое дело?

— Не знаю, — он развел руками. — Какая-то слеза на меня напала. Жена в этот момент на развод подала, и это главным казалось.

— Больше ты ничего не предпринимал? — спросил я осторожно.

— Нет, Алеша, ничего, — сказал он с болью. — Крест на этом поставил. Я знаю, что мир огромен и прекрасен, но кому-то и здесь надо жить. Вероятно, моя миссия в этом. Помнишь, как Ахматова писала в 17 году: «Мне голос был. Он звал утешно. Он говорил: Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный. Оставь Россию навсегда... Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Ведь и она могла уехать как другие. И жить спокойно в Париже. Особенно после смерти Гумилева. Только она не стала бы той Ахматовой, которую мы так любим.

— А что ты на это скажешь? «Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло, все голодной тоской изглодано, отчего же нам стало светло?» Написано ею в 21 году, в год смерти Гумилева. Не значит ли это, что мы провалились сквозь толщу времен в эпоху варварства, в эпоху египетских гробниц — первых строек коммунизма.

— Возможно и так, — сказал Иван, — только сейчас-то уже другое время, время первых апостолов. Ты слышишь это?

Уже набегал второй час ночи. Куприянов взглянул на мой будильник и стал собираться. Он уже надел плащ, но, спохватившись и вспомнив что-то, вернулся в кухню, расстегнул портфель и вынул из него увесистую папку. Протянув ее мне, сказал небрежно:

— Здесь мои тексты. Припрядь на время.

Я догадался, что именно за этим он и пришел сегодня. Не для того чтобы мне проповедовать аскезу и одновременно пить ром, нет...

— Ждешь обыска? — спросил я спокойно.

— Есть к тому косвенные признаки, — сказал Иван. — Хозяин начал чистку города. Слышал об этом?

— Значит у меня хранить надежнее?

— Ну, конечно. — не колеблясь, сказал Иван. — какое может быть между нами сравнение? Ты человек официальный, а я оппозиционер, притом подпольный.

Что на это ответишь! Возможно, он был прав. Хотя по существу, его формулировка меня унижала. Я жил открыто, не избегая встреч с иностранцами, не боясь держать у себя тамиздат, не думая об аресте или обыске, а он жил тайно, в подполье, с массой предосторожностей. Он считал, что он больше рискует.

— Я думал, что мы друзья, — сказал я наивно.

— А разве не так? — он лукаво ухмыльнулся. — Иначе я не предложил бы тебе войти в нашу редколлекцию.

Он уже не сомневался в моем согласии. Он считал, что дело в шляпе. А мне, по правде, было наплевать. С недавних пор я совершенно охладел к своей судьбе, к своим успехам или поражениям. Из актера я превратился в зрителя, творец стал эстетом. Только старая музыка и молодые женщины меня еще слегка волновали.

Мы вышли из дома, миновали писательский особняк, в котором последние годы прожила Ахматова, свернули налево по направлению к Кировскому проспекту. Уже пахло весной и почками сирени.

— Послушай, Алеша, — сказал Иван, — а отчего ты не двинешься на Запад? С твоей профессией, с твоим талантом — какие там возможности у тебя? А что ты имеешь здесь? С гулькин нос. Обьедки с барского стола.

— Для эмиграции, Иван, нужна высшая идея. О тех, кто едет в Израиль, я не говорю. Они строят государство для себя, они рискуют жизнью. Заметь, каждый деятель культуры, пересекая границу, объявляет себя диссидентом или изгнанником, что иногда соответствует действительности. Но изгнание — это не идея, это моральное оправдание. Для эмиграции мало оправдания, нужна миссия. И поэтому теперь говорят: «Мы не в изгнании, мы в послании». А какая же миссия будет у меня? Играть свои романсы в парижских ресторанах.

— А как же Стравинский или Рахманинов выжили на Западе? — отпарировал Иван.

— Рахманинов был прежде всего виртуоз, а затем сочинитель. А Стравинский вообще пять лет не мог написать ни одной ноты. И они, кроме того, не эмигрировали, а вернулись в Европу. Это был их второй дом.

— Ну, если тебе нужна миссия, будешь представлять на Западе ленинградский самиздат, — после этого мы оба расхохотались.

Мы вошли в сквер. Я достал сигарету и спички. Но кто-то уже поднес огонек. Перед нами стояли два типа в длиннополых шинелях. В темноте я видел только их каменные лица и настороженные глаза.

— Ваши документы, — жестко сказал один из них.

Мы послушно достали паспорта. Тот, что был главный, спрятал их во внутренний карман.

— Пройдемте с нами. Здесь недалеко.

— А что случилось? — спросил Иван.

— Два часа назад в этом сквере убили судью-женщину, — сказал главный.

Нас привели в милицейскую комнату. Перед этой комнатой был предбанник. За столом с телефоном сидел дежурный инспектор. Он взял наши паспорта и скрылся за дверью милицейской комнаты. Те, что нас привели, встали у выхода. Первым вызвали Ивана. Сквозь плохо запертую дверь я слышал, как они требовали показать содержимое портфеля, как записывали его анкетные данные, интересовались, где он работает и почему с высшим образованием он трудоустроился сторожем на лодочной станции. Была ли у него судимость, и где он был два часа назад. Тот же лающий голос требовал:

— Лучше сознавайся. Ты убил судью.

— Нет, я был в гостях, — спокойно повторил Иван.

— На тебя есть показания. Человек в плаще и берете — это ты и никто другой. Ты отсюда не выйдешь живой, пока не сознаешься. Ты — убийца, ты — убийца, ты — убийца. Вот тебе бумага и перо. Пиши все начистоту. Или хребет переломаем. Пиши, падло, сучий потрох.

Я вскочил с места, но меня цепко схватил охранник.

— Не виноват он, — закричал я невидимому мне следователю. Но, похоже, никто меня не услышал.

— Значит, так. Убив судью, ты тотчас пошел в гости, чтоб иметь алиби. Ты убил судью за то, что она привлекала тебя за тунеядство. Ты получил предупреждение и, боясь следствия, убил ее. Так было дело?

— Нет, не так. Я вернулся после дежурства домой, пообедал и позвонил своему другу. Он пригласил меня в гости. И было это четыре часа назад.

— Твердый орешек, — сказал следователь и, обращаясь к помощнику, добавил: — сведи его пока в подвал. Допросим его кореша. — Он выкрикнул мою фамилию: — Черданцев.

За столом сидел белобрысый капитан. Он внимательно изучал мой паспорт.

— Фамилия, имя, отчество, национальность, профессия, адрес, место работы, — выпалил он дробью.

Эти прихваты мне были знакомы. Возмущаться в таких ситуациях бесполезно, себе же хуже. Можно прикинуться невинным интеллигентом, но Ивану это не поможет. И я вспомнил в этот момент славную мадам Гердт, приму-балерину императорского театра, оставшуюся после революции в Петрограде. Однажды после спектакля к ней зашел коренастый рыжий человек и сказал: «Это так похвально, что вы остались и продолжаете танцевать для пролетариев и солдат. В таких трудных условиях революции. Чем я могу вам помочь?» На что балерина ответила: «Видите, как из этого окна дует. Стекло разбито. Может, вы дощечку приладите?» — «Будет сделано, будет сделано», — картавя, сказал рыжеватый мужичок. Быстро написал что-то на бумажке и подписался Ленин. Тридцать лет подряд махала этой бумажкой Гердт. У меня такой бумажки не было, но на всякий пожарный случай я хранил грамоту с международного конкурса и благодарность ЦК ВЛКСМ, которые я тотчас же вынул вместе с членским билетом Союза композиторов.

Из подвала донеслись стоны. Это били Ивана. Я посмотрел в глаза капитана и шипящим шепотом сказал ему:

— Прекратите... Иначе сейчас в горком партии позвоню.

Капитан слегка растерялся.

— Кроме дежурных, там никого уже нет.

— Домой позвоню, поняли меня.

— Матвей, — крикнул капитан, — хватит. Отпусти его, кажется, ошибочка вышла. — И, повернувшись ко мне, добавил: — Что же вы молчали? Надо было сразу объявить, что вы есть композитор Черданцев. Я ваши романсы по радио слышал. Очень душевно. Мы ведь

тоже люди. Просто у нас служба особая. Всю милицию района сегодня на ноги подняли. Это ведь не шутка, известную судью убили. Явно из мести. Так что за вашего кореша извиняюсь. Опечатка вышла.

Иван с трудом поднялся по лестнице. Нам вернули документы и выпустили на волю. На улице я спросил его:

— Больно?

— Больно.

— Куда били?

— В живот и по печенкам. Сначала опрокинули, и ногами били. Голову я руками закрыл. Они теперь в лицо не бьют, чтоб следов не оставлять. Видно, не случайно, сегодня под утро мне Сталин явился. Я только что проснулся и лежал еще в постели.

— Как же он вошел?

— Не знаю, — сказал Иван, закурив сигарету. — Я такого страха, как перед ним, никогда не испытывал. Мне и в голову не пришло подумать, как он появился.

Мы подошли к его дому. Подыдемся ко мне, предложил Иван. Уже была ночь, но я понимал, что его нельзя оставлять одного. В квартире Ивана было тихо. Он открыл ключом свою комнату, включил свет, большой черный кот, спавший на кушетке, с удивлением взглянул на меня зелеными глазищами. Иван поставил чайничек на электрическую плитку. Сел за письменный стол.

— Так что дальше было со Сталиным? — спросил я с нетерпением.

— И ты равнодушен к великому нигилисту? — съязвил Иван. — Я вижу, всех нас он в детстве зацепил.

— Положим, когда он умер, я не плакал, а радовался вместе с отцом. Мы несколько дней просидели дома, слушая музыку по радио, и отец мне рассказывал свою жизнь после 17 года. У него к Сталину была святая ненависть. Мой родной дядя шесть месяцев просидел в камере смертников за то, что он не верил в построение

коммунизма в СССР. Вышел он оттуда случайно, с выбитыми зубами, харкая кровью. Мой отец четырежды спасался от сталинской смерти. По его наблюдению, перед войной из Питера исчезли все красивые мужчины. Произошел своего рода генетический отбор. Когда к нам в гости приехал Сергей Маковский, я был поражен его породистостью, ростом, строением лица. Таких русских я никогда не видел, подобных ему видел грузин, но русских — ни разу. А в эмиграции, значит, эта порода сохранилась. Мой отец и сегодня не может слышать имени Сталина, его трясет от ужаса и омерзения.

— Вот-вот, — подхватил Иван, — то же самое испытал и я в это кошмарное утро, когда он явился, какой-то неправдоподобно телесный и поганый. Присел на стул и явственно закурил свою трубку. «Так что, Иван, решил заняться историей партии, — и смотрит испытующе на меня, — есть на тебя сигнал, что ты очернил мою борьбу с левым и правым уклоном и оклеветал генеральную линию партии».

— И что же ты ответил? — спросил я тихо Ивана.

— Веришь мне, Алеша, я смерти не боюсь. Я ведь блокадник. А перед Сталиным я сдрейфил. «Это ведь только черновик, Иосиф Виссарионович, — сказал я в свое оправдание, — там нет еще готовых выводов». Его взгляд — трудно выносим — смягчился. «Вот на этой стадии, Иван, и оставь свою работу. Есть официальные историки, например, академик Минц, им и карты в руки. Они за это хорошую зарплату имеют. Твое дело культура, правильно я говорю?» — Я невольно мотнул головой. — «И учти мой совет на будущее: самая реальная сила в обществе — это органы, будет трудно — они тебе помогут. Больше никто тебе не поможет. В органах теперь есть стоящие специалисты по литературе, искусству и философии. Они разберутся. Только ты не очень зарывайся, культ Сталина не трогай. Я тебе гарантирую сохранность». И опять у него в глазах черный огонь появился.

Иван замолчал, задумчиво глядя в окно.

— И это все? И ты его ни о чем не спросил?

— Спросил. Надолго ли он пожаловал сюда. Сталин сказал, что не очень. Приехал он по делу Романова, на которого имеется жалоба от директора Русского музея. Что Романов берет для партийных кутежей из музея царскую посуду, и немало ее побил. Сталин добавил, что тот Лже-Романов, что никаких прав пользоваться царской посудой не имеет и полагается ему партийное взыскание. Вообще народ со времен Кирова распустился, дисциплина упала и в быту сплошное пьянство. Очень обиделся на Пушкина, которого он встретил ночью перед самым домом-музеем. Пушкин шел с откупоренной бутылкой Кагора, заметил Сталина и вдруг запел: «Товарищ Сталин — вы большой ученый, в языкознании ведаете вы толк, а я простой советский заключенный...» Так обиделся, что даже разговаривать с ним отказался. Вот, говорит, до чего пьянство доводит, сам Пушкин — первый национальный поэт — алкашом стал. Вот такие пироги, — закончил Иван, — теперь Романов по его указке чистит город. Свой трактат я сжег. Чтоб он больше ко мне не являлся.

— Значит, он приехал инспектировать, без свиты и охраны? Не говоря о том, что он умер в 53 году?

— Я намекнул ему на это, — сказал Иван, — он даже бровью не повел. Смерть, говорит, это временное явление. Вот Ильич мне до сих пор советы дает, хоть и замурован в мавзолее. Все ему неймется — пахану. Все за своих шавок заступается. Требуется реабилитации и Бухарина и Троцкого. Самый беспокойный и ворчливый покойник из всех, кому Сталин когда-то помог уйти в небытие. Никакой благодарности за это, он говорит, все жалуются и критикуют загробными голосишками. Права качают, кто за крестьян, кто за профсоюзы. Невдомек им — кликушам, что без перегибов не обойтись, когда такую державу строишь. А перед тем как уйти, потребовал вина и сухофруктов. Почти всю

бутылку болгарского вина выпил. После этого исчез, я и не заметил, каким образом.

Жутенько мне стало после его рассказа. Я слышал, как мертвенно стучит будильник. У времени отняли его солнечную энергию, чтобы лучше контролировать прошлое. Я понимал, что это был фантом Сталина, жалкий и угрюмый призрак, который своим появлением уже вызвал волну анекдотов. И тем не менее благодаря игре шизофренических зеркал, пропагандистских клише и лозунгов он был не менее реален, чем любой районный прокурор. Не менее, чем мы с Иваном.

— Человек слаб. У каждого из нас есть в душе таинственное зернышко, барометр совести, который ставит предел. Ты знаешь этот предел? — спросил Иван с каким-то надрывом.

— Полагаю, что знаю, — сказал я.

— Мне этот предел отец завещал своей смертью. Стояла блокадная зима 42 года. Ты помнишь, мы все были доходяги. К моему отцу пришел двоюродный брат и сказал: «Надо спастись любым способом. Хочешь вступить в нашу артель. Будем торговать на базаре мясными лепешками». — «Где же мы мясо возьмем, если даже кошек не осталось?» — подивился мой отец. — «Наивный ты человек, — рассмеялся его брат, — это будут человеческие лепешки. Других ресурсов уже нет». Мой отец наотрез отказался человечиною торговать. Вот это для него был предел, он предпочел умереть. Но для людоеда предела нет. Тем он силен и страшен. Какая разница, что Сталин формально умер. Он и при жизни своей был фантом, вне человеческих измерений. Когда я видел их лозунги типа «Ленин — вечно живой», «Ленин жил, жив и будет жить всегда», я считал это пропагандистской брехней. Что принес Ленин или Сталин в мировую культуру, кроме партийного жаргона. Шиш с маком. На самом деле, Алеша, это, к несчастью, не брехня, а реальность.

— Успокойся, Иван, — сказал я, заметив его тревогу. — Ведь это страшные сказки для детей. Никто теперь не верит их лозунгам. Они как мертвые листья. Разве не так?

— Может быть, — он потер ладонью лоб, — но страх я испытал реальный, страх и ужас. Как будто я был в окрестностях смерти. И заметь, он был хозяином положения, а я?.. я был просто парализован его присутствием. И, кроме того, сухофрукты он съел реальные, а не призрачные. Усек?

Я надел пальто, нахлобучил шапку и стал с Иваном прощаться. Он неожиданно приблизился, обнял меня и поцеловал.

— С Богом, Алеша, — сказал Иван, хотя до моего дома всего пятнадцать минут ходу. Но в эту ночь дорога оказалась длиннее, чем обычно.

Придя домой, я бестолку покружился по квартире, заглянул в комнату отца, где спал пудель, поставил кипятиться чайник на кухне. Полистал Библию, взглянул на икону Спасителя и неожиданно для себя стал молиться. Исступленно просил Господа не оставлять меня, дать мне силы перед призраками зла, избавить от тоски и меланхолии. «Господи, помилуй, Господи, помоги мне», повторял я до тех пор, пока не почувствовал света и радости в душе. Заснул я легко и спокойно и проспал до самого полудня, не ведая, что в эту ночь Сталин посетил Романова. Об этом значительно позже поведала мне мать. Она преподавала историю в Таврическом дворце, где расположились высшая партшкола и ресторан. Слух просочился, как всегда из ресторана, где хозяин города однажды ужинал со своим помощником и секретаршей Дашей. Больше никого, кроме верно подданных официантов, в ресторане не было, и тем не менее об этой знаменательной встрече стало известно. Похоже, что Романов и не пытался ее скрыть. За рюмкой коньяка он со смешком заметил, что не каждый партийный руководитель удостоивается такого визита.

«ВЕКОВАЯ МЕЧТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Перевод с сербскохорватского
Н. Горбаневской

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Только б ему позволили,
Он бы сам рассказал им всё, что думает.
Но они запретили ему говорить.
А теперь разнюхивают вокруг,
Устанавливают аппаратуру,
Подслушивают – чтобы
Разузнать его мысли.
И это влетает в копеечку,
А он бы и так
Всё рассказал.
Но на этаких не экономят
И за ценой не стоят.

САТАНА, ИЛИ БЕЗЫМЕН*

В голос поносим Бога,
вслух молитвы Ему возносим.
А тебе – про себя.
Ни любить мы тебя недостойны,
ни молиться тебе не смеем.

* В оригинале «непоменик» – согласно современному сербскохорватско-русскому словарю, «эвфемистическое название тяжелых болезней». Выбранный нами «безымен», по Далю, архангельское название привидения, двойника: «безъимен, по нар. поверью, во всем походит на человека, но, по безличью, носит личину, а своего лица у него нет». – *Пер.*

Бог существовать обязан,
а ты – как пожелаешь.
Дал ты нам свободы –
сколько, по-твоему, нужно.
Тирания твоя без жертв –
чтоб оставаться безгрешной.
Избиения нам не устроишь –
хоть невинны мы, как младенцы.
Жизни у нас не отнимешь –
которая нам не нужна.
Мы с тобою делим зло твое,
ты с нами не делишь свое добро.
Уж если ты нас заметил
и слышал, как мы несчастны,
прости. И прости, что ни в чем не виновны.
Покарай нас, кары не заслуживших.
Скудно живется с тобою,
а после тебя – постыдно.
У тебя великая цель,
а у нас
ни цели,
ни выбора!

БУНТ

Так они надеялись: проволку прорежем
И тогда надышимся воли ветром свежим,

Ложками и плосками подкопаем стенку,
На свободу вырвемся, и конец застенку,

Стоит лишь охраннику отлучиться с вышки,
Чтобы заключенные на свободу вышли.

Распахнулись двери им – скатертью дорога,
Но опять полным-полны камеры острога.

Тут они и поняли, что с дороги сбились:
Самоуправляючись – самопосадились,

А звезде над каторгой новый блеск придали
И былых тюремщиков сами оправдали.

ПРОГРЕСС

Наступил триумфальный I век!

Это вам не какой-нибудь I век, а II-й!

Может, уже не станем в III веке возвращаться к
методам II-го?!

IV век покончил с темнотою прошедших веков!

Есть у нас еще такие, кто не понял, что на дворе
V век, а не IV-й!

Мы – дети VI века. У нас нет предрассудков V века!

VII век шагнул дальше всех предыдущих!

Разве VIII век не стряхнул с себя наследие VII века?

Сто лет прошло, прежде чем некоторым стало
ясно, что мы живем не в VIII, а в IX веке!

Будем достойны X века, о котором мечтали лучшие
умы IX века!

XI век во всех отношениях отошел от кровавого
X века!

Не позволим XI веку воскреснуть в XII-м!

После тяжелых испытаний XII века нам яснее смот-
рится на наш XIII-й!

Доколе царствовать тирании? У нас XIV век!

Доколе царствовать несправедливости? У нас XV век!

Доколе царствовать нищете? У нас XVI!

Долой ужасы XVI века – мы дожили до победонос-
ного XVII-го!

XVIII век рождает надежду на то, что XVII-й
больше никогда не повторится!

XIX век – успешный выход из трагедий XVIII века!

XX век был и остается вековой мечтой человечества!

ПО ПОВОДУ ОДНОГО НЕСЧАСТЬЯ

Евгению Евтушенко

Радиолюбители много дней понапрасну шарят в эфире.
Что же ты молчишь, всегда так многоглаволавший?
Что же ты раньше не молчал?
Ты молчишь, как те, кому никогда не давали говорить.
Где же ты, дежурный поэт, неотложка, широкая
славянская душа?

В зимней спячке или на взморье?
Может, у тебя порок сердца?
Может, занят воспеванием неправды покрупнее?
Может, ты не слышал, что случилось?
(А и слышал бы – разве шевельнул бы пальцем?)
Да не щади же себя, не щади!
Не раздавалось в мире залпа
Без того, чтобы ты не зарыдал!
Без несчастья – у тебя творческий кризис.
Несчастья – твоя игра и забава.
Тебя среди ночи будили воспевать мертвецов, пока не
остыли.
Твои стихи – календарь преступлений, эпидемий,
землетрясений
Тебе приходилось постранствовать, чтобы разносить
неправду.

За границей ты ищешь, за что любить свое государство.
В «Боинге» – твой рабочий кабинет.
Из Сибири ты явился, чтобы твердить нам о неграх.
Единственный живой самоубийца со стеклянными
слезами!
Там, где можно на всё нападать, – ты на всё нападешь,
Но не вынесешь сору из своей избы.
Ты открываешь зло, известное перwokлашкам.
Ты единственный вышел на бой с нищетою
И наелся, распевая про чужой голод.

Экспортный поэт чужого свободолюбия!
Ты стал автоматом гуманизма,
В который достаточно бросить монету несчастья,
Чтобы получить стакан чернильных слез.
Ты нацелен в Москве, а отважен в Риме.
Ты осудил преступников, за которыми гонится
Интерпол.

Стейнбеку ты выкопал могилу во Вьетнаме.
Мертвому Сталину выпалил правду прямо в усы.
Вместе с Мартином Лютером Кингом тебя убили.
Его дети не могли быть ближе тебя к его смертному
ложу.

Ты рассылал указы о поимке убийц Роберта Кеннеди.
Рантье чужих поражений и чуждых переживаний,
Твои стихи – жесточайшая казнь убийцам.
У тебя на родине преследуют поэтов –
Ты поднимаешь голос против арестов в Боливии!
Кто тебя оплачет, спецкор правды?
Все в долгу у тебя, кроме твоего народа.
Громок твой протест против дальней неправды.
Твои песни протеста переведены и на чешский.
Человечество рыдает тебе в жилетку.
Кто много плачет, тот долго живет.
У слез твоих нету родины.
На чужой могиле плачет русский,
Дезертир России!

Белград, сентябрь 1968

БЕЧКОВИЧ Матия – сербский поэт и драматург (родом из Черногории). Родился в 1939 году в Сенте, в семье офицера. После капитуляции югославской армии в 1941 году поселился с родителями в их родном селе Веле Дубоко, где кончил начальную школу, затем учился в гимназиях в Колашине, Славонском Ероде и Валева и на философском факультете Белградского университета по кафедре истории литературы. Печататься начал еще школьником, первую книгу выпустил в 1963 году. Его драмы, драматические поэмы и инсценировки

его поэзии шли в театрах и по телевидению в Югославии и за границей. Основное направление его творчества, которое принесло ему ряд литературных премий и избрание членом-корреспондентом Сербской Академии наук и искусства, связано с традициями старинной черногорской поэзии. Вторую важную часть его поэтического творчества, которая дала ему широчайшее признание читателей, составляет стихотворная сатира и публицистика – именно к этому разделу относятся стихи, выбранные поэтом для «Континента».

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

Тамара М а й с к а я

ПОГИБШАЯ В ТЫЛУ

*Сборник киносценариев и пьес
(448 стр., мяг. обл.)*

Обложка работы Kathleen Zacharias

Портреты автора работы художников
Валерия Тюлина и Алексея Губарева

Цена книги \$ 15.00

Заказы на книгу посылать по адресу:
11501 Mayfield Rd, No. 306 Cleveland OH 44106

«ПОГИБШАЯ В ТЫЛУ» – книга, написанная в советском «подполье» на разнообразных современных, а также исторические темы: ленинградская блокада, сексуальная революция на фоне советской жизни, давка на похоронах Сталина, переселение в дом-«хрущёбу», сцены из школьной жизни, восстание декабристов...

Русский читатель-эмигрант найдет в ней яркое и правдивое изображение своих переживаний: слез и маленьких радостей, мытарств и мучений...

Западному читателю книга покажется не менее интересной. «Она приподымает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы». (Из предисловия Майкла Эндрюза, д-ра наук, проф. русского языка и литературы).

ВИКТОРУ НЕКРАСОВУ – 75 ЛЕТ

Трудно назвать человека, которому бы так мало пристали и о котором так мало говорили бы юбилейные даты. Его взаимоотношения с миром словно бы ограничиваются связью с пространством, но никак не со временем. Пространству – географии улиц и лиц, судеб, картинок, деталей, пересекающимся кривым вечного человеческого движения – отдано все его внимание. Лучше сказать – не внимание даже, а любопытство, азартное и всегда голодное и никакими новыми впечатлениями не насытимое, разве что остановленное на мгновение: увидеть и написать.

А со временем у Виктора Некрасова отношений будто бы и вовсе нет – так, по необходимости, как с неизменным, извне навязанным фоном, как со школьным уроком, скучным и несправедливо обязательным. Для него время – предательство, подлая бухгалтерская цифирь, в которой запутывают доброго человека с полным боевым запасом юности и жадности глаз, и вообще – жизни. Увиденное и написанное им – всегда с пылу, всегда с жару, неважно – вчера увиденное или полвека назад. И что бы ни видел перед собой Некрасов, о чем бы ни рассказывал – о сталинградских ли окопах или о резных парижских балконах – этот его все впитывающий и вибрирующий в каждом слове азарт наполняет его произведения кислородной свежестью, тайным холодком восхищения перед всем, что есть жизнь. И он складывает ее на бумаге такой же ладной, такой же неожиданной, такой же незначительной, и простой, и неуловимой, и мощной, и подспудно-злорадной, и подкожно-теплой, и текучей, и бескрайней, какая есть она на самом деле.

Долгого, долгого Вам пространства лет, Виктор Платонович!

Континент

Россия и действительность

Наум К о р ж а в и н

НАД СТРАНИЦАМИ ЖИЗНИ ПЕТРА ГРИГОРЕНКО

Если судить по названию книги П. Г. Григоренко — «В подполье можно встретить только крыс», — то это еще одна книга о проблемах диссидентского движения. Между тем, это движение не занимает большого места в этой книге. Это прежде всего рассказ о том, как один честный, талантливый и умный человек начал служить, почти всю свою жизнь честно, даже идя на конфликты, прослужил, а потом перестал служить советской власти. Название явно уводит в сторону. Правда, сам автор дает ему особое истолкование. Он исходит из того, что подполье — это не вообще нелегальность, а только заговор группы лиц, имеющий целью захват и удержание власти над всеми остальными. А поскольку автор всю жизнь служил именно таким крысам, получается, что название это вполне уместно. Но, во-первых, эти объяснения — устные, а во-вторых, плохо, что название вообще требует объяснения и вызывает семантические споры. Так или иначе, но по названию о сути книги догадаться трудно. И многих оно может оттолкнуть или не заинтересовать. А жаль. Эта книга нужна всем.

Кстати говоря, проблем подполья П. Г. Григоренко почти не касается. Даже на последних двухстах страницах, собственно и посвященных участию автора в правозащитном движении.

На этих страницах тоже есть много интересного. Особенно, когда автор рассказывает о своем пребывании в закрытых психиатрических больницах — «психушках», т. е. на самой уже бездне советского бесправия, где у человека вполне официально отнято право на личность. «Больной, не возбуждайтесь!» — змеиным шепотом шипели на него сестры этого заведения, когда он серьезно возражал, заступаясь за других несчастных. Это был одновременно и намек на то, что они

вправе к любым его словам относиться как к бреду сумасшедшего, а при случае они могут его и «успокоить». Такого торжества ублюдков над высоким интеллектом и духом вряд ли когда-нибудь знала история. В сущности, ублюдочная власть так же относится ко всему народу, заставляя его делать вид, что внушаемая ею бессмыслица есть членораздельная речь, а тех, кто отказывается делать такой вид, — «успокаивая». Обстановка, которая вырвала когда-то у Григоровича знаменитую фразу: «Вся Россия — палата № 6!» — по сравнению с этой рай земной. Не говоря уже о том, что и тогда эта фраза была преувеличением. Но думаю, что если сказать: «Весь СССР — спецпсихбольница МВД!» — преувеличения не будет. Думаю, что так, как П. Г. Григоренко прошел через эти испытания, — мало кому бы удалось пройти. Он не только вошел, но и вышел из этой больницы, сохраняя здравость ума и души. Но это уже потому, что П. Г. Григоренко — человек незаурядный, что этих качеств у него не только достаточно, но и в избытке, что сила его духа и интеллекта — редкостны. В принципе, такие испытания человека должны сломить. Ведь это же пять лет таких издевательств, мелочных, ежедневных, ежечасных, непрерывных... Это было так тяжело, что и сегодня Петр Григорьевич избегает слишком много об этом рассказывать, переживать это снова.

Но он сохраняет способность относиться к этому факту широко, обобщенно. Он видит в нем угрозу не только жителям тоталитарного мира, но и всем людям на земле. Ибо это дурной пример. Ибо впервые доказано, что психиатрию можно в широких масштабах использовать против человека. От себя добавлю, что довольно медленная реакция мировой психиатрической общественности на компрометацию своей профессии подтверждает основательность тревоги П. Г. Григоренко. Но он вообще склонен рассматривать проблемы широко, а не только с поверхностно-правозащитной точки зрения. Это значит, что для него все проблемы бытия вовсе не сводятся к защите прав, хотя правам он придает большое значение. Это очень интересно сказалось на том, как он, например, воспринял жизнь в родной деревне, куда он приехал отдохнуть после психушки. Многое его обрадовало. В глазах людей исчез страх. Иностранцы передачи на русском языке слушали открыто, не таясь от соседей. Мальчишки преследовали сексотов, пытавшихся следить за опальным земляком. «Шпиёны

приехали!» — орали они на всю улицу. Всему этому Григоренко радуется, без этого нельзя. Но в голову ему приходят и совсем не правозащитные мысли. «Избавление от страха, это именно то, что нужно нашему народу прежде всего, — признаёт он. И продолжает: — Но этим все не исчерпывается. Что придет на смену этому чувству? Какой духовный мир займет его место? Это вопрос, во всяком случае, не менее важный. Но ответа на него пока нет. И даже не намечается». И действительно, коммунистическую пропаганду народ не приемлет, церковью почти нет, а западные радиостанции, даже «Свобода», не создают программ, способствующих формированию внутреннего мира человека. «Что же будет с не знающей страха, но пустой душой? Пока что пустоту эту заливают самогоном или домашним вином. А что будет дальше?» — тревожится он. И тревога его — существенна. Ибо вопросы эти перед ним стоят и о них нельзя забывать, они ведь все равно себя покажут. И человека, способного так свободно, четко и широко мыслить, в нашей стране объявили сумасшедшим.

Тем не менее, все-таки я считаю, что последние двести страниц лучше было бы в эту книгу вообще не включать, их надо было либо издать отдельно, либо включить в какую-нибудь другую книгу — в дополнение к написанному о диссидентском движении другими авторами и самим П. Г. Григоренко.

Ценность же этой книги, и ценность непреходящая, в другом — в том, что она есть историко-психологическое свидетельство первостепенной важности.

Это свидетельство человека, прошедшего с советской властью весь ее путь до сегодняшнего дня, путь рядового представителя тех кадров, которые, по выражению Сталина, решают все. И которые действительно все решили. Путь человека, втянувшегося, как и многие, в этот слой — незаметно, но полностью. Но, в отличие от многих, вырвавшегося из этого слоя и поэтому способного взглянуть на свой жизненный путь как бы со стороны. (Самосознание — не относится к сильным сторонам этого слоя.)

Когда он выходил в жизнь — советская власть только начиналась, была подростком, как и он. Вместе с ней он мужал, креп, входил в возраст, старел. Только вот в старческий маразм он вместе с ней не впал. Отошел. При наиболее благоприятных карьерных перспективах. При том что от него

лично эта карьера особых подлостей не требовала. (Он занимался военно-техническими и военно-историческими исследованиями.) И для тех, кто жил в это время в СССР и кто помнит, как и чем мы все жили, совсем неважно, что поначалу его отход объяснялся увиденным несоответствием реальной власти «настоящему и творческому ленинизму». Констатация несоответствия между догмами (верней, внушенным образом) ленинизма и сущностью тогдашней (и нынешней) власти — существенный шаг для начала самосознания. Это — первый шаг. Понимание, что, тем не менее, истинный ленинизм и его сегодняшнее воплощение очень родственны, что одно вытекает из другого почти автоматически, приходит потом — если этот первый шаг сделан. Конечно, я говорю о поколениях, которые были бы под обаянием того и другого. Не только о П. Г. Григоренко, но и о себе — хотя я на 18 лет младше его. Более младшие поколения получили это преодоление коммунизма готовым из наших рук, но само это — не ценность. И само по себе это отнюдь не оберегает их от заболевания другими болезнями духа, иногда даже сходными. (Если опыт нашего соблазна только отвергнут, но не понят.) Но речь сейчас не об этом.

Конечно, личность человека определяется не только (да и не обязательно) категорией, не только социальным или иным слоем, к которым мы его относим, не только общностью происхождения и биографии, а и личными особенностями. Например, семьей. Многое в личности Петра Григорьевича определяется тем, что он, как говорится, человек из хорошей семьи. Обыкновенно это выражение относят к семьям дворянским, купеческим, вообще интеллигентным. Я же отношу его здесь к семье крестьянской. Но это была именно хорошая семья — с устоями, традициями, с чувством собственного достоинства, с большой и разумной любовью к земле, к знаниям, в том числе и практическим, применяемым к той же земле. Конечно, люди есть люди, и в этой семье тоже случалось всякое. Например, бабка автора, человек во всех остальных обстоятельствах добрый и заботливый, вынудила уйти из семьи беззащитную и очень добрую женщину — мачеху автора, бесприданницу, — причем, когда отец был в солдатах и эта мачеха оставалась одна с детьми. Эта история до сих пор отзывается болью и стыдом в душе автора — может быть, именно потому, что она резко противоречит всему, что он видел в

своей семье, что в нем было заложено с детства. Ему повезло. И не только с семьей. Он испытал все благотворное влияние редкостного духовного наставника — православного священника о. Владимира Донского, человека высокого духа, ума и фундаментальных знаний, миссионера-бессребренника, прошедшего лет тридцать в Африке и под конец обосновавшегося в их деревне. Влияние о. Владимира не убергло автора этой книги от многих соблазнов времени, от большевизма и безбожия, но — вместе с заложенным в семье — все равно от многого убергло, ибо составляло костяк его личности, как бы он внешне далеко подчас ни отходил от этого и как бы преданно ни служил новому строю.

Встречаясь на страницах этой книги с самим автором и некоторыми его товарищами и узнавая в них хороших и достойных людей, легко соблазниться, решить, что поскольку хорошие люди встречаются везде и всегда, то к таким понятиям, как «коммунизм», «новый строй», «партийность» и т. п., надо относиться терпимей. Это ошибка. Конечно, хорошие люди — хорошие люди, и лучше, где бы то ни было, иметь дело с ними, чем с другими. Но когда эти слова внедряются в сознание, насильно и ненасильно, то они начинают — книга показывает и это — влиять не только на поведение людей, но даже на формирование их внутреннего мира, определяют использование их самых лучших качеств. Порядочный человек начинает истово служить оголтелой непорядочности. Особенно это опасно, если человек по природе активен.

П. Г. Григоренко судит себя самого достаточно жестко. Не только за свои прямые прегрешения, их не так уж много. Наивное кощунство, совершенное в восторге комсомольского неофитства, особенно горькое тем, что он оскорбил этим о. Владимира Донского — человека, которого всегда любил и уважал, который так много сделал для него — для его просвещения и становления. Правда, пристыженный священником, он потом дома в одиночестве забрался в сарай, упал на сено и горько заплакал от стыда и потрясения. И хоть, как он сам говорит, с тех пор он принес еще много зла своему народу, но кощунства и святотатства больше не допускал никогда. И еще один грех — в качестве начальника штаба отдельного саперного батальона и талантливого инженера, «виртуозно» взорвал по приказу начальства три православных храма, среди них замечательный собор в Витебске. Но все же это уже выполне-

ние приказа, и к тому же эта «работа» начала быстро ему претить, и он при первой возможности порекомендовал ее другим. Выход не блистательный, но другого — для тогдашнего П. Г. Григоренко — не было. Однако судит себя П. Г. Григоренко не только за то, что он делал, но и за то, что делалось без него, но при его косвенном соучастии, за то, что не хотел видеть и понимать, — короче, за все, чем была и что делала партия, в которую он добровольно вступил и против которой сознательно выступил гораздо позже, чем, по его мнению, надо было это сделать. Впрочем, почти никто из людей его биографии этого не сделал до сих пор. А он это сделал в расцвете своей карьеры, когда его практически никто не трогал и он мог работать, непосредственно не совершая подлостей. Даже те неприятности, которые обычно, особенно в СССР, выпадают на долю всякого талантливого и самостоятельного человека, были у него уже, в основном, позади — таким было его положение. И вот в один день он сам своими руками это все разрушил, отказался от того, за что все вокруг держались зубами, не только руками.

Впрочем, если бы этого не было, не было бы и того Петра Григорьевича Григоренко, которого мы знаем, а был бы просто талантливый военный (инженер, кибернетик, военный мыслитель и организатор) — генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии и даже маршал. И, как он сам говорит, возможно, сегодня душил бы Эфиопию не Василий Иванович Петров, а Петр Григорьевич Григоренко — пусть при этом, добавлю от себя, не очень уважая пославшее его туда начальство. А с ним — в глубине души — и самого себя.

Но этого не произошло. Нет маршала Григоренко, а есть правозащитная деятельность, злобная и жестокая месть за нее «с использованием» психиатрии, эмиграция и, наконец, эта книга. В каком-то смысле я считаю эту книгу венцом и наивысшим достижением всей жизни этого незаурядного человека.

Значение этой книги переоценить трудно. Без нее просто невозможно теперь изучать историю советского общества. И не только изучать, но и просто представить. Ибо что можно представить, не представляя психологии людей, составлявших основу этого строя, ее костяк. П. Г. Григоренко был при всей своей незаурядности все же типичным представителем этого слоя. Путь его вполне типичен для многих талантливых, энергичных и отнюдь не обязательно нечестных подростков и юно-

шей из низов (но не только из низов), которых привлекла к себе и светом ложной, но соблазнительной истины, и открывающимися путями, захватывающими перспективами молодая советская власть. Во всяком случае, во все время своего существования в этом слое, т. е. до своего открытого выступления на партактиве, П. Г. Григоренко и к о г д а не чувствовал себя белой вороной или совершенно одиноким человеком, всегда, кроме идиотов и жуликов (а их, конечно, хватало, и они весьма затрудняли жизнь), вокруг него были люди, которых он уважал, которым доверял и о которых и сейчас вспоминает с искренним уважением. Даже о тех, кто его уважения заслуживает далеко не во всем, он говорит объективно, отдавая дань их достоинствам и хорошим поступкам. Они для него люди, а не знаки: и уже упоминавшийся В. И. Петров, и маршал Чуйков, и многие другие. Люди, среди которых он жил и возвышаться над которыми он вовсе не стремится. Хоть и приходится.

То, что все эти люди — люди, никак не дает оснований для пересмотра нашего отношения к той страшной силе, которой они служат и которую составляют, но это разрушает схематические представления и способствует более глубокому пониманию жизненных процессов и человеческих отношений в тоталитарном обществе на протяжении всей его истории, более глубокому пониманию того, как ветры тотальной идеологии захватывают человека и часто противопоставляют его лучшему в нем, собственной сущности. Так и получается, что в самом центре этого завихрения, при всех деформациях сознания, люди часто в своих человеческих отношениях остаются людьми, хотя эти человеческие отношения (и в этом трагедия!) на ход событий совсем не влияют. Наоборот, люди более честные, часто попадая при этом в конфликтные ситуации, тем не менее, приносят своим бесчеловечным режимам больше пользы, лучше им служат, чем все остальные, — иногда против воли начальства.

Вот характеристика, которую в середине тридцатых годов вроде бы дала П. Г. Григоренко польская разведка (он строил тогда укрепрайоны на польской границе, и у этой разведки могли быть основания им интересоваться): «Принадлежит к так называемому сталинскому поколению. Идеальный. Предан Сталину и его режиму не из желания выслужиться, а по убеждению. К критике в адрес режима относится нетерпимо, но

доносов не пишет, а горячо убеждает оппонента в его неправоте. Головокружительное продвижение по службе воспринял как должное и, несмотря на отсутствие опыта, дело взял в руки твердо и уверенно. Инициативен и решителен. Принимать на себя ответственность не боится. Заметных пороков не обнаружено. Подходов для вербовки нет». Текст был бы совсем достоверен, если бы дальше не следовала еще одна фраза: «Можно попытаться действовать через женщину, хотя надеяться на успех тоже трудно», — которая ставит весь текст под сомнение. Возможно, автор (или редактор) этой характеристики не польская дефензива, а советский НКВД, которому она вдруг зачем-то понадобилась — и именно в качестве документа «с той стороны». Уж слишком стиль этой фразы в духе тогдашних процессов и митингов! Да и прочитал автору этот текст — да еще так, что тот никак не мог в него заглянуть, — не кто-нибудь, а представитель этой организации Кириллов («череп, обтянутый кожей» — такое он производил впечатление). Может, он и дописал последнюю фразу. Но здесь для нас это неважно. Важно все, что предшествует этой фразе. Кто б ее ни написал. Правда о П. Г. Григоренко и о многих других людях, живших активно в эти годы.

Человеческая активность — драгоценное качество, но она же и бремя, она же потребность куда-то девать себя. Потребность эта не менее остра, чем другие физические, материальные и духовные потребности. Эта потребность далеко не всегда даже связана с тщеславием или честолюбием, она часто бескорыстна и, во всяком случае, ни с какой прямой материальной или карьерной корыстью не связана, но, тем не менее, потребность эта может быть весьма соблазняющей. Ведь гораздо приятней действовать, зная, что каждый твой час и миг отдан, по выражению комсомольского писателя Николая Островского, борьбе за освобождение человечества, а не просто прозе жизни. И тут далеко не каждый легко согласится увидеть (точнее, осознать, что видит), что борьба эта имеет другой вид и смысл. Конечно, если ты не дурак, ты видишь все это, но упорно и умело убеждаешь себя, что это только частности, а так все разумно и хорошо. И это действительно для тебя частности, ибо главное для тебя сейчас — это стихия твоей жизни, увлеченность работой, широта перспектив, наполненность каждого дня. Во всем в этом столько захватывающего, что это просто как-то не вяжется с чем-либо дурным

— и ничем, кроме как частностями на светлом фоне или временными трудностями, быть для тебя не может. И даже впечатление от родной деревни, во время коллективизации, куда ты и прибыл-то из своей интересной жизни только затем, чтоб увезти, спасти от голодной смерти, т. е. от общей судьбы, родного отца, а потом и от другой, куда тебя пошлют уполномоченным на уборку урожая и где ты встретишь несчастных людей, доведенных до полной апатии и равнодушия, — ни в чем не смогут тебя поколебать. Особенно после того, как свою деревню, т. е. тех, кто уцелеет до этого времени, тебе все же удастся отстоять — на том, правда, основании, что она, в отличие от всех деревень вокруг, всегда тяготела к коммуне. И уж совсем ты успокоишься после того, как Сталин в «Головокружении от успехов» сделает вид, что все это «перегибы» слишком ретивых исполнителей. А ведь сам слышал выступление украинского генсека Косиора на инструктаже уполномоченных по хлебозаготовкам и даже вполне уловил сознательное намерение партии уморить голодом часть украинского крестьянства — чтоб остальным неповадно было сопротивляться коллективизации. Говорилось нечто вроде того, что «мужик», отказываясь собирать хлеб, хочет задушить нас голодом, но мы ему самому дадим почувствовать, что такое голод. Предлагалось заставить вывезти все подчистую, якобы для того, чтоб заставить мужика открыть потайные ямы (которых, все знали, не было). Ты тоже будешь знать это, но уверишь себя, что виноват только Косиор, даже захочешь жаловаться на него Сталину — спасибо друзьям, отговорят. И эту твою потребность к служению и вере советская власть всегда использовала. Хотя больше симпатизировала тем, у кого ее не было. Особенно после того, как сталинская диктатура окончательно оформилась.

Но до этого советская власть должна была утвердиться как порядок вещей, как ход жизни, как нечто, с чем вполне реально и респектабельно могли связываться всякие жизненные планы, расчеты и честолюбие многих людей. Большую роль в этом сыграла тотальная советская пропаганда. Она всегда умела создавать впечатление, что то, что она хочет навязать, давно всем известно, кроме каких-то глупых, отсталых и замшелых людей, что люди, которые ей противостоят — ублюдки, корыстные эгоисты и т. д. То есть она всегда творила мир. Сегодня она это делает — и часто успешно — и в

международном масштабе. Утвердившийся в мире — и почти само собой разумеющийся — образ агрессивных и ужасных Соединенных Штатов, грозного и агрессивного сионистского Израиля, представление, что можно требовать от Израиля выполнения им всех арабских требований, сводящихся к его уничтожению, но не хотеть при этом самого уничтожения, — все это ее заслуга. Да что эти частности. Миру навязана такая атмосфера, при которой подчас даже президенты Соединенных Штатов (только не Рейган) оправдываются, когда их обвиняют в дурном отношении к социализму, словно это их действительно позорит! Это в свободном мире. А что могла сделать такая пропаганда там, где она же контролировала все средства информации. И сочеталась с террором: хочешь — верь, хочешь — пулю. Но все-таки ее функции было мало для создания порядка вещей. Года революции и гражданской войны еще никакого порядка вещей не создали. Люди ощущали не наличие его, а, наоборот, отсутствие, исчезновение, революцию, хаос. Люди упрямо ждали, «когда все это кончится». Порядок вещей начался с нэпа, когда возникла иллюзия, что нормальная жизнь может быть и при советской власти, которая даже начинала выглядеть конструктивной силой. В связи с этим сама романтика утопической идеологии и связанный с ней дух революции, разрушения, вражды, дикости, неуживчивости — стали казаться чем-то респектабельным и солидным, и девушки из хороших семей стали выходить замуж за бескомпромиссных утопистов (люди дозволенные, но все же идейные, т. е. культурные, а не дикие). Конечно, можно греметь филиппиками против мещан и приспособленцев, хотя не стоит уж слишком презирать среднего человека за то, что он хочет жить и не соответствует не им придуманным представлениям о должном. Но, даже отвлекаясь от этого, надо все же заметить, что в том и порядок вещей, что такие люди воспринимают создавшееся положение за реальность, к которой надо приспособиться. Это легализация плоти жизни, ее узаконение в нормах и представлениях бытия. Трагизм советской истории состоит в том, что легализация эта была обманчивой, даже провокационной. Стремление людей к жизни, к порядку, к устойчивости оказалось пойманным на крючок — люди обрадовались концу откровенного хаоса и не обратили внимания на то, что власть, созданная во имя утопии, объявила, что уступает требованиям жизни только для того, чтоб не слететь,

и то при этом сохраняет «командные высоты» в своих руках, во имя тех же, т. е. утопических и скомпрометированных, целей. Впрочем, жизнь уже и так брала свое, и многих партийцев сохранение «командных высот», т. е. своей власти (связанной и с положением, и с блатами), интересовало уже и тогда гораздо больше, чем причины, по которым это необходимо, даже если они этого не сознавали. Но эта реальность была в их мозгах причудливо связана с их утопизмом. Так и пошло, так и образовался порядок вещей. Конечно, идеальная сторона этого утопизма тут же — и чем дальше, тем быстрее (а после окончательного воцарения Сталина — с ужасающей скоростью) — стала испаряться, пока в конце концов просто не была выброшена на свалку вместе с ее носителями, даже теми, кто ради пребывания у власти шел на многие беспринципные компромиссы. Но, и сменив все, даже свой состав, партия, созданная ими, продолжала держать эти «командные высоты» как свою главную ценность. Командные над жизнью и над всеми ее интересами, внеположные по-прежнему для этой партии, хотя идеологические цели, во имя которых они были когда-то взяты, превратились в муляж из обесмысленных и потерявших всякую логическую связь терминов. Впрочем, муляж идеологии выражает и сущность, и реальную духовную потребность строя лучше, чем что-либо иное. Порядок вещей уже был создан, утвердился, приобрел инерцию и привычно продолжал работать сам против себя, против своей природы, на нарушение жизненных связей, да и самой жизни. Признание муляжа и миража за реальность стало признаком благонамеренности. Люди, внутренне расположенные к иерархическому порядку, вопреки своей консервативности и даже благодаря ей, старательно занимаются насаждением и соблюдением беспорядка, а люди, сознательно стремящиеся к порядку, оказываются в положении бунтовщиков, с существованием которых мирятся как с необходимым злом. Кстати, мириться с их существованием власти становится все труднее, ибо все труднее ей справляться со своей внеположной сущностью. Хотя кто-то ведь должен работать и должен был работать всегда. Власть, даже основанная на утопии, — вещь не утопическая. Так или иначе, она подчиняет себе порядок вещей. И это страшно. Особенно тогда, когда утопию заменяют ее муляжом и заставляют верить в него как в реальность.

Сегодня даже те, кто подчиняется этому порядку вещей, в глубине души и почти открыто презирают его. Но, когда П. Г. Григоренко выходил в жизнь, этот порядок еще до конца не раскрылся и, несмотря на большое количество открытых врагов, в глазах многих выглядел еще вполне привлекательно.

Автобиография генерала Григоренко — как уже было сказано, это своеобразная история советского общества. Разумеется, не полная, не исчерпывающая, но история. Это не только важнейшее свидетельство современника, это еще и очень серьезное осмысление пережитого. Радость общения с очень умным и внутренне очень богатым человеком не покидает нас во все время чтения этой книги. Это, конечно, не значит, что она отвечает на все трудные вопросы советской истории. Это невозможно. Но она касается их глубоко, заставляет о них думать, и многое все-таки становится ясней — даже из того, что понять вообще трудно: и как все-таки утвердился этот противоестественный порядок вещей, и как могли его поддержать люди, по своей природе чуждые ему, — такие, например, как мудрый, добрый, смелый человек, дядя автора — Александр. Правда, только поначалу, но потом уже спохватываться было поздно. Против порядка вещей, опирающегося на террор и диктатуру, после того, как он утвердился, переть трудно. История его показательна, ибо спохватился он довольно скоро, как только чекисты заезжие расстреляли в их деревне по пустяковому поводу первую партию заложников. Природа его, несовместимая ни с какой, особенно бессмысленной, жестокостью, сказала тут же. На ближайшем же митинге, а они устраивались каждый день, когда после очередных угроз оратор (главный чекист) спросил: «Вопросы есть?» — неожиданно в ответ прозвучал спокойный голос дяди Александра, задавший такой простой, естественный после происшедшего вопрос: «А за что вы людэй расстрилялы?» Он тут же был арестован, и только случайность спасла его от смерти на следующий день. Какой путь прошла страна, чтоб в ней исчезли обыкновенные люди — не борцы, не деятели, не фанатики, — способные в таких неестественных обстоятельствах задавать естественные вопросы. Не удивительно, что такой человек, неспособный идти против собственной совести и здравого смысла, намучался и пропал в годы коллективизации, — гораздо удивительней, что он до нее дожил. А поначалу он принял советскую власть и даже чуть не поссорился с почи-

таемым им священником о. Донским, который стоял за белых. Если бы такие, как этот человек, поддержали с самого начала белых, много бы не было. Не поддержали. Почему?

В общем, это старый вопрос, вопрос о том, почему проиграли белые. Ведь сегодня почти всем — и в том числе П. Г. Григоренко — вполне ясно, что победа белых была бы спасением для страны, — а вот не победили. Как это произошло? Кое-что можно почерпнуть и из этой книги.

Стоит запомнить, что в начале революции Петр Григоренко был, по его собственным словам, человеком политически нейтральным. Религиозным. Любившим петь в церковном хоре. То есть никак не большевиком. И он очень хотел учиться, очень стремился к расширению собственного мира и к какому-то иному приложению сил, которых он в себе чувствовал много. Это очень важно запомнить, ибо таких людей, стремившихся реализоваться по-иному, чем их родители, накопилось тогда по городам и весям России много. Это был резервуар энергии, с которым надо было обращаться бережно, который надо было умеючи направлять, использовать и давать дорогу и уж, конечно, не направлять его против себя.

А получилось так. Способный мальчик пришел сдавать экзамены в реальное училище г. Ногайска (ныне Приморска, расположенного в семи километрах от родной деревни). Далось ему это непросто, так как бабка, вопреки желанию еще не пришедшего с войны отца, оказала бешенное сопротивление, которое преодолеть удалось только с помощью о. Владимира Донского. Юноша сделал все возможное, чтобы выглядеть соответственно случаю. «Идя в училище, — вспоминает он, — я оделся по-праздничному: хорошо выстиранные и аккуратно залатанные штаны и рубашка, подпоясан специально сшитым матерчатым пояском на пуговке, голова стрижена под машинку, босые ноги чисто вымыты». Между тем, остальные кандидаты были одеты или в форменную одежду реалистов, либо в нечто с нею сходное. Все это смущало будущего генерала и заставляло прятаться за спины будущих товарищей (относившихся к нему насмешливо и в свою среду пока не принимавших). То, что произошло дальше, мне кажется невероятным. Однако это — было. Юношу обнаружил директор.

«— Молодой человек! А вы зачем сюда пожаловали?

— На э-к-з-а-м-е-н, — проблеял я.

— На экзамен надо одеться приличнее! Ну что это? — потряс он меня за тряпичный пояс. — Нужен ремень. Если и не форменный, то, во всяком случае, кожаный и широкий. И ботинки нужны. Босиком только стадо пасти можно. Вот так! Идите! Оденьтесь, как положено, и тогда приходите!»

Вот так для него произошла встреча двух миров. Мира рвущихся к культуре и как бы окопавшихся в нем. Разумеется, человека, так встретившего сына народа на пороге знания, всерьез считать русским интеллигентом нельзя. Русский интеллигент, при всех грехах этой формации, такого отношения бы себе не позволил. Но интеллигентными профессиями всегда занимались не только интеллигентные люди. Да и вряд ли тогда еще дифференцировались в сознании Петра Григорьевича понятия интеллигент и чиновник. Но представителем старого мира этот директор для него был. И, к сожалению, не только для него. Впрочем, именно для него дело кончилось сравнительно благополучно. Он сумел одолжить у знакомых требовавшуюся одежду и на следующий день блестяще выдержал экзамен. Но в том, что он так легко отдался большевизму, заслуга вышеназванного директора есть. На горе им обоим и многим другим.

Или вот такой факт. «Однажды, в прекрасное солнечное утро, придя в школу, мы (т. е. автор и его друг Семен, сын о. Владимира Донского. — Н. К.) никого в ней не застали. Стали расспрашивать. Установили — все пошли к собору встречать дроздовцев». Друг побежал встречать брата, но Григоренко его примеру не последовал, «хотя в то время я никакой вражды к белогвардейцам не испытывал», — добавляет он. Очень важное объяснение, особенно принимая во внимание то, что произошло дальше. Неподалеку от училища, у здания бывшей городской управы, нынче совета, толпился народ, родные членов совета. Сами же члены «все до единого собрались в зале заседаний, чтобы передать управление городом в руки военных властей». «Городской совет Ногайска, — объясняет автор, — как и большинство советов первого избрания, был образован из числа наиболее уважаемых, интеллигентных, преимущественно зажиточных, а в селах хозяйственных людей. Для них важнее всего был твердый порядок, а потому они не хотели оставить город без власти даже на короткое время. Они говорили: «Офицерье нас перестреляет». На что им отвечали: «За что? Ведь мы же власть не захватывали.

Нас народ попросил. Офицеры — интеллигентные люди. Ну, в тюрьме подержат для острастки несколько дней. А расстрелять...» Однако, как только появились дроздовцы, группа офицеров направилась к совету, и конвой начал тут же выводить арестованных его членов (два фронтовика пытались убежать, но были убиты). И через короткое время погнали их к подорожной деревне Денисовка. Скоро оттуда донеслись выстрелы, а потом оттуда прискакал офицер и прокричал: «Где здесь родственники советских прислужников? Можете их забрать». Все было кончено и проделано на глазах у людей. Спасся только один, учитель, бывший фронтовой офицер. Но и он тут же был расстрелян, когда, надев форму и четыре Георгия, явился в комендатуру — обжаловать незаконный террор. Хоть семья у него в ногах валялась, умоляла не ходить. Но он не мог. Тогда еще было много людей, которые чего-то не могли. Теперь они почти вывелись.

Когда-то, еще в 1974 году, только попав за границу, я с интересом прочел рецензию на только что вышедшую тогда, по-видимому, очень интересную и важную книгу «Дроздовцы». Рецензия эту книгу оценивала довольно высоко, но отмечала в ней один недостаток — упоминание о фактах, подобных вышеописанному. «Это не на пользу Белому делу», — не видя в этом ничего странного, объяснял свою позицию рецензент. Меня тогда поразила эта соцреалистическая логика в устах врага советской власти. Теперь я, конечно, понимаю, что сходство это чисто внешнее. Слишком часто такие факты использовались для очернения всего Белого дела, суть которого отнюдь не определялась такими фактами и победа которого, несмотря на них, была бы спасением для России и ее населения. Но это не значит, что надо болезненно реагировать на упоминание об этих фактах вообще. Все-таки не на пользу Белому делу пошли сами факты, а не упоминание о них спустя 54 года после того, как белые проиграли. Среди расстрелянных членов Ногайского Совета большевиков не было совсем или почти совсем. А сам этот расстрел толкнул к большевикам многих. «Меня огнем пронзила мысль, — продолжает рассказ П. Г. Григоренко, — дядя же Александр председатель Борисовского совета! Значит, его тоже могут расстрелять!» После чего он со всех ног бросился бежать домой, благодаря чему «никого из Ботновских советчиков дроздовцам захватить не удалось. Были предупреждены и соседние села. Все отсиде-

лись в камышах». Это ведь не от красных, от белых они там отсиживались, т. е. от людей, пришедших наводить порядок, от людей, которые могли бы их спасти от многого, что с ними случилось потом. Естественно, особо теплых чувств эти крестьяне — те, кто прятался, и те, кто их скрывал от несправедной расправы, — к белым питать не могли. И не питали. Это подтверждается и моим личным опытом. Мне приходилось в разное время жить в разных местах по пути отступления армии Колчака, и везде слово «колчаки» в устах простых людей — к тому же переживших все прелести коллективизации и индустриализации — было ругательством. На странность этого факта обращает внимание и сам П. Г. Григоренко, говоря о том, что белые у них в селе никого не убили, а красные — семерых ни в чем не повинных крестьян и, тем не менее, и он, и многие другие ненавидели белых, а не красных. Прегрешения красных как бы забывались. Белым же ставилось каждое лыко в строку. В конце концов, все белые бесчинства были не более чем эксцессами, естественными в гражданской войне, а у красных кроме таких эксцессов, которых тоже хватало, был целенаправленный, холодно рассчитанный (по соседству в деревне, ранее восставшей против белых, был потом красными расстрелян каждый второй мужчина — по мнению Григоренко, хорошо понимавшего логику большевизма, на том основании, что восставший против белых, может восстать и против красных), ужасающий (и применяемый для того, чтобы ужасать!), беспощадный, систематический террор, террор, не обошедший ни одного из слоев населения. И тем не менее...

В другом месте Григоренко говорит, что, превратив террор в индустрию, красные и относились к нему профессионально. Никого не расстреливали просто так, на улице или на глазах у всех отведя за город. Расстреливали в подвалах, в укромных местах, заглушая выстрелы ревом моторов, действуя на воображение таинственностью и необъяснимостью своих действий, а не обнажая их живыми картинами в духе вышеописанной, смысл которой нагляден и понятен всем. И который вполне сумеет использовать советская пропаганда, уже тогда творившая тот порядок вещей, о котором шла речь выше. И не пошло ли ей на пользу зверское убийство зажиточной еврейской семьи, предпринятое группой офицеров для устранения свидетелей грабежа, леденящие подробности которого до сих пор еще волнуют автора мемуаров. Уцелел

только один член этой семьи — внук, которого в последний момент прикрыла своим телом бабушка. Топор только скользнул по черепу, оставив глубокий шрам, в то время как бабке и деду топором раскроили черепа. Конечно, во время гражданской войны такие эксцессы встречались сплошь и рядом, но ведь в данном случае в нем участвовали офицеры, т. е. люди, вставшие на защиту порядка. Кстати, дед и впустил их в дом потому, что они назвались представителями комендатуры. Кстати, потом они с помощью комендатуры и от ее имени пытались добыть из больницы уцелевшего свидетеля этих подвигов — да доктор спрятал его. И разве удивительно, что потом автор встретил его в облике секретаря укома комсомола, когда сам пришел вступать в эту организацию. Думаю, что обоих в значительной степени толкнуло на это соприкосновение с дроздовцами в Ногайске. И такие близкие им по духу люди, как директор училища, так мало интересовавшийся той энергией, которая таилась в глубинах народа и требовала правильного использования, а не отправки назад — пасти коров. Повторяю, я не свожу к ним Белое дело. Не считаю, что именно они определяют его состав и суть. Но они помогли советской пропаганде создать ложный образ этого дела и в значительной мере предопределили его проигрыш. В результате чего Петру Григорьевичу пришлось в конце жизни пересматривать весь свой путь и каяться в нем, а секретарь укома Голдин настолько серьезно воспринял идеологию большевизма, что остался ортодоксальным большевиком, когда порядок вещей стал требовать от желающих оставаться в партии большевизма более диалектического, т. е. примкнул к троцкистам. И, по-видимому, потом разделил судьбу почти всех, кто отнес сам себя или был отнесен другими к этой категории. В конечном счете, от проигрыша Белого дела не выиграл никто: ни те, кто его защищал, ни те, кто ему изменил, ни те, кого оно само толкнуло в лагерь победителей, ни отчасти сами победители — особенно, если они были честными хотя бы по отношению к своему делу.

Правда, собственно перед Петром Григорьевичем этот выбор не стоял. Вступать в новую жизнь он начал, когда Белое дело было уже проиграно, когда новый строй открывал перед ним блестящие перспективы, путь к знаниям был открыт, теперь никто бы уже не посмел намекнуть ему, что его дело не учиться, а пасти коров. (Кстати говоря, и пасти коров надо

уметь, не все умеют, и это вовсе не знак человеческой никчемности.) Когда при вступлении в профтехшколу с ним попытались сделать нечто подобное (правда, не за то, что мужик, а за то, что комсомолец), то он знал, даже слишком знал, что у него есть защита. Это даже привело его к одному из немногих в его жизни сомнительных поступков: «...я написал в уком комсомола письмо о том, что в Молокановке создана не профтехшкола, а гнездо контрреволюционной белогвардейщины». «К счастью, — добавляет П. Григоренко, — в то время «бдительность» еще не достигла той степени, что в 30-х годах, и мое заявление не имело трагических последствий». А могло бы и иметь. В оправдание ему можно привести юношескую неопытность и то, что с ним самим поступили кричаще несправедливо. Он был хорошо подготовлен, и все экзаменационные задачи, в которых не было для него ничего нового, решил правильно. (Он запомнил и задачи, и решение, и правильность последнего возмущенно подтвердил тот, кто его готовил к экзамену, — талантливый педагог, бывший преподаватель математики одной из лучших московских гимназий, которого на Юг погнала угроза голодной смерти.) Тем не менее, ему в глаза соврали, что решение ошибочно, но работу показать отказались. Совсем как на нынешних приемных экзаменах в советский вуз: когда дано указание кого-либо «зарезать». Конечно, людей, боявшихся иметь у себя комсомольца, можно понять, но подлог есть подлог. Такие вещи только углубляли трагическую неразбериху и взаимонепонимание. И еще больше увеличивало кредит советской власти в глазах такой, рвущейся к большой жизни талантливой молодежи. По молодости лет он не обратил особого внимания на уничтожение партийных оппозиций, более того, они были подкопом под подлинность идеологической сущности строя, открывавшего такие перспективы перед ним, и он, наверное, инстинктивно отталкивался от всего, что они говорили. Сейчас он, как и многие другие, отказался от этой идеологии полностью — в любом ее виде, но это уже другая степень. До нее ему, как и многим другим, пришлось пройти и через «подлинный ленинизм», т. е. через то, что противопоставляла сталинскому духовному и идейному небытию оппозиция. Отступление в этот «ленинизм» — это отступление к начальному соблазну и греху из порожденных ими духовного небытия и протрации, но боюсь, что без этого отступления понять сущность такого греха труд-

но: что вообще можно понять, находясь в прострации? Тогда это казалось не прострацией, или потерей идеологии, а наоборот, жизнью и продолжением ее. К сожалению, не только для таких, как П. Г. Григоренко, который и мыслить всерьез критически начал где-то в районе тридцатого года, а и для многих людей иных возрастов, политической подготовки и социального происхождения. Но это уже хоть и близкая к нашей, но иная тема.

Информатор польской дефензивы (все-таки вряд ли советское НКВД — оно, скорее, подправило что-то в конце) безусловно прав, рекомендуя П. Г. Григоренко «представителем так называемого сталинского поколения». Но сталинское поколение составляли люди совершенно разные. Большинство из тех, кого относят к этому поколению или, точнее, с кем связывают представление об этом поколении, так или иначе связаны с представлением о порождении культурной революции и чисток 37-го года. П. Г. Григоренко ни к тем, ни к другим не относится. Вехи его биографии и роста только внешне совпадают с вехами биографии таких людей. Он тоже происходит из низов, тоже неоднократно посылался по партийной мобилизации, каждый раз почти против воли, скачкообразно перебрасывался с уровня на уровень без ликвидации пробелов, т. е. из него тоже готовили «кадру», облаченную больше доверием, чем знаниями или ответственностью. Дело не только в том, что Петр Григорьевич таким не стал, — дело в том, что у него не было и предпосылок таким стать. Хотя бы потому, что учиться он хотел и всегда учился, как только выпадала возможность, что к жизни и деятельности его тянуло и до того, как навстречу этим его желаниям пошла партия. Короче, он был одним из тех представителей народа, который действительно хотел подняться и поднимался, которых накопилось довольно много перед революцией, а не представителем тех, кого партия поднимала к свету знания за уши, чтоб иметь своих «специалистов». Именно поэтому П. Г. Григоренко и такие, как он, проявляли иногда героические усилия, ликвидируя пробелы самостоятельно, но получали полноценное образование. Само по себе это тоже не панацея, старательно вместе с П. Г. Григоренко учился и Николай Леличенко, в конце 50-х годов один из украинских министров, который при встрече стал доказывать, что один из общих товарищей по учебе, арестованный в 37-м году как «враг народа», действи-

тельно этим врагом был. «И я подумал, — говорит автор, — что, видимо, сам он приложил руку к его (товарища. — Н. К.) гибели». Не о всяком ведь так подумаешь. Далеко не всякое приобщение к знаниям, к профессии бывает приобщением к культуре. Мимоходом, кстати говоря, Григоренко отмечает, что в той массе «оргнабора» (т. е. насильственно мобилизованных на культурный фронт), которая училась плохо или вовсе не училась, почти никто в годы чисток не пострадал. Когда интеллигентного юношу, попавшего в институт не по набору, а по конкурсу, спросили, что после института будет с выдвиженцем, к которому он был прикреплен для «подтягивания» в порядке комсомольской нагрузки, но который упорно «подтягиваться» не желал — только требовал, чтоб прикрепленный решал за него задачи, умудренный опытом многих, интеллигентный юноша не задумываясь, ответил: «Он будет моим начальником». И как в воду глядел. Стал. Буквально. Конечно, так получилось не только в этом случае. Не знаю, как себе представляли последствия таких оргнаборов те, кто их придумал, но они, вынужденные защищать свое место в жизни, должны были овладеть самой жизнью, довести ее нормы до своего уровня. И от них одинаково солоно приходилось не только старым «гнилым» интеллигентам, но и многим новым — таким, как П. Г. Григоренко. В сущности, этих выдвиженцев выводили как гомункулусов, но только не из неживой материи, а из живых людей, и они-то и составили основной костяк сталинщины. Над ними смеются, но за глаза — в глаза попробуй. Они упрямо, глупо, нелепо, но успешно навязывают свой уровень и язык своих противоестественных представлений всем внутри страны (в том числе и тем, кто над ними смеется), мировому коммунистическому движению (это не моя забота, но отметить надо), мировой дипломатии, вынужденной считаться с их языком, да и вообще всему миру, вынужденному осмысливать их как реальность. При Сталине они обходились без самосознания, главная их добродетель перед людьми и «Богом» была в том, что они были верны «Ему», а он уж знал, кто они и для чего. Но после Сталина они предпринимают иногда попытки самосознания и определения собственного идеала, идеала людей, облеченных чем-то неизвестно из чего и неизвестно для чего. Особенно это ярко проявилось в романах В. Кочетова «Братья Ершовы» и «Секретарь обкома». Гомункулус заявил о себе. Картина мира с точки зрения

интересов бездарного человека, имеющего право на несоответствие занимаемой должности. То, над чем все остальные смеялись, что всем отвратительно (безличность, подхалимаж, прислужничество), в этих произведениях отнюдь не скрывалось, а поднималось на высоту идеала. Но это, так сказать, касалось вынужденных героев. А вот что орал открыто, на официальном заседании Центральной Контрольной комиссии КПСС не вымышленный герой, а зам. председателя этой комиссии старый сталинский функционер — Сердюк: — «Оклады его высокие не устраивают, видите ли... Ты не о своем высоком окладе думал, когда говорил об этом. Ты был уверен, что как высококвалифицированный специалист имеешь право на свой высокий оклад. Ты о м о е м высоком окладе думал, когда говорил об этом... — нажал он на слове м о е м. — Сменяемость ему, видите ли, нужна. Так ты же не о своей сменяемости думал. Ты же специалист и в смене не нуждаешься. Ты же думал не о том, чтоб тебя сменили. Ты хочешь, чтоб м е н я сменили... Развел такую демагогию и еще имеешь нахальство жаловаться...»

Эта речь — реакция на выступление Григоренко на Фрунзенском райпартактиве г. Москвы, где он настаивал на соблюдении «ленинских принципов», т. е. на сменяемости функционеров и ограничении их окладов зарплатой среднего рабочего. Тогда еще Петр Григорьевич ощущал себя коммунистом, и видел в соблюдении этих утопических принципов спасение от всех бед. Но речь сейчас не об эволюции взглядов П. Г. Григоренко, а о прямом самовыражении гомункулуса, о прямом выражении им своей, как говорят марксисты, «классовой позиции», в том числе классовой ненависти выдвигенцев, ни на что, кроме как на принадлежность к правящей мафии не способных, к специалистам, без которых, к сожалению, нельзя обойтись, и которых необходимо держать в руках, и именно потому, что они-то без «нас» обойтись вполне могут... Это искусственно выведенная порода, роботы, восставшие против своих творцов. А одним из их творцов был и сам Петр Григорьевич, когда по воле партии тащил их за уши к получению дипломов, к уравнению их в правах с теми, кто может и хочет знать, с такими, как он сам и те, у кого он учился и хотел учиться. Сегодня эти роботы постепенно сходят со сцены, но они очень заботятся о том, чтоб ничем полноценным их заменить нельзя было — причем в одной из самых умных, образо-

ванных и квалифицированных стран мира. Впрочем, о том, кто придет им на смену, пока еще можно только гадать, но людям, долгие годы вынужденным приспособляться к их ирреальности и скрывать от них творческий огонь, очень трудно будет сохранить его и донести его до момента, когда его можно будет применить. Но будущее — это иная тема. Но на сегодняшний день реальными победителями революции остаются гомункулусы.

Видимо, к этому шло с самого начала. Но это вовсе не было очевидно. В событиях участвовали не только кандидаты на высокое звание. Даже в высшем слое, даже сегодня ими являются далеко не все (но все должны приспособляться к ним, т. е. делать то, что отказался делать наш автор). А на первых порах было негомункулусов гораздо больше, ведь самый тип выработался и утвердился намного позже. И очень интересно, как именно они контактировали с той бесчеловечной стихией, которая их влекла (хотя таковой в их глазах не выглядела), и с бесчеловечной идеологией, в которую верили. Как уже упоминалось, информатор дефензивы характеризовал П. Г. Григоренко, как человека, нетерпимого к антисоветским взглядам и разговорам, но мимоходом сообщает: «доносов не пишет».

Позволительно было бы спросить: «А почему?». Ведь предан же делу, ведь столько есть врагов у советской власти, ведь жестокая схватка и капиталистическое окружение, ведь долг коммуниста прямо обязывает, ну не доносить, конечно, но сигнализировать компетентным товарищам по партии (которой он предан не за страх, а за совесть!) о нездоровых настроениях и их носителях. А вот поди ж ты... И ведь не только не доносит, а когда его товарищ Гриша Балашов, такой же верующий комсомолец, как и он сам, решает сознаться, что он сын попа (в первые годы советской власти, до середины тридцатых годов, это было большой компрометацией), он не только сам не доносит, но даже уговаривает Гришу не делать этой глупости, понимает, что она может погубить хорошего человека. «Не знаю почему, но я считал этот обман вполне оправданным» — говорит он о тогдашнем себе. Впрочем, очень многие, верующие коммунисты (и нацисты тоже) считали свои жестокие принципы верными во всех случаях, кроме тех, когда они касались людей знакомых и понятных им. Это никак не заставляло их отказываться от этих принципов.

Впрочем, это касалось вещей и гораздо более глубоких и основополагающих. И столкнулся с ними П. Г. Григоренко гораздо ранее, в самом начале своего комсомольства.

Один из двух присланных в их деревню для организации ячейки комсомольцев, Иван Мерзликин, был случайно ранен во время любительского спектакля, когда исполнял роль расстреливаемого комиссара. Все, в том числе и автор мемуаров, очень удивлялись, каким образом пыж смог пробить полушубок. Удивлялся и будущий генерал. Но Ваня вопреки очевидности доказывал, что пыж и не пробивал никакого полушубка, ибо полушубок был распахнут. В доказательство он продемонстрировал целехонький полушубок. Но юный Григоренко, перед спектаклем застегивавший ему этот полушубок, обнаружил, что полушубок подменен. Мерзликину пришлось раскрыться:

«Про пыж это я придумал. Уговорил Грибанова (доктора. – Н. К.) поддержать мою версию. С полушубком она не получается, вот я и подменил его. Для чего я это делаю? Я догадываюсь, как это произошло. Тут никто не виноват. Но если дело попадет в Чека, то не одна голова полетит... Я немного служил в Чека, и теперь врагу не пожелаю туда попасть». Несколько странно звучит в устах сторонника диктатуры такая характеристика главного ее органа. Но дальше больше: «Теперь учти, кроме меня правду знают только Грибанов и ты. Грибанов не скажет, так как его за «пыж» запросто к стенке поставят. Я тем более не скажу, так как мне сразу припаяют «покровительство бандитам». Значит жизнь моя, Грибанова, всех братьев Яковенко (один из них был хозяином дробовика, другой из него стрелял по ходу спектакля) и еще может кого зависит от тебя одного». В связи с этим Мерзликин просит Григоренко помочь ему уничтожить улику, т. е. картечину. «Пойдешь домой — выброси в речку. Я хотел сохранить на память, да боюсь, найдут. Уже сегодня был чекист. Но он шлапак: поверил Грибанову и мне. Но там не все такие. Найдется кто-нибудь, кто начнет копать. Поэтому от греха подальше». В заключение автор говорит: «Я выполнил его просьбу». И даже более того: «Замечание насчет Чека запало мне в душу на всю жизнь. Может, этим объясняется, что я никогда ни на кого не донес в ЧК и в душе подвергал сомнению распространяемые советской пропагандой страшные истории о «врагах народа» и рассказы о «подвигах» чекистов. При той восторженности, с

какой я воспринимал все советское, я без Мерзликина мог натворить много такого, за что потом было бы стыдно и больно».

Честно говоря, я не очень верю, что Петр Григорьевич при любой восторженности мог бы натворить «много такого». Ведь для этого мало оступиться, надо долго жить определенным образом, противоречащим его натуре и воспитанию, а этого он не мог бы. И ведь чувствовал в нем нечто надежное тот же Ваня Мерзликин, когда доверял безусому юнцу столь ответственную тайну. Но все же наверняка кое от чего Ваня Мерзликин его уберег.

Но этот конспиративный разговор и сговор двух сторонников диктатуры, стремящихся скрыть следы никогда не существовавшего преступления в боязни, что начнут копать и тогда выкопают — то, чего не было, эта твердая убежденность, что родным компетентным органам ничего доказать нельзя, что они человеческому языку не доверяют — даже тогда, когда он исходит из уст доверенных людей при готовности и дальше вполне честно идти с этими органами в одном строю к тем же сияющим вершинам — вещь весьма знаменательная. Нет, это не сталинские гомункулусы, это люди, в значительной степени сами выбирающие себе дорогу, но уже ставшие на нее, уже обложенные тем, что большевики называют дисциплиной, уже подвергнутые постановлению о запрещении фракций, уже обязанные не считаться с велениями собственной совести (совестью их тоже в централизованном порядке должна распоряжаться «партия», т. е. партократия, и совесть разрешенная — это только полная разоруженность перед ней). Конечно, времена еще сравнительно травоядные, еще в центрах человек с достаточным партийным весом может и вырвать кого-либо из лап ЧК, еще анфан террибль партии Рязанов, несмотря на свое пошатнувшееся положение, может, будучи вызван в ЧК на допрос для опознания какого-либо соглашателя, начать путать карты и опознать его только после прямо выраженной просьбы опознаваемого, которому зачем-то это нужно («Память» № 3), но в глубинке на это шансов меньше, и вообще официально ЧК — вещь духовно высокая, карающий меч революции, и в это надлежит верить. И все движется к тому, что исчезнет всякий вопрос о вере, о самостоятельной ответственности (прямо перед начальством и в тех терминах, которые оно употребит), и наилучшими людьми

станут те, для которых это естественно, т. е. гомункулусы. Но никогда, нигде, ни на каком уровне не будет так, чтоб были одни гомункулусы. И человеческое как-то будет проявляться. И все-таки люди будут доверять друг другу. Даже в очень серьезном.

П. Г. Григоренко винит себя в том, что он был в состоянии понять, что делают и что собираются сделать с крестьянством, что понравившиеся ему и успокоившие его статьи Сталина «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам» на самом деле были маневром для того, чтобы сбить с толку серьезное сопротивление крестьянства и выиграть время для подготовки страшнейшего преступления против крестьянства — организации искусственного голода. Еще бы! Ведь он сам слышал речь тогдашнего секретаря компартии Украины Косиора на собрании тех, кто должен был выезжать в качестве уполномоченных ЦК КП(б)У на уборку урожая.

Речь эта очень важна, это одно из немногих прямых доказательств, что страшный голод начала тридцатых годов был организован предумышленно, и ее пересказ я повторяю полностью. Вот она: «Мужик перешел к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы можно было костлявой рукой голода задушить советскую власть. Но он просчитается. Мы его самого заставим узнать, что такое голод. Ваша задача — сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать все до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть ямы».

Речь эта произвела очень тяжелое впечатление на Петра Григорьевича. Он знал, что никаких ям нет и в помине, что были они только до нэпа и понял довольно четко, что просто Косиор сознательно решил организовать на Украине искусственный голод — что он почти прямо и высказал. (Понять, что дело тут не только в Косиоре, Петр Григорьевич еще и не мог, не решился.) Поразительно то, что он своего отношения к речи Косиора (как-никак секретарь ЦК Украины, член Политбюро большого ЦК!) в своей среде не скрывал. И секретарь институтского партбюро Топчиев с ним не спорил, но как человек более взрослый, отговаривал только его писать жалобы Сталину на Косиора. Советовал п о к а подождать. А ведь практически обязан был квалифицировать настроения

П. Г. Григоренко, как кулацкие и антипартийные — особенно в момент обострения классовой борьбы. И поступить соответствующим образом. Ан нет. Не поступил. И человек был, видимо, другой, и обстановка, видимо, была еще далеко не та, что потом. Из того, что народ был лишен всяких прав и всякого голоса с первых дней советской власти и это фактически потом все изменения практически касались только изменений внутри партии, никак нельзя делать вывод, что эти изменения не имеют значения. Сокращение демократии внутри партии — а этот процесс шел все время и довольно быстро, — означало, что демократия сокращалась и в партии, что везде, любая — даже искривленная, партийная — жизнь сходила на нет и в стране не оставалось никого и ничего, кто мог бы хоть в мизере возразить верховной власти, означало все большую замену на всех уровнях великих грешников теми, кто сам себя называл *номенклатурой*, т. е. теми, кого вытаскивали и вытаскивали за ушко в руководители всех сторон жизни, в создание обстановки, где на руководящих уровнях просто гордились, что за них думает Сталин, и где высшей доблестью и удачей считалось правильно угадать его верховную волю. На таких основах уже не поговоришь. Конечно, и там оставались люди, которым было что сказать друг другу, да и появлялись новые (жизнь-то шла!), но равняться приходилось на других, «нетипичных», но почему-то все решающих. Да и очень редко — на партийном уровне. На профессиональном — чаще. Вспомним описанную Григоренко реакцию армии на то, как проходило — на уровне грамотности Буденного — присвоение новых (вернее, старых, дореволюционных) званий комсоставу. Или разговор Новобранца с Рыбалко в Генштабе по поводу разведсводки № 8, разговор, требовавший высочайшего доверия друг к другу: узнай кто-нибудь, конец бы не только Новобранцу (он и так избежал его случайно), но и Рыбалко тоже — за соучастие. Но за выражение недовольства порядком перепатентации потом сажали, а разговор двух военных с самого начала был строго секретный, чуть ли не заговорщицкий. То, что при этом был заговор не против интересов власти, а за них и что из-за этого один его участник шел на верную смерть, а другой — на смертельный риск, в этом дух сталинщины. А ведь разговор с Топчиевым был просто разговором, хоть был он прямо политическим и касался линии руководства. Ибо все-таки у обоих была инерция ощущения членов партии, а не про-

сто людей, допущенных к ней для получения благ и чинов. Все-таки другая атмосфера в отношениях не то что была, но еще была возможна в отношениях между людьми. Хоть это уже был анахронизм или атавизм. Хоть в каком-то смысле это были самые преступные годы советской власти, последствия их на отношениях внутри партии сказались несколько позже — во время и после чисток.

Этот инструктаж Косиора сблизил П. Г. Григоренко еще с одним человеком, чрезвычайно интересным для понимания общей обстановки и реальной истории, заворгом комитета комсомола, бывшим троцкистом Яшей Злочевским. В самиздатской публицистике утвердилось мнение о троцкистах, как об исчадиях зла, главным источнике бед, людях в лучшем случае из романтических соображений ненавидящих народ и крестьян. Я отнюдь не собираюсь защищать троцкизм, ибо считаю его догматическим большевизмом, грешным всем, чем грешен большевизм и ответственным за все, что творил большевизм, пока включал в себя и их. Их идеологию, т. е. то, что они проповедовали, я считаю опасным и бесчеловечным делом — разумеется, не более бесчеловечным и страшным, чем то, что творил (то, что он говорил, не имеет значения) Сталин, но к тому ведущий, к нему приведший. Но молодежь к нему влекли не его бесчеловечная суть (ее хватало и в «генеральной линии»), а некий вид идеологической цельности, протест против бессмысленной беспринципности, нежелание повторять абракадабру. Толкало их безусловно не в ту сторону — не к отказу от коммунизма, а к его углублению, очищению. Но я ведь не троцкизм защищаю, а людей, которые заблуждались далеко не всегда из низменных побуждений. И воюю против схемы, позволяющей отвлечься от стыда сталинского небытия. Отвлекаться от этого не надо, это надо преодолеть — в некоторой степени и в самих себе, главное — в самой нашей жизни. Ведь и троцкизм, и ленинизм во многих преодолены, а сталинщина — не всегда, слишком разрушительные последствия она оставляет после себя.

Во всяком случае, бывшего троцкиста Яшу Злочевского с крестьянским сыном Петром Григоренко, и до этого симпатизировавших друг другу, окончательно сблизило их отношение к вышеупомянутому инструктажу. Оказалось, что они одинаково расценили его — как указание об организации голода. Только Яша Злочевский, он был старше на три года, понимал

это отчетливой — в том смысле, что Косиор знал, что делал, и что он не один это выдумал. «Не он один. Все они растленные типы. Для них человек — ничто. Власть им нужна любой ценой. Ради нее они никого не пожалеют, даже друг друга, — он говорил, как рубил...» Под словами этими может подписаться любой из нас сегодня. Но может быть, дело тут в троцкистской озлобленности — все же оттеснили, оболгали, используя методы, которые, впрочем, Троцкий считал вполне нормальными, но только вне партии, а не внутри ее. Собственно, этот вопрос — правда, в другой форме — и задает ему его более молодой собеседник. Вот он: «Яша! А как у тебя с троцкистским прошлым? Что, твой отказ от троцкизма — тактика или действительный отход?» Выслушаем ответ. Он очень важен: «Видишь ли, я вообще ничего не могу делать неискренне. В троцкизме я действительно разочаровался и никогда к нему не вернусь не только организационно, но идейно. В главном троцкизм не отличается от ленинизма, а следовательно, от теперешней идеологии и тактики партии. Но у троцкистов я многому научился. Анализ бюрократизма и диктатуры партийного аппарата троцкисты сделали классически». А дальше, несколько непоследовательно идет программа жизни, принятая несколькими поколениями советской интеллигенции, теми ее представителями, которые безуспешно старались сводить концы с концами и оставаться честными: «Благодаря этому (анализу. — Н. К.) я, идя с партией, придерживаясь ее идеологии, стратегии и тактики, вижу те извращения, которые на них накладывает советский бюрократический и партийный аппарат, особенно борьба за местечки. Делай все честно, в меру своих сил препятствуй аппаратчикам, бюрократам душить партию и народ, но не лезь со своими жалобами в верха».

Нет сомнения, что Николай Леличенко был искренен, когда убеждал своего бывшего однокашника, что Злочевский в отличие от других «жертв культа личности» и на самом деле был «врагом народа». Вероятно, он услышал от Яши нечто такое, что ему показалось невероятным. И тем более страшным, что было проаргументировано и не могло сойти за «обывательские разговорчики». Логика таких людей — когда речь идет о том, за что они держатся — не убеждает, а только пугает и раздражает. Николай Леличенко в отличие от большинства из «спецнабора» учился добросовестно и старатель-

но, хотя учеба давалась ему трудно. И вполне возможно, он усвоил профессиональные знания, но мысль о том, что земная ответственность человека, особенно человека мыслящего, не может ограничиваться его ответственностью перед начальством, вероятно не приходила ему в голову никогда. (И здесь он не отличается от тех, кто учился спустя рукава.) Этому ему нигде было учиться. И практически не у кого. Даже те, идейные, которых потом с его помощью вытеснили из жизни, учили его не этому. У некоторых из них еще была, вероятно, развита потребность думать о вещах лично их не касавшихся и иметь свою точку зрения на вопросы, уже авторитетно обдуманные начальством, но от него ведь требовалось только классовое чутье, более того, к этому чутью апеллировали, его объявляли отправной точкой всякого грамотного мышления (а к грамоте он стремился — и что говорить, чутье и в каком-то, правда, в несколько трансформированном виде: классовое, у него развилось.) К тому же те, кто его учили, и сами мало-помалу, ради единства партии или чего подобного, предавали свою способность самостоятельно мыслить и отвечать. Конечно, это делалось для того, чтоб сохранить возможность продолжать участвовать «в общей работе», или как в Яшином случае, чтоб стараться на ходу выправлять ошибки руководства, иногда это, как мы видим, было и искренне, но со стороны это было слишком неотличимо от желания сохранить за собой теплое место. И можно быть уверенным, что такой Николай Леличенко и не отличал этого. Тем более, что он не был и расположен к этому, ибо был незаинтересован. Конечно, все это люди и как все люди они отличались друг от друга (хоть выглядели и старались выглядеть одинаково), и в каждом внезапно могло проснуться что-то человеческое, но биография их к этому не располагала. Но все-таки я думаю, что никто не выиграл от того, что такие люди стали, выражаясь языком В. Чалидзе, «победителями коммунизма», думаю, что все даже еще больше проиграли от этого. Это было не смягчением, а бескрайним ужесточением того, что было до этого. Не говоря уже о том, что человек, самостоятельно пришедший к коммунизму, мог (и такое бывало) и раскаяться в нем, а человеку, чувствуящему ответственность только перед начальством, раскaiваться вроде бы и не в чем. А в чем оно состояло, не его ума и не его нравственной озабоченности дело. Парадокс состоит в том, что такое положение эти люди

стараятся сохранить и тогда, когда окруженное ореолом начальство исчезает и даже когда они сами (зная ведь всё про себя) занимают его место. Такие люди сейчас и правят нашей страной и навязывают свой уровень всему миру. Это было бы очень смешно, если б не было столь опасно.

А тем более, были они опасны тогда. Один разговор с одним из таких людей, обошелся Петру Григорьевичу довольно дорого. Разговор этот произошел после того, как в штабе Дальневосточного фронта впервые стало известно о начале войны, т. е. после речи Молотова 22 июня 1941 года (другой информации штаб не получил). До этого, поскольку он был знаком с разведсводкой № 8, он считал, что командование знает о том, что война вот-вот начнется, и принимает меры (он не мог тогда знать, что эта сводка разослана в прямое нарушение воли командования), и теперь, даже по речи Молотова, он понимал, что меры не приняты, что немцы застали нас врасплох и уничтожили советскую авиацию. «Вспомни, как начинали немцы в Польше, Франции, Норвегии, — объяснял он своему сослуживцу. — Везде они (т. е. немцы) начинают с удара по авиации и затем беспрепятственно громят наземные войска. Не надо быть очень мудрым, чтоб понять это и принять меры, чтобы отбить подобную попытку, если она будет предпринята противником. А наше Верховное Главнокомандование не позаботилось об этом, и вот вся наша Западная группировка военно-воздушных сил разгромлена». Человек, которому он это говорил, был, как и сам П. Г. Григоренко, выпускником Академии Генерального штаба, вроде специалист того же класса. Но о нем потом говорится: «Общекультурный уровень невысокий, в виду чего и военные знания его были формальными, заученными». Естественно, что из этого следует «неспособность к анализу и к собственным выводам». В сущности, это характеристика целого слоя. И вообще, спрашивается — зачем набирать в Академию Генерального штаба людей без достаточного культурного уровня? Ведь это все-таки не курсы трактористов и шоферов и даже не среднее бронетанковое училище. Это ведь дело заведомо элитное, как раз и требующее общего кругозора. Но такие люди пронизывали все. И свою неспособность к анализу кое-чем компенсировали. Вряд ли в другое время Петру Григорьевичу захотелось бы откровенничать с этим человеком, тем более, что сам он говорит о нем, как о неинтересном собеседнике, но день уж был

слишком нерядовой. Видимо, показалось, что начавшаяся трагедия сближает людей общей судьбой. Но человек, потерявший связь с самим собой (человек с самым высоким военным образованием, а в сущности и не знающий, что такое образованный человек), никакой связи с ним почувствовать не может. И «в час, когда над нашей Родиной нависла смертельная опасность», он сделал то, что сделал бы в любой другой час — написал донос на своего бывшего однокашника, что тот усумнился в мудрости Сталина. Сталин, правда, в разговоре даже не упоминался, но уж в этом деле полковник Андрей Алейников мыслить, по-видимому, умел хорошо. Так, что его такие, как он, понимали. А получалось так, что их уровень был господствующим. И действовать против них можно было только подпольно. Так и действовал друг Петра Григорьевича, один из виднейших политработников Дальневосточного округа. Он передал через жену друга (они жили по соседству), чтоб тот зашел к нему ночью того дня, как поздно бы тот не вернулся с работы, и сказал ему следующее: «— Ну вот что! Запомни! Я тебя не видел, мы с тобой не говорили, я тебе ничего не советовал. Ты можешь вести себя как угодно и рассказывать что угодно, но если ты расскажешь о том, что сомневался в мудрости Сталина, я тебе ничем помочь не смогу». В ответ на возражение Петра Григорьевича, что он имени Сталина не называл, друг сказал, что это неважно. «Мудрый у нас только один человек. Поэтому о мудрости в том тоне, о котором говорил Алейников, ты вообще не говорил... И запомни — речь идет не о партийном билете, а о твоей голове. Утром тебя пригласят в назначенную мной партийно-следственную комиссию. Не забудь, когда к ним придешь, что ты не знаешь, зачем тебя вызвали».

Вот сколько конспирации понадобилось. А в сущности человек только высказал профессиональное суждение о коллегах, о их просчете. И обошлось это дорого, хотя самое страшное удалось отвести. Отделался строгим выговором. «Меня мой разговор с Алейниковым преследовал очень долго... (...) Всю войну я прошел на генеральских (иногда полковничьих) должностях, но оставался подполковником. Только случайно, благодаря вмешательству Мехлиса, в конце войны (2 февраля 1945 года)... Этот разговор столкнул меня и с Брежневым в конце 1944 года (при попытке снять выговор, которой воспротивился Брежнев: „Неуважение к товарищу Сталину?»

Пусть поносит!“). Его же мне напомнили, когда я в 1961 году выступил против Хрущева». Существенная деталь. На той парткомиссии в армии, где Брежнев так картинно выступил против снятия выговора Григоренко, стоял вопрос о снятии выговоров с двух других провинившихся. Один, заместитель комполка по тылу, которого должны были судить за крупные хищения, но благодаря заступничеству начальства ограничили строгим выговором с предупреждением (но без занесения в учетную карточку). Второй — командир полка связи, насилувавший подчиненных ему девушек-связисток (их ему привлекали холуи-бугаи) — это называлось «использование служебного положения в целях принуждения подчиненных к сожительству». С обоих приговора сняли без звука. В присутствии того человека, который 17 лет управлял Россией и влиял на судьбы всего мира, который специально пришел, чтоб не допустить снятия выговора с Григоренко. Это и есть моральный кодекс номенклатуры, управляющей нашей страной.

В этой книге, вероятно, нет ни одного послереволюционного эпизода, который не влек бы за собой необходимости пространных размышлений. Каждый эпизод — это узел, в котором скрещиваются многие факторы, определившие судьбу нашей страны. Только такие эпизоды практически и отобраны автором, да и как-то служат они этому, хотя автор как будто писал только автобиографию. Но это биография человека, прошедшего большой и сложный путь, освещенная тем, к чему он пришел, и написанная с точки зрения тех истин, которые ему открылись. Это книга фактов и книга мысли. Эта книга мыслит и будит мысли, и если все их выразить, получится книга в несколько раз превосходящая авторскую. Не знаю, когда напишут такую книгу, но уверен, что книга генерала П. Г. Григоренко — важнейший источник для изучения истории советского общества. И что каждому, кто ею интересуется, следует эту книгу прочесть.

Восточноевропейский диалог

Вацлав Б е л о г р а д с к и й

ЖИВАЯ ПЛОТЬ ПРОТИВ МУНДИРА

*(Чешская культура как составная часть цивилизации
Центральной Европы)*

1. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ (ПОПЫТКА ДЕФИНИЦИИ)

Можно принять в качестве стандартного определения цивилизации следующее: будем понимать под цивилизацией совместное для двух и более этнических общностей пространство культурных моделей социального поведения. Это пространство охватывает общий язык или распространенное дву- или многоязычие, использование общей технологии, одинаковые законы и правила принятия решений, одинаковую динамику общественного мнения, одинаковый быт, определенную степень религиозного и идеологического единства. Наоборот, культурой мы называем модели поведения, специфические для определенной социальной структуры.

Цивилизация возникает в результате того, что определенные элементы какой-то специфической культуры распространяются за пределы тех социальных структур, где они первоначально возникли. В этом смысле мы говорим о христианской цивилизации, католической, демократической или, например, рационалистической цивилизации. Современная цивилизация — технологическая, поскольку технология является тем элементом западной культуры, который шире всего проникает во все остальные культуры и социальные структуры. Описать данную цивилизацию означает вычленил тот элемент данной культуры, который наиболее способен «универсализироваться», т. е. выдвинуться как элемент, объединяющий большее число общностей, и сформировать их совместное пространство в указанном выше смысле.

Цивилизацию Центральной Европы можно определить как «сверхлегалистскую» в том смысле, что чиновники, закон, государственный аппарат, единая система мер, мундиры, печати, канцелярии, государственное жалование и карьера — тот единственный универсальный элемент, вокруг которого и посредством которого возникает общность Центральной Европы и ее особый этос. Многонациональная территория не была объединена ни языком, ни историей, ни культурой, ни вероисповеданием — только обезличенность закона да прецизионность системы мер возводили это государственное образование в ранг единства.

Согласно Гадамеру («Истина и метод»), осознать культуру как традицию означает найти тот вопрос, на который неустанно отвечаешь, который ощущаешь как «актуальность». С этой точки зрения, вся культура Центральной Европы есть ответ на следующий вопрос: может ли закон как обезличенная неукоснительность стать источником какой бы то ни было универсальности? Нет ли в этой всеобщей тяге к закону и мундиру как всеобщему прибежищу привкуса нигилизма? Насколько человек может избавиться от того, «что не есть закон» и что не поддается измерению?

Теоретически можно было бы говорить о перманентном дефиците легитимности, которым пронизано все центральноевропейское пространство. Этот дефицит пытаются преодолеть, созидавая совершенную, обезличенную легальность. Именно закон, с его обезличенностью и нейтральностью, должен стать источником легитимности, подменить ее. Однако подобный замысел абсурден, ибо источники легитимности находятся вовсе не здесь, но в личностном сознании, в человеческом общении, в ощущении личной ответственности за определенные ценности. Так возникает стандартная идеология первичности государства по отношению к обществу. Она основывается на попытке преодолеть нехватку легитимности, выстраивая совершенные организационные структуры, чья отстраненность и обезличенная неукоснительность могли бы стать всеобщим достоянием, вне зависимости от индивидуальных различий. Но можно ли разделить с другими то, что не является личностным? И что значит — разделить?

Государство, функционирующее в условиях нехватки легитимности, воспринимается как «чужое», а его навязчивая обезличенность делает из него не только «чужое», но и «ни-

чейное» государство. Всё в Австро-Венгрии было пронизано этой тягой к закону, к мерке, к мундиру. «Кайзеровско-королевский» этос, по Музилю, коренился в чувстве, что личностное существование не является достаточно оправданным, и следует его охватить и упрочить мундиром. Иначе говоря, культура Центральной Европы представляет собой рефлексию на тему бессмысленности усилий одеть беспорядочную энергию жизни в мундир, навсегда отречься от ночной стороны жизни, от того, «что не есть закон», от «неизмеримого». Это попытка полностью перевести энергию в структуру.

Идею порядка, которой мотивируются эти усилия, Брех, Музиль, Рот и Додерер расценивают как основу австро-венгерского общества — однако чистый легализм есть не что иное, как нигилизм.

«Отсутствие подлинного субстрата в Австрии — стране, где никто ничего не мог принимать всерьез, поскольку здесь не было ничего серьезного, за исключением престола, вело к тому, что общественная структура также утратила всякое содержание... В конце концов, эта абстрактная основа была еще все-таки государством или хотя бы функционирующим государственным механизмом, общество же [...] как-то должно было ему служить, чтобы он не застопорился... И, в конечном счете, [австрийское общество] верило, что в таком подходе лежит подлинная этика государственности, и потому взирало на государственную власть — невзирая на ее абстрактность — как на абсолютную точку отсчета. Престол становился не только источником всех ценностей, но и мерилом ценности любого деяния». (Брех, «Помыслы и постижения»).

«Граф Лейнсдорф знал, что полное и истинное свое назначение человек может найти только в стоящей выше него коллективной жизни нации, и поскольку ему не хотелось никому отказать в такой возможности, то он приходил к выводу, что все национальности и племена должны быть подчинены какому-то государству. Кроме того, он верил в Божественный порядок, хоть таковой и не всегда уловим человеческому глазу, и в приступах „революционного модернизма“, которые его время от времени охватывали, он даже полагал, что столь окрепшая в новейшее время идея государства есть, возможно, не что иное, как данная Богом идея величия, разумеется, в обновленной и лишь начинающей проявляться форме». (Музиль, «Человек без свойств»).

«[Цигаль] добрался до центра города через те великолепные и просторные кварталы, которые доказывали ему естественную оче-

видность некоего высшего понятия громадные гнезда или, лучше, храмы двуглавого орла, под защитой которого его жизнь шла своим чередом, как Земля под сводом небес, но прямой связи с этими окаменелыми ветрами помпезных архитекторов господин советник не ощущал. Они были необходимы — они-то и были государством. Но на самом деле он гораздо больше любил начищенные медные кольца на скромной лестнице своего дома; они тоже были необходимы — они были чем-то другим: жизнью. Но такое могло встретиться только на окраине города. Здесь же, наоборот, все принадлежало государству: не только здание Имперского Совета или парламента [...], не только Хофбург [...], но и частные дома, швейцары и кареты перед ними и хорошо одетые прогуливающиеся люди [...] — все это, так сказать, не снимало с себя фрака и цилиндра и выглядело как нечто, организованное и опекаемое государством, которое, разумеется, этим способом угрожающе покидало свой голубеющий эфир чистых понятий...» (Додерер, «Освещенные окна, или очеловечение г-на советника Юлиуса Цигалья»).

В тяге к закону безличная легальность берет на себя функции легитимности, и это превращает ее в гротеск: государство указующее и опекающее берет на себя непосильную задачу, что сразу выявляет пределы его власти над обществом. Из-под обезличенных законов то и дело выплескивается неведомая стихия, одновременно созидательная и властно увлекающая. За надрывающимся под непосильными задачами законом мы ясно обнаруживаем то, «что не есть закон», то, что возможно одеть в мундир, нейтрализовать, сковать — но даже из-под самого наглухо застегнутого мундира торчит домашний халат, и на самой вдоль и поперек вымерянной территории всегда скрыто нечто, ускользающее от всяких мерок.

Анализируя Первую мировую войну, Фрейд показал, какой бурной оказалась стихия, скрытая под скорлупой государственности: выяснилось, что «число людей, принимающих цивилизацию как лицемерие, куда больше числа людей действительно цивилизованных; поэтому мы можем задать вопрос: не доказывает ли незначительность числа людей, у которых тяга к цивилизованной жизни стала органическим свойством, что определенная мера лицемерия всегда необходима?» («Психоанализ и общество»).

Первая мировая война ужаснула именно потому, что показала хрупкость разума, мундиров, единой системы мер, канцелярий и безличного закона, который возносится над нами в

«голубеющем эфире чистых понятий» и обитает в монументальных зданиях в центре столицы («эти гнезда двуглавого орла»). Иржи Восковец* видит, что смех его поколения порожден контрастом между «истуканским великолепием царей, императоров, эрцгерцогов и оцилиндренных государственных мужей, с одной стороны, а с другой — оскаленными черепами пепельных лиц в выцветших мундирах [...] или потрепанными горожанами, которые волокут с вокзала Франца-Иосифа I мешки с провизией, закупленной на антихристовы деньги у бравого чешского крестьянина-католика». Мир внезапно выпал из аксессуаров своей историчности, т. е. из той монументальности, которая преобразует черепа, голод и грязь в историческую победу, в нечто разумное и возвышенное.

В известном смысле, этот контраст является еще и распадом всей легально-рациональной концепции установленного порядка и истории, основанной на императиве растущей обезличенности разума, в которой государство обретает свою подлинную стихию и нравственные нормы. Монументальная архитектура, в которую одевается эта обезличенность, мундиры и прочие аксессуары историчности в Первую мировую войну обернулись погребальной чернотой. Это рухнула спесь безличного разума, который стремится достичь совершенства такого уровня, чтобы через это совершенство перестать зависеть от всего, что является личностным, «что не есть закон», что относится к ночной стороне жизни, полосатым перинам и горшкам с геранью на подоконниках доходных домов в городских предместьях.

Способность воспринимать то, «что не есть закон», что вырастает под покровом юридических дефиниций и в рамках системы мер и весов, — типична для Центральной Европы. Она представляет собой объединяющий элемент как философии и науки, так и литературы Центральной Европы. Это способность осознать, насколько абсурдны усилия подвести жизнь под общий знаменатель с государственными соображениями, в безличной чистоте которых жизнь плыла бы, очи-

* Иржи Восковец (1905 — 1981) — чешский актер, драматург, режиссер, поэт и переводчик. Вместе с Яном Верихом создал в 1926 г. авангардистский Освобожденный театр. В 1939 — 1946 гг. Восковец и Верих жили и играли в США, в 1946 г. вернулись в Прагу, откуда в 1948 г. Восковец эмигрировал. — *Пер.*

стившись от нижнего белья и частных предрассудков, в заранее указанном направлении. Отсюда вырастает центральноевропейский гротеск, Кафка, Гашек, Кундера. Важно, что тяга к мундиру и государству постепенно стала ведущей тенденцией сегодняшней истории, что и придало универсальность культуре Центральной Европы, которая осознала абсурдность этой ситуации раньше любой другой национальной культуры.

Культура Центральной Европы предчувствовала также потенциальное варварство, антигуманность этого безличного государственного разума, обесчеловечивающую силу аксессуаров историчности, которые скрывают подлинное содержание индивидуальных действий и личную ответственность за них и преподносят жестокость и убийства в качестве «исторической необходимости». Массовые злодеяния, которые потрясли всех живущих в нашем столетии, — результат геометрической мании в лунном пейзаже государства, а не какая-то вспышка примитивных инстинктов в цивилизованном человеке; всё это и есть цивилизация. Музиль считает идею упорядоченности подспудно связанной со смертью: идеальный порядок — это окоченение, лунный пейзаж, мания геометрии.

Эту основную перспективу мы обнаруживаем во всех важнейших произведениях центральноевропейской культуры; мы распознаем ее в дихотомии «Lebenswelt/объективизм» у Гуссерля, в «невыразимом, но явленном» у Витгенштейна, в образе «масс, которые неотвратимо всасывают в себя все личное» у Канетти, в id Фрейда, в изображении Кафкой закона, который чужд любым проявлениям жизни, в стремлении Швейка служить государству не щадя живота и бескорыстно, которое оказывается самой разрушительной силой, в решительном неприятии плановой экономики (научная контрреволюция Хайека и Мизеса) как основанной на отрицании истинного характера человеческого познания. Как гротескную и парадоксальную воспринимает культура Центральной Европы цивилизацию, динамика которой состоит в стремлении полностью перевести жизнь-энергию на почву закона-структуры. Тело, женщина, детство, славянские языки Империи, ее таинственные окраины, ее многонациональность — всё это территории, где господствует неукротимая многогранность жизни. Она подрывает устои государства и ставит под угрозу жизнь-карьеру под охранительной сенью двуглавого орла, но в то же время она освобождает в каждом из нас нечто элемен-

тарно положительное, притягательное, материнское, неизмеримое и радующее. Чтобы противостоять этой радующей многогранности, нас одевают в мундир, в закон. Но эта жизнь, облаченная в мундир и скованная единой системой мер, скрытая под аксессуарами историчности и онемевшая перед окаменелыми ветрами архитекторов, вдохновляющихся монументальностью государства, как говорит Додерер в приведенной выше цитате, — она неустанно возвращается как «опасно притягательная», как «одержимость», как «ночная сторона жизни частного государственного служащего». Человек зачарован и охвачен тайной укорененностью каждого своего осмысленного слова и поступка в чем-то, что не есть ни разум, ни закон. Внезапно под наглухо застегнутыми мундирами чиновников (самых тщательных в мире — говорит Музиль) пробуждается сознание того, что именно этот неизмеримый материнский порыв, эта захватывающая стихия отвечает чему-то в них и потому-то влечет их за собой, и они опускаются — от мундира к наготе, от структуры к энергии. Это движение вспять губит их. Так умирает инспектор Палаты мер и весов Эйбеншютц в классическом романе Рота «Фальшивая мерка»: в подозрительном кабаке на окраине Империи, ошеломленный тем, что он понял о себе, соприкоснувшись с иррациональной, цыганской, неразумной частью своей личности.

Вся культура Центральной Европы описывает эту основную динамику: путь вспять от мундира к жизни, неотвратимый распад порядка внутри и вокруг чиновников, носителей мундиров, из которых они внезапно выпадают в неструктурированную, но почему-то притягательную для них энергию. Описывается выпадение из аксессуаров историчности, из мундиров, закона, государства, монументальной архитектуры — в любовь к цыганкам, в жизненный лепет, доступный человеческому пониманию, в дома на окраине, где всё — «просто жизнь». Это основная тема центральноевропейской философии и литературы, и отсюда вырастает их универсальность. В Центральной Европе мы раньше, чем весь западный мир, пережили гротеск легальности, которая хочет впитать в себя легитимность и стать средоточием каждого индивидуального человеческого существования.

Отстранение от элементарной положительности жизни и ее естественного мира (*Lebenswelt*) превращает всю систему рационалистического объяснения и обоснования современ-

ного общества в нечто гротескное. Культура Центральной Европы предчувствует всеобщий распад, к которому ведет тяга к мундиру, к безукоризненному языку, к научности. Этим она, разумеется, предугадывает кризис всех западных устремлений к универсально оправданному и узаконенному существованию, которое одновременно являлось бы предназначением западной цивилизации. Гуссерль обнаружил корни этого кризиса в забвении «жизненного мира», в подмене конкретной априорности живущего субъекта формальной априорностью мер и весов. Рациональность, обращающаяся к внеличному как к своей нормативной основе, по необходимости ведет к ликвидации общепринятых ценностей и личного знания, т. е. к далеко идущему разложению западной цивилизации и разума. Она превращает всякое человеческое сообщество в массу, культуру — в идеологию, распространяя геометрическую заразу и тягу к тоталитарному государству.

Никто не может быть так лишен личности, как животное, — говорит Музиль.

2. МУНДИР, НАУКА, НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ — ТРИ ТЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Основная сюжетная ось центральноевропейской литературы и философии, которую мы определили как «выпадение из аксессуаров разума и истории», как «возврат вспять от структуры к энергии», держится на трех ключевых темах: (1) бесплодная тяга к мундиру, т. е. к его способности преодолеть и скрыть иррациональную сторону жизни (Брох, Рот, Гашек); (2) наука как нечто чуждое жизни; непреодолимое присутствие иррационального в языке и поступках человека (Гуссерль, Витгенштейн, Брох, Музиль); (3) внутренне присущая центральноевропейской литературе и философии незавершенность, незаконченность, т. е. невозможность привести их к некоей развязке (Кафка, Гашек, Музиль, Гуссерль, Витгенштейн, Свево).

(1) Мундир функционирует в литературе Центральной Европы как символ того, во что неизбежно выливается вся западноевропейская метафизика, смысл которой в том, чтобы вырвать человека из переменчивого мира чувств и жизненной воли и построить осмысленное человеческое существование

на познании «истины», на идее. Всё действительное (res) носит мундир: фактическим Богом метафизики является мундир. Только в нем человеческая жизнь становится достойной этого названия. Только с его помощью можно бежать от зыбкости и расплывчатости жизни в систему неизменных значений и сущностей. Только мундир защищает нас от притягательности того, «что не есть закон», что является лишь обманчивым отблеском «идеи»; в мундире воплощается то, к чему устремлен европейский объективизм. Одна из центральных метафор языка Гуссерля строится на той же основе:

«Идейные одежды, какими являются математика и использующие математический аппарат естественные науки, или же, вместо них, одежды символов, одежды символически-математических теорий охватывают всё, что для ученых и всех образованных людей заменяет и заслоняет — в качестве объективно реальной и подлинной природы — донаучный, естественный жизненный мир. Идейные одежды приводят к тому, что мы считаем подлинным бытием то, что является лишь методом (...) идейное переодевание способствует тому, что внутренний смысл метода (...) становится непознаваемым» (Гуссерль, «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология»).

Мундир — это демаркационная линия «действительности», строгого мира разума, отделяющая нас от хаоса.

«Ансельм Эйбеншютц, наш инспектор, был (...) старый вояка... И никогда бы он от армии не отказался, если бы жена не заставила. (...) Уж как ему было неприятно расставаться с мундиром! Цивильное платье ему не нравилось, он чувствовал себя как горлица, изгнанная из гнезда, слепленного ее собственной слюною... Он снял мундир, горячо любимый мундир и покинул казарму, горячо любимую казарму. (...) В казармах ему надо было остаться! В армии был распорядок. Туда не приходили доносы и анонимки. Ответственность за то, что делал каждый солдат, обитала высоко над ними, в сферах, им неведомых. Как легка и свободна была жизнь в казармах! Теперь он чувствовал себя одиноким, безродным, чужестранцем в этом диковинном наряде после двенадцати лет, прожитых в мундире стрелкового полка». (Рот, «Фальшивая мерка»).

Инспектор — человек добросовестный, но на окраинах Империи служители закона вынуждены были нести крест одиночества: там «представитель мер и весов, права и государства считался за врага». Легко быть на стороне мер и весов, когда ты облачен в мундир, отгорожен от людского суда, от людских взглядов. Когда ты в штатском — жизнь подступает слишком

близко. Инспекция мер и весов начинает казаться нашему герою абсурдной. Вся его жизнь-карьера мало-помалу распадается и в конце концов приводит его к гибели в корчме контрабандистов, близ русской границы. Он нашел там единственную страсть своей жизни — цыганку, благодаря которой понял, «кто он есть, и это познание его ошеломило». Перед смертью ему кажется, что он уже не инспектор Палаты мер и весов, а лавочник, и что у него все весы и мерки фальшивые. И тут является верховный инспектор, склоняется, рассматривает их и с удивлением говорит: все ваши гири и мерки фальшивы, а все-таки правильны. Если забыть о мундире, то оказывается, что порядок доступен цыганкам, снам, не поддающемуся меркам, и имеющему смысл, хоть и ненаучному языку.

Брох описывает метафизическую тревогу, которая охватывает молодого офицера фон Пазенова, когда тот обнаруживает приметы ночного происхождения жизни:

«...настоящий мундир позволяет отделить нашу личность от окружающего мира: он словно некий футляр, о стенки которого и мир, и личность непрерывно натываются, но зато остаются отделенными друг от друга. Подлинное назначение мундира — продемонстрировать порядок и привнести его в мир, отстранить неопределенное и ускользающее течение жизни и в то же время прикрыть все уязвимые и нечетко очерченные места на человеческом теле, коже, белье... Когда человек утром застегивает мундир на последнюю пуговичку, то он на самом деле обретает вторую кожу, более прочную (...) у него из памяти стирается и нижнее белье, и зыбкость окружающей жизни, да и сама жизнь отходит на второй план...» (Брох, «Лунатик»).

Фон Пазенов часто с ужасом представляет себе, что мог бы «выпасть из мундира» в сырую, ненадежную субстанцию жизни. Он испытывает отвращение ко всякому унижительному для мундира контакту с телом или даже бельем, и презирает женатых офицеров. Именно это выпадение из мундира — сюжетная ось литературы и философии в Центральной Европе.

Весь «Швейк» — описание идиотизма, до которого доводит мундир, дающий его носителям ощущение, что они «суть существа необходимые», в то время как все остальные — «существа случайные». А военная машина продолжает крутиться лишь за счет того, что для мундира всякий человек заменяем: он становится одним из ее винтиков, изнашивается и заменяется другим.

«А солдат голыми хоронят, — произнес другой солдат. — А в этот мундир оденут другого, живого, и так оно и идет.

— Пока не победим, — заметил Швейк».

Сюда относится и несерьезное переодевание в русский мундир, оставленный на берегу пруда военнопленным. Мундир велит нам «обходиться без сентиментов, набить брюхо и ни о чем не заботиться».

Кундера анализирует «словесные мундиры», т. е. оборонительные сооружения для защиты от сомнительной действительности. Идеология — в первую очередь свод этих словесных мундиров, потребность в маске, изображающей повзросление. Лиризм — такой пример искусственного мира, из которого исключен любой элемент сопротивления, «инакости», — отсюда родственность между поэзией и полицией. Лиризм — мундир в том смысле, что он защищает нас от переменчивой материи мира.

«Человек, изгнанный из безопасной ограды детства, стремится вступить в мир, но поскольку он его в то же время боится, то создает из своих стихов искусственный мир, мир-заменитель. Он позволяет своим стихотворениям кружить вокруг себя, словно планетам вокруг Солнца; он становится центром малой вселенной, в которой нет ничего чуждого, в которой он чувствует себя дома, как дитя в материнской утробе, ибо все здесь сотворено из единственной материи его души. И здесь может осуществляться все, что с таким трудом удается снаружи; здесь он может студентом Иржи Волькером рваться с толпами пролетариев в революцию и девственником Рембо хлестать своих маленьких любовниц, — но и толпы, и любовницы сотканы не из враждебной материи чуждого мира, а из материи его собственных грез и, следовательно, являются им самим и не нарушают единства вселенной, которую он для себя выстроил». (Кундера, «Жизнь — там, где нас нет»).

В анализе Гуссерля и геометрия является грезой, идеализацией, переодеванием действительного мира в мундир.

Политические, патриотические и судебные речи — один из тех фрагментов «совершенно иного стилистического и тематического уровня» (Томан), которые вкраплены в «Швейка» как источник бессмыслицы. Припомним хотя бы речь молодого военного врача, который призывает симулянтов «окропить своею кровью бескрайние поля доблести и славы Империи, победоносно исполнить долг, который им предначертала История, и отважно ринуться в бой, не щадя живота

своего» — что штабной врач комментирует словами: «Да их никакими словами не проймешь — хоть ангелов поминай, хоть чёрта. Все это одна банда». Незабываемая проповедь фельдкурата Ибла, пример отваги ездового Бонга, речь пьяного подпоручика Дуба — всё это примеры «словесных мундиров», внутренняя бессмысленность которых обнаруживается прежде всего благодаря упорному стремлению Швейка принимать их всерьез.

Политические речи у Гашека, хотя бы речь кандидата «Партии умеренного прогресса в рамках закона», — уникальный образец того же языка:

«Избиратели! Раз уж я должен обратиться к вам со своей первой предвыборной речью, то взор мой невольно улетает в прошлое, когда Христофор Колумб собирался отправиться из Испании за океан, чтобы открыть Америку; вот он, стоя на палубе своих трех кораблей, в последнюю минуту перед отплытием провозглашает: „Пустыми фразами и пустыми словесами Америку не откроешь...“» (Гашек, «История Партии умеренного прогресса в рамках закона»).

Динамику этого анализа «словесного мундира» понял поручик Лукаш, когда, послушав Швейка, подумал: «Боже мой, ведь и я нередко несу точно такие же глупости, и разница лишь в форме, в которой я их преподношу».

Подведем итоги: мундир выступает в культуре Центральной Европы как символ поисков необходимости своего бытия среди необязательных вещей и существ, символ созидания порядка, который был бы неподвластен изменчивой действительности, потоку жизни; мундир — символическая вершина европейского понятия истины как безличности, как отвлеченности от жизни.

(2) Вторая ключевая тема литературы и философии Центральной Европы — абсурдность попыток выразить субъективный смысл жизни, пользуясь неким научным, однозначно определенным языком. Венский неопозитивизм (прежде всего в своем американском оптимистическом варианте) — пример этой тщетной попытки свести проблемы индивидуального человеческого существования к проблемам правильной методики: как только мы откажемся от того невыразимого, что является нам в языке, как только сочтем, что это всего лишь языковая «ошибка» или иллюзия — тут же откроется эпоха всемирного единства и мира, золотой век человечества. Эта философская программа созвучна усилиям государства свести

сущность к функции (человек есть то, на что он пригоден, он есть выполняемая им роль) и легитимность к легальности (легитимно то, что компетентные органы в установленном порядке признают законным). Бесплодность этой иллюзии описывали Гуссерль, Витгенштейн, Фрейд, Краус, Кафка, Канетти, Брех. Это действительно объединяющая тематика всей центральнойвропейской культуры. Слова Кафки: «Хотя логика и неопровержима, она не одолеет человека, который хочет жить», — указывают источник этой абсурдности. Разум — инструмент жизни, и бессмысленна попытка перевернуть это соотношение. Попытка свести легитимность к чистой легальности приводит к тому, что из человеческой деятельности исключаются все «нечистые», т. е. специфически человеческие элементы — такие, как любовь, ненависть, нравственные ценности, личные убеждения, субъективная точка зрения и т. п. В результате разум превращается в полицейское понимание мира. Витгенштейн, вдохновитель — хоть и против своей воли — Венского кружка, никогда не разделял иллюзию о том, что неизмеримое может быть измерено, а невычислимое — исчислено с помощью перенесения научных норм в философию и вообще культуру. Он никогда не считал, что наука дает нам ключ к смыслу явлений. Витгенштейн формулирует правила, которым должен удовлетворять каждый осмысленный язык (описание эмпирического опыта либо тавтологичность), но в то же время осознает их принципиальную бесполезность в решении «жизненных проблем».

«Мы чувствуем, что если бы даже на все возможные вопросы науки в один прекрасный день был получен ответ, то и тогда наши жизненные проблемы ни в малейшей степени не были бы этим затронуты. Действительно, не осталось бы ни одного вопроса — в том-то и состоит ответ. Решение проблемы жизни — в снятии этой проблемы. (Не потому ли верно, что люди, которым после долгих сомнений стал ясен смысл жизни, не умели сказать, в чем он заключается?) Существует воистину невыразимое. Оказывается, что это есть нечто мистическое». (Витгенштейн, «Логико-философский трактат»).

Карл Краус незадолго до Витгенштейна сказал, что «наука не наполняет бездну мышления, а просто стоит перед ней как предупредительный знак, и те, кто им пренебрегает, делают это на свой страх и риск» («Утверждения и возражения»). В «Дневнике» Кафки мы находим вполне витгенштейновскую мысль: «Ответить можно только на те вопросы, на

которые мы знаем ответ прежде, чем спросить». Аналогичным образом Фрейд констатировал (и из этого он извлекал все остальные выводы), что «логические аргументы абсолютно бессильны перед чувственными потребностями».

Понимать науку как ключ к смыслу жизни означает верить во всемогущество ее методов. Они распространяют нашу власть на всё более обширные участки окружающего мира: вещи можно измерить и изготовить, геометрические фигуры — воспроизвести со всей точностью, истины — вновь и вновь установить. В этом смысле всё большая часть нашей жизни зависит от нашего произвола: всё, что нас окружает, может управляться и направляться с помощью научных методов, а наши ощущения и мнения с их же помощью можно опровергнуть либо подтвердить. Правда, возникает вопрос: а если эта власть над собой и миром неким фундаментальным образом обусловлена отнюдь не нашим произволом, а самой нашей природой, т. е. историей и внутренней неизбежностью, или, иначе говоря, неким «естественным порядком нашего существования», который предшествует всякому методу? Подход неопозитивистского оптимизма, согласно которому методология может указать, что в речи имеет смысл, и изъять из нее все высказывания, которые не удовлетворяют научным критериям осмысленности, — абсурден, поскольку реальная речь не «установлена заранее», но коренится в естественном мире, естественная осмысленность которого предшествует всякому методологическому построению. Метод «лиричен» в том смысле, который придает этому слову Кундера. Методически организованный процесс доказательства не является речью именно потому, что смысл его заранее предустановлен. Важно воспринять внеметодологический опыт истины — только через это в нашу жизнь привносится «смысл».

Насилие новейшего времени связано с этой методичностью: интеллигентская элита хочет стать просвещенным авангардом человечества и научными методами создать «нового человека», достичь «окончательного решения социальных проблем».

Искусство, философия, подлинное мышление ставят вопрос: как всё то, что эффективно работающие методы сделали зависимым лишь от нашего произвола, соотносится с тем, что является естественным миром, порядком нашего единичного существования: с тем, что «делается вокруг и внутри

нас», что является происшествием, событием, которое мы не можем по своему произволу «повернуть вспять» и прокрутить вновь, как пластинку. Существует естественный порядок бытия, который придает смысл всему, что мы говорим и делаем, и эмпирическое знание об этом смысле, разумеется, внеметодологично.

Гуссерль и Паточка поставили этот вопрос в центр современной философии; и при рассмотрении естественных законов, несомненно, также возвращается эта тема смысла, предшествующего всякому методу и, следовательно, общеобязательного.

Так обнаруживается, что осмысленность языка науки обусловлена тем, что здесь мы предварительно отвлекаемся от всего, что является чисто индивидуальным, нашим частным приключением, нашей единичностью. Наоборот, язык искусства и философии стремится дать слово чему-то, «чего тут никогда раньше не было и потом не будет», что является уникальным, отдельным, неповторимым, но — именно в силу этой бытийной конечности и единичности — доступно всем остальным людям (хотя и не всем — одним и тем же способом, а значит, помимо метода).

Наука как источник абсурда — глубоко присущая Центральной Европе тема. Речь идет о том, чтобы сохранить в человеке способность к внеметодологическому восприятию истины, данной лишь в виде отдельных событий. Современная историческая наука — это дисциплина, которая одержима манией государственности и в которой уничтожение людей объясняется методологически. Марксизм является наукой прежде всего в этом смысле, т. е. наукой об «исторической необходимости». Научный подход к истории функционирует здесь как инструмент, посредством которого наша жизнь приобретает смысл с точки зрения методологии. Против этой инструментально понимаемой науки и восстает центральноевропейская культура.

Нет сомнения, что этот дух вездесущ в «Швейке». Швейк — вообще носитель эмпирической истины, противостоящей всякой методологической классификации. Он — носитель внеисторичности. Его «похождения» — полная противоположность исторической необходимости.

Швейк в руках судебных медиков, Швейк — объект психиатрической науки, бесконечные гашековские вариации на

темы зоологии и историографии, частое обращение к лексической и стилистической атмосфере ученого, профессионального языка — всё это часть фундаментальной критики методологии, проводимой писателем. Военная наука кадета Биглера («Was schadet dem Magen im Kriege»), разгадывание шифровок, план победы в летописи вольноопределяющегося Марека, классические языки в рассказах Гашека — всё это часть той «непочтительности к науке» как источнику смысла, характерной для литературы Центральной Европы.

(3) Третья объединяющая черта культуры Центральной Европы — отход от идеи финала, завершения, развязки. Незаконченность всех основных произведений литературы и философии Центральной Европы вытекает из их структуры, а не из случайных обстоятельств жизни их авторов; они имманентно незаконченны.

Эта незавершенность — прямое следствие критики европейской метафизики, т. е. критики всякой окончательно установленной иерархии ценностей и сущностей. Идея финала, завершения всегда предполагает, что существует шкала ценностей, данная в окончательном виде, так что, например, отрицание высшей ценности приводит к трагической развязке. Только наличие такой шкалы позволяет завершить тот или иной сюжет. Развязка может быть трагической или комической, но она всегда разыгрывается на фоне этой иерархии, этой определенности. А как можно завершить сюжет, который развивается вне связи с ценностной иерархией? Или, точнее, когда нарушение этой иерархии — его главная тема?

Вспомним, что Музиль защищал диссертацию о Махе и что само название его романа «Человек без свойств» связано с критикой метафизики. Эта критика в литературе Центральной Европы выливается в коренной разрыв с идеей финала, завершённой формы. Слово никогда не может окончательно проявить свое значение (Брох); эту же тему мы находим и в витгенштейновском определении философии как дисциплины, «которая ничего не может сказать о мире, но объясняет то в языке, что позволяет нам нечто о мире высказать». Философское знание, в конечном счете, отбрасывается, как «лестница, по которой мы взобрались, но которая нам теперь больше не нужна». Роман Музиля никак не может закончиться, потому что он продолжает распадаться на новые сюжеты, столь же равновозможные, как и тот, из которого все они вытекают.

Бравый солдат Швейк не может достичь конца, не в состоянии выиграть ни одной войны, его похождениям и опыту нет конца. Равно невообразимы развязки в романах Кафки. Единственно возможный финал у Кундеры — финал «шутки» — является в виде, где только что состоявшаяся развязка оказывается совершенно случайной и ничего не завершающей. Довести сюжет хоть до какой-то неизбежности — значило бы поместить его в рамки определенной иерархии, вернуть его метафизике. Завершением философии Витгенштейна является молчание: «о чем нельзя сказать, о том следует молчать». Во второй части своего «Трактата» он показывает, что значение слов всегда неокончательно, основано на языковой игре, и что не существует никакой основы вещей, которую указывало бы слово своим окончательным значением.

Кундера видит в поступке, отряхнувшемся от аксессуаров историчности, окончательности, научности, наиболее естественную почву гротеска. Конкретность действия состоит именно в этой отчужденности от истории, откуда только и рождается сюжет.

«Раздался выстрел. Яромил схватился за сердце, и Лермонтов упал на ледяный бетон балкона. Одетый в парадный мундир царского офицера, он поднимается с земли. Он катастрофически одинок. Тут нет литературной историографии со своими бальзамами, которые наделили бы его падение возвышенным смыслом. Нет пистолета, выстрелом которого он заглушил бы свое мальчишеское унижение. Здесь только смех, который доносится через окно и навеки его позорит. Он подходит к балконным перилам и смотрит вниз. Но вот беда: балкон слишком низок, чтобы разбиться наверняка... Он пойман. Он в западне фарса. Лермонтов не боится смерти, но боится быть смешным... неудавшееся самоубийство смешно... Так что же, Лермонтов! Опять бутафория? Пистолет или пинок? Опять кулисы, которые подставляет История человеку-актеру?» (Кундера, «Жизнь — там, где нас нет»).

Так же отчуждена от Истории месть Людвика из «Шутки» или самоубийство бывшей жены Костки, которое превращается в унижительный понос. Подобный прием «выпадения из декораций» разработан в «Вальсе на разлуку» и в «Смешных любовях» (вспомним рассказ «Никто не будет смеяться»).

В «Швейке» эта оторванность человеческих поступков от истории, распад аксессуаров, благодаря которым толпа, «ору-

шая с полными подштанниками под ураганным огнем противника», преобразается в Историю, — основная черта сюжета. Аксессуары историчности и научности выживают лишь в образчиках героизма, выпекаемыми как блины тыловыми бездельниками, в проповедях, в речах офицеров, в планах битв, которые кадет Биглер в конце концов употребит известным образом. Если наши «похождения», оторвавшись от науки, не приходят ни к какой развязке, то это потому, что всякая окончательность предполагает наличие декораций. Речь идет, в некотором смысле, о той же логике, по которой необходимо преобразить «простую и незамысловатую обосранность» Биглера в случай холеры. Вся перспектива в «Швейке» основана на выпадении из декораций историчности, научности, окончательности.

«А один мертвяк так и остался лежать наверху, на бруствере, ногами вниз: при наступлении ему полголовы шрапнелью снесло, как ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью стекало в траншею, аккуратно на его же собственную половинку черепа с мозгами. Так что человек, почитай, никогда не знает, что с ним приключится.

— А иногда, — сказал Швейк, — в бою человека вдруг так затощит, что сил нет. В Праге в Подгорельце, в трактире «Панорама» один из команды выздоравливающих, раненный под Перемышлем, рассказывал, как они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Откуда ни возьмись, полез на него русский солдат, парень-гора, штык наперевес, а из носу у него катилась здоровенная сопля. Бедняга только взглянул на его носище с соплей, и так ему сделалось тошно, что пришлось бежать в полевой лазарет».

Западное понимание истории — метафизика, спроецированная на временную ось; это поиски окончательно определенного порядка событий, вещей, происшествий, фраз, поиски окончательного, завершающего решения, тоска по «grande finale». Развязка сюжета — это не что иное, как рассказанная своими словами метафизика. Сюжет с развязкой обязан развиваться на фоне упорядоченного космоса, где пинок решительно отличается от выстрела и где высшая ценность в заключение покроеется славой перед неизбежно очевидным убожеством ценности низшей. Бог, дьявол, царь, правда, добро, любовь, брак, прогресс, народ, Сталин, революция, бой

под Зборовом, деятели 28 октября*, господа и товарищи, социализм — вот элементы этой метафизики, спроецированной на историческое время. Из этого реквизита наши сюжеты черпают свою окончательную определенность. Для интеллектуальной элиты Центральной Европы все развязки равно приемлемы: развязка относится не к жизни, но лишь к ее внешним аксессуарам, к ее метафизическим оковам. Развязка — всегда полет «двуглавого орла», под сенью которого наши комплексы лишь приобретают законченность и историчность. Вспомним, как Гоголь пристраивал к «Ревизору» развязку, в которой появляется настоящий (т. е. посланный царем) ревизор и всё приводит в порядок, чтобы сам царь мог прийти на премьеру и не почувствовать себя оскорбленным — он, живая развязка всему.

Все важнейшие произведения культуры Центральной Европы внутренне не завершены, и финал в них невозможен. Кафка, Гашек, Брех, Музиль, Витгенштейн, Гуссерль, Краус не могут отлить свои повествования и размышления в какую-то законченную форму, ибо тогда они бы вновь впали в мундир, науку, аксессуары окончательной определенности, о распаде которых они говорят.

Мы указали на специфический культурный контекст «Швейка». Его центральноевропейский дух — основа его универсальности. Кундера замечает, что малые нации Центральной Европы не творят историю, а лишь претерпевают ее — отсюда их тесное знакомство с идеей постепенной гибели. Это выпадение из историчности, эта утрата активной роли в истории — разумеется, наиболее характерная ситуация новейших времен. История все больше напоминает чаплинский автоматкормилку. Существуют ли еще нации, достаточно великие, чтобы остаться субъектами истории? А ведь именно в осознании распада порядка, историчности, окончательности, аксессуаров высшего разума — именно в этом культура Централь-

* Бой под Зборовом (1917) — участие чешских частей вместе с войсками Временного правительства в наступлении против австро-венгерской армии. 28 октября 1918 г. была провозглашена независимость Чехословакии.

ной Европы опередила все культуры так называемых великих наций. И в этом понимании — корни ее универсальности.

Генуя, январь 1980 г.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Ни разу до сих пор — готовя к печати тексты Вацлава Белоградского или, как случилось один раз, сама переводя его статью — я не встретила с такими трудностями, как сейчас. И это были не только сложности чисто переводческого характера — в ходе перевода и постепенного прояснения в русском тексте мыслей Белоградского во мне нарастали некоторые сомнения в ясности самой концепции, а не только моего перевода.

Первое, что смутило меня, — сведение всей культуры Центральной Европы только к немецким (т. е. австрийским) и чешским авторам. Австро-Венгрию — а именно о ее бывшей территории идет речь — населяли десятка три народов и народностей, и общие свойства культуры Центральной Европы, установленные Белоградским путем наблюдения над двумя культурами, должны бы проявляться и во всех остальных, иначе цельное понятие «культура Центральной Европы» превратится в «лоскутное» либо прямо не существующее. Между тем, хотя бы то, что мне известно о польской литературе, создававшейся в Малопольше и Галиции в начале века, трудно подтянуть под предлагаемые Белоградским признаки.

Далее. В отличие от публицистики Кундеры (которого Белоградский широко включает в свою концепцию, но только как прозаика), «Центральная Европа» Белоградского противостоит не столько «Востоку» извне, сколько «Западу» в себе самой. Специфика ее культуры — противостояние тому, что Белоградский называет ее «цивилизацией», по существу общеевропейской. Воплощение этого противостояния — бытийный быт вместо имперского бытия, малые истории вместо большой Истории. Но не присуще ли это культуре вообще? Не противостоят ли по тем же параметрам Гофман, Пруст, Толстой — якобинству и гегельянству? Не обнаружим ли мы в «Войне и мире» ту же линию, которую Белоградский выделяет в «Швейке»? Правда, без прибауток — но прибауток нет и у

Музиля. Толстовский Наполеон так же облачен в мундир и так же, хотя иными средствами, разоблачен, как кадет Биглер, а австрийские генералы под Аустерлицем — родные дедушки гашековских. И не по-швейковски ли пренебрегает Историей Кутузов и вырывается прочь из Истории Пьер Безухов? Как «Швейк», «Война и мир» не может считаться завершенной (пресловутые три прижизненные варианта романа плюс едва начатые «Декабристы»). Толстой хотел привести Пьера к декабристам, вернуть его в Историю от детских пеленок, да не смог — Гашек, боюсь, и смог бы привести Швейка в Бугульму, да не успел...

Нет сомнения, что специфика Центральной Европы существовала и существует (недаром в Кракове и ныне говорят, что «Варшава — это уже Азия»). Но в том ли она, что именно здесь тоталитарная потенция была так сильна, что позволила предугадать за абсурдностью безличностного Закона жестокий абсурд безликого тоталитаризма? Странно, что именно у Белоградского, который столь отчетливо провел различие между «бюрократией рационально-правовой» и «бюрократией харизматической», т. е. тоталитарной (см. «Континент» № 16), появляется внезапное сближение австро-венгерской и тоталитарной системы правления. Можно ли быть уверенными, что Кафка с его уникальным прозрением не написал бы «Процесс» и «Замок», живи он в одном из швейцарских кантонов или при одном из германских княжеских дворов?

Что касается Австро-Венгрии, с ее столь страшным — и столь невинным, по нашим-то временам, — затягиванием личности в «мундир», то именно у некоторых чешских публицистов в последнее время замечается откровенная и понятная по ней ностальгия. (Кое-кто из них прямо считает распад Австро-Венгрии — а следовательно, и образование независимой Чехословакии — началом всех бед, увенчавшихся приходом коммунистического тоталитаризма. Это почти такая же крайность, как кундеровская концепция коммунизма — хорошего в 1948 году, когда-де его приняло большинство населения страны, и плохого с августа 68-го, когда «русские танки» привезли византийско-азиатскую культуру.) Напрашивается мысль: а не была ли и расправа Белоградского с австро-венгерским двуглавым орлом лишь вытеснением ностальгии?..

И еще одно сомнение. Белоградский так, а не иначе очерчивает границы «культуры» и «цивилизации», но если предпо-

ложить, что границы этих понятий иные, то изменится и все соотношение между культурой и цивилизацией, и они, возможно, будут не только противостоять друг другу, но еще и соприкасаться и даже пересекаться. И тогда можно спросить: верно ли, что символ цивилизации Центральной Европы — это присущий, на самом деле, всем земным цивилизациям «мундир»? Быть может, этим символом следовало бы, скорее, считать те кафе с мраморными столиками и нанизанными на палки газетами, которые существовали (а частично и сохранились) на всем пространстве от Львова до Триеста, и только на нем?..

Наконец, последнее недоумение переводчика. Дабы показать чешскую литературу в рамках культуры Центральной Европы, автор прочерчивает прямую линию от Гашека до Кундеры. Меня смущает здесь даже не отсутствие Грабала (кстати, прямо считающего своими учителями Кафку и Гашека), Гавела, Шкворецкого — которых и сам Белоградский в других своих текстах приводит как важнейшие имена сегодняшней чешской литературы. Но для удобства концепции опущенным оказался и весь период между двумя мировыми войнами, и остается неясным, сохранялась ли в это время непрерывность культурных традиций Центральной Европы, в том числе в чешской литературе, или же о «Центральной Европе» вспомнили тогда лишь, когда надо было искать объяснений обрушившейся на большинство входящих в нее стран тоталитарной беде?

Н. Горбаневская

Запад — Восток

Осмо Ю с с и л а

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ТЕРИОКАХ 1939 — 1940

Главы из книги

Перевод с финского под ред. Ю. Г. Фельштинского

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ФИНСКОМУ ИЗДАНИЮ

К читателю

Идея этой книги родилась в Оулу, в городе, где я учился. Общество любителей истории Оулу по традиции приглашает с докладами историков других университетских городов. В феврале 1980 г. дошла очередь и до меня. О начале Зимней войны¹ как раз писали в газетах; и так как выбор темы доклада зависел от меня, я решил рассмотреть вопрос о целях СССР в этой войне. Понятно, что центральное место в докладе отведено было Териокскому правительству².

На базе доклада в Оулу родилась книга, которая рассматривает цели СССР в отношении Финляндии более широко, не только с точки зрения Териокского правительства. В ней сделана попытка найти ответ на вопрос, так тревоживший финского президента Паасикиви: каковы интересы СССР в Финляндии?

В Оулу, судя по дошедшим до меня слухам, некоторые, узнав о теме доклада, удивлялись: что нового можно сказать

Osmo Jussila. Terijoen Hallitus. 1939-40. Porvoo-Helsinki-Juva, 1985. Главы из книги публикуются с любезного разрешения автора и издательства Werneri Söderström Osakeyhtiö. Примечания, обозначенные как «прим. авт.», сделаны Осмо Юссилой специально для русского издания. Примечания, обозначенные как «прим. ред.», сделаны редактором. — Ю. Ф.

об этом? Кто вообще может об этом знать, ведь нет даже документов? Тем не менее, вопрос о целях СССР в отношении Финляндии интересовал не только Паасикиви, но и многих других. В конце концов, это один из основных вопросов, стоящих перед нашим народом. Задача историка — попытаться ответить на него, несмотря на плохое состояние источников.

За оказанную мне в работе над этой книгой помощь мне хотелось бы поблагодарить ассистента Тимо Вихавайнена, с его глубоким знанием советской печати, которое я использовал для своего исследования. Я благодарен также подполковнику Антти Юутилайнену за предоставленную мне возможность использовать его записи и другие материалы о финской Народной армии. Директору-распорядителю Максусу Якобсону я благодарен за прочтение рукописи и сравнение моих выводов с его собственными, сделанными ранее, оценками. Ценный для меня вывод М. Якобсона о том, что правительство Куусинена было не «сшитым по заказу», а «готовым» костюмом, я включил в заключительную главу моей книги.

Вихерлааксо, 1 декабря 1984 года

ВВЕДЕНИЕ

Призрак Отто Вилле³

После того, как советские войска в декабре 1979 г. вошли в Афганистан, на стенах домов в Хельсинки появились надписи: «Венгрия — 1956, Чехословакия — 1968, Афганистан — 1979, Финляндия — ?». Насколько известно, нигде не было написано: «Финляндия — 1939». Начало декабря 1939 г., по-видимому, не отложилось ни в памяти, ни в знаниях современной финской молодежи.

Иное дело с людьми среднего и старшего возраста. Хотя в Финляндии Паасикиви-Кекконена о Зимней войне громко не говорят, в последние годы заметен рост интереса к событиям тех лет и постепенное воскрешение их в памяти народа. Телевидение дважды показало приобретший большую популярность и многочисленных зрителей многосерийный фильм «Люди войны и мира» — о дипломатии довоенного и военного периода. В год советского вторжения в Афганистан значи-

тельно более широко, чем раньше, отметили финны 40-ю годовщину Зимней войны. Очнулись и исследователи, и издатели. Военные написали и издали многотомную «Историю зимней войны». Переиздана была уже снискавшая признание книга Макса Якобсона «О Зимней войне дипломатов»⁴ и воспоминания Й. К. Паасикиви⁵. В свет, кроме того, вышли ряд других воспоминаний и сборников статей.

Однако один важный вопрос, связанный с Зимней войной и удостоенный в свое время большого внимания, по-прежнему предан забвению. Я имею в виду так называемое правительство в Териоках, или правительство Куусинена. «Когда правительство по-тихому похоронили, на его могилу не возложила цветов ни одна, ни другая сторона», — заметил в «Истории нации» Вейкко Хуттунен⁶.

То, что о Териокском правительстве забыли в СССР, объяснить просто: там не привыкли помнить поражений; а правительство Куусинена, как и вся война, было явным поражением. Куда сложнее понять, почему о Териокском правительстве крайне неохотно вспоминают в самой Финляндии. Возможно, это происходит потому, что правительство Куусинена не слишком хорошо вписывается в рамки официальной финской внешней политики, в основу которой положена концепция о чисто стратегической и оборонительной природе советских интересов в Финляндии. Кроме того, Териокское правительство не укладывается и в цепочку давнишней советско-финской «дружбы», начальным звеном которой является ленинское признание независимости Финляндии, а конечными — Договор 1948 г. о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи и некоторые другие.

Один из создателей этой «цепочки» — Й. К. Паасикиви — заметил и зафиксировал эти отклонения от общепризнанной схемы. В воспоминаниях «Моя деятельность в Москве и Финляндии в 1939-41 гг.» Паасикиви назвал правительство Куусинена серьезным доказательством того, что целью СССР в Зимней войне было уничтожение независимости Финляндии «в той форме, в какой мы, народы Скандинавии, понимаем независимость».

В своих воспоминаниях, написанных во время Второй мировой войны, Паасикиви мечется в поисках ответа на мучавший его вопрос: о чем думали Сталин и другие кремлевские руководители? какие цели выдвигала Москва в отношении

Финляндии? стремился ли СССР к аннексии или же ставил перед собой только стратегические, ограниченные задачи? Временами, особенно во время переговоров осенью 1939 г., Паасикиви казалось, что верно последнее. Но уже во время Зимней войны — после формирования правительства Куусинена, а особенно в тяжелые дни конца 1940 года, все чаще и чаще вкрадывались сомнения об «ограниченных задачах»; и Паасикиви приходил к выводу, что СССР стремится к присоединению к своим территориям всех тех областей, которые потеряла Россия в результате Первой мировой войны и революции, а возможно — еще и других районов. Забыть о недавней судьбе прибалтийских государств было трудно; и Паасикиви понимал, что в Москве Финляндию не должны в этом смысле отличать от Прибалтики.

В русской истории Паасикиви находил подтверждения и «ограниченной» и «аннексионистской» теориям. Он проследживает историю России от Петра и Александра I к обновленной по Московскому мирному договору 1948 г. старой петровской границе, что говорит, по его мнению, об ограниченных стратегических задачах. Основным же аргументом в пользу аннексионистской теории является то, что государство, которое не распалось, нелегко забывает былое; а захват территорий, как показывает история, есть неотъемлемая функция сверхдержав.

После подписанного в Москве в 1944 г. соглашения о перемирии Паасикиви и весь финский народ были вынуждены поверить в ограниченную теорию, забыв об аргументах, говорящих в пользу теории аннексии, хотя события 1944-48 гг. давали основания опасаться именно этого варианта. Как указал Макс Якобсон, речь шла скорее о естественном инстинкте самосохранения народа, а не об основанной на исторических фактах политической оценке: о неотъемлемой функции сверхдержавы не хотелось думать — спокойнее было объяснить не укладывающееся в «правильный вариант» Териокское правительство как странное и незначительное отклонение от правильной теории, как ошибку Сталина, которая не повторится, или, во всяком случае, как поворотный пункт советской политики от политики огня и меча к мирному сосуществованию.

Но призрак Отто Вилле не исчез. Он встает снова и снова, чтобы прервать наш легкомысленный сон, навеянный успокоениями Паасикиви-Кекконена. В 40-ю годовщину Зимней

войны этот призрак возник опять. Териокское правительство все еще остается заметной травмой, незаживаемым шрамом советско-финских отношений. Советский Союз пытается залечить этот шрам умалчиванием. Но на финнов это лекарство не действует.

Некоторое представление о том, насколько глубока и болезненна рана, дала показанная в начале 1984 г. телевизионная программа об О. В. Куусинене, в ходе которой зрители могли обращаться с вопросами. Большая часть зрителей осудила Куусинена как изменника родины и врага финского народа, а заодно осудила и телевидение, делающее программы о подобных изменниках. Такую же реакцию финнов вызвал проект установить памятник Куусинену на его родине, в поселке Лаукаа. Куусинен с его правительством по существу стал козлом отпущения, на котором можно разрядить эмоциональный накал финнов тогда, когда не хочется или невозможно указать в сторону СССР.

Можно спросить, зачем беречь раны. Прежде всего потому, что шрам прошлого все равно не исчез под повязкой. Наболевший вопрос Паасикиви времен Второй мировой войны — вопрос о судьбе Финляндии, который не уставал повторять ее президент, — до сих пор в умах многих финнов: каковы цели СССР в отношении Финляндии? Каковы были задачи правительства Куусинена?

* * *

Наше представление о Териокском правительстве и причинах его образования сегодня точно такое же, каким оно было еще во время Зимней войны: советское руководство в лице Сталина, Молотова и Жданова действительно верило в наличие в Финляндии революционной ситуации и в возможность взять реванш за поражение 1918 года⁷; Москва, безусловно, была убеждена, что правительство Куусинена получит широкую поддержку, если не большинство. Основанное на этом убеждении решение советского правительства было крупной ошибкой Сталина.

Факты, которыми располагают историки, подтверждают, что именно так думало советское руководство и именно так смотрело на довоенную Финляндию. Тем не менее, такое объяснение поведения советского руководства не лишено слабых мест. Прежде всего, оно предполагает, что Сталин был подлинным демократом, который искал для правительства поддержки населения.

Одной из причин, по которой вопрос о Териокском правительстве после его тихого ухода со сцены в марте 1940 г. остается неисследованным, является отсутствие источников, вследствие закрытости советских архивов. И поскольку ждать открытия этих архивов придется, вероятно, слишком долго, исследователю необходимо обходиться тем, что есть, как это делают, например, специалисты по античной истории, не могущие получить доступа к большей части документов по той простой причине, что эти документы погибли.

Отсутствие источников просто приводит историка к другой методике исследования. Этому можно поучиться хотя бы у основателя советского государства Ленина, который говорил: не так важно слушать, что рот говорит, сколько следить за тем, что руки делают. Если нельзя исследовать мозг и бумаги Сталина и Политбюро, можно изучить движение рук и пальцев и так решить, какие команды дал мозг. Единственная для историка сложность заключается в том, что пальцев много и движутся они порой в разные стороны. Поэтому недостаточно рассматривать только Финляндию, но следует изучить советскую политику на всех окраинах, и не только в 1939 г., но и в более ранний период, особенно в 1918-21 годы. Только тогда правительство Куусинена превратится в призму, через которую можно будет рассмотреть и советско-финские отношения, начиная с 1917-18 годов, и национальную политику СССР в целом, с ее практическим применением в разных частях советского государства. Тогда правительство Куусинена станет как во времени, так и в пространстве звеном большой цепи и, хочется верить, будет лучше понято. Отдельное событие всегда определяется частью большого комплекса, который уже понят и уже знаком. Если рассматривать правительство Куусинена на фоне других событий, оказывается, что оно не было случайностью или исключением, не было даже ошибкой. Наоборот, ошибкой была неправильная

оценка советским руководством военных способностей и боевого энтузиазма финнов.

Такая методология позволяет выявить связь между 1939-40 годами и временем Гражданской войны и образования СССР в 1918-22 годах. «Героические годы Гражданской войны» были именно тем периодом, куда подсознательно возвращались советские руководители в 1939-40 годы, который они вспоминали и с которого они брали пример. Даже тактика начала Зимней войны была заимствована из Гражданской. Да и из истории других стран видно, что к новой войне готовятся и начинают ее по схемам прошлых походов. (Советская Россия со времени окончания Гражданской войны не вела военных действий вплоть до 1939 года.)

В истории Гражданской войны чаще всего интересуются тем, почему большевики победили, а остальные — проиграли. Куда более важный вопрос — о влиянии войны, особенно периода 1919-21 годов, на формирование советского государства — остался несколько в стороне. А ведь именно в этой войне родилась и оформилась система, которую затем, в декабре 1922 г., провозгласили в Большом театре Союзом Советских Социалистических Республик. Во время этой войны и на основе полученного в ней опыта сформировались Красная армия и ВЧК и выработалась общая тактика Красной армии, Наркоминдела и других органов, направленная на захват новых территорий. Когда этот ансамбль, после некоторого перерыва, вновь заиграл осенью 1939 года, на пюпитрах его стояли те же ноты, что и в 1921 году. Только концертмейстер по национальным вопросам — И. В. Сталин — возвысил себя в единоличные художественные руководители оркестра.

Закрытые двери советских архивов — это только одна из проблем исследователей истории СССР, отнюдь не самая большая. Еще бóльшую проблему представляет то, что имеется в распоряжении, и не просто имеется, а прямо-таки навязывается в качестве исторических данных. Я имею в виду изданные в СССР исторические книги и публикации источников. Из них читатель, как это ему ни странно, узнаёт о событиях, которых не было, если под словом «событие» понимать то, что мы понимать привыкли. Мы точно знаем, что этих событий не было, хотя они описаны в изданных в СССР воспоминаниях современников (они должны были произойти, чтобы описания выглядели правдиво). Из воспоминаний они переко-

чевывают в историю и записываются в качестве фактов. Какая-то революция была запланирована, согласно теории, и в книгу истории записана как свершившаяся по плану, хотя на самом деле ее не было. Представители различных левых партий Финляндии собрались где-то на востоке страны в конце ноября 1939 г. и решили сформировать Народное правительство, и — правительство родилось. (В Баку в 1920 г. Красную армию призвали на помощь коммунистической революции уже *после того, как советские войска были введены в Азербайджан*; а согласно советской историографии, Красная армия прибыла в Баку только *после получения призывов о помощи*).

Указанные выше примеры можно назвать «кодовой», или «схематической» историей. Такими, в основной своей массе, являются советские исторические труды. Задача настоящего историка в том, чтобы отделить правду от схемы, так как и в схеме зачастую есть крупницы истины. Ведь еще Бисмарк говорил, что лучшая ложь слагается из полуправды. За схему обычно стоит большинство, и оно побеждает. Когда советские исторические публикации настаивают на том, что где-то — например, в Бухаре — произошла народная революция, рассказ одного антисоветского эмигранта чаши весов перетянуть не может. На стороне летописца непроизшедших исторических событий стоит тот простой закон, что неслучившемуся нет и свидетелей. Известный орвелловский лозунг Партии «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот правит прошлым!» можно, применительно к нашему случаю, изменить на лозунг «Кто знает будущее, знает и прошлое!». История уже написана.

Исследователю СССР всегда следует помнить восклицание известного советского юридивого: «У нас все возможно!».

МИНИСТРЫ НА ЗИМНИХ ДАЧАХ

Формирование временного Народного правительства

Утром 30 ноября 1939 г. передовые подразделения Красной армии форсировали реку Пограничная и направились исполнить «святую волю» советского правительства и великого советского народа⁸. А финны, случайно включившие радиоприемники на частоте Москвы, смогли в тот же день

заслушать зачитанное по-фински воззвание Центрального Комитета компартии Финляндии (КПФ) «К трудовому народу Финляндии», к рабочим, крестьянам и работникам умственного труда⁹. Описав беды финского трудового народа под игом капиталистов, ЦК КПФ призвал народ сбросить со своих плеч правительство поджигателей войны и организовать «широкий трудовой народный фронт», а при нем — «правительство трудового народа», или Народное правительство. Этому правительству была предложена общая программа из девяти пунктов, написанная в духе политики народного фронта Коминтерна 1930-х годов. Различным слоям общества были даны разные обещания. Рабочих призывали к реваншу за 1918 г. и гарантировали на этот раз победу. Народу Финляндии в целом — претворение в жизнь 200-летней мечты — объединение народов Финляндии и Карелии. Воззвание заканчивалось призывом:

«Настал момент свержения правительства палачей! Наступили дни освобождения нашего народа! Да здравствует победа рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции Финляндии! Да здравствует независимая Финляндская демократическая республика!»¹⁰

Согласно советским данным, воззвание с удивительной быстротой принесло результаты. Уже на следующий день, 1 декабря, было основано «в городе Териоки» Народное правительство Финляндии¹¹ (после того как капитан Угрюмов прогнал оттуда «Сеппинена, Кархинена и местного правителя Блюма» — так, по крайней мере, описал «освобождение» ленинградский поэт Михаил Дудин¹². При формировании правительства было проведено «собрание граждан города Териоки», в котором участвовали «рабочие, крестьяне и интеллигенция». Собрание утвердило резолюцию в поддержку правительства. От имени собравшихся резолюцию подписали «Кюлленен, Пааво, Эддо Коскинен, Тормеля Карло, Мондо Мотти» (надо полагать, Эйно Коскинен, Термала Каарло, Монто Матти). Резолюция и протокол собрания были опубликованы в газетах¹³.

Можно быть более чем уверенным в том, что в Териоках 1 декабря не могло быть ни Народного правительства, ни собрания, так как финские войска прикрытия ушли из Териок только 1 декабря. Кроме того, отошедшие «белофинские грабители» сожгли, разрушили и разграбили «наш красивый

Териоки», как определил поэт Дудин государственную принадлежность этого города. Возможно, однако, что собрание было проведено, но только 3 декабря, в день, которым датировано сообщение ТАСС¹⁴.

Все же советским читателям и слушателям всеми силами давали понять, что Териоки был достаточно большим городом, жители которого попрятались от террора белофиннов, а затем толпами бросились навстречу освободителям основывать Народное правительство. Такого хода истории требовала революционная схема — так и должно было произойти. Вторжение в пустынную глухомань, где зачастую невозможно было вступить в контакт с противником, который стрелял убийственно метко, никак не вписывалось в картину освободительного похода Красной армии в помощь финской революции.

Согласно заявлению Народного правительства, во многих местах финский народ поднялся против стоявшего у власти правительства Каяндера — Эркко и требовал создания Народного правительства. Часть солдат финской армии уже перешла на сторону Народного правительства, которое объявило, что попросило у советского правительства военной помощи и что образованы первые подразделения собственной армии. В ходе боев эти части пополнялись, дескать, добровольцами и составили ядро финской Народной армии. Это первое подразделение получило почетную задачу донести флаг Народной Республики Финляндии до столицы и поднять его на флагшток президентского дворца «на радость трудящимся и на страх врагам народа».

Программа Народного правительства была схожа с программой финской компартии. Прежде всего было объявлено о свержении силой оружия «правительства финских белогвардейцев», о заключении мира с СССР и об обеспечении независимости и безопасности Финляндии, что гарантировалось прочными дружескими отношениями с Советским Союзом. Народное правительство объявило, что обратилось в Москву с предложением заключить соглашение о взаимопомощи между Финляндией и СССР и осуществить многовековую мечту финского народа — воссоединение народа Карелии с народом Финляндии и его включение в независимое финское государство. Воззвание подписали министры правительства: Куусинен — председатель правительства и министр иностран-

ных дел, Маури Розенберг — заместитель председателя и министр финансов, Аксель Анттила — министр обороны, Тууре Лехен — министр внутренних дел, Армас Эйкия — министр сельского хозяйства, Инкери Лехтинен — министр просвещения и Пааво Прокконен — министр по делам Карелии¹⁵.

Министры правительства, за исключением Куусинена и Розенберга, не были известны в Финляндии. Они являлись представителями той части финских коммунистов, которая эмигрировала в СССР и выжила в чистки 1937-38 гг. Теперь ее решили использовать для исполнения роли Народного правительства. Правда, из всех министров только Куусинен был членом избранного в 1935 г. на Шестом съезде КПФ Центрального Комитета, проработавшего до 1944 г. Эйкия был только кандидатом в члены ЦК. Инкери Лехтинен можно считать представленной в ЦК через своего второго мужа, Антти Хювенена. Остальные члены ЦК 1935 г. к осени 1939 г. были либо в тюрьме (Антикайнен), либо умерли (как Сирола в 1936 г.), либо стали «перебежчиками» (Туоминен).

Шире, чем ЦК КПФ, в правительстве был представлен Коминтерн: премьер-министр Куусинен был одним из секретарей организации, Розенберг — переводчиком, Лехен — консультантом по военным вопросам. Военные были представлены, кроме того, министром обороны Анттила — выпускником Военной академии им. Фрунзе, будущим генералом. Распределение министерских портфелей довольно хорошо отражало профиль членов правительства. Опыт Лехена в области организации мятежей наверняка пригодился бы министру внутренних дел и при подавлении восстаний. Министр просвещения Лехтинен вместе с Юрье Энтэ и своим мужем Хювененом вела пропаганду в Финляндии еще из Стокгольма. Прокконен (прежде Прокофьев) подходил в качестве министра по делам Карелии. Единственный, кто не совсем подходил к своему посту, это поэт Эйкия — министр сельского хозяйства. На это, отнюдь не беспочвенно, он и жаловался Куусинену.

Среди министров правительства Куусинена четко прослеживаются два поколения эмигрантов: «старые» Красные, участвовавшие в мятеже 1918 г., — Куусинен, Анттила и Лехен; и группа бывших социалистов, попавших после тюрем, через Швецию, в СССР и там перековавшихся в коммунистов, — Розенберг, Эйкия и Лехтинен.

Это народное правительство и было провозглашено единственным законным правительством Финляндии, а правительство Рюти было объявлено правительством «узурпаторов» и врагов народа, правительством, дни которого сочтены.

Как свидетельствуют коммунистические источники, уже в день своего формирования новое правительство предложило установить дипломатические отношения с СССР. Президиум Верховного Совета СССР решил Народное правительство признать и дипломатические отношения установить¹⁶. Договор о дружбе и взаимопомощи был подписан на следующий день, 2 декабря, после однодневных переговоров между председателем Народного правительства Куусиненом и министром иностранных дел Молотовым. В переговорах принимали также участие Сталин, Ворошилов и Жданов¹⁷. Военная помощь, однако, была оказана еще до заключения договора, 30 ноября. Это следует и из воззвания Народного правительства. Согласно воззванию, Красная армия начала отражение опасности белофиннов и освобождение народа страны именно 30 ноября. Только позже Народное правительство заявило о полной поддержке действий Красной армии с целью уничтожения очага войны на территории Финляндии. И для скорейшего разрешения всех проблем Народное правительство попросило у СССР «всей необходимой поддержки Красной армии». Было заявлено, что Красная армия задержится в Финляндии ровно столько, сколько необходимо.

В той спешке, с которой Советский Союз оформлял военные и дипломатические операции, упущена была, по крайней мере, одна деталь: если Советский Союз не нападал на Финляндию, а только предоставлял запрошенную помощь, зачем понадобилось советскому правительству расторжение советско-финского договора о ненападении от 1932 года¹⁸? Одним из возможных объяснений может быть то, что расторжением договора СССР пытался оказать давление на правительство Финляндии с целью заставить его согласиться на выставленные требования. Однако ни один из известных фактов не подтверждает этого предположения. Кроме того, договор был аннулирован непосредственно перед нападением, в момент, когда весь механизм советской агрессии уже был приведен в движение. Если же расторжение договора попытаться объяснить тем, что нападение было совершено не на Финляндию и ее народ, а на «поддерживаемую империалистами правитель-

ственную клику», то безответным остается вопрос о том, почему в Договоре о дружбе и взаимопомощи, подписанном между советским и Народным правительством, признаётся мирный договор, заключенный предшественниками этой «клики» в Тарту. Ведь было же в преамбуле к договору указано: «В целях укрепления духа и основных положений Мирного Договора 23 октября 1920 года, основанного на взаимном признании государственной независимости и невмешательстве во внутренние дела другой Стороны...»¹⁹ Единственное правильное объяснение — что в спешке и не такое случается.

На составлении и заключении Договора о дружбе и взаимопомощи и завершилась работа правительства. Оно дождалось теперь открытия пути в Хельсинки, чтобы переместиться туда для организации «Народного собрания». Согласно более позднему рассказу министра сельского хозяйства поэта Армаса Эйкия, в первые дни войны правительство собралось на ленинградской квартире Куусинена, село по машинам и выехало в Териоки. Старый дачный поселок не был затронут войной, и министры расселились по дачам, собираясь ежедневно у Куусинена, по-видимому, в здании бывшего офицерского клуба Первого егерского батальона. Конторы или канцелярии не было. Протоколов собрания не велось, и нет ни одной групповой фотографии членов правительства. Министры обедали каждый на своей даче. Погода была прекрасная, и министры, включая Куусинена, который любил кататься на коньках, но не имел в Териоках на то возможности, катались на лыжах по нетронутому снегу. Министр внутренних дел Тууре Лехен писал в 1969 году, что правительство не сделало ничего, кроме нескольких воззваний и кое-какой «пропагандной работы». От имени правительства издавались газеты «Kansan valta» («Власть народа»), «Suomen kansan ääni» («Голос народа Финляндии»), «Kansan sana» («Народное слово») и «Kansan armeija» («Народная армия»), которые разбрасывались с самолетов за линией фронта.

Эти газеты действительно были результатом «пропагандистской работы». Часть номеров похожа на неопределенный гибрид газеты с листовкой, без дат и выходных данных. У некоторых номер явно сфабрикован для того, чтобы создать впечатление часто и регулярно выходящей газеты. Так, например, в «Слове народа» № 41 за 1940 год напечатаны речь Молотова от 29 ноября 1939 г., новости о сформировании

Народного правительства и воззвание. Следовательно, поступление новостей в газеты было нерегулярным и запаздывающим.

Загружены работой были два министра: министр по делам Карелии Прокконен и министр обороны Анттила. Прокконен совершал инспекционные поездки по «освобожденным» деревням Карелии. Так, в начале января он посетил Мойсионваара, где провел собрания и беседы, а также сформировал «Комитет трудового народного фронта». Министр лично написал в газету и заметку о своей поездке по «освобожденным» районам, в которых, оказывается, министра приветствовали на финском и карельском языках лозунгами «Да здравствует министр!», «Да здравствует свободная демократическая Финляндия!».

Вероятно, больше всего работы, связанной с организацией Народной армии, было у министра обороны Анттила. Корреспондент Николай Вирта²⁰ встретил его, полного забот, в Териоках в начале декабря. Министр высказал пожелание о скорой встрече в Хельсинки и был в тот день уже третьим, кто приглашал Вирту в Хельсинки. «Чёрт возьми, придется поехать», — решил Вирта.

Вирта же встретил и проинтервьюировал первых солдат Народной армии. Он писал, что они были одеты в зеленые шинели с треугольными нашивками на отворотах воротников. На головах были светлые ушанки. Солдаты с интересом разглядывали советские танки и со смехом вспоминали, что в финской армии их было пятнадцать или двадцать штук.

Возможно, увиденные Виртой солдаты и были одеты в зеленую форму Карельской егерской бригады, бывшей армии Карельской автономной республики²¹. Как рассказывал один из солдат Народной армии, существовало три вида формы: зеленая форма расформированной в 1937 г. Карельской егерской бригады — герб со львом на пуговицах; форма польской армии — герб с орлом на пуговицах; и специально для Народной армии сделанная форма, по образцу польской, но без орлов.

Из того, что писала о Народной армии «Правда», следует, что ее солдаты были бывшими солдатами финской армии. Это не так. Народная армия была сделана из Красной, откуда выфилтровали всех тех, чьи имена были похожи на финские, т. е. ингерманландцев и карелов. По тюрьмам и лагерям

собрали попавших туда военнослужащих Карельской егерской бригады. Но из поставленной перед советским правительством цели создать говорящую по-фински армию все равно ничего не вышло, так как говорящих по-фински, в основном только ингерманландцев, было слишком мало. Командование было, в основном, русское. Правда, политруками были ингерманландцы и карелы. Известны и многие финские командиры батальонов, в частности, носившие чин подполковников Альберт Рехвонен, Вальтер Валли, Тойво Вяяхя, Хейкки Кетонен, Отто Иконен и Рикхард Ахола. Командиром 2-го отдельного лыжного батальона был майор Фердинанд Мяття, политруком же — советский офицер (еврей).

Солдат Народной армии собирали в Петрозаводске, в казармах на улице Гоголя, и под Ленинградом, в Пушкинских казармах. Советское командование для начала предполагало сформировать две дивизии (около 20 тысяч человек). Из собранных в Ленинграде солдат составили 1-ю дивизию, разбив ее на полки. Сформировали также артиллерийский, связной и транспортный батальоны. 2-ю же дивизию стали формировать в Петрозаводске только в январе 1940 года. По некоторым данным, была предпринята попытка создания и третьей дивизии. 1-я дивизия начала прибывать в Териоки только 11 декабря 1939 года.

Хотя встреченный Виртой в Териоках боец Народной армии Йосиф Катала высказал пожелание скорее попасть на фронт, чтобы показать маннергеймцам, как умеют сражаться настоящие финны, в задачи армии не входило участие в военных действиях. Она должна была использоваться как некая «представительная» часть. 1-ю дивизию предполагалось отправить на Карельский перешеек, чтобы оттуда она продвигалась на Хельсинки; 2-ю дивизию — в Петсамо. Это подтвердил в разговоре в Териоках с Виртой министр обороны Анттила. Общей задачей армии было очищение страны «от продажных лакеев-шюцкоровцев и других предателей».

В соответствии с этим планом в середине января в Петсамо прибыл один батальон оккупационных войск. По сведениям, полученным от военнопленных, подразделения Народной армии действовали севернее Ладожского озера и на Карельском перешейке, но не участвовали в боях, а выступали в качестве своеобразного резерва. В феврале на убитом в

Кухмо офицере была найдена схема, на которой в одной из зон оккупации был помечен батальон Народной армии. Рассказывают, что 2-й полк 1-й дивизии совершил лыжный марш-бросок из Пушкина в Салми, где сменил Сибирский стрелковый полк, но в боях не участвовал. Тем не менее, уже в январе 1940 г. газета «Народная власть» писала, что подразделения Народной армии получили боевое крещение. Они «огнем и сталью разбили финских белогвардейцев в жестоком бою» и провели патрульные операции и неожиданные вылазки на лыжах. Во всяком случае, в Кухмо в феврале была отмечена разведывательная группа в составе примерно 15 человек. 2-й отдельный лыжный батальон под командованием майора Мьяття вел боевые действия в течение двух последних недель войны в Виипурилахти, но к тому времени Народная армия была уже расформирована, и подразделение Мьяття являлось составной частью Красной армии²².

Спецификой Народной армии были отряды лыжников. По отзывам видевших их финских солдат, лыжи были хорошие, и шли солдаты хорошо, хотя и были в обычной форме, как это видно из фотографий. Несмотря на то, что форма и знаки различия были разными, а спецификой Народной армии были лыжники, принципы этой армии походили на принципы армии Красной. Народная армия являлась армией «нового типа». Она должна была побеждать не только оружием, но и высокой политической грамотностью состава. Поэтому среди солдат велись постоянные политзанятия. Ее бойцов называли наследниками героического похода на Киимасярви, которые знают, в отличие от солдат финской армии, за что воюют. Звездным часом как Народной армии, так и всего Териокского правительства был день рождения Сталина — 21 декабря 1939 года. В тот день было проведено собрание Народной армии и парад «1-го батальона», в котором, по данным газет, участвовало 5.775 командиров и бойцов, «сынов народа Финляндии и Карелии». Вероятнее всего, речь шла о той группе, из которой предполагалось создать 1-ю дивизию и которая была собрана в Ленинграде. Собрание направило поздравительную телеграмму И. В. Сталину, «большому другу финского народа».

Не много времени прошло с тех пор, как Сталин в последний раз засвидетельствовал свою дружбу к финскому народу. Когда верховный главнокомандующий эстонской армии генерал Лайдонер посетил Москву и ужинал с делегацией у Ста-

лина 7 декабря, хозяин, к большому удивлению гостя и неожиданно для него, предложил тост в честь... финского народа. Впрочем, тост не был обязательным для всех присутствовавших.

О значении Териокского правительства в этот период говорит тот факт, что поздравление Куусинена ко дню рождения Сталина было опубликовано третьим по счету среди приветствий иностранных государственных деятелей, вслед за поздравлениями Гитлера и Риббентропа²³. После дня рождения Сталина о Териокском правительстве не было слышно вплоть до его «самороспуска» по окончании войны. А расформирование частей Народной армии началось уже в феврале, сразу же после начала переговоров советского руководства с правительством Рюти²⁴.

В речи на заседании Верховного Совета от 29 марта 1940 г. нарком иностранных дел СССР Молотов сказал, что перед тем, как советское правительство вручило правительству Финляндии условия мирного договора, оно запросило мнение Народного правительства. Последнее объявило, что для прекращения кровопролития и облегчения положения финского народа войну следовало бы закончить. После подписания мирного договора, продолжал Молотов, «встал вопрос о самороспуске Народного правительства, что им и было осуществлено»²⁵.

Очень вероятно все же, что Куусинену до подписания мирного договора ничего не сообщали. И только после того, как разжевывающие солдатам мирный договор политруки попали в сложное положение, столкнувшись с вопросом об исчезновении Народного правительства Финляндии, было выдумано молотовское объяснение о «самороспуске». Немецкий коммунист Вольфганг Леонгард, учившийся в Москве во время Зимней войны, рассказывал, как на одном из собраний по поводу заключения мирного договора у политрука спросили, что случилось с Народным правительством. Политрук не мог ответить ничего, кроме того, что в официальном коммюнике Народное правительство не упомянуто. Леонгард предполагает, что поскольку подобный вопрос задавали на многих собраниях, «Правда» была вынуждена опубликовать объяснение²⁶. На обрыв контактов правительства Куусинена и советского руководства указывает и то обстоятельство, что в газетах и другой пропагандистской литературе Народного прави-

тельства до самого конца продолжалась кампания поддержки правительства в Териоках. Эйкия даже 8 марта писал о Договоре, заключенном между СССР и правительством в Териоках, а Московское радио 11 марта все еще ратовало за действительно свободное государство под руководством Куусинена.

Таким конфузом прервалось короткое и праздное бытие правительства Куусинена. На удивление всем, оно отошло в историю.

Окончание – в следующем номере

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Война между СССР и Финляндией (30 ноября 1939 г. — 13 марта 1940 г.) известна в Финляндии как Зимняя война. Здесь и далее будет использоваться именно это название. (Прим. ред.)

² Териоки — деревня на Карельском перешейке на берегу Финского залива, недалеко от старой (до 1940 г.) советско-финской границы. В Финляндии оно считалось курортным местечком. В настоящее время находится на территории СССР и называется Зеленогорск. (Прим авт.)

³ Отто Вилле — имя Куусинена, под которым он был известен в Финляндии. (Прим. авт.)

⁴ Макс Якобсон родился в 1923 г. С 1948 по 1953 гг. был корреспондентом в Лондоне. С 1958 г. — работал в Министерстве иностранных дел Финляндии. С 1962 г. — начальник политического отдела МИДа. В 1965-71 гг. — представитель Финляндии в ООН. В 1955 г. опубликовал переведенную на многие языки книгу *Diplomaattien talvisodasta*. (Прим. авт.)

⁵ Й. К. Паасикиви (1870 — 1956) — президент Финляндии в 1946-56 гг., премьер-министр в 1944-46 гг., посол в Москве с апр. 1940 по май 1941 гг., посол в Стокгольме в 1936-39 гг. По партийной принадлежности — старо-финн и с 1918 года — член коалиционной партии. После его смерти были опубликованы его воспоминания времен войны «Моя работа в Москве и Финляндии в 1939 — 1941 гг.» (1958). (Прим. авт.)

⁶ Вейкко Хуттунен — финский преподаватель и историк. Написал целый ряд учебников и общую историю Финляндии периода 1939-73 гг. под названием «История нации» (1974). (Прим. авт.)

⁷ В конце января 1918 года Финляндская красная бригада начала по примеру большевиков и с их помощью революцию в Финляндии и за короткий срок захватила всю южную часть страны. Однако Белые, под предводительством генерала К. Г. Маннергейма, разоружили рас-

положенные на севере Финляндии русские части. Началась гражданская война, закончившаяся в мае победой Белых. Красное командование укрылось в Советской России, где стало дожидаться создания условий для новой революции — реванша. (Прим. авт.)

⁸ Хронику ухудшения отношений с Финляндией легко проследить по «Правде». Еще 26 ноября «Правда» опубликовала статью с оскорбительным названием «Шут гороховый на посту премьера» с резкими выпадами против премьер-министра Финляндии Каяндера. В том же номере были опубликованы две статьи, посвященные тяжелому положению «трудящихся масс»: «Усиление налогового пресса в Финляндии» и «Бедственное положение семей резервистов, призванных в финляндскую армию». В тот же день советское правительство обвинило Финляндию в обстреле советской территории в районе Ленинградского военного округа и вручило финнам ноту протеста (см. «Правда», 27 ноября 1939 г.). Начиная с этого момента советские газеты не прекращали кричать о «провокационных действиях финляндской военщины» (см., например, «Правда» от 29 ноября 1939 г.) и обещали «уничтожить зарвавшихся бандитов» (там же). 29 ноября Молотов выступил с речью, полной угроз по адресу Финляндии. В тот же день из Финляндии было отозвано советское посольство. Дипломатические отношения были прерваны. И 30 ноября «Правда» опубликовала статью уже под более хамским названием: «Не просунуть финским свиньям свое рыло в советский огород!». 1 декабря все советские газеты сообщили о начале «столкновений советских войск с финскими войсками» («Правда»). (Прим. ред.)

⁹ Опубл. во всех советских центральных газетах 1 декабря 1939 г. как радиоперехват обращения ЦК КПФ. (Прим. ред.)

¹⁰ Цит. по «Правде», 1 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

¹¹ «Правда» сообщила об этом 2 декабря 1939 г. Тогда же была опубликована как радиоперехват и «Декларация Народного правительства Финляндии». (Прим. ред.)

¹² Михаил Дудин — ленинградский поэт и писатель, «герой Ханко» и Герой социалистического труда. Уже в годы Зимней войны работал военным пропагандистом и продолжил эту работу в 1940-41 гг. на военной базе в Ханко, полученной СССР на основании мирного договора, подписанного после Зимней войны. Писал, в частности, стихи и статьи в газету базы «Красный Гангут». Какое-то время назад по его инициативе в Ленинграде в церкви Св. Пантелеймона, построенной Петром I в 1714 году в честь морской победы при Гангуте, поставлен мемориал «героям Гангута». (Прим. авт.)

¹³ См. «Правду», 4 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

¹⁴ См. там же. (Прим. ред.)

¹⁵ Транскрипция имен дается в том виде, в каком эти имена были опубликованы в «Правде». (Прим. ред.)

¹⁶ См. «Правду», 2 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

¹⁷ См. там же, 3 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

¹⁸ Советское правительство в одностороннем порядке без предупреждения аннулировало этот договор 28 ноября 1939 г. (Прим. ред.)

¹⁹ Цит. по «Правде», 3 декабря 1939 г. (Прим. ред.)

²⁰ Советский журналист, специальный корреспондент «Правды». Его первая, обширная статья «Боевые стычки на Карельском перешейке. Первые три часа» была опубликована в «Правде» 3 декабря 1939 г., а вторая, под названием «Шюцкору — звери» — на следующий день. См. также примечание 62. (Прим. ред.)

²¹ Народную армию не требовалось создавать на пустом месте. Ее предшественницей можно считать армию Карельской Автономной республики, Карельскую егерскую бригаду, которая была расформирована всего за два года до этого, в 1937 году. Создателем бригады был сын судовладельца с Аландских островов Е. Г. Е. Маттсон, генерал Красной армии, окончивший академию им. Фрунзе. Бригада имела собственную форму, свой флаг и марши на финском языке. Часть состава этой бригады, по всей вероятности, и была зачислена в Народную армию. (Прим. авт.)

²² Один полковник Красной армии рассказывал, что объединенная кавалерийско-танковая армия должна была форсировать Финский залив и совместно с армейским корпусом Народной армии захватить Хельсинки. Но корпуса этого никто никогда не видел, а план реализовать не пытались, хотя он и не был лишен размаха: русско-финская кавалерийская атака через покрытый льдом Финский залив! Подобное могло произойти только в 1500-х годах, когда татары промчались по заливу грабить побережье нынешней губернии Уусимаа. В феврале 1940 г. моторизованная армия перешла Финский залив от Кингисеппа к западной части Ино, а в начале марта этим же путем проследовала кавалерийская часть. (Прим. авт.)

²³ См. «Правду», 23 декабря 1939 г. Куусинен, в частности, писал: «От имени финляндского трудового народа, борющегося рука об руку с героической Красной армией за освобождение своей страны от ига белогвардейских палачей народа и наймитов иностранных империалистических провокаторов войны, за победу Финляндской независимой демократической республики, Народное правительство Финляндии в день шестидесятилетия со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина выражает свое глубочайшее уважение великому другу финляндского народа — Сталину, имя которого навсегда останется символом дружбы и братства народов Советского Союза и Финляндии, как и всех народов мира. От имени Народного правительства Финляндии — Отто Куусинен». В той же очередности Сталин, в свою очередь, поблагодарил поздравивших его глав правительств: сначала Гитлера, затем Риббентропа, потом Куусинена. Последнему он пожелал «скорой и полной победы над угнетателями финского народа, над шайкой Маннергейма — Таннера» («Правда», 25 декабря 1939 г.). (Прим. ред.)

²⁴ Ристо Рюти (1889 — 1956), премьер-министр финского правительства, сформированного в самом начале Зимней войны. Представ-

лял партию Прогресса. В 1920-х годах — депутат парламента и министр финансов. В 1923-40 гг. и 1944-45 гг. — директор государственного банка Финляндии. В декабре 1940 г. избран Президентом страны. Ушел с поста летом 1944 г. для обеспечения условий заключения мирного договора с СССР. Осужден как так называемый «военный преступник» в 1945 г. на десять лет тюремного заключения, но уже в 1949 г. был помилован по причине слабого здоровья. (Прим. авт.)

²⁵ Цит. по «Правде», 30 марта 1940 г. (Прим. ред.)

²⁶ См. Вольфганг Леонгард. Революция отвергает своих детей (Лондон, ОРИ, 1984, стр. 72-73). (Прим. ред.)

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

Сорок четвертый год издания

Под редакцией Романа ГУЛЯ (гл. редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

Книга 161-я. СОДЕРЖАНИЕ: *Р. Гуль*. Я унес Россию. Том III. «Россия в Америке»; *А. Шепиевкер*. Агафья и Агафон; *А. Кторова*. Мелкий Жемчуг; *Ю. Кашкаров*. Афон. СТИХИ: *И. Чиннов*, *И. Елагин*, *М. Косталевская*, *В. Крейд*, *Ю. Иваск*. Похвала Российской поэзии; *Т. Фесенко*. О. Н. Анстей (Люша).

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *А. И. Гучков*. Из воспоминаний; *гр. Е. Н. Разумовская*. Из дневника; *кн. В. Вяземский*. Первая четверть века существования зарубежного масонства; *Ю. Фельштинский*. Из истории Брестского мира.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *В. Бондаренко*. Взгляд с исторической вышки; *А. Иванов*. Экология исторических памятников и могил. Смерть и погребение Гоголя.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ: *Вяч. Завалишин*. Памяти А. Худякова.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *К. Скворцов*. Письмо в журн. «Pure Vérité»; *Д. Антонов*. Марксистский национал-социализм и смерть А. Шпрингера; **Р. Плетнев** О «Босанчице».

БИБЛИОГРАФИЯ: *Н. Ржевский*. *A. Pushkin. Eugene Onegin. Transl. by Ch. Johnston*; *Т. Фесенко*. Игорь Чиннов, «Автограф».

Цена 1 книги — 9 долл., 4-х книг — 30 долл.

Адрес редакции: 2700 Broadway. New York, N. Y. 10025

МИЛОВАНУ ДЖИЛАСУ – 75 ЛЕТ

Вся жизнь Милована Джиласа – это борьба. Он природный революционер не в политическом, а в духовном смысле этого слова. В молодости, в коммунистическом движении ему увиделось воплощение его гуманистических идеалов и он безоглядно слился с этим движением, заплатив за это долгим подпольем, тюрьмами, партизанскими тяготами. Но это его искреннее увлечение оказалось непродолжительным. Будучи человеком глубокого нравственного чутья, Милован Джилас быстро распознал лукавую ложь покорившей его идеологии и демагогическую фальшь окружающей среды. Столкнувшись с советской верхушкой и лично со Сталиным, погрязшими в политическом цинизме и самодовольстве, и видя, как его личный друг – Иосип-Броз Тито – вместе со своей камарильей, едва придя к власти, начинают обрывать роскошными виллами, винными погребами и скаковыми конюшнями, он понял, что справедливая по своей внешней форме идея породила на практике новый класс эксплуататоров, еще более хищных и беззастенчивых, чем прежние, замкнутый клан нуворившей, паразитирующих на марксистской идеологии, типичных носителей реакционной психологии. И тогда Милован Джилас снова сделал единственный для себя выбор, оставшись не с угнетателями, а с угнетенными. И снова, как всякий подлинный революционер, дорого заплатил за это. Последовали травли, тюрьмы, замаскированное под заграничную поездку изгнание, из которого, как полагали его гонители, он не осмелится вернуться. Но Милован Джилас вернулся, потому что он был убежден, что его место на родине, среди югославского народа, какой бы ценой ему ни пришлось заплатить за возвращение. И сегодня свое семидесятипятилетие он встречает у себя дома в Загребе, полный энергии, духовного порыва и творческих замыслов.

Книги Милована Джиласа, в особенности такие, как «Мои разговоры со Сталиным» и «Новый класс» нашли себе в мире многомиллионную аудиторию. Его статьи, эссе и интервью перепечатываются десятками авторитетнейших газет и журналов Запада, передаются по радио и телевидению. К тому же, в последние годы он заявил себя еще и как прекрасный прозаик, рассказы и повести которого по достоинству оценили самые взыскательные в мире ценители.

Его бывшие друзья говорят о нем, что он изменил их делу. Что ж, по-своему они правы. Но, главное, Милован Джилас никогда не изменял самому себе, а это важнее всего.

Редакция и редколлегия «Континента»

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Валерий С о й ф е р

ЛЫСЕНКОИСТЫ И ИХ СУДЬБЫ

Главы из книги

ЛЫСЕНКО ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЕПЕШИНСКУЮ

«Законы физики торжествуют; легкие тела поднимаются вверх, тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотари стоят триумфаторами по всей линии и во всех профессиях; они цепляются друг за друга, подталкивают и выводят друг друга и в конце концов образуют такую плотную массу, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий».

М. Е. Салтыков-Щедрин. Легковесные

Сегодняшним читателям трудно, наверное, понять, зачем понадобилось лицам, типа С. Е. Северина, восхвалять Лепешинскую и ее идеи, которые они, конечно, наедине сами с собой иначе как бредовыми называть не могли. Чтобы понять их поведение, нужно было бы объяснить, как бывает слаб человек, как влияла атмосфера тех лет на поступки людей и учила их уму-разуму, как страх потерять работу или, хуже того, оказаться в лагере, диктовал многим из них соответствующий «модус вивенди». А примеров такого рода было множество.

Но был человек, для которого идеи Лепешинской стали, что называется, манной небесной. Этим человеком был Трофим Лысенко. Лепешинская предоставляла «абсолютно надежные и неопровержимые» доказательства там, где Лысенко доставалось от критиков больше всего: в вопросе о порождении одного вида другим. Согласно Лысенко⁵⁵ в природе постоянно осуществляется превращение одного вида в другой. Он уверял, что ему известны случаи порождения

© В. Н. Сойфер. Окончание. Начало см. в № 47.

кукушки – пеночкой, граба – дубом, овсюга – овсом и т. д. В привычном победном тоне он писал:

«Нашей мичуринской биологией уже безупречно показано и доказано, что одни растительные виды порождаются другими ныне существующими видами...

Теперь уже накоплен большой фактический материал о том, что рожь может породиться пшеницей, причем разные виды пшеницы могут породить рожь. Те же самые виды пшеницы могут породить ячмень. Рожь может породить также пшеницу. Овес может породить овсюг и т. д. Все зависит от условий, в которых развиваются данные растения»⁵⁶.

Вместе с тем большинство биологов (даже кое-кто из ближайшего окружения Лысенко) отлично осознавали, что эти «порождения» всерьез не показаны и не доказаны, что никакого «безупречного» фактического материала в руках Лысенко нет, а что все «факты» подбрасывают ему мошенники и шарлатаны типа М. Г. Туманяна, В. К. Карапетяна, А. А. Авакяна, С. К. Карапетяна⁵⁷, да начальника Управления планирования сельского хозяйства Госплана СССР В. С. Дмитриева, спешно готовившего на эту тему докторскую (!) диссертацию. Не мог не понимать этого в душе и Трофим Денисович*.

* К этой мысли я пришел во время одной из бесед с Лысенко. Как-то он с жаром заговорил об этом своем любимом детище и, чтобы переломить мой скепсис, встал из кресла, отодвинул его от стены и пригласил меня посмотреть стоящий за креслом застекленный стенд, на котором был размещен и укреплен вырытый из земли «куст» пшеницы.

Из переплетения корней торчало около десятка стеблей, заканчивавшихся колосьями разной формы. Тут были колосья явно разных видов пшеницы.

– Вот, видите, – сказал Лысенко, – все эти разные виды выросли из одного зерна. Причем это не на показ сделано, а для себя.

– Вы сами это сделали? – полюбопытствовал я.

– Нет, – возразил Лысенко, – это мне мои ученики преподнесли.

– Так откуда же известно, что все это выросло из одного зерна пшеницы и что это одно растение? Ведь корневая система так переплетена, что ничего не разберешь? (надо заметить, что я уже знал к тому времени, что один из преклонявшихся перед Лысенко студентов биофака МГУ А. Синюхин «отличился» – склеил на препарате нужные части двух видов, но был пойман и изобличен, так что «способ» производства таких «муляжей» был мне в принципе известен).

– Говорят вам, из одного семени, значит из одного... →

В самом деле, если клетки пшеницы или другого вида внезапно, в одно мгновение, превратятся в клетки другого вида, то это должно означать, что все молекулы в клетках, все внутриклеточные структуры станут иными. Как ни был неграмотен Трофим Денисович, но все-таки совершенную невозможность такого превращения он не мог не осознавать.

И вдруг до него дошло, что это препятствие можно обойти. Лепешинская уверяет, что, кроме клеток, есть еще особое, «бесклеточное» вещество. Оно не живое, но «как бы живое», во всяком случае при каких-то, ему не очень ясных, но Лепешинской вроде известных, условиях оно может стать живым. И тогда, из этого «живого» вещества, как из живой воды в сказках, могут возникать новые клетки. Так, может быть, вид превращается в другой вид через стадию живого вещества?

Как только Лысенко оценил великий для него смысл слов Лепешинской, он возликовал и принялся за дело. Что-либо проверять, убеждаться в том, что за словами Лепешинской стоят не одни артефакты, он, естественно, не стал. Он уже знал на своем примере, как надо поступать. Авторитет Лепешинской был утвержден уже апробированным способом: с полным одобрением «идей» Лепешинской выступили на совещании многие ученые. Разразился большой речью и сам Лысенко. Речь эту он потом несколько раз перепечатывал в разных изданиях⁵⁵.

«Нам ясно, – говорил Лысенко, – что когда произносишь слово «развитие», то это всегда должно связываться с тем, что все, что способно развиваться, имеет начало и конец. По старой же теории, которая утверждает, что клетка развивается только из клетки, начала клетки якобы не бывает, она всегда происходит из клетки. Такое представление не научно, оно не соответствует действительному развитию не только живой природы, но и вообще всей природы.

Для работников биологической науки, которые стоят на позициях марксистской теории развития, ясна ложность положения, утверждающего, что растительные и животные клетки развиваются только из клеток.

Правильное теоретическое представление, что клетки могут развиваться и из вещества, не имеющего клеточной структуры, теперь → – Ну, так дайте мне по зерну из каждого колоса, я высею их в условиях, исключающих переопыление, и тогда посмотрим, что из них вырастет, – предложил я.

Лысенко это предложение, видимо, не устроило. Он сразу замолчал, снова придвинул кресло к столу, уселся и перешел к другой теме, как будто эта тема была целиком исчерпана.

экспериментально обосновано работами Ольги Борисовны Лепешинской. В этом большая заслуга Ольги Борисовны»⁵⁸.

Как видим, причислявший себя к марксистам Лысенко так обрадовался «эпохальным» достижениям Лепешинской, подставившей подпорку под шаткое здание его собственных умозрительных построений, что без удержу ее восхвалял. Но не забывал он и о себе самом. Ведь те из мыслящих биологов страны, которые не переметнулись в услужение Лысенко, или не были арестованы (как академики Н. М. Тулайков, Н. И. Вавилов, профессора Г. Д. Карпеченко, С. Н. Левит, И. И. Агол, вице-президенты ВАСХНИЛ Горбунов, Вольф, Мейстер и многие другие), или не скончались к этому сроку (как Н. К. Кольцов и А. С. Серебровский), резко восстали против нелепой теории. А в то же время она была нужна Лысенко как воздух для подведения «научной» базы под провал в практике сельского хозяйства от его собственной деятельности (когда были перепорчены сорта, развалено семеноводство, на полях пестрела уйма сорняков и т. п.). Теперь Лысенко уверял, что сорняки закономерно возникают на полях из культурных растений.

Это говорилось не раз и не два. Но, кроме слов, в руках Лысенко не было ни единого, сколько-нибудь стоящего факта, и не ухватиться за помощь, исходившую от Лепешинской, Трофим Денисович не мог. Он с восторгом уверял:

«Теоретическая основа данного фактического материала та же, что и для материала, добытого Ольгой Борисовной Лепешинской...

Каким путем это происходит? Можно ли себе представить, что например, клетка тела пшеничного растения превратилась в клетку тела ржи?

Этого я себе не могу представить. Этого быть не может.

Мы себе представляем это дело так: в теле пшеничного растительного организма... зарождаются крупинки ржаного тела. Но это зарождение происходит не путем превращения старого в новое, в данном случае клеток пшеницы в клетки ржи, а путем возникновения в недрах тела данного вида, из вещества, не имеющего клеточной структуры, крупинок тела другого вида. Эти крупинки вначале также могут не иметь клеточной структуры, из них уже потом формируются клетки и зачатки другого вида.

Вот что нам дают для разработки теории видообразования работы Ольги Борисовны Лепешинской.

Научные положения О. Б. Лепешинской вместе с другими завоеваниями науки войдут в фундамент нашей развивающейся биологии», — заключал Лысенко⁵⁹.

Но, несмотря на восторг самого Лысенко, его речь произвела на многих обратное впечатление. Вместо триумфа, Лысенко, опершись на «факты» Лепешинской, еще более подмочил свою репутацию и, как мы увидим дальше, приблизил срок своего развенчания. Витиеватые рассуждения Лысенко о крупинках тела и его домыслы о том, как они возникают в «недрах тела организмов», ничего, кроме улыбок, вызвать не могли. Аморфные представления о строении клеток и отсутствие какого угодно представления о химическом строении клеточных структур не позволяли понять, а что же это за особые крупинки, которые видны представителям передовой мичуринской науки и не известны классикам биологии и химии? На Лысенко посыпался град насмешек за эти рассуждения. Ему задавали язвительные вопросы и устно и в письмах самые разные люди. По рукам ходили шуточные стихи, осмеивающие крупинчатость мыслей великого агробиолога. Так, известный зоолог профессор Иван Иванович Пузанов писал в сатирической поэме «Астронавт»:

«Трофим, упершись, как ишак,
Позиций не сдает никак;
Пшеница в рожь и в граб орех;
И в ель сосна, и, всем на смех,
В кукушку дрозд! Нещадно бит
Трофим ку-ку свое твердит
И славит гнездовой посев,
Науку с практикой презрев»⁶⁰.

Но в одном Лысенко оказался прав, Когда он с пафосом воскликнул на совещании, что «научные положения О. Б. Лепешинской вошли в фундамент» развиваемой им «новой биологии», он попал в точку. Действительно, если уж говорить о фундаменте лысенковского учения, то именно таким и должен был быть этот фундамент. Однако, произнося эти слова с гордостью в мае 1950 года, Лысенко вряд ли подозревал, как быстро этот фундамент развалится и как скоро начнет оседать и рушиться все здание мичуринской биологии, с таким трудом возведенное, на костях стольких выдающихся ученых построенное.

РАСЦВЕТ АФЕРИСТОВ

«Само собой разумеется, что западные люди, выслушивая эти рассказы, выводили из них не особенно лестные для России заключения».

М. Е. Салтыков-Щедрин.
За рубежом

Уже на самом совещании по проблеме живого вещества О. Б. Лепешинская начала, по собственному неразумению, «подрывать себя». Она пригласила участвовать в совещании некоего Г. М. Бошьяна. Ему было предоставлено слово. Его, среди других «крупных микробиологов», вслед за Имшенецким, Лепешинская неизменно называла как ученого, развившего и подкрепившего своими трудами ее теорию. За год до созыва совещания Бошьян опубликовал книгу «О природе вирусов и микробов»⁶¹, чуть позже он получил за нее степень доктора наук. Он тоже старался, как Лысенко и Лепешинская, выглядеть великим реформатором науки сталинского времени. Поэтому Лепешинская считала Бошьяна своим собратом по оружию, когда писала:

«Прослеженная нами закономерность открывает очень большие горизонты для понимания быстрого размножения бактерий и простейших, для понимания перехода одной формы бактерий в другую – процесс, который описан Г. М. Бошьяном, подтвердившим наши данные на других объектах, нами не изученных, а именно на вирусах и бактериях»⁶².

Нельзя без улыбки читать эти взаимные ссылки насчет того, кто кого подтвердил: Лепешинская Лысенко, Бошьян Лепешинскую и т. д.

Открытие Бошьяном перехода вирусов в бактерии и наоборот – вещь немыслимая для любого образованного человека, – воспринималась лысенкоистами с легкостью необыкновенной, и Лепешинская не боялась ставить имя Бошьяна в опасной близости от имен классиков марксизма-ленинизма:

«Учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина помогает исследователю предвидеть возможные изменения в природе, строить те или иные гипотезы и предположения, проверять их и превращать в доказанную теорию.

Руководствуясь учением этих великих гениев науки, мы реализуем теоретические положения Энгельса в повседневной экспериментальной работе. Мы работаем над проблемой происхождения клеток из живого вещества более пятнадцати лет, и до сих пор наши данные еще никем экспериментально не опровергнуты*, а подтверждения, в особенности за последнее время, есть (работы Сукнева, Бошняна, Лаврова, Галустяна, Макарова, Невядомского, Морозова, Гарвея, Гравица**»⁶³.

Однако, проводивший свои «исследования» под знаком «марксизма-ленинизма» Бошнян через несколько лет был разоблачен и его стали называть уже не иначе, как с применением эпитета «гносный шарлатан». Оказалось, что дремуче безграмотный, но ловкий проходимец фотографировал под микроскопом всякую грязь и выдавал фотографии за доказательство – не больше и не меньше – перехода вирусов в бактерии и бактерий в вирусы! Его лабораторию спешно закрыли. Но пока еще этого не произошло, он еще ходил в героях, и Лепешинская могла спать спокойно.

Ее «триумф» на совещании в Академии наук СССР был поддержан также и партийной печатью. В журнале ЦК партии «Большевик» Н. Н. Жуков-Вережников, И. Н. Майский и Л. А. Калиниченко опубликовали статью, в которой развива-

* Эта жалкая фраза «еще никем экспериментально не опровергнуты» наводит меня на мысль, что Лепешинская в глубине души отлично знала истинную цену своим открытиям и жила в ожидании той минуты, когда такое разоблачение наступит. Не отсюда ли простекала ее неумная страсть к постоянным ссылкам на классиков марксизма-ленинизма, которые, по ее мнению, никогда не будут отвергнуты и потому могут считаться лучше всякой палочки-выручалочки: соответствуют внешне твои высказывания марксизму-ленинизму – значит ты прав во веки веков. Невдомек ей было, что и пяти лет не пройдет, как главного из ее защитников – Сталина вычеркнут из классиков марксизма-ленинизма вполне официально!

** Кое-кто из упоминаемых Лепешинской ученых вначале выступал против ее «открытий». Так подпись проф. П. Макарова стояла первой в «Письме 13-ти» в газете «Медицинский работник» в 1948 году (см. прим. 39). Среди тринадцати был и проф. Галустян, позже вывернувшийся наизнанку. Легко представить, с какой радостью она вписывала их фамилии в перечень тех, кто солидаризировался с ней, отступив от правды. Силен же был напор, если так ломались души, терялась совесть, забывалось понятие о принципиальности ученого, наконец, о чести и незапятнанном имени.

ли тезис о том, что только в соответствующих условиях, только при следовании вполне определенной идеологии, можно делать такие открытия, которое выполнила О. Б. Лепешинская, за что ей должны быть все признательны⁶⁴.

На помощь Лепешинской спешили и некоторые из серьезных ученых, решивших поступиться нормами научной и человеческой этики, и готовых, в страхе за свою шкуру, продать душу за одно лишь существование у научных кормушек. В их числе оказался известный цитолог М. С. Навашин, «обнаруживший» вдруг живое вещество в растениях⁶⁵ и несколько лет публиковавший «доказательства» правоты Лепешинской, выступивший на конференции «По проблеме развития клеточных и неклеточных форм живого вещества в свете теории О. Б. Лепешинской» в 1954 году⁶⁶.

Грамотный онколог Л. М. Шабад тоже сообразил, что ему не повредит заявление о возможности возникновения раковых клеток из «живого вещества Лепешинской»⁶⁷.

Корифеям вторила молодежь. Так, только что закончивший Тимирязевку Жорес Александрович Медведев в большом обзоре по поводу «клеточных форм живой материи»⁶⁸ также высказал в 1953 году восторженные слова в адрес Лепешинской:

«Выдающиеся работы О. Б. Лепешинской, — писал он, — обогатили советскую биологическую науку о развитии клеток и полностью опровергли господствовавшие в цитологии метафизические взгляды»⁶⁹.

Часть исследователей, типа Макарова и Галустяна, которые сначала выступали против Лепешинской, позже сочли за благо стать перевертышами и начали ее прославлять. Но, наверное, наибольшую радость приносили Лепешинской не перебежчики из лагеря науки (во все времена предатели вызывали чувство брезгливости и у тех, кого они предали, и у тех, кому продались, хотя в годы, описываемые мною, нормы морали стали иными), а истинные революционеры, прокладывавшие дорогу в неизведанное, открывавшие новые УДИВИТЕЛЬНЫЕ факты.

В числе таковых прежде всего следовало назвать Г. А. Мелконяна, подтвердившего правоту Лепешинской еще на одной модели. Мелконян поведал в написанной без тени юмора и отнюдь не в предвкушении первого апреля статье,

которую «тиснул» солидный редакционный совет журнала Академии наук СССР «Успехи современной биологии»⁷⁰, что если извлечь из кости, пролежавшей несколько лет в формалине, ленточного червя – эхинококка (как только он туда попал?!), то из него может развиваться, в полном соответствии с открытым Лепешинской законом перехода неживого в живое, – новая, живая, растущая кость. Из червя – кость!

«Факты упрямая вещь, – писал Г. А. Мелконян, профессор Ереванского мединститута, – и с ними нельзя не считаться и игнорировать их, иначе и прогресса в науке не может быть... Этому соблазну отрицания и игнорирования чуть было не поддались и мы..., когда, заметив факт образования костной ткани в банке вместо хранимого в ней музейного препарата, сочли вначале это озорничеством со стороны кого-либо из больных, подменивших препарат костями... Только более трезвое обсуждение... нас остановило от решения выбросить банку с костями и искать виновника «озорничества»... Вскоре в той же банке и в той же жидкости (в формалине! – В. С.) после извлечения всех костей стали вновь образовываться все новые и новые кости, что дало нам право уверовать в достоверность наблюдаемого факта»⁷¹.

Статья Мелконяна наделала так много шума, что любой лысенкоист на его месте ходил бы гордым из-за внимания к его персоне. И не беда, что большинство серьезных биологов и медиков рассматривало его работу как безумную! Много они понимают! Зато внимание такое живое!

Отличился и кишиневский ученый Н. Н. Кузнецов – доцент мединститута. Он вшивал в полость собак и кошек куски брюшины, взятые из области слепой кишки крупного рогатого скота. Перед вшиванием будущий трансплантат убивали – обрабатывали водным раствором формалина, 70%-м спиртом, затем стерилизовали в автоклаве и высушивали. Тем не менее это не помешало автору обнаружить интересную особенность:

«Несмотря на продолжительное хранение брюшины в водном растворе формалина, она сохраняет... полную жизнеспособность, ... в ней возникают новые сосуды, которые через анастомозы переходят в сосуды подслизистой оболочки»⁷².

Его опыты по предложению тогдашнего вице-президента АМН СССР Н. Н. Жукова-Вережникова* одобрила специаль-

* Николай Николаевич Жуков-Вережников с особой теплотой оберегал Лепешинскую от нападков. Санитарный врач по образова-

ная конференция этой академии, отметившая в своем решении «важное значение биологической стабилизации чужеродной ткани... в чужеродном организме»⁷³ (не зря, видимо, ходила в те годы такая шутовская расшифровка аббревиатуры АМН – «Академия»).

М. М. Невядомский пришел к иному «открытию»: он обнаружил, что вирусы (то есть бесклеточные образования) способны превращаться в своеобразные клетки, названные им «лимфоцитоподобными». Давая характеристику таким «клеткам», новатор писал:

«Она круглая, в ней нет *никакой* структуры и нет цитоплазмы»⁷⁴,

оставляя читателей в неведении, что же это за клетки без цитоплазмы и структуры и чем они походят на лимфоциты.

нию, он быстро выдвинулся в организаторы здравоохранения на высшем уровне в качестве специалиста по особо опасным инфекциям (позже он с легкостью переделался в эксперты по генетике Человека!). Был он и вице-президентом АМН СССР и заместителем министра здравоохранения СССР. В кругах биологов и медиков был «славен» глубокой невежественностью. Вот некоторые из его одиозных «достижений». Во время корейской войны 1950 – 1953 годов под его руководством были собраны смехотворные по смыслу «доказательства» применения американской армией бактериологического оружия, осмеянные во всем мире и никогда далее не упоминавшиеся в СССР. Позже он доложил советскому правительству телеграфом из Сибири, что под его руководством там успешно ликвидирован очаг заболевания чумой. Его телеграфный рапорт опередил самого борца с «чумой», ехавшего поездом. За это время стало известно, что никакой чумы в Сибири не было, а произошла вспышка туляремии (этот просчет стоил Жукову-Вережникову поста замминистра). Затем он ввел в Государственный план научно-исследовательских работ СССР проблему под следующим названием: «Исправление испорченной генетической информации у человека путем направленного воздействия на испорченные гены». В те годы это даже фанфаронством назвать было нельзя, ибо не существовало решительно никаких путей для разработки такой проблемы. Но Жуков-Вережников, не понимая ничего в научных основах того, что он предлагал правительству, свободно вписывал эту задачу для выполнения научными учреждениями страны. Материалы в поддержку Лепешинской ему обычно «подсовывал» зам. директора Института экспериментальной медицины АМН СССР И. Н. Майский, фигура которого была не менее анекдотичной (кстати, он в свое время решил себя приукрасить и сменил фамилию Дураков на Майский).

Чудеса на этом не кончались. По мнению Невядомского, из этих образований и возникали раковые опухоли.

Еще более захватывающее дух открытие сделала доцент Ростовского государственного университета Ф. Н. Кучерова, заведовавшая кафедрой гистологии. Она растирала – что бы вы думали? – перламутровые пуговицы. Порошок вводила в организм животных. И наблюдала: из порошка ВОЗНИКАЛО ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО.

– А что особенного? – объясняла доцент Кучерова, – перламутр-то из раковин добывают, а раковины ведь раньше живыми были! Вот они и сохранили свойства живого.

И защитила на этом материале Ф. Н. Кучерова кандидатскую диссертацию⁷⁵. И положенный диплом ВАК ей вручил!

По-видимому, Кучерову считали в университете перспективным педагогом, так как, когда кафедру гистологии закрыли, ее перевели доцентом... на кафедру физики.

А иркутский «биолог» В. Г. Шипачев издал книгу под будоражающим ум материалистическим названием: «Об исторически сложившемся эволюционном пути развития животной клетки в свете новой диалектико-материалистической клеточной теории»⁷⁶. Автор сообщал читателям, что, если зашить животным в брюшину семена злаковых растений, а потом, спустя некоторое время, разрезать им живот и исследовать развившиеся в брюшине вокруг инородных тел воспаления (естественно, гнойные), то можно, «без труда», наблюдать, как растительные клетки распадаются, образуют живое вещество Лепешинской, и затем из него формируются нормальные животные (а не растительные!) клетки. Чем не триумф учения Лепешинской!

Правда, выяснялась совсем уж дремучая безграмотность Шипачева. Он, оказывается, не знал элементарных подробностей строения ни клеток животных, ни клеток растений. В корневых волосках растительных эмбрионов (которые, как хорошо известно даже школьникам, являются выростами поверхностных клеток, то есть частями одиночных клеток) Шипачев обнаружил сложное клеточное строение. Известный цитолог В. Я. Александров в изящно написанном памфлете «К вопросу о превращении растительной клетки в животную и обратно»⁷⁷ едко высмеял безграмотного лепешинсковеда.

Но это еще было все впереди. А пока многочисленные последователи Ольги Борисовны развивали ее идеи, которые

она теперь без ложной скромности именовала «учением о живом веществе». Лепешинская называла имена тех, кто ее подтвердил, развил, расширил и углубил.

Не обходила она своим вниманием и старых критиков ее работ, в особенности тех, кто подписал «Письмо 13-ти». Она вставляла в свои книги подобные строки:

«...к сожалению, это была не научная и не дружественная критика, она не принесла пользы ни науке, ни читателю, ни автору книги.

В самый тяжелый момент, когда последователи немецкого реакционера, идеалиста в науке Вирхова перешли к аракеевским методам борьбы – к попытке уничтожить учение о живом веществе и происхождении из него клеток и запретили печатать не только мои работы, но даже отчеты о моих работах, ко мне на помощь пришла наша родная партия»⁷⁸.

Многое можно было бы написать о том, как развернулась теперь О. Б. Лепешинская в новой роли – победителя «реакционеров» и как ей все руководство науки шло навстречу. Президент АН СССР С. И. Вавилов, брат замученного в сталинских застенках великого биолога Николая Ивановича Вавилова, видимо, боявшийся послушаться приказа вождя и потому благоволивший к лысенкоистам всех мастей, подписывал такие резолюции:

«...пересмотреть программы и учебники по общей биологии, гистологии, цитологии и другим дисциплинам с целью устранения идеалистических представлений в этих областях знаний»⁷⁹... предложить редакционным коллегиям биологических журналов АН СССР подвергнуть критике защитников вирховианства»⁸⁰.

Аналогичные приказы и распоряжения издали Президент АМН СССР, министры высшего образования*, просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства и чины рангом ниже.

Приказы требуют немедленного включения в преподавание студентам всех биологических, медицинских, сельскохозяйственных и ветеринарных институтов данных и выводов

* 13 августа 1952 года ближайший сотрудник Лысенко В. Н. Столетов, один из организаторов августовской сессии ВАСХНИЛ, ставший в эти годы министром высшего образования СССР, издал приказ № 1338, озаглавленный «О перестройке научной и учебной работы по гистологии, эмбриологии, микробиологии, цитологии и биохимии в свете теории О. Б. Лепешинской о развитии клеточных и неклеточных форм живого вещества.

О. Б. Лепешинской, изменения всех учебников, отмены всего, что хоть в малейшей степени не согласуется с утверждениями лысенкоистов. Теперь на много десятилетий в стране наглухо закрывается дверь перед настоящей наукой и учеными, а на смену им идет «единственно верное учение» – примитивная схоластика лысенковского периода.

Опять пошли массовые увольнения с работы лучших специалистов, чудом сохранившихся в пору чистки сорок восьмого года.

Книги Лепешинской (естественно, с выплатой автору положенных для людей такого ранга гонораров) начали печатать ведущие государственные издательства страны. В ее триумфальный 1950-й год, она выпускает объемистый том, изданный Академией медицинских наук СССР, – «Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме». На следующий год она издает уже в Сельхозгизе книжку под другим названием: «Клетка и ее происхождение», но содержащую в слегка сокращенном виде тот же текст, что и в предыдущей книге. Затем тот же текст повторяется в изданиях ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» («Происхождение клеток из живого вещества», 1951), Госкультпросветиздата («Клетка, ее жизнь и происхождение», 1951)* и даже Воениздата, опубликовавшего в «Библиотечке солдата» «Происхождение клеток». Жаль, что не было в стране специализированного издательства для вахтеров и лифтеров, а то бы и им органы информации взяли донести «живое слово» о достижениях «передовой советской науки».

Конечно, небольшие коррективы, в зависимости от обстановки, в разные издания вносятся. Так, в книжку для «Библиотечки солдата» Лепешинская вставляет, наряду с трафаретно переходящими из книги в книгу страницами, и сведения о том, как хорошо воспринимают ее учение в странах социализма и как «зажимают» ее «труды» в капиталистических странах:

* По свежему следу самой Лепешинской издательство Госкультпросветиздат печатает книгу близкого к Жукову-Вережникову и Майскому человека, Л. А. Калиниченко, «Новое в науке о жизни», неумеренно восхваляющую «революционерку в жизни и науке, истинную патриотку Ольгу Борисовну Лепешинскую» (см. прим. 64).

«Подобная работа могла быть выполнена только в Советской стране, где передовая революционная наука окружена заботами партии и правительства и направляется нашим вождем, дорогим, всеми любимым, величайшим ученым товарищем Сталиным.

В многочисленных письмах, получаемых из стран народной демократии и Китайской Народной Республики, видно, что новая теория встречена с большим интересом. Во всех этих странах переводится и издается книга «Происхождение клеток из живого вещества».

Как сообщает профессор университета в Брно Ф. Герчик, в различных лабораториях Чехословакии – в Праге, Братиславе и Брно – с успехом удалось повторить наши эксперименты с яйцами птиц и гидрами.

Совсем не то наблюдается в капиталистических странах. Фашиствующие мракобесы от науки не только в США, но и Англии, Франции, Бельгии, Италии и в других странах умышленно замалчивают выдвинутые советскими учеными проблемы биологической науки. Однако и через железные занавесы, искусственно создаваемые в странах, где над всем царствует доллар, просачиваются сведения о новом открытии советской науки.

Весьма характерно полученное из Вашингтона письмо зубного врача Икс. Он пишет:

«У нас, в Америке, империалисты стараются разложить атом, чтобы убивать людей. Вы же в своих работах, наоборот, если можно так выразиться, «складываете» атом во имя жизни, на благо человечества. Такие работы могут быть только в Советской стране»⁸¹

По всей стране в эти годы шел кинофильм «Суд чести», прославлявший О. Б. Лепешинскую и клеймивший ее «беспринципных гонителей», за каждым из которых угадывались черты действительно выдающихся отечественных ученых. В театрах шла пьеса «Когда ломаются копья» на ту же тему. Писатель Вадим Сафонов, прославлявший до этого Лысенко (за книгу о нем «Земля в цвету» он даже удостоился Сталинской премии), выпустил в свет книгу «Первооткрыватели», в которой отдельная глава – «Бесстрашие» – была посвящена Лепешинской. Главу открывали строки:

«Прекрасна и поучительна жизнь Ольги Борисовны Лепешинской, старого большевика, гражданина города Москвы, замечательного ученого нашей страны»⁸².

А некий А. Н. Студитский, прославившийся своей статьей о вредительской сущности генетиков «Мухолобы-человеконенавистники», опубликованной в «Огоньке» сразу после августовской сессии ВАСХНИЛ, человек неизвестно за что

удостоенный звания профессора и работавший то в редакции «Правды», то в аппарате ЦК, уверял, что

«...учение О. Б. Лепешинской вошло в сокровищницу отечественной и мировой науки окончательно и бесповоротно»,

и с полным пониманием сути вопроса продолжал:

«Таков важнейший результат направляющего влияния коммунистической партии... на развитие биологической науки».

Лепешинская, как и многие другие лысенкоисты, стала и государственным деятелем: ее избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. Ее ввели в состав многих важных комиссий, сделали членом ученых советов. Не стояла на месте и ее «научная» мысль.

ПРОБЛЕМА ДОЛГОЛЕТИЯ

«Общее у всех этих господ: во-первых, «червяк», во-вторых, то, что на «жизненном пире» для них не случилось места, и, в-третьих, необыкновенная размашистость натуры».

М. Е. Салтыков-Щедрин.
Талантливые натуры

Лепешинская готовила новую сенсацию. Ей не давал покоя вопрос, немаловажный для людей ее возраста, – как избежать старости?

«В капиталистических странах, – сообщает она при большом стечении народа на публичной лекции в Большом лектории Политехнического музея в Москве в 1953 году, – неблагоприятные общественные и бытовые условия ускоряют наступление преждевременной старости у трудящихся, которые работают до полного изнурения, переутомляются, питаются плохо, отравляются всевозможными ядовитыми веществами на производстве из-за отсутствия надлежащей охраны труда. Невозможно быть здоровым и долго жить в подобных тяжелых материальных условиях, постоянно испытывая страх за завтрашний день, особенно в гнетущей обстановке военной истерии. Избежать преждевременного наступления старости и смерти, надеяться на продление жизни в капиталистических странах нельзя»⁸⁴.

Совсем иначе, по ее убеждению, обстоит дело в СССР. Лепешинская перечисляет, как и подобает истинному ученому, группу причин, способствующих продлению жизни у граждан СССР:

- «1) охрана материнства и младенчества,
- 2) развитие сети детских учреждений,
- 3) предоставление отпуска, узаконенного Сталинской Конституцией,
- 4) развитие физкультуры и спорта,
- 5) правильно поставленная гигиена и охрана труда,
- 6) санитарное просвещение»,

и, наконец, еще один немаловажный фактор:

- «7) смех и веселье, оздоравливающие организм, постоянно присутствующие в жизни советских людей!»⁸⁵

Чтобы доказать, насколько правильна и животрепещуща проблема смеха, Лепешинская обращается к уважаемым авторитетам:

«Гуфеланд пишет: что «ни один ленивец не достиг глубокой старости; достигшие ее вели деятельный образ жизни». По его мнению, «из всех телесных движений, потрясающих тело и душу вместе, смех есть самое здоровое; он благоприятствует пищеварению, кровообращению, испарению и ободряет жизненную силу во всех органах».⁸⁵

Приводя это глубокомысленное замечание немецкого врача Кристофа Вильгельма Гуфеланда, высказанное им в 1797 году (впрочем, дату Лепешинская, не иначе как из скромности, сообщить забывала), она исчерпывала аргументы в пользу смеха как фактора долголетия и бодрствования души. «С этим нельзя не согласиться», – просто резюмировала оптимистичная старушка (в 1953 году ей шел 83-й год!).

Объяснения преимуществ советского строя перед капиталистическим дают ей основание с оптимизмом смотреть в будущее, особенно учитывая то обстоятельство, которое она никогда не устает повторять:

«В нашей стране ученые имеют неограниченные возможности для своего творчества, опираясь на непосредственную поддержку советского правительства, коммунистической партии и ее гениального вождя товарища Сталина. Они не боятся экспериментировать и знают, что им в их экспериментах будет оказана всякая помощь. Наши ученые, правильно методологически разрешая проблему смерти, сумеют найти эффективные методы борьбы с преждевременной старостью и смертью. Придет время, когда

для каждого советского человека 150 лет не будут еще пределом жизни.

В нашей стране, расцветающей под солнцем Сталинской Конституции, в стране, где каждый поет: „Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек“, – не должно быть преждевременной старости»⁸⁶, –

с понятным каждому патриоту жизнелюбием утверждает Ольга Борисовна и смело идет в бой на новом поприще. Она находит эликсир бодрости и долголетия.

Понятное дело, сначала ей нужно проникнуть умом в суть явлений, что ни говори, но нужно вести себя как подобает настоящему ученому. Итак, надо ответить на вопрос, отчего происходит старение? Ведь со времен Адама и Евы никто так и не смог найти научное решение задачи спасения от того несчастья, которое сами пра-люди (теоретически бессмертные) обрушили на себя, вызвав гнев Бога тем, что вкусили с Древа Познания. По вполне объяснимым причинам не может удовлетворить Лепешинскую и метод Фауста, продавшего Душу дьяволу. Поэтому выход один: смело вперед на штурм новой крепости.

И вот готово очередное открытие.

«Какие же изменения происходят при старении простейших и в сложнопостроенных организмах?

В протоплазме *неклеточной структуры* происходят те же явления гистерезиса, т. е. уплотнения и свертывания белков, затрудняющие обмен веществ, что и в протоплазме клеток. Но в протоплазме клеток более сложно организованных существ процесс старения усложняется; изменяется ядро, оно либо сморщивается (как говорят, пикнотизируется), либо распадается на отдельные части, происходит кариорексиз, т. е. разрыв ядра; значительные изменения происходят в оболочках клеток, которые становятся значительно тоньше и вместе с тем плотнее, что, естественно, затрудняет обмен веществ»⁸⁷.

С виду все заманчиво: ядро разваливается (уж не от обилия ли молекул «в глубине клеток», которые, согласно ее старой «теории» образца 1926 года, «будут находиться в смысле обмена веществ в худшем положении, чем поверхностно лежащие молекулы»?).

Не беда, что громко называемый ею по-научному процесс **КАРИОРЕКСИЗА** никто в нормальных условиях не видел. Кому надо – увидят, дайте только срок!

Остается неясным и то, кому принадлежит доказательство якобы имеющего место при старении ОБЫЧНОГО явления, названного ПИКНОТИЗИРОВАНИЕМ?

Все это покрыто туманом, так как ни ссылок на чужие исследования, ни сколько-нибудь удовлетворительного описания собственных изысканий автор не приводит. Просто надо поверить на слово, что ядра клеток при старении сморщиваются, распадаются на отдельные части (это, видимо, первопричина), затем утоньшаются оболочки клеток, но при этом они и уплотняются. А отсюда и все прочее становится понятным, как дважды два – четыре: обмен-то веществ (этот остаток наукообразия лысенкоисты выкинуть не смеют: сам Энгельс про него толковал!) оказывается из-за уплотнения затруднен. Вот вам и старение – проблема блистательно разрешена!

Но все-таки остаются и временно невыясненные вопросы, и среди них самый главный – что за таинственная причина УПРОЧЕНИЯ оболочек клеток? Ну, допустим, стали они тоньше? Так любимая Лепешинской и всеми лысенкоистами народная мудрость гласит: «Где тоньше, там и рвется». А здесь все наоборот: тоньше, а не рвется!

Оставить этот вопрос без ответа Лепешинская, конечно, не может. Ответ, конечно, хотя и сугубо научен, но достаточно прост:

«Изменение толщины оболочек клеток зависит, несомненно, от изменения степени дисперсности, в результате чего повышается их электрический заряд, способность к химическому реагированию и к обмену веществ».⁸⁸

Естественно, – ни Лепешинская, ни ее сотрудницы сказать, что за «дисперсность оболочек», не могут, исследовать ее не собираются. Точно так же «зарядов» на поверхности несуществующих оболочек они не меряют и «химического реагирования» не определяют. Все это, так сказать, свободный полет мысли. Да и не в этих мелочах главный смысл открытия Лепешинской и ее лаборатории, которым были предоставлены все возможности научного творчества. Создана ТЕОРИЯ, которая

«...надела меня на мысль, что существует теснейшая зависимость между толщиной оболочек, интенсивностью обмена веществ и возрастом»⁸⁹.

Теперь на ее базе можно переходить к практике преодоления старости.

Наверное, читателю не терпится скорее узнать, как она этого достигла. Все опять было просто. Чтобы не стареть, нужно применять самую обыкновенную соду, двууглекислый натрий:

«На основании изложенных теоретических и экспериментальных исследований можно было заключить, что раствор соды вызывает повышение степени дисперсности и гидратации белковых частиц, образующих оболочки животных клеток*, что должно повести за собой усиление обмена веществ, а, следовательно, общей жизнедеятельности организма»⁹⁰.

Итак, теория говорит, что все беды, ведущие к постарению, можно отвести прочь, если применить содовую воду. От теории Лепешинская перешла к практике:

«Проведенные нами опыты привели нас к выводу о том, что соответствующие (1%) растворы соды, будучи тем или иным путем введены в организм, действительно повышают обмен веществ, влияют на весь организм и повышают его общую жизнедеятельность»⁹¹.

Минуя стадию лабораторных разработок, она перешла к следующей стадии научного творчества – экспериментам на животных:

«Нами были поставлены опыты с введением однопроцентного раствора соды непосредственно в организм. С этой целью мы впрыскивали лягушке однопроцентный раствор двууглекислого натрия, предварительно сделав мазок крови, а затем брали кровь из сердца лягушки через 10, 20, 30 и 40 мин. после впрыскивания соды»⁹².

Как же реагировал на это «воздействие» целостный организм? Чтобы понять это, от лягушек (стали ли бы они долгожительницами или нет, установить никак нельзя: после таких вивисекций все они передохли), Лепешинская переходит к «опытам» с куриными яйцами. Вот как она их описывает:

«На 20-й день инкубации, т. е. на один день раньше срока, из подопытных яиц вылупились цыплята; из контрольных яиц цыплята вылупились в обычный срок – на 21-й день.

* Нелишне заметить, что мембраны (то, что Лепешинская упрямо называет оболочками) живых клеток в основном составлены не из белков, а из фосфолипидов.

Подопытные цыплята («содовые») вначале были меньше ростом, чем контрольные, но они резко отличались от последних своей подвижностью и живостью... «содовые» цыплята проявляли необычайную жадность и успевали склевывать не только свою порцию корма из общей посуды, но даже вырывали еду у контрольных цыплят.

Через короткий срок опытные цыплята догнали контрольных в росте, а вскоре и перегнали их»⁹³.

Далее следовала неприятная новость:

«Контрольные куры погибли от ревматизма (частое явление при зимней инкубации цыплят)...».

Но вот он, триумф науки:

«...опытные же выжили и по своей величине были значительно больше обычных кур породы Леггорн»⁹⁴.

Правда, придиры и буквоеды и здесь бы нашли к чему придраться. Раз контрольные куры подошли, то и сравнивать «содовых» кур было не с чем и говорить об их большей величине нельзя. «Опыт» был бездоказательным.

СОДОВЫЕ ВАННЫ В БОРЬБЕ ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ

«Но того, что однажды уже совершилось, никак нельзя сделать несовершившимся».

М. Е. Салтыков-Щедрин.
Неблаговонный анекдот о
г. Юркевиче, или искание розы
без шипов

Пришел черед и для решающей стадии экспериментов: использованию достижений «науки» непосредственно для человека:

«У нас явилась потребность применить полученные экспериментальные данные к практической медицине, что требовало проверки наших исследований в опытах на человеческом организме. Первый пробный опыт я решила провести на себе самой. Опыт заключался в том, что я стала принимать содовые ванны. 50-70 граммов двууглекислой соды растворялось в воде ванны, при температуре 35-36°, продолжительность ванны 15-20 минут.

Принимала я ванны два раза в неделю. Всего было мною принято пятнадцать ванн. Какие же изменения произошли в моем организме под влиянием содовых ванн? Прежде всего было отмечено понижение кислотности мочи до нейтральной реакции. Этот факт свидетельствует о том, что сода через кожу проникает внутрь организма и влияет на химизм мочи. Затем довольно быстро наступило незначительное похудание всего организма, освобождение от излишнего жира, столь обычного в пожилом возрасте, и в особенности жира на животе, что несомненно находится в тесной зависимости от повышения обмена веществ. Существенно отметить, что самочувствие после ванн улучшалось, мышечное утомление сильно снижалось и даже совершенно исчезало»⁹⁵.

Повышением тонуса и похуданием самой Ольги Борисовны дело не кончилось. Она ведь была АКАДЕМИКОМ Академии медицинских наук СССР. Значит, свою задачу она видела не только в том, чтобы разрешить проблему долголетия. Сфера научной деятельности была расширена и было признано целесообразным начать применение соды для лечения разных болезней. По раскладкам Лепешинской выходило, что сода – это мощное лекарственное средство:

«Оказалось, что содовые мази способствуют более быстрому заживлению ран. Содовые ванны оказались также эффективным средством при излечивании некоторых форм такого тяжелого и трудно поддающегося лечению заболевания, как тромбофлебит (воспаление стенок венозных сосудов, сопровождающееся образованием тромб). Некоторые врачи практикуют введение однопроцентного раствора соды при сепсисе (общее заражение крови) и получают хорошие результаты. Следует полагать, что область применения соды как профилактического и медикаментозного средства со временем значительно расширится»⁹⁶.

Вдумаемся в смысл предложения Лепешинской. Она рекомендовала не рот полоскать содой, не раны загноившиеся содовыми растворами отмачивать, не палец нарывающий в теплые содовые ванны опускать, не растворы нужной кислотности и ионной силы готовить с применением соды. Она выставляла соду как панацею от всех бед! Там, где ученые имели уже много путей для лечения, где применялись сложные и обоснованные схемы воздействий на больной организм, чересчур оптимистичная, но безграмотная дама подсовывала страждущим щепотку соды на стакан воды. И люди верили ей. Ведь она выступала не как частное лицо, а как ученый, облеченный высоким доверием самых лучших медиков страны,

избравших ее **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ** членом Академии медицинских наук СССР. Она нещадно эксплуатировала доверительное отношение людей к науке и ученым, ибо всегда было и есть в традиции интеллигентного человека ценить достижения науки, серьезно к ним относиться и пользоваться их результатами в жизни. Спекулируя этим, Лепешинская не знала удержу. Она тщила доказать, что под действием 1%-ной соды даже растения на полях растут лучше, ссылаясь в качестве подтверждения не на данные проверок, а на письмо, опубликованное «одним молодым колхозником-комсомольцем в недавнем номере журнала „Молодой колхозник“, отсылая интересующихся к № 3 этого журнала за 1951 год». Писала она и о получаемых ею якобы письмах, в которых «директора опытных участков, обрабатывавших семена свеклы 1%-ным раствором соды, добились повышения урожая на 37%»⁹⁷.

Сообщая о всех этих случаях благотворного влияния соды, Лепешинская попутно делает еще одно «открытие» – демографическое. И опять ею движет патриотизм. Оказывается, еще до ее научных подвигов дело с долголетием в СССР обстояло гораздо лучше, чем на Западе:

«По данным переписи населения за 1926 год, – утверждает она, – в СССР было зарегистрировано более 29000 людей в возрасте от 100 лет и более, тогда как в других странах число таких долгожителей, по данным довоенной статистики, значительно ниже. Так, в Болгарии людей в возрасте 100 лет и выше насчитывалось 158 человек, в Германии – 86, в Швеции – 58, в Италии – 51, в Норвегии – 35 человек. Наша страна самая богатая по числу долгожителей, и в этом отношении ни одна другая страна не может идти с ней в сравнение.

В настоящее время, по уточненным данным, число долгожителей в СССР было зарегистрировано более 29000 людей в возрасте от 100 лет и более, тогда как в других странах число таких долгожителей, по Союзу перед капиталистическим строем зарубежных стран»⁹⁸.

Как водилось у лысенкоистов, узнать, откуда она почерпнула сообщаемые ею цифры, было нельзя: ссылки на источник отсутствовали. Однако, согласно официальным данным (см. последнее издание Большой Советской Энциклопедии):

«...по данным переписи населения 1970 г., при численности населения СССР 241,7 млн. человек, возраст 100 лет и старше имели 19,3 тыс., что составляет 8 человек на каждые 100 тыс. человек»⁹⁹,

и оставалось гадать, либо данные Лепешинской были взяты с потолка, либо число людей, родившихся до революции (а

только таковыми и могли быть долгожители) и достигших возраста 100 лет и более, в первые годы после революции было еще достаточно велико, а затем долгожители вымирали всё больше и больше, и к 1970 г. их осталось всего лишь 19,3 тыс.!»*

Утверждения об излечении больных, продлении жизни и гигантской прибавке урожаев сельскохозяйственных культур вызвали всеобщее возмущение среди ученых. Большой дискредитации науки придумать было трудно. Как писал Жорес Александрович Медведев, нацело отошедший от своего первоначального отношения к Лепешинской и потративший много сил на развенчание лысенкоизма:

«Результаты этого открытия не замедлили себя ждать – сода временно исчезла из магазинов и аптек, а поликлиники не справлялись с потоком «омоложенных», пострадавших от наивной веры в целебную силу благообразной старушки, работы которой, по меткому выражению Т. Д. Лысенко, вместе с другими подобными «завоеваниями», прочно легли в фундамент развивающейся материалистической агробиологии»¹⁰¹.

Лепешинская сделала грубую ошибку, что перешла от деклараций и опытов с «бездушными» куриными яйцами к практике на людях. Шарлатанство сразу выплыло наружу и дискредитировало ее.

РАЗВЕНЧАНИЕ ЛЕПЕШИНСКОЙ

«Тогда по всей России восторг был. Во-первых, война кончилась, а во-вторых, мягкость какая-то везде разлилась. Курить на улицах было дозволено, усы, бороды носить».

М. Е. Салтыков-Щедрин.
Пошехонские рассказы

Конец притязаниям Лепешинской на великие открытия наступил вместе с концом всеобщего отца и корифея наук

* Бесплезность всяких ссылок на преимущества той или иной социальной системы в отношении числа долгожителей в демографии хорошо установлена. Как отмечается в БСЭ, «на продолжительность жизни населения наличие нескольких тысяч долгожителей существенного влияния не оказывает»¹⁰⁰. Поэтому пафос Лепешинской в данном вопросе был неуместен.

Сталина, и был этот конец бесславленным. Уже в 1953 году в журнале «Доклады Академии наук СССР» было опубликовано одно из первых экспериментальных опровержений развития клеток из бесклеточного вещества¹⁰². Затем академик АМН СССР В. Н. Орехович и сотрудники его лаборатории провели исследование белков развивающихся куриных эмбрионов и показали с помощью радиоактивных изотопов абсурдность представлений Лепешинской¹⁰³.

Подверглись убедительному развенчанию и идеи Лепешинской о том, что из желточных шаров и гидр, после их растирания, возникают новые клетки. При растирании образовывалась грязная на вид масса, из которой ничего не возникало и не образовывалось. В красивой сказке говорилось, как из пены морской выходила прекрасная Афродита, а в некрасивой сказке о живом веществе от гидр, уничтоженных растиранием в ступках, только и оставалась грязная на вид масса. Никаких клеток не возникало ни из гидр¹⁰⁴, ни из желточных шаров птиц¹⁰⁵.

Конечно, камня на камне не осталось и от «открытия» Мелконяна. Л. Н. Жинкин и В. П. Михайлов доказали, что вся «теория» регенерации костей была сплошным надувательством¹⁰⁶. Раздутый до невероятных размеров мыльный пузырь лепешинковщины лопнул!

Однако после всего этого никакого официального опровержения ошибочности представлений Лепешинской не последовало. В 1957 году она даже попыталась возродить свои идеи¹⁰⁷, после чего на очередной сессии Академии меднаук профессор А. Г. Кнорре поставил публично вопрос о необходимости отмены неверных резолюций, принятых в годы восшествия Лепешинской на «научный Олимп».

Но не тут-то было. Тогдашний академик-секретарь Отделения медико-биологических наук Г. К. Хрущов, сам в свое время немало «потрудившийся» по части курения фимиама Ольге Борисовне, заявил, что он не уверен, что раньше была совершена ошибка, что старые резолюции, по его мнению, правильно нацеливали советских ученых на следование по диалектико-материалистическому пути, а некоторые детали... ну, так с кем не бывает! Дело житейское, привычное. Кто-то ошибается, кто-то доверие не оправдывает полностью, свою ответственность не осознает. Так что же, прикажете каждый раз опровержения писать, старое ворошить, на основы зама-

хиваться? Нет, так не годится! Не зря ведь в хорошей русской пословице говорится: кто старое помянет – тому глаз вон! Опровержения не последовало.

Поступили с Лепешинской иначе. Через несколько лет после смерти Сталина (но еще при ее жизни) упоминания о живом веществе, о возникновении клеток из бесструктурных элементов, о регенерации костных тканей, о медикаментозном и профилактическом значении двууглекислой соды, равно как и об имени автора этих открытий, тихо исчезли со страниц учебников и трактатов*. Нынешние школьники просто не знают, что была такая высокоученая на вид дама со строгим взором из-за круглых очков, академик и лауреат Сталинской премии, лично знавшая и Ленина и Сталина, грозившаяся (или грезившая) «зажечь море», перевернувшая все представления о происхождении жизни, клетках и долголетию, наполнившая свои крикливые опусы оскорблениями в адрес настоящих ученых и немало потрепавшая нервы многим уважаемым ученым

* Нечего говорить, что сама Ольга Борисовна до смерти (в октябре 1963 года) ни с чем не смирилась и ничего не отвергла. В последние годы жизни она увлеклась новой идеей: на огромной даче в Подмоскovie они вместе с дочерью – Ольгой Пантелеймоновной – собирали птичий помет, прокаливали его на железном листе, затем поджигали, золу всыпали в прокипяченную воду, затыкали колбу пробкой и оставляли в тепле. Поскольку им не удавалось добиться полной стерильности (микробиологи из них были аховые), недели через две в колбах появлялся бактериальный или грибной пророст. Мать и дочь были убеждены, что в полном соответствии с «теорией», из неживого вещества, содержавшегося в прокаленном помете, но раньше прошедшем стадию ЖИВОГО вещества, зарождались клетки. Отчеты об этих «открытиях» нигде не печатали, но Ольга Пантелеймоновна до конца дней своих надеялась, что час нового взлета еще наступит. На одной из конференций она попросила слово в прениях и рассказала об этих «опытах». Когда же она услышала в ответ, что ушло то время, когда в правоту подобных «доказательств» верили на слово, она прокричала в запальчивости: «Развитие нашей науки подобно мутным волнам: сегодня на гребне вы, а завтра снова будем мы». Во время этого выступления произошел забавный казус. Она обмолвилась, что живое вещество нельзя убить и при температуре минус 1000°C.

– Помилуйте, – возразили ей, – такой температуры быть не может, так как ниже -273°C ее опустить нельзя, это уже абсолютный нуль.

– Плохо вы учили диалектику, – парировала О. П., – раз есть $+1000^{\circ}\text{C}$, значит обязательно должна быть температура и минус тысяча градусов.

и укоротившая им жизнь. В последнем издании Большой Советской Энциклопедии написано:

«Термин живое вещество предложен в 50-е годы (на самом деле в 30-е годы. – В. С.) советским биологом О. Б. Лепешинской для обозначения неклеточной субстанции, из которой якобы поныне могут формироваться клетки животных, растений и микроорганизмов. В этом значении понятие живого вещества антинаучно»¹⁰⁸.

В другой статье в этой же энциклопедии читаем:

«Представление Лепешинской о неклеточной структуре живого вещества отвергнуто как не получившее подтверждения»¹⁰⁹.

И все-таки пример Лепешинской характерен не тем, что ее имя вычеркнуто из учебников и книг. Не зарвись она чрезмерно, умерь ожесточение, приобрети легкий шарм в общении с коллегами и слабое подобие внешней добропорядочности, а главное – не полезь в опасную авантюру с лечением больных – и она бы преспокойно «расцвела под солнцем сталинской конституции», как расцвели до смерти и расцветают и поныне ее защитники, благодетели и прихлебатели – такие, как недавно скончавшийся Президент Академии медицинских наук СССР академик В. Д. Тимаков, или с почетом отправленный за заслуженную пенсию Президент Академии педагогических наук СССР академик АПН В. Н. Столетов, остающийся председателем Общества связи с соотечественниками за рубежом «Родина», или по сей день работающий заведующим одной из лабораторий Академии наук СССР профессор А. Н. Студитский и многие другие «киты», спокойно занимающие свои посты и сейчас*. Так что конец ее не был закономерным.

* Большинство из тех, кто выдвинулся на спекуляциях вокруг «живого вещества», оказались долгожителями в науке и продолжали (или продолжают поныне) преспокойно удерживаться на верхах. М. Я. Субботин, «наблюдавший» возникновение сперматогониев из живого вещества, которое само, в свою очередь, «развивалось» из продуктов деструкции материнских тканей плаценты, был до смерти (в конце 70-х годов) зав. кафедрой гистологии Новосибирского мединститута и заместителем директора по науке Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения АН СССР; А. Ф. Суханов был проректором и зав. кафедрой Витебского мединститута; Е. Ф. Котовский – проф. каф. гистологии I-го Московского мединститута, а Л. С. Сутулов, наблюдавший *своими глазами* «образо-

А вот взлет ее, напротив, закономерным был и остается. Много факторов способствовало этому взлету. Главную причину замечательно осветил один из руководителей партии и государства В. М. Молотов:

«Научная дискуссия по вопросам биологии была проведена под направляющим влиянием нашей партии. Руководящие идеи товарища Сталина и здесь сыграли решающую роль, открыв новые широкие перспективы в научной и практической работе, –

сказал Молотов в докладе, произнесенном 6 ноября 1948 года по случаю 31-й годовщины октябрьской революции, и добавил:

Дискуссия... подчеркнула творческое значение материалистических принципов для всех областей науки, что должно содействовать ускоренному движению вперед научно-технической работы в нашей стране. Мы должны помнить поставленную товарищем Сталиным перед нашими учеными задачу: „Не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны“¹¹⁰.

Производной от этой причиной, определившей закономерность взлета Лепешинской, было то, что в условиях диктата все научные выводы должны были подгоняться под господствующие идеологические концепции. Вот тут Лепешинская была, что называется, на коне. По ее словам выходило, что содовые ванны или проблема клеточных оболочек всегда были на острие идеологической борьбы и удовлетворяли поставленным требованиям, а взгляды настоящих ученых противоречили им. Те же, кто брался ее критиковать, например, Кольцов или Кизель, были неспособны опускаться до ее уровня. Они разбирали *научные* ошибки Лепешинской и в результате проигрывали в глазах партийных функционеров, не интересовавшихся деталями научных споров, но зорко бдивших «чистоту» идеологической фразеологии.

вание многоядерных клеток из бесструктурного неклеточного вещества», не только не был развенчан как шарлатан, но так и оставался несколько десятилетий ректором Рязанского мединститута и депутатом Верховного Совета РСФСР. Не была омрачена никакими неприятностями и карьера Н. И. Зазыбина – зав. каф. гистологии Киевского мединститута и Л. И. Фалина – зав. каф. сначала Смоленского, а затем Московского стоматологического институтов. Много лет он был членом ВАК и в этом качестве разпоряжался, присуждать или нет степени кандидатов и докторов меднаук. Все вышеперечисленные люди начинали свою карьеру с работ по живому веществу, на них выдвинулись в ученые, ничего существенного в науке позже не сделал.

Все «великие перевороты» в науке, утвеждавшиеся пропагандой в умах российских обывателей, были сродни ожиданию чуда. Но только чудеса и требовались в политической атмосфере гомеостатичной закрытой системы, каковой стало государство тех лет. Гомеостатичность обуславливала невозможность постановки реальных задач, возникающих в нормально развивающемся обществе, а посему задачи, выдвигавшиеся в закрытом и статичном государстве, были сродни прекрасным сказкам, а их решение требовало чудес (естественно, неисполнимых на практике). Отсюда вытекало, что для руководителей общества боязнь реальных перемен, косность (в условиях косности экономической и политической) стала превалирующим свойством. Поэтому настоящие ученые, которые трудились во имя прогресса, призывали к изменениям и требовали их, подвергались критике. А таким, как Лепешинская, прогресс был противопоказан. Они заменяли его болтовней, чехардой пустых обещаний и сулили властям золотые горы от внедрения мифических пустяковин.

Разве Лепешинская, предлагая свой рецепт долголетия, требовала что-то ломать или создавать? Ничуть нет. Она и была на то, чтобы обойтись без перемен. По ее раскладкам не надо было строить новые технологические линии для выпуска сложных лекарств или изменять условия труда рабочих и служащих. Достаточно было купить в лавочке питьевую соду, бросить щепотку ее в ванну, да еще не переставать радоваться жизни и веселиться в меру.

Но все-таки от Лысенок и Лепешинских требовалась некоторая гибкость в поведении. Они, конечно, должны были поставлять оптимистические обещания, широковещательно уверять в скорых победах, но и не подставлять себя (и руководство) под удар. В последнем случае старые заслуги в счет не шли. И вот тут личные свойства Лепешинской, ее чрезмерная тяга к областям, где просчеты стали широко известными, а возможность переложения вины на «врагов» отсутствовала, так же, как старческая заскорузлость и нехватка «идей», не позволили ей удержаться надолго, как это имело место с Лысенко. Последний оказался более гибким и пресупевал (после падения Лепешинской) еще 15 лет!

Показательным был пример Лепешинской и еще в одном отношении. Она продемонстрировала, что в соответствующих условиях люди, неспособные к научной работе, но ловкие в

политиканстве, умело организуют травлю настоящих ученых, мстят им за критику, за талант, ошельмовывают их. Вокруг таких людей начинается склока, в обстановке которой они (а не по-настоящему творческие люди, одержимые научным поиском) чувствуют себя как хищные рыбы в мутной воде. А как только склока разгорается, живая творческая работа начинает хиреть, и институт или лаборатория превращаются в грязное болото, в котором грызутся между собой проходимцы разных мастей, но уже не остается места для творческих личностей.

«ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ» ЛЫСЕНКО

«Нет положения более горького и неловкого, как положение вчерашнего триумфатора, переставшего быть триумфатором нынешним».

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Хищники».

В заключение рассказа о столпе лысенкоизма периода максимального расцвета этого направления в СССР хочу вспомнить эпизод, произошедший в конце 1957 года.

В течение почти 10 лет, начиная с 1948 года, в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, как и во всех других вузах страны, преподавание генетики было строжайше запрещено. Упоминание о хромосомах, генах, геномах исчезло начисто из лекций и учебников. Даже произнести вслух слово «ген» было небезопасно. Но, вместе с тем, в Тимирязевке было много преподавателей с солидными биологическими и агрономическими знаниями, в Академии работали многие питомцы школы Д. Н. Прянишникова, серьезные селекционеры (такие, как давнишний противник Лысенко академик П. Н. Константинов), физиологи растений. И именно ученый совет Тимирязевки, несмотря на почти десятилетнее главенство в ректорате лысенкоистов под руководством Столетова и других ставленников Лысенко, был в подавляющем большинстве своем в оппозиции к нему. Хотя Лысенко оставался заведующим кафедрой селекции зерновых культур агрономического факультета и вел курс лекций для небольшого числа студентов-селекционеров, он предпочитал не

появляться на ученых советах, избегал встречи со студентами вне его лекционного курса.

А, начиная с 1954 года, через год после смерти Сталина, все большее число профессоров, в особенности на общетеоретических курсах (которые должны были слушать студенты всех факультетов обязательно), начали, в первое время без упоминания имени Лысенко, а затем в открытую, критиковать его позиции.

Конечно, это не могло не будоражить мысль студентов. Среди нас в это время – и после лекций, и во время семинаров – начали вспыхивать дискуссии, во время которых выходцы из крестьянских семей, как правило, стояли за Лысенко. Им казалось, что Лысенко – сын крестьянина – был ближе к земле. Его громкие декларации – увеличить урожайность, жирность молока и т. п. были исконно понятнее интересам детей колхозников. Они полагали, что сложные выкладки настоящих профессоров, по своей внешней форме не так много обещающие, не дадут столько выгоды простому колхознику и вообще не к тому направлены.

Эти споры, порой весьма ожесточенные, стали возникать особенно часто на заседаниях студенческих научных кружков, активно работавших при большинстве крупных кафедр в Тимирязевке. Именно в кружках НСО (Научного студенческого общества) происходило первое приобщение студентов к настоящей науке, а не к схоластике лысенкоизма.

Вся эта, в основном тихая и постепенная, борьба с лысенкоизмом превратилась к 1956 году в войну довольно открытую. С 1957 года по решению бюро НСО Тимирязевки мы решили пригласить с лекциями видных генетиков.

Первую лекцию согласился прочесть Владимир Владимирович Сахаров. Но, когда он приехал, в Большой химической лаборатории, рассчитанной на несколько сот человек, оказалось мало слушателей. Приглашал Сахарова от имени НСО я, и мне было так неудобно, что я готов был сквозь землю провалиться. И тут меня осенило. Я бросился в библиотеку и выкрикнул в читальном зале: «Братцы, в Химичке живой морганист выступает!». Не прошло и пяти минут, как студенты, побросав все книги и тетради, заполнили до отказа аудиторию: еще бы, в Химичке – и вдруг «живой морганист». Владимир Владимирович часто потом со смехом вспоминал эту мою выходку.

Лекция Сахарова, чуждого какой-либо помпы, полемики с «врагами науки и народа», была наполнена строгими и хорошо документированными доказательствами настоящей науки, а не примитивного опытничества, и произвела фурор. Часа полтора докладчика засыпали вопросами, поначалу настороженными и несмелыми, а затем все более и более острыми, антилысенковскими. Студенты долго не расходились, «прижав» Сахарова к доске, а потом гурьбой пошли провожать его. Это был настоящий праздник для студентов. На молодые, пытливые умы обрушилась прежде не знакомая информация, требующая знаний в той области, которую от них скрывали.

Вслед за Сахаровым выступили В. В. Хвостова, А. Р. Жебрак и другие генетики. Неожиданно приехал из Швеции Оке Густафсон и произнес прекрасную речь о практическом значении генетики...

Ситуация для лысенкоистов становилась неудобной, и потому ректорат решил устроить лекции сторонников другого лагеря. Некоторые студенты из группы селекционеров, близкие к Лысенко, также на этом настаивали.

Сначала к студентам приехал В. Н. Столетов (работавший тогда министром высшего образования СССР), а затем в Большой химической аудитории 22 ноября 1957 года выступил сам Лысенко с лекцией «Основные положения мичуринской биологии».

Но обстановка была уже не такая безоблачная, на которую рассчитывал Лысенко. После лекции посыпались записки с вопросами. Многие из них были довольно-таки ядовитыми. Спрашивали и о превращении пенок в кукушек, и о «питательности» навозо-минеральных смесей, и о многом другом, да еще в такой форме, которая не могла не раздражать академика.

Лысенко прочел несколько записок из выросшей перед ним на кафедре горы бумажек и вдруг заявил:

– Больше на писанные записки отвечать не буду. Задавайте вопросы устно, тогда отвечу.

Конечно, он рассчитывал, что число молодых людей, которые решатся задать ему в лицо неприятные для него вопросы, резко сократится. Но все-таки кое-кто «побеспокоил» академика и вопросами с места. На один из вопросов, почему не все рекомендации мичуринской науки оказались жизнен-

ными, он начал кричать в зал, что это клевета, что все их выводы по сто раз перепроверяются, прежде чем рекомендуются в практику. И тогда я спросил его:

– А как же с рекомендациями относительно Лепешинской и Бошняна? Ведь вы активно их пропагандировали!

Лысенко, уже знавший меня по прошлым спорам с ним, зло усмехнулся и заявил:

– Неправда, я лично никогда не выступал за Лепешинскую, ни тем более за Бошняна. Я в медицине не специалист. Поэтому судьей их опытов я быть не мог и не был. А говорил я только об общебиологическом значении работ Лепешинской. Про Бошняна я вообще никогда не говорил, – возразил Лысенко, фактически отказавшись от собственных панегириков в адрес Ольги Борисовны.

С этими словами он повернулся и вышел из аудитории. Видно, вопрос Лепешинской переполнил чашу его терпения.

Москва

1980 – 1985

Автор глубоко признателен профессору Л. И. К. за предоставление многих материалов и ссылок, а также писателям Г. Н. Владимову, И. Л. Лиснянской и С. И. Липкину за критические замечания по рукописи.

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ

⁵⁵ См., напр., Т. Д. Лысенко. Новое в науке о биологическом виде. Сельхозгиз, 1952, стр. 24-28. Эта брошюра вышла еще двумя отдельными изданиями. Она же была включена в несколько изданий его книги «Агробиология».

⁵⁶ Там же, стр. 26-28.

⁵⁷ М. Г. Туманян. Об экспериментальном получении мягких пшениц из твердых, журнал «Агробиология», 1941, № 2, стр. 13-18; В. К. Карапетян. Изменение природы твердых пшениц в мягкие, журнал «Агробиология», 1948, № 4, стр. 5-21, его же: Изменение твердой пшеницы в мягкую, 1948, № 6, стр. 18-30; С. К. Карапетян (однофамилец В. К. Карапетяна), журнал «Агробиология», 1952, № 5; А. А. Авакян, выступление на сессии ВАСХНИЛ, в кн.: О положении в биологической науке, Сельхозгиз, 1948; В. С. Дмитриев, О первоисточнике происхождения плоскосеменной вики, журнал «Агробиология», 1952,

№ 1, его же: О первоисточниках некоторых сорных растений, «Журнал общей биологии», 1952, т. 14, № 1, стр. 41-70.

⁵⁸ Т. Д. Лысенко, см. прим. 55, стр. 24-25.

⁵⁹ Там же, стр. 28.

⁶⁰ И. И. Пузанов. «Астронавт», поэма в трех песнях с прологом, машинописный экземпляр, примерно 1957 год.

⁶¹ Г. М. Бошнян. О природе вирусов и микробов. М., Медгиз, 1949.

⁶² О. Б. Лепешинская, см. прим. 1, стр. 36.

⁶³ Там же, стр. 37; тот же текст приведен дословно в других работах Лепешинской.

⁶⁴ Н. Н. Жуков-Вережников, И. Н. Майский и Л. А. Калининко. О неклеточных формах жизни. Журнал ЦК ВКП(б) «Большевик», 1950, № 16; см. также: Л. А. Калининко. Новое в науке о жизни. М., Госкультпросветиздат, 1953.

⁶⁵ М. С. Навашин, Е. Н. Герасимова-Навашина, М. С. Яковлев. О роли неклеточного живого вещества в процессе воспроизведения у растений. Изв. АН СССР, сер. биолог., 1952, № 2.

⁶⁶ М. С. Навашин. О живом веществе при процессе воспроизведения у растений. В сборнике: «Новые данные по проблеме развития клеточных и неклеточных форм живого вещества». М., Издат. мед. лит-ры, 1954, стр. 49.

⁶⁷ Л. М. Шабад. О некоторых данных экспериментальной онкологии в свете учения о живом веществе. В сб.: «Новые данные по проблеме развития клеточных и неклеточных форм живого вещества». М., Издат. мед. лит-ры, стр. 185 – 190.

⁶⁸ Ж. А. Медведев. Биохимические закономерности роста, старения и обновления клеточных форм живой материи. «Успехи совр. биол.», 1953, т. 35, вып. 3, стр. 338 – 356.

⁶⁹ Там же, стр. 338.

⁷⁰ Г. А. Мелконян. О возможности остеогенеза вне организма после анабиоза костных клеток. «Успехи совр. биол.», 1951, т. 30, вып. 2(5), стр. 309 – 311.

⁷¹ Там же, стр. 309.

⁷² Сборник «Новые данные по проблеме развития клеточных и неклеточных форм живого вещества». М., Медгиз, 1954, стр. 151 – 157.

⁷³ Там же.

⁷⁴ См. прим. 51.

⁷⁵ Ф. Н. Кучерова. Автореферат кандидатской диссертации. См. также ее статью «Управление эмбриональным развитием животных путем воздействий через материнский организм», журнал «Успехи современной биологии», 1950, том 29, вып. 1, стр. 145 – 160.

⁷⁶ В. Г. Шипачев. Об исторически сложившемся эволюционном пути развития животной клетки в свете новой диалектико-материали-

- стической клеточной теории. Иркутск, Иркутское обл. издат., 1954.
- ⁷⁷ В. Я. Александров. К вопросу о превращении растительной клетки в животную и обратно. «Ботанический журн.», 1955, т. 40, № 2.
- ⁷⁸ О. Б. Лепешинская, см. прим. 1, стр. 3.
- ⁷⁹ Постановление Президиума АН СССР от 7. 6. 1950 г., пункт 3, опубликовано в журнале «Известия АН СССР», сер. биол., 1950, № 5.
- ⁸⁰ Там же, пункт 7.
- ⁸¹ О. Б. Лепешинская. Происхождение клеток. М., Воениздат, 1952, стр. 75.
- ⁸² В. Сафонов. Первооткрыватели. Глава «Бесстрашие». М., изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1951, стр. 345.
- ⁸³ О. Б. Лепешинская. О жизни, старости и долголетию. М., изд. «Знание», серия III, 1953, № 1.
- ⁸⁴ Там же, стр. 46.
- ⁸⁵ Там же, стр. 47.
- ⁸⁶ Там же, стр. 48.
- ⁸⁷ Там же, стр. 15.
- ⁸⁸ Там же, стр. 35.
- ⁸⁹ Там же.
- ⁹⁰ Там же, стр. 37.
- ⁹¹ Там же, стр. 41.
- ⁹² Там же, стр. 37.
- ⁹³ Там же, стр. 40-41.
- ⁹⁴ Там же, стр. 41.
- ⁹⁵ Там же.
- ⁹⁶ Там же, стр. 42.
- ⁹⁷ Там же.
- ⁹⁸ Там же, стр. 18-19.
- ⁹⁹ Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд., том 21, 1975, стр. 34.
- ¹⁰⁰ Там же, стр. 34.
- ¹⁰¹ Ж. А. Медведев, см. прим. 30, стр. 382.
- ¹⁰² Т. И. Фалеева. Цитоморфологические данные о процессах созревания и оплодотворения яйцеклетки осетра и севрюги. Докл. АН СССР, 1953, т. 91, № 1.
- ¹⁰³ В. Н. Орехович, М. И. Левянт и Левчук-Курохтина. Включение меченых аминокислот в белки развивающегося куриного яйца. «Биохимия», 1954, т. 19, № 5.
- ¹⁰⁴ См., напр., В. Е. Козлов и П. В. Макаров. О природе формообразовательных процессов в веществе, выделенном из клеток гидры. «Вестник Ленинградского университета», 1954, сер. биол., геогр. и геолог., т. 7.
- ¹⁰⁵ А. Г. Кнорре. Морфологические особенности элементов желтка куриного яйца. Доклады АН СССР, 1955, т. 103, № 1; Г. И. Роскин. Желточные шары. К вопросу об их свойствах, строении и методах их исследования. «Известия АН СССР», сер. биол., 1955, № 4.

¹⁰⁶ Л. Н. Жинкин, В. П. Михайлов. «Новая клеточная теория» и ее фактическое обоснование. «Успехи совр. биол.», 1955, т. 39, вып. 2, стр. 288 – 244.

¹⁰⁷ О. Б. Лепешинская. О понятии живого вещества. Журн. «Вопросы философии», 1957, № 3, стр. 103 – 112; см. также: О. Б. Лепешинская. Из опыта применения соды в животноводстве. Журн. «Животноводство», 1961, № 12 (декабрь), стр. 75 – 77.

¹⁰⁸ Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд., 1972, том 9, стр. 184.

¹⁰⁹ Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд., 1973, том. 14, стр. 345.

¹¹⁰ В. М. Молотов. «31 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции». Доклад на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР. М., Госполитиздат, 1948, стр. 20.

Продажа кассет артистки ВЕРЫ ЕНЮТИНОЙ

Всем, кто любит русскую литературу, кому дорог русский язык, кому трудно самому читать из-за возраста или по состоянию здоровья, – советуем приобрести кассеты артистки Веры Енютинной.

Обширный каталог состоит из 130 кассет.

Детский отдел: Русские народные и современные сказки, сказки Пушкина, Толстого, Мамина-Сибиряка. Библия для малышей. Рассказы из русской истории.

Уроки русского языка для начинающих и иностранцев.

Отдел прозы: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Лесков, Чехов, Куприн, Андреев, Бунин, Набоков, Ремизов.

Поэзия: Все русские поэты, начиная с Баратынского и кончая Пастернаком и Цветаевой.

Для любителей театра: Кассеты с отдельными сценами из пьес Шекспира, Чехова, Островского, Ибсена.

Цена кассеты – 5 ам. долл. плюс пересылка.

Каталог – бесплатно.

Чеки, заказы и вопросы посылайте по адресу:
V. Enyutin, 3, Pillsbury str. Claremont N. H. 03743 USA

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А. И. ОПУЛЬСКОГО

Совсем недавно мне пришло известие из Канады, от супруги профессора Опульского: «Альберт Игнатьевич скончался 25 февраля от неудачного теста ангиографии... Он был еще полон жизненной энергии и планов на будущее и с таким нетерпением ждал выхода в свет своей последней книги...»

В России имя проф. Опульского знал каждый, изучавший творчество Льва Толстого. Но только в эмиграции раскрылась вся правда: Альберт Игнатьевич абсолютно отвергал марксистско-ленинскую ложь. «Побег» его из СССР напоминает путь Аркадия Белинкова, но сопряжен с большими трудностями. Советские власти до конца не могли простить Опульскому, самому крупному, академическому толстоведу – его разоблачений в книге «Вокруг имени Льва Толстого» (США, 1981). Но чекисты радовались, что эту книгу Опульскому пришлось издавать на собственные гроши, а профессор почти потерял зрение, не работал в университете...

Марксистствующие западные структуралисты относились к Опульскому с такой же ненавистью, как и к Аркадию Белинкову, «выдворенному» из университетов... Тем болезненнее воспринимал Опульский резкие выпады против его книги эмигрантов, недавних советских коллег, обвинявших профессора в «реакционной» приверженности идеям русского христианского возрождения. Но, к счастью, труды Опульского публиковали на страницах «Нового Журнала», «Грани», «Голоса Зарубежья». Будем надеяться, что его новые труды будут опубликованы в России, которая раньше или позже освободится от партийной лжи.

Д-р Д. Антонов

Истоки

Александр Х а х у л и н

РУДОЛЬФ ГАЕК

Он был организатором комсомола в Чехословакии. Потом редактировал газету «Руде право», был известен у себя на Родине как стойкий коммунист.

Однажды его пригласили на отдых под Москву, в Ленинские Горки. И вот он отдыхает в Архипелаге ГУЛаг. Одетый в арестантскую форму: черный хлопчатобумажный пиджак, сшитый мешком, и черные же хлопчатобумажные брюки – с целью экономии материала при пошиве, они так заужены, что под ними обрисовываются все мускулы ног. От болезни почек и сердца у Гаека опухли и похожи скорее на слоновые, чем на человеческие, ноги. Он через силу крутит ногой педаль ножного деревянного токарного станка и сквозь разбитые очки все примеривается – и никак не получается у него – правильно поставить резец, чтобы выточить шахматного короля. Норму он не выполняет, и потому часто ему выписывают штрафную пайку хлеба, 300 грамм, причем такого сырого, что хлеб похож на мыло и из него хоть шахматные фигуры лепи, и лишают второго. Жидкую овсяную баланду он выпивает через край котелка и долго потом стоит у раздаточного окна столовой, выпрашивая добавок.

Вместо добавки иногда получает от повара удар черпаком по лбу, и тогда он, что-то бормоча по-чешски, бредет, шаркая слоновыми ногами, и ругает всех на свете и себя.

Ему шестьдесят шесть лет, а расстрел ему заменили двадцатью пятью годами лагеря. Чехословакию он любит и готов пожертвовать для нею жизнью.

– Ну, а как с членством в партии коммунистов? – спрашиваю я его.

– А разве всё еще есть такая партия? – вопросом на вопрос отвечает он.

НОВИЧОК

Его ввели в тот подвал часа через два после меня. Он остановился у дверей и не мог решить, шагать дальше или так и стоять у порога. Камера была забита людьми, и он не видел местечка, где бы мог присесть.

Все мы молча смотрели на него, как смотрели бы на инопланетянина. Уж больно открытое было у него лицо, я бы даже сказал раздетое, совершенно раздетое. Добрые, полные надежды глаза, и весь он как бы говорил:

– Извините, я к вам на минуточку!

Это выражение на его лице было так ясно, что кто-то из угла даже крикнул:

– Мы все тут на минуточку! – и, тяжело вздохнув, высморкался в какую-то грязную тряпицу. Носовых платков нам не полагалось; на них, на носовых платках, если связать несколько вместе, видите ли, оказывается, можно повеситься; а этого нельзя допустить, так как палачи тогда не будут расстреливать и не получат своего садистского удовлетворения.

То, что мы в том подвале были на минуточку, – голая правда. Все в него попадали на очень короткое время, так как были лишены права жить на земле.

Как правило, камера давала новичку оглядеться, освоиться, немного привыкнуть к обстановке и лишь тогда начинались расспросы: «За что? Почему? Как? Когда?»

Но его не надо было спрашивать, не надо было давать ему время и на подготовку, он сам начал свою исповедь:

– Я люблю советскую власть, – сказал он.

– Все мы любим советскую власть, – вразнойой ответила ему камера.

– Я очень любил и люблю Ленина, – проговорил он.

– Все мы любим Ленина, – отвечала камера.

– Я люблю Сталина, – сказал новичок.

Камера безмолвствовала. Только один кто-то и то вполголоса произнёс:

– Все мы... – и поперхнулся молчанием камеры.

– Любовь хороша взаимная! – крикнул тот, кто кричал «Все мы тут на минуточку», и снова высморкался в грязную тряпицу.

– Я готов умереть за Сталина! – добавил новичок для большей убедительности.

– И умрешь! – дружно и громко ответила камера, и в этом ответе была такая неудобоваримая правда, что обреченные на смерть, уже приготовившиеся к ней люди заулыбались. Я не слышал, чтобы кто-то в той камере смеялся вслух, но улыбки видел на лицах многих.

– Меня приговорили к расстрелу как врага, – пожаловался новичок.

– Всех нас приговорили к расстрелу как врагов, – дружно ответили мы...

Кто-то на самой середине камеры потеснился и пригласил новичка присесть по соседству:

– Иди, присаживайся, будем разговаривать о любви к советской власти и к Сталину. Он-то нас так любит, что не хочет, чтобы мы и дальше страдали под его началом.

Осторожно просовывая ноги между сидящими на пути, новичок прошел к позвавшему его и, положив на освобожденный для него пяточок свой мешок, сел на этот мешок.

Вся камера смотрела на него и ждала, что он скажет еще. Но он молчал, оглядываясь вокруг и ища родную себе душу. Души всех в той камере роднила предстоящая насильственная смерть, и они были перед лицом этой смерти одинаковы родны друг другу.

– Я ведь Ленина спасал, – после некоторого молчания проговорил новичок.

Эти слова его «Ленина спасал» заинтересовали всех, и мы ждали, что он скажет еще.

Из его сбившегося рассказа мы поняли следующее:

В поселке Разлив близ Сестрорецка, под Ленинградом есть улица Емельяновых, а наш новичок – старший из братьев Емельяновых, Александр Николаевич.

В 1917 году его отец Николай Александрович Емельянов укрывал Ленина. Дом Емельяновых стоял, он и ныне стоит там, на берегу небольшого озера, которое соединялось с озером Разлив. Одна калитка с улицы вела к ним в сад, вторая из сада выходила прямо к озеру. У этой калитки всегда были привязаны две лодки. На лодках каких-нибудь десять минут плыва до большого озера, а за озером – глухой лес, ни тропок, ни дорожек, один бурелом. Полянки в лесу сдавались под сенокос. Одну полянку, метрах в пятидесяти от берега, и сняли Емельяновы для косаря Ленина.

Ленин сперва жил у них в сарае, на чердаке, где ночью спали все девять детей Емельянова. Старший, Александр, то есть наш новичок, спал под правым боком у Ленина, а второй сын, Николай, – под левым боком.

Потом Ленина переселили за озеро. Опекать вождя революции за озером было поручено нашему новичку...

– А за что же тебя судили, милоч? – раздалась недоумевающая голоса.

– А вот за это и судили, за Ленина. За него и приговорили к расстрелу.

– Так ты что же, не уберег его? Вроде как он жил после того?

– Как то есть не уберег? Уберег!...

Мы не верили своим ушам. По личному своему, не чужому, а собственному своему опыту, мы уже твердо знали, что чекисты, как кровососы, жаждут крови и потому приговаривают к расстрелу совершенно невинных, ни в чем даже не запятнанных людей. Но тут дело было связано с самим Лениным. Казалось, что или советская власть сошла с ума и ее суды давно уже не советские, или новичок говорил неправду...

По прошествии пяти или шести дней новичка вывели на расстрел. В коридоре камеры, на глазах у всех нас, когда двери еще были настежь раскрыты, сунули в рот ему резиновую грушу и повели, подталкивая под бока кулаками, а под зад пинками...

Прошло пятнадцать лет. Я приехал в Разлив, чтобы встретиться с родными Александра Емельянова и рассказать им о нем – это было обязанностью каждого, кто избежал расстрела: рассказать родным о товарище. Я нашел дом Емельяновых, поднялся по деревянным ступеням на крыльцо и нажал на кнопку звонка. Дверь открыла мне еще не старая, но совершенно седая женщина, с двумя очень глубокими, словно овраги, морщинами на лбу. Это была жена Александра Николаевича.

Когда я сказал, что пятнадцать лет назад сидел в одной камере смертников с ее мужем, она засуетилась и не знала, куда меня посадить, чем угостить. Но, когда я рассказал, как вывели его на расстрел и расстреляли, сковородка с глазуньей, которую она несла от плиты к столу, выпала у нее из рук, глаза ее недоверчиво округлились:

– Ка-ак? – проговорила она, глядя на меня широкими уставшими от жизни глазами. – Вы говорите неправду... Моего мужа не расстреляли... Он сейчас на рыбалке.

Через час я уже плыл на катере по огромному, без конца и без края озеру, заросшему камышом и кугой. Как только миновали островки, я сразу же увидел одинокую сторбленную фигурку рыбака и уже по ней, по фигурке, издали, не узнал, а почему-то понял, что это именно он – Александр Николаевич.

Это действительно был он. Высадившись на берег около музея, я бегом направился к нему.

В высоких болотных сапогах он стоял в воде и внимательно следил за поплавками. Я тяжело дышал и не знал, с чего начать разговор. Чтобы перевести дух, я уселся на едва выступавший из песка пень и смотрел рыбаку в спину. Уже не помню, что я сказал ему, но он досадливо зашикал на меня, мол, не мешай, не пугай рыбу.

Вдруг налетел ветер, сорвал с головы Александра Николаевича фуражку, она упала в воду метрах в трех от берега и закачалась на внезапно поднявшихся волнах. Я бросился в воду в чем был и достал фуражку. Подавая ее, спросил:

– Вы что, не узнаете меня, Александр Николаевич?

Вопрос был наивен. Разве можно узнать человека, с которым провел вместе пять-шесть дней в полутемном подвале-камере, где и лица друг друга нельзя было как следует рассмотреть? Да он, возможно, и не видел меня в той духоте и темноте. Пришло объясниться. Он вспомнил все, о чем я говорил ему, но никак не мог вспомнить меня. И все же мы обнялись и расцеловались.

Минут через десять мы уже сидели у костра, над которым висел на перекладине из прутьев старинный медный котелок с ухой. Александр Николаевич поворачивал мокрую фуражку то одной, то другой стороной к огню и, прищурив глаза, смотрел через костер, сквозь пелену полупрозрачного дыма от него, на бесконечную даль озера и, видимо, что-то тяжело вспоминал.

Я молча ждал, зная, что после воспоминаний человека всегда прорывает на рассказы.

– А тогда фуражка так и уплыла, – наконец проговорил он и, достав портсигар, закурил. Потом отложил фуражку в сторону и начал свой рассказ.

– Вот тут, где мы сейчас сидим с тобой, и был сенокосный участок, о котором я тогда рассказывал вам. У нас была двух-весельная лодка – она сейчас в музее находится, – на этой лодке мы с отцом и перевозили Ленина сюда на его «дачу». А дача эта была всего-навсего шалаш, упирившийся в стог сена.

Ленин требовал очень много газет и читал их запоем. Мы покупали газеты сообща, всей семьей, а отвозить их Ленину всегда почти мне приходилось. Помню, однажды привез ему связку газет, он сразу же уселся читать, сидит на пне, весь углубился в чтение, а я в его шалаш залез, полежать. Взбрело мне в голову из шалаша сделать нору в стог, что за шалашом стоял. Стог только сложен, сено в нем податливое, и я такую нору вымахал, что в ней не только сидеть и лежать, но даже и стоять можно – правда, согнувшись.

Оторвался Ленин от чтения газет, заглянул в шалаш, а меня нет там. Присмотрелся он, а в задней стенке шалаша нора. Залез в эту нору и так обрадовался расширению своей жилплощади, что не знал, как и отблагодарить меня. Оказывается, по ночам ему в шалаше уже холодновато было. Сразу же он и новоселье устроил, что необходимо перетащил из шалаша в нору.

– Это у меня теперь спальня будет, а шалаш – зеленый кабинет, – не то с радостью, не то с грустью пошутил он.

А я был сам не свой от той радости, которая охватила меня от его благодарностей. Уж очень любил я его тогда за рассказы о светлом будущем, о социализме...

Дня за два перед этим привозил я к нему Г. К. Орджоникидзе и Я. М. Свердлова. Это потом я узнал, что они Орджоникидзе и Свердлов, тогда-то я не знал, кто они такие, друзья Ленина и всё. Они доставили ему брошюры и чистые тетради, а от него увезли кипу исписанных. Тогда же они и новую одежду для него привезли, видимо, Ленин уже готовился к бегству из Разлива...

Когда мы вылезли с Лениным из шалаша, он отыскал спрятанную им в стогу одежду и подарил мне из нее новую фуражку.

– Это тебе подарок от меня. Носи на здоровье, – сказал он и похлопал меня по плечу:

– Счастливый ты человек, Александр, прекрасную жизнь увидишь, доживешь до социализма, коммунизм будешь строить. А знаешь ли ты, что такое социализм? Это полная

свобода для всех людей. Ничем и никем не ограниченная свобода! Социализм – это настоящее братство всех народов, это такое изобилие, когда всего будет в таком достатке, что люди ни в чем не будут нуждаться. Все будут довольны, все будут радостны...

Тут Александр Николаевич вдруг замолчал. Правый глаз его задергался, он чувствовал это дерганье и пальцами старался остановить его, но потом махнул рукой, проговорив:

– Это от нервов, от той жизни, которую обещал Ленин. Обманутый этими обещаниями, и пошел народ за ним. Эх, Владимир Ильич! Поднять бы тебя из мавзолея, да показать бы твой истинный социализм. Ужаснулся бы ты всему этому или рассмеялся над одураченным тобою народом?

При этих словах он весь озлобился, сплюнул в сторону, потом вздохнул и, немного помолчав и все подправляя дергающийся глаз пальцами, продолжал:

– Ничего нового из одежды мне тогда носить не приходилось. Сам посуди, отец-то был сам одиннадцатый. Попробуй прокорми да одень такую ораву. Ныне все с голодухи поумирали бы, а тогда бедно, но жили. Доставалась мне одежда от отца. В старье ходил. Потому от ленинского подарка я был на седьмом небе. Очень я дорожил той фуражкой. Только недолго мне ее носить пришлось...

Он подложил в костер дров. Пламя сильнее охватило котелок, и уха в нем закипела, забулькала, выбрасывая брызги. Опробовав уху, он добавил в нее соли, которая была завязана у него в тряпицу, потом еще раз опробовал и продолжал:

– Дня через три после того, как подарил мне Ленин фуражку, собрался я к нему везти газеты. Запрятал их за пазуху и иду к лодке. Уже отвязал свою двухвесельную, когда подошли ко мне трое с удочками. Не спрашивая согласия садятся в лодку и приказывают везти. Дорогой покрикивают на меня, недовольство свое выражают, то будто я плохо гребу, то весла не так в воду опускаю и будто этим знак кому-то подаю...

Дачников тогда у нас много было, многие из них рыбачили, и некоторых мне подвозить приходилось, только тут, думаю, что-то неладное, удочки у них есть, а ни червяков, ни другой какой приманки нет. Значит, для виду они эти удочки взяли. Я тогда не знал, да и никто не знал, что Ленин-то, оказывается, был настоящим немецким шпионом и деньги от их

кайзера громадные получил. Но что временное правительство арестовать его приказало, это я знал. Иначе зачем же ему прятаться?

С Лениным у нас был такой уговор: если всё в порядке, то должен я подъезжать к нему в фуражке, а если что не ладно, то не с покрытой головой. Гляжу я на своих попутчиков и думаю: «Не Ленина ли они удить едут?»

Когда на середину озера выехали и Ленину уже можно было видеть меня с того берега, снял я с головы фуражку и положил ее на свое сиденье, сам же чуть отодвинулся от середины сиденья.

Тот, который сидел ближе ко мне, видать, был старший. Он сразу что-то заподозрил, когда я снял фуражку. Глаз у него наметанный на эти дела, острый. Он приказал мне:

– Надень, парень, фуражку!

– Жарко мне, господин хороший, – ответил я. Сказать это хотел спокойно, но, видимо, перестарался по неопытности. Да и на дворе жарко совсем не было.

– Тебе говорят! – закричал он на меня и напялил фуражку мне на голову. Я снова снял ее, а он опять за свое.

Понял я тогда все окончательно, сорвал фуражку с головы и забросил ее в воду. От оттолкнул меня и сам сел за весла, на мое место, да так быстро начал грести, что лодка понеслась вперед как сумасшедшая.

Вышли они на берег и прямо к ленинскому шалашу бегом. У меня аж сердце в пятки ушло. Я еще не знал, что Ленин ночью с товарищами и с моим отцом ушел со своей «дачи». Ночь была тогда темная, дождь шел, а кругом ведь болота. Рассказывал мне после отец, что сбились они с дороги и пришлось им по пояс в тину проваливаться, пока добрались туда куда нужно...

Словом, на самом тонком волоске жизнь Ленина тогда висела. Появись эти трое на день ранее – и всё.

На другой день я все озеро искатал, искал фуражку, да не нашел.

Пока Александр Николаевич рассказывал мне все это, уха сварилась. Пообедали мы и пошли осматривать ленинскую «дачу».

– Все здесь, – пояснил мне Александр Николаевич, – сделано так, как я говорил строителям этого музея. Сами-то они что могут знать о том, как тут жил Ленин? Ничего. Вот шалаш

бетонный – это они сами построили, без меня. Ну и Бог с ними. Вот только надпись на бетоне – не того. Написано, что будто строили этот шалаш рабочие. Оно, конечно, рабочие. Самито теперешние господа строить не могут, у них ручки белые...

Он отсутствующе, сам того не замечая, стал тереть пальцами правой руки щеку, оставляя на ней красные полосы. Пальцы у него подпрыгивали, как ноги кузнечика. Он низко склонил голову.

На обратном пути в поселок, на катере, он был неразговорчив и какой-то весь съежившийся, жалкий. Стоял, прислонившись спиной к борту катера, и смотрел себе под ноги. Правая бровь его дергалась.

Вернулся из Сибири он совсем недавно, чуть ранее меня, и, видимо, вспоминал все тяготы, пережитые и в заключении и в ссылке.

Уже когда мы вышли на берег у его дома, он вдруг остановился и круто повернулся ко мне. Остановился и я, одновременно, будто нам кто-то скомандовал остановиться. Я не спускал с него глаз, настроение его передавалось и мне. Еще бы! Жизнь свою он не жалел, чтобы укрыть Ленина, и на тебе!

Заговорил он тихо, совсем тихо, как бы про себя:

– Однажды ночью постучали ко мне в дверь. Я выглянул в окно и обмер. Прямо перед моим окном стоял «черный ворон». Из выхлопной трубы его курчавился дымок. Значит, двигатель не заглушили, значит, не долго рассчитывают быть у меня.

– Сразу же и забрали? – спросил я.

– Да, сразу, – подтвердил он, – в чертовом этом чека спросили в упор: «Вез тогда этих трех?» – Вез, – ответил я. Этого было достаточно, чтобы приговорить к расстрелу. Хватились они теперь Ленина оберегать. Били при допросе специально приспособленным для такого битья каким-то мягким шаром с ручкой. Ни синяки, ни ссадины не появлялись, а больно ужасно было. Били и сами боялись. Иначе зачем же это приспособление, чтобы синяков не было? Прячут мерзавцы свои мерзкие концы в воду, всё думают, что народ ничего не понимает. Сами они не понимают того, что делают.

А тогда ночью, когда вывели меня на расстрел из камеры смертников, то завели в какой-то подвал, еще ниже нашего тогдашнего подвала. У стены лужа крови. Поставили в эту лужу, лицом к стене, а сами отошли, курят и посмеиваются. Я

внутренне приготовился к смерти. Стою жду. Затылком вижу что кто-то пришел еще в подвал, подошел к ним, бумага в руке, шелестит ею. Я стою и жду. И не расстреляли меня. Повели в контору. Там объявили о только что пришедшем помиловании за подписью самого Калинина. Кто-то доложил обо мне. Ведь перед тем зачитывали мне постановление об отклонении моей просьбы о помиловании. А может быть, заводили меня в подвал и ставили к стенке, чтобы на нервишках поиграть. Чекисты народ особого склада, им человеческие мучения нужны как воздух... Ну, пойдем в дом почаевничаем.

Расстались мы с ним как и положено. Братьями одной судьбы. На прощанье он все удивлялся:

– Ума не приложу, – говорил он, – как это они сумели окрутить всех нас. А к Ленину любовь у меня раздвоилась. Иногда по ночам не сплю, думаю о нем. Уж больно он искренен был, не похоже, что притворялся паинькой. Неужели верил в свои бредни?

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Андрей Тарковский,
Геннадий Русский,
Ирина Ратушинская**

Поэзия:

**Ирина Муравьева, Алексей Цветков
Новые переводы из Эмили Дикинсон**

Публицистика:

**Димитрий Панин, Адам Михник,
Дора Штурман**

Искусство

Ирина Я н у ш е в с к а я

ЗАПИСКИ О ПЕТЕРБУРГСКОМ ШЕМЯКИНЕ

Невский пронизывающий ветер гуляет ранними морозными утрами по набережным и разметывает зыбкие ночные тени по сугробам вокруг Зимнего дворца. Кутаясь в легкое пальто, бегу утром на работу в Эрмитаж – последний взгляд на Дворцовый мост, Биржу и Ростральные колонны, розовеющие в жемчужном мареве северного зимнего утра. Влетаю в подъезд Зимнего, спешу скинуть пальто и скорей в еще темные, спящие залы. Ничего нет прекраснее дворцовых утр, когда ты одна, еще отсутствует публика и каждая вещь, каждая картина в утренней мгле рассказывают свою историю, и тебя неслышно обступают тени прошлого. Поднимаюсь по Иорданской лестнице и тихо одна пробегаю по темному коридору, увешанному брюссельскими шпалерами, в таинственный Павильонный зал, тихий и грустный, со спящими давно «фонтанами слез» и караулящим тебя красавцем-павлином в стеклянной беседке часов.

Но эта тишина и умиротворенность не надолго, всё это исчезает с появлением шумной ватаги ребят в рабочих халатах. В хозяйственной части Эрмитажа много тогда работало талантливой молодежи – и к старым мастерам поближе, и какое-то подобие заработка на жизнь тоже было не последнее дело, питались и одевались весьма скромно, а нередко и голодали. Среди них были и будущие журналисты, и реставраторы, и искусствоведы и художники. В этой стайке молодежи, возглавляемой грубоватой Фаиной, и появился поздней осенью 1963 года Михаил Шемякин, худенький, вдумчивый юноша, внешне пока ничем не выделявшийся среди своих сверстников, но за его плечами уже была СХШ при Академии Художеств, заявки на свое, новое и оригинальное, споры с учителями и настойчивое изучение старых мастеров. Уже тогда можно было видеть его за копированием – то Пуссена, а то и блестя-

щего «съестного» Кальфа в залах голландского натюрморта и пейзажа. Тогда-то и определились его творческие пристрастия: это ранние итальянцы, Пьеро делла Франческа, Карпаччо, Дж. Беллини и, безусловно, голландцы XVII века – изысканные натюрморты бесчисленных «завтраков» с их омарами, плодами моря и земли, цветами и «рёмерами», обильные антверпенские рынки с лакированными кровью боками мясных туш, которые любил писать Рембрандт. Эта любовь к рембрандтовским тушам проходит через всё творчество Шемякина, воплощаясь и сейчас в его лаконичной по рисунку скульптуре.

Возвращаясь к прошлому, помню худенькую фигурку Миши с длинными волосами, собранными сзади в косичку, засученные рукава старой рубашки, длинный нескладный передник ремесленника гильдии св. Луки и восхитительный запах свежих красок, распространявшийся в зале, где картины стары и давно утратили запах красок и лака. Вот так же пахло лаком и красками в мастерских Пуссена и Кальфа, и ничего не изменилось, и они живы, живут в образе этого худощавого юноши, упорно бьющегося над подчас не дававшейся копией.

А потом ранняя весна 1964 года, когда Шемякин впервые заявил о себе на выставке художников-работников Эрмитажа. Романовская галерея Зимнего дворца, раннее утро, но полно людей в прежде тихой галерее – здесь и свои «эрмитажники», и приглашенные, и просто соглядатаи, якобы следящие за порядком. Шум, споры, порой весьма горячие, общая картина напоминает тревожно гудящий улей, который внезапно как-то распался в одном углу выставки, и я впервые увидела Ревекку, жену Шемякина. Помню, огромные печальные глаза, поразившая меня породистая «габсбургская» нижняя часть лица, черное платье-хламидка, чтобы немного скрыть «интересное» положение, и маленький скромный букетик фиалок на груди (к сожалению, не пармских, а скромных весенних даров холмов Токсова или Комарова). Этот букетик говорил о торжественности сегодняшнего и о радости недалекого будущего, когда в мае этого же года родилась дочь Шемякина Доротея, сейчас ставшая талантливым художником.

Мишу всегда окружало много друзей и знакомых, которые тянулись к нему, чувствуя его необычность и непохожесть, и, как всякий оригинальный и неординарный человек, он увлекал за собой массу людей, нагружая их своими идеями,

свежими мыслями, и эти, в большинстве своем слабые, средние ребята увлеченно следовали за ним, открывая почтенную галерею домашних «пендырей», в чьих обязанностях было хождение в магазин, уход за красками и кистями, палитрой и, конечно же, скромное ученичество.

Из этого времени помню нечаянные радости Миши, когда удавалось вырвать из эрмитажного аутодафе (костра на заднем дворе) какую-нибудь старую гравюру с обожженными краями, кусочек шпалеры или валансьенского кружева. Были такие костры вандализма по приказу дирекции, где сжигались вещи из эрмитажных запасников, имеющиеся там в нескольких экземплярах. Проводилось это строго подотчетно по составленному инвентарному акту, и упаси Боже не сжечь их, а подарить другому музею или просто взять себе. Но все же удавалось вырвать из этих костров драгоценные для любителей кусочки или гравюру, и тогда они украшали стены Мишиных двух комнат в коммуналке на Загородном проспекте. Миша Шемякин жил на шестом этаже, на «голубятне» старого дома в стиле «модерн» доходных домов конца прошлого века, и издалека можно было видеть большой крест на фасаде его дома между окнами этих двух комнат, который он сделал посредством расчистки верхнего слоя штукатурки и который долго еще можно было видеть и после его отъезда, как напоминание о нем.

К этому периоду относится увлечение Шемякина и его окружения Э. Т. А. Гофманом, а так как это окружение было не маленьким, а тираж трехтомника Гофмана был мизерным, то достать его даже в библиотеках города было невозможно – книги попросту таинственно исчезали с полок навсегда. Мне пришлось, чтобы достать почитать Гофмана, обратиться в одну пригородную библиотеку, и даже там, зная своего рода мор на книги этого немецкого романтика, дали с большой неохотой, справедливо полагая, что видят своего Гофмана в последний раз. И пошел незабвенный кот Мур красоваться на графических листах Шемякина – толстый, холеный, такой немецкий бурш-филистер, с неизменной голландской трубкой гуляющий по горбатым крышам бургерских домов. Как и у всякого увлечения, были и свои жертвы из слабонервных почитателей. Первой жертвой гофманщины пала экзальтированная модель Шемякина – Лара Триленко из Академии Художеств. Новоявленная «принцесса Брамбилла» назначает

Шемякину свидание в два часа ночи между двух Аменхотепов у Академии Художеств на набережной, петербургского эквивалента далекого римского карнавального Корсо. Последовавшее затем бурное объяснение, упреки в дьяволизме кончаются с появлением здорового кухонного ножа. Опасаясь членовредительства, Миша спасается поспешным бегством. Ну, чем не сцена из замораживающего кровь «Эликсира сатаны». А сколько было пролито крови, скрепляя братские клятвенные контракты слевой Зайцевым (Ломинаго)? Все эти фантастические приключения творчески переосмыслились Шемякиным и так или иначе нашли свое отражение в графических и живописных работах того времени. Над каждым графическим листом Шемякин работал по два-три месяца, и один Бог знает, сколько труда и бессонных ночей он проводил (работать любил, как и сейчас, ночами), добываясь той блестящей техники рисунка, которая поражает даже непосвященного при первом же взгляде на его графические листы. За ними стоит большой труд, который внушает уважение к работе художника, и поэтому возмутительными кажутся претензии властей, полагавших, да и по сей день полагающих, что труд художника легок и как-то несерьезен, и гнавших художников обязательно на работу. Этой участи и этих гонений не избежал в свое время и Шемякин. Часто можно было видеть художников, скульпторов, писателей, поэтов, работающих лифтерами, сторожами, такелажниками, грузчиками, кочегарами, знаю, что положение их не изменилось: и поныне художественная братия мыкается по самым разнообразным работам, чтобы не попасть под титул «тунеядцев».

К 1963 – 1965 годам относится и моя работа с Шемякиным в качестве его модели для портретов и ню. Надо сказать, что натуру он выбирал себе всегда чем-то его привлекающую, чем-то показавшуюся ему оригинальной, избегал «красивеньких», кукольного вида натурщиц, абсолютно для него не привлекательных, хотя их полно слонялось по натурным классам Репинки и училища Штиглица. Попасть в модели Шемякина значило прослыть некрасивой в общем значении этого слова, но он умел извлекать свою красоту из кажущейся некрасивости при работе с моделью, поэтому его портреты так характерны, так остры, так безошибочно характеризуют модель, иногда даже прозревая будущее, то есть изображают

человека во временном пространстве. Так получилось с моими портретами. В них я сейчас узнаю себя сегодняшнюю.

Бывали и курьезные случаи с его портретами, некоторым не нравилась его подчеркнута-резкая характеристика модели, и отсюда происходили обиды и недоразумения. Одно из них особенно запомнилось – это случай с одним портретом Шемякина, бывшим в коллекции переводчика Г. Панова. Этот коллекционер, рассматривая свой портрет работы Шемякина, нашел, что художнику удалось только верхняя часть портрета, то есть собственно лицо, и, ничтоже сумняшеся, откромсал всю нижнюю половину портрета. Естественно, Шемякин был возмущен этим актом вандализма.

Шемякина в последние годы пребывания в России очень любили коллекционеры, такие, как Перфилов, Чудновский и помельче, особенно же были популярны его гравюры в «Лавке художника» на Невском проспекте, где работала тогда мама художника Каплана. Здесь его графика шла нарасхват и никогда не лежала в витринах.

Но это было уже после, года за три-четыре перед его отъездом, а тогда, в середине 60-х годов, он жил очень скромно и бедно. Если только появлялись какие-нибудь деньги, на них покупались краски, мясо собакам и кошкам, репродукции, а то, что оставалось, уходило на небольшие приобретения «раритетов», за которыми устраивался поход в антикварный магазин, что на Невском, близ Садовой. Из этого магазина приносились любимые вещицы, занимавшие свои места в большом застекленном дубовом шкафу в комнате Ревекки и Доры. И чего-чего там только не было: там можно было видеть тарелочку завода Попова в соседстве с кендлеровской «галантной» статуэткой, веджвудское блюдо с серебряной чайной чашкой Овчинникова, всё это перемежалось с различными «скурильностями» и просто понравившимися кусочками морской гальки, скелетиком рыбки или засушенным цветком либо плодом. Во второй же комнате, собственно мастерской Миши, стоял большой рояль (ночное пристанище собак), на полу помещался объемистый музыкальный ящик по соседству со старинной фисгармонией, напротив них стояло «готическое» кресло поздней, но хорошей резной работы, внутри которого, под откидывающимся сидением, был большой ящик, здесь же рядом стоял станок для печатания гравюр, над ним

висело лиможской работы распятие и белоснежный череп лошади.

Стены мастерской были увешаны как этюдами и готовыми вещами самого Миши, так и работами его друзей-художников, портрет Ревекки висел бессменно, как и большое количество фотографий, сделанных самим Шемякиным, страстным фотографом. Им практиковалось при писании портрета делать и сопутствующие ему фотографии, завершающиеся фотокомпозицией «Художник и его модель», нередко эти фотографии отдавались вместе с покупкой самого портрета в руки его нового владельца. Делалось и просто множество фотографий самого Миши, Ревекки, маленькой Доры с куклами и многочисленным домашним зверьем.

Шемякин серьезно занимается и сейчас фотографией, как отражающей жизнь его семьи, так и открывающей длинную галерею его петербургских друзей и знакомых. Разностороннего человека, его многое привлекает в жизни, страсть к фотографии живет в нем рядом с увлечением карате, его привлекает и скульптура, и техника многослойного клеевого папье-маше, изученная им для изготовления различных характерных масок, которая затем пригодилась для оформления оперы «Нос» по повести Н. Гоголя в постановке Оперной студии Консерватории, задуманной им по примеру греческой трагедии масок, в которых должны были петь исполнители. Хочется упомянуть о прекрасных куклах для маленькой Доры, созданных им самим и Ревеккой, – целый ряд весьма «ридикюльных» баронов и маркизов с огромными носами, с непременно бородавками, одетых в самые фантастические костюмы из кусочков бархата, меха, кружев и шелка. Куклы эти снабжались потешной выдуманной родословной и различными «семейными» преданиями. С. Образцов был очарован куклами Шемякина и предложил ему сделать кукольный спектакль, но это сотрудничество не осуществилось из-за отъезда Шемякина.

Пристрастие к скульптуре у Шемякина появилось сразу же после знакомства его с живописью Рембрандта и шло параллельно с писанием туш. К тому времени появляются в его мастерской многочисленные скульптуры в технике высокого рельефа с характерной зеленовато-серой «яшмовой» патиной на бронзе. Такие же, с отточенной до совершенства скульптурной техникой, туши, дополненные уже здесь мета-

физическими рельефами, висят на стенах его сегодняшней нью-йоркской мастерской в живописном Сохо. А началось это увлечение с небольшого его графического листа, иллюстрирующего стихотворение «Падаль» из сборника «Цветы зла» Ш. Бодлера.

Результатом увлечения Рембрандтом и его антверпенскими рынками с кровавыми праздниками туш, круторебрых, с вывалившимися, еще дымящимися внутренностями, являются покупки целых бараньих туш для постановок натюрмортов и фотографий. Добывались они с великим трудом ранними утрами на мясокомбинате почему-то Кирова и висели, обливаясь сизым жиром, с распахнутыми чревами несколько дней, в продолжении которых писалась такая туша. Затем, когда туша подсыхала, Миша «оживлял» ее, прописывая красками и подлакировывая, после чего она продолжала служить ему в качестве постановки для скульптуры, так как, подсыхая, приняла более лаконичные, законченные формы, близкие скульптуре.

Занятия скульптурой подтолкнули Шемякина обратить внимание на родственный ей вид деятельности. Я имею в виду его увлечение керамикой. Шкафы и полки в мастерской Шемякина в Петербурге украшали многочисленные керамические изделия, выполненные им самим в керамических мастерских училища Штиглица. Среди них были кружки со скульптурными, вдавленными в них медальонами, бутылки-сулеи и кувшины своеобразных текучих форм с узкими горлышками и с горлышками, как у клюва пеликана, заставляющими вспомнить опыт керамистов Петровской эпохи. Вообще поражало обилие форм, какое еще, пожалуй, встречаешь в керамике Древней Греции. Керамика производила праздничное впечатление благодаря жемчужно-серебристому глазурованному слою, покрывавшему эти сосуды. Этой работе Шемякин отдавался с большой радостью и фантазией.

Шемякин много читал, любил и знал книгу, поэтому таким естественным было его обращение к книге, как художника-иллюстратора. За время пребывания его в России это обращение к книге было дважды. Первой вышла с его иллюстрациями книга «Испанская классическая эпиграмма» в переводах В. Васильева, настоящая жемчужина книжного моря тех лет, получившая золотую медаль на венецианском Бьеннале. Второй была книга об Амундсене – «Человек, которого

позвало море». К работе над этими иллюстрациями он относился с большой ответственностью, часами просиживал в библиотеках, музейных и архивных залах. Особенно его увлекло примитивное искусство северных народов: якутов, алеутов, эскимосов – предметы их нехитрого быта, отмеченные богатой орнаментикой, построенной на символах, резная моржовая кость, одежда, расшитая бисером и мехом, яркими кусочками ткани. Эту любовь к искусству примитивов он сохранил и поныне, трансформируя ритуальную одежду, маски и украшения народов Австралии, Африки и индейцев Северной Америки и Канады. Нельзя не вспомнить, говоря о книгах, что Шемякин много читал книг по философии, западной и русской. Из западных философов читались Кант, Шеллинг, романтики Тик и Новалис, из русских – Л. Шестов, Розанов и др. Чтение философии помогло ему в написании его философской и эстетической программы, нашедшей отражение в четком манифесте метафизического искусства, составленном М. Шемякиным и В. Ивановым.

Графическое творчество 60-х годов проходило еще под знаком пристального изучения петровской России и яркого красочного русского лубка. В графике появляются петровские дамы и кавалеры в пышных париках, камзолах и кружевных жабо, а на стенах мастерской – маска Петра Первого и зубовская гравюра «Свадьба Петра Первого». В одном портрете кавалера XVIII века, выполненном маслом, овальной формы, был применен оригинальный коллаж-жабо из настоящего кружева, сверху прописанного маслом. На графических листах мы видим развевающиеся ленты, забавные, поучительные, а нередко и забористые надписи петровской вязью, идущие от веселого, разудалого народного русского лубка с его Бовой-Королевичем, румяными королевнами и от петровских правил галантного тону и «Юности честнаго зеркала». Невольно вспоминаются такие остроумные народные картинки, как «Мужик и Коза», «Как мыши Кота хоронили», «Кот Казанской». Для своих женатых друзей тех лет Шемякин выполнил небольшую гравюрку, изображающую семейную сценку петровских времен – солидный муж в камзоле с кружевами «поучает» посредством пучка розог свою нерадивую супругу, упавшую перед ним на колени. Сценка снабжена затейливой поучительной надписью: «Супругу разумному сечи супругу надобно быти...». Эта гравюрка с назидательной

надписью дарилась только женатым друзьям. Колорит этих «галантных» сцен петровского времени яркий, нарядный, «ассамблейный», немного потушенный темной растушевкой для придания патины времени. Как фон для этих сцен и портретов появляется тема старого Петербурга, нашедшая затем свое расширенное воплощение в самостоятельных графических листах с видами старого города. К малым графическим формам надо отнести два заказных экслибриса, выполненные Шемякиным для Г. Коллегаева и выдержанные в том же «галантном» духе. Один из них однотонный, выполненный в цвете сепии, другой нарядно подкрашен.

Несколько позже петровские кавалеры сменились на павловских, в треуголках и париках с косичками в обрамлении пышных буклей, гравюры дополняются различного рода орнаментикой и трансформированной символикой масонских знаков. К этому же периоду относятся гравюры и картины маслом с изображением натюрмортов – как правило, всегда очень аскетичных. Для этих целей всегда в качестве постановки брался простой кухонный нож с деревянным черенком, засушенная горбушка хлеба, в иные дни постоянно покоившиеся на деревянной полке. Колорит натюрмортов более спокойный, приглушенный, только иногда вспыхивающий красной тряпочкой на пробке бокастой бутылки с неизменным отражением окошка комнаты на одном боку, да розовым срезом свежей ветчины среди желтовато-зеленовато-серых тонов лука, хлеба, рыбы и матового блеска старой стопы. Бутылка чаще всего является центром композиции и «держит» ее. Натюрморты нарочито просты, изысканны, подобные им можно видеть на композициях старых мастеров в сюжетах «Тайная Вечеря» либо «Христос в доме Марфы и Марии».

Как личность Шемякин привлекал к себе много людей, особенно людей искусства, у него постоянно бывали и поэты, и музыканты, и художники. Он часто записывал на магнитолную пленку у себя дома выступления поэтов и музыкантов, исполнявших свои оригинальные вещи. Ко времени выставки Шемякина в фойе Консерватории относится и его знакомство с М. Ростроповичем, вылившееся в добрую дружбу, продолжающуюся поныне. Музыку Шемякин любит и знает, в то время он интересовался стариной – мадригалами Монтеверди и Джезуальдо да Веноза, любил музыку Баха, Шютца, старинные грегорианские распевы церковных хоров

Испании и Италии. Из современных композиторов любил Стравинского, венскую школу – Берга, Шенберга, Малера. Любя классику, в то же время интересовался поп- и рок-музыкой, в этом плане любимыми были «Битлс» и «Роллинг-Стоунс» с их яркой театральностью, которая была сродни самому Мише.

На живописных портретах того периода жил пурпурный, ярко-красный, кардинальский цвет, который победоносно горел на полотнах; я бы назвала его «сутиновским», так как в то время Шемякин страстно увлекался Сутином, его напряженным красным цветом и его деформацией портретируемой модели, и портреты Шемякина того времени несут следы этого увлечения. Надо сказать, что Шемякин всегда уделял много внимания технике живописи различных мастеров, покупал много книг по технике живописи старых мастеров и Парижской школы – всё это помогало ему в познании ремесла живописца. Одной из любимых книг его тогда была книга-открытие «Дневники Э. Делакруа», которую он сам много изучал и советовал прочесть всем, кто хотел посвятить себя живописи. Многие упрекали его тогда в заимствованиях – то попрекнут композицией с ренессансным окном, взятой у Д. Венециано, то костюмом для модели с портрета Энгра. Хочется сказать им, что Шемякин никогда не занимался плагиатом, изучение техники и композиций старых мастеров шло у него бок о бок с собственной большой работой и над натурой, и над композицией, и над техникой, чему примером служат и его старые, уже прошедшие испытание временем работы, и настоящие, в которых он давно нашел себя, свой неповторимый стиль, свою собственную отличную от других технику живописи и графики. Богатое собрание репродукций с произведений живописи лишь помогло ему найти себя. Зная его страсть к собиранию репродукций, особенно старого немецкого «Зеемана», многие пользовались этим, запрашивая непомерные цены, и он давал, часто оставаясь без копейки. Коллекция репродукций сохранилась и живет поныне, пополняясь, что очень радует, так как с ней связано много открытий, хлопот и тревожений. Теперь в этих же заимствованиях уже от Шемякина упрекают его учеников, ну что ж, он уже стал классик и мэтр; он для них сейчас является тем же, чем для него были когда-то старые мастера, и я верю, что многие из

них тоже найдут себя и проявят свою творческую оригинальность.

Но время идет, меняются увлечения, и вот на смену уютному Гофману в более зрелые годы приходит Достоевский со своими вечными проблемами добра и зла, «дозволенности» преступления. Ужас преступления затем перейдет у Шемякина и в его иллюстративные листы, посвященные книге Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». Эти два периода его жизни незримо связаны общей идеей преступления и наказания. Его графические листы, иллюстрирующие «Преступление и наказание», – это шаг к разработке темы, нашедшей свое логическое завершение с нарастающей долей трагизма из-за безнаказанности преступления против целого народа, в иллюстрациях к «Архипелагу ГУЛаг». Из цикла, посвященного Достоевскому, особенно трагичны листы «Сон Раскольников» (сцена с избиванием лошади), «Пьяная девочка на бульваре», «Второй сон Раскольника», проникнут поэзией Петербурга Достоевского лист «Встреча Раскольника и Сони». Интересно отметить, что Шемякин часто отождествлял себя со своими героями – в частности, Раскольникову он придает свои черты внешности и одежды, что говорит о глубоком проникновении в иллюстрируемый образ. В этом я вижу наличие некоторой театральности, сродни работе актера над ролью, говорит о страстности натуры художника, стремящегося расширить свой жизненный опыт, чтобы понять другого художника – Достоевского. Во второй половине 60-х годов снимался Калатозовым фильм «Преступление и наказание», снимался в Петербурге в районе Сенной площади, на Казначейской улице был для съемок воссоздан Петербург времени Достоевского: улица была замощена булыжником, появились дощатые тротуары, лубочные вывески лавочек и неизменных трактиров. Часто по ночам Миша и его друзья ходили туда, гуляли, под утро, при свете занимающейся зари, делали много фотографий в старинных костюмах: поддевках, картузах, цилиндрах и казакинях – и возвращались домой настолько «вжившиеся», что я, приходя, невольно искала глазами где-нибудь за дверью знаменитый раскольниковский топор.

В это же время возникает цикл графических работ Шемякина, к которому я лично чувствую пристрастие, вытекающее из моей глубокой и потаенной любви к Петербургу, городу, в котором я родилась и выросла, – трудно, прожив в нем, не

поддаться его мрачному, а порой и блестящему обаянию. Я имею в виду графику Шемякина, посвященную старому Петербургу. Знаменитые дворы-колодцы, набережные Екатерининского и Введенского каналов с подслеповатыми фонарями, со спешащими куда-то, закутанными в драдедамовые платочки, чахоточными фигурками бесчисленных Сонечек в чепцах с лентами, любовно выписанными деталями гранитных и деревянных набережных со скрупулезно прорисованными гвоздиками, с их вздыбившимися булыжными мостовыми и горбатыми мостиками, с непременными личинами согляда-таев в уличных люках-водостоках. Город воспринимается Шемякиным таинственно-трагично, что роднит его с мироощущением и чувством Петербурга мастеров «Мира искусства» – М. Добужинским, А. Бенуа. К всеобщему нашему сожалению, Введенский канал был вскоре засыпан, и была проложена обыденная асфальтовая дорога, но канал продолжает жить своей призрачной жизнью на гравюре «Введенский канал» Михаила Шемякина. Эта память о том, что безвозвратно ушло, дополняет длинный список потерь старого города. Жили мы все тогда в придуманном нами мире красоты и ностальгии по старому Петербургу, всегда скользя по грани бывшего и настоящего, реального и призрачного, фантастического. Это естественно приводило к резкому диссонансу с окружающей нас серой и жестокой действительностью, так грубо навязанной нашему прекрасному старому городу.

Портрет Шемякина был бы неполным, если бы я напоследок не рассказала о его чисто человеческих качествах и привычках того незабываемого времени. Миша любил людей, близких ему по духу, и часто собирались у него многочисленные гости. Ели и пили у него много и гости и многочисленные домашнее зверье – сиамская кошка Чачка, ее незаконнорожденный сын пролетарский Бобсон, пудель смоляной черноты Карлуша и боксер Нера. Пили и горячительные напитки, от которых Володя Иванов, в обыденной жизни философ и поклонник Канта и Шеллинга, забывал своих кумиров и пускался в рискованные атаки, предметом которых чаще всего была сестра Миши Таня (белокожая Киприда с цветущими розами на щеках). Тогда мы еще все шутили, что Миша от семьи унаследовал весь ум, дух и волю, на долю же Тани достались тело и его красоты – это нам казалось справедливым. Миша любил читать в эти вечера Мандельштама или Пастер-

нака. Ходить по улице с Мишей было рискованно – своими кожаными черными брюками и жилеткой с пуговицами, на которых красовались орлы Российской империи, он привлекал всеобщее внимание обывателей, по-моему, этим мучился, но гордо нес свой крест необычности и оригинальности, прикрывая иногда смущение показной грубостью. Он был очень остроумен, любил различного рода розыгрыши, его прозвища друзьям всегда отличались ярким словотворчеством и меткой характеристикой. Когда гулял один, обязательно брал с собой внушительного вида боксера Неру, и это спасало его от гнева взбеленившихся законников и арбитров пролетарского вкуса.

Многих он тогда увлек за собой в гофманщину, «Петербургские бредни и карнавалы», а затем как-то бросил и осиротил. Но многие выбрались вслед за ним, оставив досматривать эти карнавалы и бредни более стойких друзей и родных. Вот несколько разрозненных воспоминаний, уцелевших в «макулатурных листах» моей памяти о нашем петербургском прошлом.

Бреду по Логан-скверу под холодным ветром с Делавера, метущим поземку на площади перед «Плазой», закрываю глаза, и вот нет уж этого Логан-сквера, и я опять в сотый раз, зябко поеживаясь в легком пальто, ныряю в наше прошлое, в подъезд Зимнего...

ЯНУШЕВСКАЯ Ирина – родилась в 1940 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский Университет, кафедра истории искусства, в 1967 году. Работала в Эрмитаже, в Городском экскурсионном бюро, в бюро путешествий Ленинграда. Выехала из России в 1979 году. Сейчас живет в Филадельфии.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Литература и время

Юрий К о л к е р

ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ

О стихах Владимира Лифшица

Прямой поступок – вот реальность
Не меньшая, чем гениальность.

А. К.

Несколько лет назад, на столе у моей дочери, в том причудливом хаосе утративших для нас значение вещей, который в несколько минут создает заигравшаяся первоклассница, – я обнаружил подарочную открытку. На лицевой стороне был изображен милый, слегка карикатурный верблюжонок. На обороте были стихи:

Это маленькое чудо –
Верблюжонок, сын верблюда.
Как верблюду полагается,
Он колючками питается.

Маленьким чудом показалась мне и сама эта открытка. В углу значилось: «Стихи В. Лифшица». И тогда мне смутно припомнилось другое, большое и нешуточное стихотворение поэта с такой неблагозвучной фамилией, – стихотворение, некогда поразившее меня – впрочем, лишь ненадолго. И мне захотелось перечитать стихи Лифшица, а заодно и бросить взгляд на его человеческую судьбу.

* * *

Владимир Александрович Лифшиц родился в 1913, в Харькове, детство и юность провел в Ленинграде, здесь воевал. С конца 1940-х жил в Москве, где и умер 28 декабря 1978.

Уже в начале 1980-х его имя, будучи произнесено в литературных кругах Ленинграда, чаще всего вызывало представление о его знаменитом однофамильце Бенедикте Лившице, расстрелянном в 1939 (по другим сведениям – взорванном – был и такой способ казни – вместе с другими з/к на барже в Белом море). Между тем Владимир Лифшиц опубликовал 60 книг, из которых 30 – стихотворные сборники: оригинальные, переводные, детские и сатирические стихи. Нечего и говорить о том, что его кончина прошла почти незамеченной не только в общественной, но и в литературной жизни конца 1970-х, – в обстановке постоянно растущей неприязни к евреям, в атмосфере мучительной неопределенности, столь характерной для России последних лет. Был ли Владимир Лифшиц поэтом, заслуживающим этого имени? справедливо ли он забыт? Постараемся понять это всерьез и без предвзятости.

Он дебютировал в 1934 – неплохо и вполне ordinarily. В год первого ареста и чердынской ссылки О. Мандельштама, молодой поэт писал такие вот неподдельным жизнелюбием дышащие стихи:

... Потел и кричал костолом.
На стенах гасли блики зарев.
За настороженным столом
Указ вершили государев.

Но в раззолоченный камзол,
В глаза ханжи и богомола,
Плевала кровью через стол
Неистребимая крамола.

Знал ли он о советских застенках? Во всяком случае, стихи Мандельштама он знал и ценил. В начатых перед самой смертью мемуарах Лифшиц рассказывает, что, будучи пристроен литконсультантом по самотеку в ленинградский журнал *Звезда*, он в 1936 обнаружил в очередной почте пакет с тетрадкой стихов из Воронежа. Взволнованный и обрадованный, он позвонил тогдашнему главному редактору *Звезды* Н. С. Тихонову... Легко вообразить, что ответил ему автор *Орды* и *Браги*.

Время было тяжелое, беспрецедентное. «Работа адская будет сделана и делается уже» – так определило оно себя. К

чести Лифшица, он оказался лишь пасынком века-волкодава. В 1968 он скажет о себе тогдашнем с горькой иронией: «Всё понимал надменный тот юнец, а непонятное привычно брал на веру...».

Язык ранних стихов Лифшица обыден, но не той страшной обыденностью, которую предрек Анненский и воплотил Ходасевич, – нет, это обыденность самодовлеющая: культурно зарифмованная проза, повествование, часто с моралью или игривым коленцем в конце, иногда – развернутая метафора. Язык не преобразуется в его стихах, не излучает. Форма и содержание, не сливаясь, соседствуют в них мирно и платонически. Кажется, что цель автора – позабавить и слегка удивить читателя. Это ему удается. Его стихи умны, оснащены просто и надежно. Обычные для молодого поэта неловкости опрятно затушеваны. Передержки стандартны: поиск нарочито неожиданных рифм, проходные эпитеты, холостой ход во имя *deus ex machina* в концовке.

Я на свою соседку с края
взглянул – и чуть не крикнул: «Брысь!..»
Она сидела не мигая,
Как зачарованная рысь.

Ради этого салонного фокуса написано стихотворение *Бокс* (1936). В *Магнитной буре* (1937) «на поверхности и вглубь – на километры – затосковал разбуженный металл», и –

Мое томленье по тебе сильнее
Томления железа по железу.

Остальные 12 стихов – наполнители, упаковка. Мысль поэта ясна и без них. Мысль, можно добавить, вовсе не поэтическая: ее можно пересказать, она жизнеспособна сама по себе (не говоря уже о том, что и вообще излишне так усиленно настаивать на превосходстве души человеческой над железом). Поэтическая мысль, вообще говоря, умирает или необратимо меняется вне воплощающей ее формы. Понимания этого Лифшиц не обнаруживает. В 1930-е годы читатель у него был. Была, кроме того, иллюзия общего с ним дела, – следовательно, имелись все предпосылки для того, чтобы молодой поэт не вырос, принимая такого рода пассажи за подлинные достижения.

К числу своих достижений он относил и *Балладу о желтом блокноте* (1937) – рассказ об американском корреспонденте, погибшем в Испании:

... В его движениях сквозит
Ленивая отвага.
А впрочем, что ему грозит? –
Он под защитой флага...

Попали в сложный переплёт
Рабочие колонны,
И третьим лег за пулемет
Монтер из Барселоны.

Он лег на пять минут всего –
Смертельная зевота...
И больше нету никого,
Кто б лег у пулемета!

Уже мятежников отряд
Спускается с пригорка,
Как вдруг опять их шлет назад
Свинца скороговорка!

За пулеметом – журналист.
А после боя кто-то
Последний вырывает лист
Из желтого блокнота.

И пишет, улучив момент,
Как совесть повелела:
«Ваш собственный корреспондент
Погиб за наше дело!»

Была эпоха баллад – притом не о людях, а о пакетах и блокнотах: так им полагалось называться. Написанное в форме, имитирующей английскую народную балладу (помните? «В зеленом с ног до головы выходит Робин Гуд...»), это стихотворение обладает всеми ее достоинствами: динамичностью, простотой, неожиданным поворотом сюжета, пафосом подвига. Нас трогает психологически неоднозначный портрет жур-

налиста, не оставшегося безучастным зрителем испанской трагедии и сделавшего свой выбор в пользу *народа*. Здесь уместно спросить: какого? В гражданской войне обе стороны – народ. Того, отвечает Лифшиц, который отстаивал правопорядок от *мятежников*. В понимании поэта и его современников слово *мятежники*, еще совсем недавно – и традиционно – связываемое с народом, с революцией, является теперь уже остро негативной характеристикой. Поэт не задумывается над этой инверсией. Испания, измеренная московским аршином, распалась на плохих и хороших, причем хорошие – за правительство. Так из равнодушия к слову вытекает непонимание истории. (Читатель не заподозрит меня в сочувствии к франкистам, я лишь возражаю против лубка в искусстве и политике.)

Писать о героической гибели американца – пусть даже в Испании, *за наших*, – было в эти годы уже некоторой неосторожностью. Содержание интернационализма изменилось, самая тема смерти воспринималась как достояние упадочнического прошлого. Конечно, литературный герой всегда мог с честью погибнуть за рабочее дело, но – дома и не теперь. В 1930-х преимущественное право умирать отошло к неприятелю. Недаром Николай Браун, редактор одной из первых публикаций *Баллады*, следуя духу времени, внес в ее завершающую реплику (столь важную для Лифшица игрой слов «ваш собственный... наше дело») такую вот смехотворную поправку:

«Ваш собственный корреспондент
Нашёл родное дело!»

Но даже если закрыть глаза на проходные места и композиционные промахи *Баллады*, она все же не делает поэту, по большому счету, ни чести, ни имени. Одно из удачных стихотворений в прагматической, рационалистической, лишенной тайны поэзии тридцатых годов, – не более.

В самый год вступления Лифшица на литературное поприще был создан теперешний Союз советских писателей. Среди вызвавших его к жизни задач была и задача унификации писательской организации, устранения привычной формы существования литературы в виде кружков, объединений, школ. Отныне они могли сохраниться лишь втайне. Владимир Лифшиц принадлежал к группе А. И. Гитовича, – быть может,

единственной, выжившей как группа в страшные годы и дотянувшей до послесталинской оттепели. Кроме Гитовича и Лифшица в нее входили: Анатолий Чивилихин, Вадим Шефнер, Глеб Семенов, Юрий Сирвинт, Глеб Чайкин, (?) Бернович. Последние трое не печатались.

Рассказывают, что группа эта пыталась жить в странном для той поры фантастическом мире, соединяющем офицерский кодекс чести, гусарство (с обязательным пьянством, не затронувшим, кажется, только Лифшица), показной цинизм (скрывавший сентиментальность), западничество и веру в осуществимость марксизма. Из поэтов они любили Боратынско-го, Тютчева, Киплинга, Бунина, Ходасевича, Гумилева, ранних Заболоцкого и Тихонова; из прозаиков – Лермонтова, Хемингуэя, Селина. Вспомним, что тогда в России Бунин, Ходасевич и Гумилев существовали почти исключительно в самиздате (возникшем рано, в первые пореволюционные годы, и начатом едва ли не Федором Сологубом). Самиздат дополнялся старыми отечественными изданиями и редчайшим в то время *тамиздатом*... Судьбы участников объединения причудливы и по преимуществу трагичны. Важно отметить, что на протяжении многих лет Лифшиц был скрепляющим, центральным членом товарищества, всегда оставаясь в нем на вторых ролях.

Помимо друзей на Лифшица влияли и Пастернак, и О. Мандельштам, и обэриуты (с которыми его сблизила совместная работа в журнале *Чиж*), и Маршак (своими детскими стихами). Ни одно из этих влияний не было перенято им бездумно, механически. Лишь факты биографии, посвящения, да едва уловимые соответствия в стихах итоговых сборников указывают на них. *Середняк* в кружке Гитовича, он и сам не считал себя гением, не становился на котурны, но сумел остаться самим собою и осуществиться.

* *
* *

Участие в группе обычно служит творческому и человеческому становлению поэта. В жизни Лифшица этому способствовала еще и сама эпоха. В 1969 он напишет: «Дайте вновь оказаться в сорок первом году – я с фашистами драться в опол-

ченье пойду...». Сказано эта так неловко, что читатель не сомневается: в 1941 Лифшиц *не пошел* в ополчение. Между тем он был в числе самых первых. «В день нападения немцев на СССР мой отец, освобожденный от военной службы по инвалидности (по зрению, – Ю. К.), записался добровольцем в народное ополчение, воевал уже в первые летние дни, вывел из окружения остатки своего батальона, был ранен, получил награды за храбрость (и в те дни не слишком щедро выдаваемые людям с еврейскими фамилиями), в блокадном Ленинграде писал стихи, которые и теперь старые блокадники вспоминают со слезами...», свидетельствует его сын*. Политрук пулеметной роты 1-й Кировской дивизии, затем – корреспондент газеты *Боевая Красноармейская*, затем – заместитель командира стрелкового батальона, Лифшиц в лицо встретил все ужасы войны: и на передовой, и – в тылу: в осажденном Ленинграде.

... И взбежал лейтенант по знакомым ступеням.
И вошел. И сынишка прижался к коленям.
Воробьиные ребрышки... бледные губки...
Старичок семилетний в потрепанной шубке...

– Как живешь, мальчуган? Отвечай без обмана!.. –
И достал лейтенант свой паек из кармана.
Хлеба черствый кусок дал он сыну: – Пожуй-ка, –
И шагнул он туда, где дымила буржуйка.

Там – поверх одеяла распухшие руки –
Там жену он увидел после долгой разлуки...

Это опять *Баллада* – на этот раз – *О черством куске* (1942). К. Ваншенкин пишет о ней: «главное стихотворение» Лифшица, «обязательный участник послевоенных антологий»**...

Вот уже четыре десятилетия война и победа являются важнейшей темой советского искусства и пропаганды, отгеснив и заслонив собою тему революции. Ежегодно с советских экранов в зрительные залы сползает всё большее число танков. «Никто не забыт и ничто не забыто». Мы должны

* Л. Лосев. *Закрытый распределитель*. Эрмитаж, 1984, стр. 46.

** В предисловии к: Владимир Лифшиц. *Лирика*. М., Худ. лит., 1977.

помнить – и это, по существу, верно. Память сродни совести, она служит мысли и взаимопониманию. Но и ее умудряются поставить на службу ненависти. Советских людей готовят к войне. Война (прошлая и будущая) стала опорой тоталитаризма, его мотивацией. Без нее он не нужен – без него теряет всякий смысл мировая бойня. Эскалация жестокости нарастает, история все больше подменяется кинолегендой, плакатом. Но отвлечемся от всего этого. Талант волен возвращать скомпрометированным формам и символам их живой смысл, а война, как ни заслоняй ее безнравственным агитпропом, в самом деле была трагедией и кошмаром. Лифшиц рисует нам ее ужасающую изнанку.

Но не знал лейтенант семилетнего сына.
Был мальчишка в отца – настоящий мужчина!
И, когда замигал догоревший огарок,
Маме в руку вложил он отцовский подарок.

Я тоже готов был плакать над этими стихами, над этим мальчиком, точно явившимся из романов Диккенса. Но, удержав слезы и перечитав, опять вынужден был спросить себя: а что здесь собственно от поэзии? И оказалось: почти ничего. Искренность и мужественная простота, отчетливость и пафос, «подробности войны» (К. Ваншенкин) – всё это достоинства, уместные и в другом тексте. Разве лишь – размер: анапест, завораживающий четырехстопный стих К. Бальмонта, с его же капризной неправильностью распадающийся по временам на двустопный. Но язык посредственен, а излишняя сюжетная завершенность рождает ощущение искусственности, – как если бы мы оказались в музее восковых фигур, где тоже бывает страшно от правдоподобия. Бес рационализма не отпускает поэта. В концовке с фатальной неизбежностью обнаруживаются назидательные ноты:

Потому что жена не могла быть иною
И кусок этот снова ему подложила.
Потому что была настоящей женою.
Потому что ждала. Потому что любила.

Всё это слишком несомненно, чтобы быть высокой поэзией. Такие стихи не запоминаются сами собой, не приходят на ум как молитва: они – одноразового употребления.

Война, как неоднократно отмечалось, была еще и глотком свободы и смысла для миллионов, выходом для них из орвелловского мира в мир человеческий. «Я, удостоенный шинели..., – говорит Лифшиц в 1941. – Такой неслыханной свободы я с детских лет не обретал!» Это была свобода демократа, а не отшельника. Поэт был с народом – и испытал общее для всей творческой интеллигенции той поры воодушевление от этой близости. Русская народническая иллюзия конца XIX века нашла себе в эту последнюю войну неслыханную и столь долгожданную почву.

Конформизм военных стихов Лифшица очень нагляден. Это, во-первых, советский конформизм: он сказался и в выборе тем, которые излишне перечислять, и в употреблении набивших оскомину слов – в их расхожем, газетной передовицей установленном смысле; и в понимании военного героизма, и в психологии лирического героя. Герой для Лифшица – это герой поневоле, простой советский человек, Александр Матросов, совершающий свой единственный подвиг-пример и тут же, за ненадобностью и вследствие полной своей заменимости, гибнущий. Он, а вместе с ним и его создатель, – как все, разве лишь чуть-чуть лучше; его право на наше внимание – в его ординарности. Но этот унижительный для народа ракурс был более или менее общим у всех бытописателей войны. Любопытен не советский, а русский конформизм Лифшица. Поэт вовсе не осторожничает. Национальная психология (реальность, доступная материалисту) искренне отброшена им вместе с Богом, он – советский: член новой исторической общности, где не место пережиткам.

Столкновение двух сил – СССР и Третьего Рейха (*социализма и фашизма, добра и зла*) – очень быстро было переосмыслено массовым сознанием как столкновение давних врагов-соседей: России и Германии. Многонациональная по составу Красная Армия, задолго до ее переименования в Советскую, осознаёт себя русской. Не украинский или армянский, а русский патриотизм явился подлинным источником боевого духа, реальной подоплекой лозунгов, единственным, что сообщало смысл сопротивлению в этой, казалось, с самого начала безнадежно проигранной войне. Повинуясь общему порыву, Владимир Лифшиц отождествляет себя с русским народом, не видя внешних и не встречая внутренних препятствий. –

Мне снилась дальняя сторонушка,
И ропот быстрого ручья,
И босоногая Аленушка,
По разным признакам – ничья...

Он стоит на лесной прогалинке,
Неприметен и невысок.
На ногах – самокатки валенки,
Шапка – с лентой наискосок.

Прислонясь к косолапой елочке,
За спиною он чует лес.
И глаза у него как щелочки,
Пугачевский у них разрез...

Было бы ошибкой думать, что интонации русского фольклора явились у Лифшица результатом сознательного приспособленчества. Скорее это мимикрия, вызванная своеобразным пониманием интернационализма, установившимся в России. Социал-демократия взлелеяла идею смешения всех наций и конечного их исчезновения (так и не поняв ее бесчеловечности, не поняв даже, что всякое стирание различий – энтропийный процесс). Эта идея обернулась в наши дни жестокой ассимиляционной политикой, депортациями, практикой поглощения малых народов *коренным* населением. Пострадали от нее и русские – в смысле этническом, культурном и нравственном. Но если народы, большие и малые, ответили на это недомыслие стихийным противодействием, то просвещенные интеллигенты считали своим долгом способствовать ему. По видимости Лифшиц присягает на верность четвертому сословию, а фактически – русскому народу. Он не видит в этом измены интернационализму, не понимает, что в эпоху, «когда национальность подменила Бога» (Бердяев), поэт с фамилией Лифшиц, воспевающий Аленушку, – уже несообразность; что партизан с «пугачевским разрезом глаз», «с револьвером за ремешком», перед которым «качается-расступается и шумит молодой лесок», сначала – прогонит фрица, потом – будет мыться, будет бриться (как пел Утесов), а потом, рано или поздно, с брезгливостью отклонит чрезмерную любовь к России еврея-ассимилятора, не позаботившегося даже своевременно скрыть свое еврейство благозвучным псевдонимом и

вышитой рубашкой. К прискорбию, в жизни поэта всё произошло именно так. Известно, что в середине 1970-х, в так называемом Доме творчества, писательском санатории в Коктебеле, ему в глаза было сказано: «В Ташкенте в войну отсиживались...». Известно также, что сыну поэта не нашлось места в русско-советском послевоенном обществе и пришлось эмигрировать.

* *
*

Евгений Боратынский провозгласил некогда право поэта обнажать мучительный изгиб в себе и в обществе. Право это является в действительности и долгом поэта, и его глубинной потребностью. Оно знак избранничества и отверженности одновременно. Обыватель не глупее поэта, он только непозитичен: занят преимущественно сегодняшними нуждами, сторонится иррационального, избегает всех форм дискомфорта, среди них – и вдохновения. Лишь обостренная чувствительность толкает человека к художественному творчеству. Поэта поражают ретроспективы цивилизации, он живет предчувствиями и прозрениями, он склонен к парадоксам, – всё это делает его мучительно уязвимым. Высокое ближе всего к смешному, легче всего высмеивается. Но тяга к высокому, не обеспеченная большим талантом, ведет к спекулятивному искусству, чаще всего – претенциозному и отталкивающему. Вот эта оборотная, негативная сторона творчества – в течение всей жизни заслоняла от Лифшица личную, позитивную. Осознание творчества как постоянного риска выродилось у него в мелочную боязнь литературного скандала. В противоположность Цветаевой, повторявшей, что она ни в чем не желает облегчить читателю его читательский труд*, он печется лишь о том, чтобы быть правильно и однозначно понятым, не дать повода для насмешки. Его стихи пестрят прозаическими предупреждениями и оговорками, унижающими читателя, уничтожающими работу его воображения и самую поэзию. Незаурядное человеческое мужество, обнаруженное

* И А. Фету с его требованием лирической дерзости («Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик».).

Лифшицем на войне и (как мы увидим) в послевоенные годы, уживалось в нем с поэтическим малодушием.

Вот стихи 1941 года. «Что я могу рассказать о войне мальчикам, думающим про войну?» – следует долгий период, совлекающий романтический покров с будней солдата, – «Я говорю, что война – это труд!»

Если ж претензии будут ко мне,
Цель я преследую только одну:
Надо внушить уваженье к войне
Мальчикам, думающим про войну.

Вывод удивительно мелок. Избежать комического эффекта не удастся: самый страх превратного толкования такого начисто выхолощенного текста комичен. Иногда пояснительные сентенции вынесены в название. Вот первые стихи *Банальной баллады* (1959):

Два друга
Перед самую войной
Ходили вместе к девушке одной.

Подумать обещала им она.
Подумать помешала ей война.

Один из них ушел в
Ушел в Дзержинский полк.
Ей написал в июле –
И умолк.

Второй нырнул –
И вынырнул в тылу.
Он доставал кагор и пастилу.
Он доставал ей сало и пшено.
И всё меж ними было решено...

Несмотря на подчеркнутый отказ от морали, стихи эти – всё же лишь фельетон, профанирующий поэзию. Мысль поэта скучна, таковы же и выведенные им герои: никаких мучительных изгибов, мир двухцветен, люди монолитны и делятся на

достойных и недостойных, своих и чужих... Во всем этом мне слышится угрюмая поступь «новой расы, до глаз закованной в броню» (Даниил Андреев), кирзовые сапоги победителей, триумфальное шествие *советского академизма*, – как один современный философ определил социалистический реализм.

Но в послевоенные годы Лифшиц уже не принадлежал к расе победителей.

* *
* *

Война закончена, выиграна, – с излишней, как отметят дети и внуки победителей, полнотой. Вслед за излишне полной внешней победой быстро развивается предсказанная академиком Тарле внутренняя реакция; победитель во многом оказался побежденным. Миллионам своих защитников *родина* приготовила такие лавры, которым они не задумываясь предпочли бы новые окопы Сталинграда. Идет стремительная переоценка ценностей, перетасовка мест. Поколение Владимира Лифшица, поколение первых *пионеров*, почти два десятилетия находившееся на гребне истории, внезапно оттесняется, начинает терять свои позиции. Некоторые пропадают вовсе; другие с горечью видят, что их военные заслуги и гражданские доблести не способствуют упрочению их общественного статуса, порою даже мешают ему. Гордость и убежденность первого поколения возвращенных на советской почве марксистов, вернувшихся победителями с войны, воспринимается в новом социуме как негибкость, память о невосполнимых утратах – как бравада. Коррупция и лихорадочный захват вакансий отталкивают тех, кто еще недавно в точности знал, зачем он живет и за что проливает кровь, где враг и где друг. Рушится пленительная в своей простоте черно-белая картина мира.

Для Лифшица послевоенная ситуация осложняется вспышкой антисемитизма, три десятилетия подавлявшегося транквилизаторами лозунгов и программных заявлений, а в годы войны, вместе с патриотическим подъемом и имперскими притязаниями, вырвавшегося наружу. Впервые в советской истории администрация открыто провоцирует юдофобство – и культурный иммунитет общества быстро исчезает под его напором. Антисемитизм в эти годы подлинно народен.

При сравнении дела врачей (1953) с делом Бейлиса (1913) кажется, что история повернула вспять.

Коммунисты из *нацменов*, своими глазами видевшие планомерную травлю своего народа (как, например, А. Авторханов), быстрее приходили к пониманию сущности большевизма. Прозрение пришло к Лифшицу вместе с кампанией *борьбы с космополитизмом*, которая с роковой неизбежностью затронула и его. Как раз в эти годы всесильный в ленинградской писательской организации А. А. Прокофьев поставил себе целью физически уничтожить группу Гитовича, еще до войны боровшуюся с ним во имя *честной поэзии*. И тут что-то надломилось в самой группе, среди ее переживших войну участников. Гитович и Шефнер публично покаялись, что не избавило первого от сталинских лагерей, а второго – от пожизненного подозрения в еврействе. Только Чивилихин, русский и деревенский, избежал преследований – и только Лифшиц, следуя давнему кодексу чести, наотрез отказался от покаяния. Он тут же становится прокаженным. Его перестают печатать, его избегают друзья (среди немногих исключений – больной, почти уже умирающий Е. Шварц и опальный М. Зощенко, в соавторстве с которым Лифшиц, в поисках заработка, даже пишет *бесконфликтную комедию**). Наступило характерное предрестное затишье. Судьба Лифшица казалась решенной – в действительности же готовился ее неожиданный и счастливый поворот: счастливая любовь, и, едва ли не как следствие ее одушевления, *deus ex machina*, столь любимый им некогда в поэзии, – счастливое в своей простоте решение – уехать из Ленинграда. Он бросает свою квартиру в писательском доме на канале Грибоедова и оказывается в громадной коммуналке на Самотечной площади в Москве. Здесь, сознательно и планомерно, не брезгуя литературной поденщиной, он начинает отвоевывать свою независимость от презираемого им мира.

Начало новой жизни было тяжелым, и успех пришел не сразу. Он обозначился уже в годы оттепели, и был двойким: материальное благополучие (а с ним и независимость) принесла работа для кукольного театра, а известность – *философемсы Евг. Сазонова для Литературной Газеты*, сатирические стихи, эпиграммы, пародии. «Теперь модно пародироваться у

* См. И. Кичанова-Лифшиц. Прости меня за то, что я живу. Chaldize Publications, New York, 1982, стр. 83.

Лифшица!» – шутили в Москве. Была известность и другого рода: на рубеже 1960-х песни Лифшица «Пять минут, пять минут...» и «Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой...» неслись из каждой подворотни, – в исполнении, не доставлявшем автору радости. Но были и стихи, написанные не ради заработка.

Человек, потерявший деньги,
Сокрушается и жалобно вздыхает.

Человек, потерявший друга,
Молча несет свое горе.

Человек, потерявший совесть,
Не замечает потери.

(1956)

Стихотворение это во многих отношениях замечательно. По форме далекое от канонов русской поэзии, равно старых и новых, оно сразу запоминается; оно афористично – даже не своей краткостью, а отсутствием какой бы то ни было избыточности; как маленькая скрижаль, оно не потускнело, не стерлось в волнах времени, – все это качества большой поэзии. Здесь легко угадывается отсылка к медитациям древнего Востока, и вместе с тем это стихи современные, даже актуальные. Но самое важное то, что в этом стихотворении сказанное не исчерпывается текстом: *за кадром* происходит движение, и читатель приглашается принять в нем участие. То же видим и в других его стихах эпохи оттепели, не всегда столь удачных.

Дайте вновь оказаться
В сорок первом году –
Я с фашистами драться
В ополченье пойду.

Всё, что издавна мучит,
Повторю я опять.
Не обучен, – обучат.
Близорук, – наплевать.

Всё отдам, что имею,
От беды не сбегу,
И под пули сумею,
И без хлеба смогу.

Мне там больше не выжить, –
Не та полоса.
Мне бы только услышать
Друзей голоса.

В этом стихотворении, написанном в 1969, имеется странность: слово *там* в стихе 13. Из контекста видно, что поэт как раз и хочет туда, в годы тяжелых испытаний и душевной ясности. Невозможно сомневаться: перед нами – цензурная заплата. Поэт говорит нам: «Мне здесь больше не выжить, – не та полоса...». Видно, каких усилий стоит ему отказ от вынесенного из детства и юности астрального коммунистического мифа: столько в этих стихах горечи и поправленной правоты. Но есть в них и недоумение. Может, и впрямь весь этот кошмар – просто «не та полоса»? может, просто некоторые потеряли совесть?

Лифшиц рано обнаружил склонность к литературной игре. Зимой 1944, прежде чем покинуть вместе с Гитовичем фронтovou газету *На страже родины* (поэтов разогнали из редакции оттого, что Гитович, всю жизнь страдавший алкоголизмом, устроил после очередной пьянки пистолетную пальбу), Лифшиц опубликовал в ней передовицу в стихах, где всё было как надо – только это оказался акrostих: АРМИЯ ПОМНИ СВОЕГО ПОЭТА ВЛАДИМИРА ЛИФШИЦА. Другие примеры находим в его послевоенных стихах.

...Это утро, этот сад.
Эти винчевские дали,
И над ними – Арарат,
Всё такой же, как в Начале.

Это опять кукиш, показанный цензуре: в *Начале* (с прописной буквы) – еврейское название Книги Бытия. Стихотворение *Арарат*, вялое и незначительное, внезапно углубляется благодаря этой неожиданной концовке.

Катастрофа европейского еврейства и ее продолжение – сталинская кампания против *космополитов* – обращают взгляд Лифшица к народу, из которого он вышел. Поэт остается интернационалистом, возможно, даже не вовсе разочаровывается в утопии века. Таковы же в своем большинстве и его читатели-евреи, ответившие потоком умиленных писем на его

стихи «Иду по улице Артёма...» и, особенно, на Датскую легенду, – еще одну сентиментальную балладу – о копенгагенцах, вслед за своим королем поголовно надевших установленную нацистами отличительную повязку для евреев. Но были и другие отклики, среди них – звонки с угрозами как бы от имени *Черного сентября* (а фактически – от собратьев по перу*). Смерть Сталина и оттепель лишь задержали развитие советского антисемитизма. В эпоху Брежнева он становится повседневным рычагом управления, находя сочувствие уже и во фрондирующих университетских кругах, и у националистического диссидентства. Лифшиц отвечает не философствующим антисемитам, а черни. Вот стихотворение, написанное им за три года до смерти, осенью 1975, и, насколько мне известно, не публиковавшееся:

Когда всё чаще слышу: он еврей,
Евреев мало немцы посжигали,
Разделаться бы с ними поскорей,
Они плуты, они не воевали, –

Я сам себе с усмешкой говорю:
За ваши откровенные реченья,
О, граждане, я вас благодарю,
Вы все мои решаете сомненья.

Мне больше знать не надо ничего,
Приходите вы сами на подмогу,
И я спокойно сына своего
Благословляю в дальнюю дорогу.

Все взвешено. Все принято в расчет.
Я слишком стар. Меня вам не обидеть.
Но пусть мой сын возможность обретет
Вас никогда не слышать и не видеть.

По насыщенности и мастерству послевоенные стихи Лифшица уступают военным. Поверхностная описательность, перечисления, резонерство – вот их отличительные черты. Есть и отдельные удачи. Но в целом лирическая муза Лиф-

* Л. Лосев, ук. соч., стр. 47.

шица дремлет, – быть может потому, что он усерднее служит в эти годы ее сестрам. Застой в лирике длится около двух десятилетий, производя впечатление инкубационного периода, вынашивания. Так это и оказалось. Основной цикл поэта им намеренно не датирован, но вряд ли мог сложиться ранее 1967 года.

* *
*

Для многих поэтов советской эпохи *переводная кабала* на десятилетия становится средством жить и способом выжить. «О восточные переводы, как болит от вас голова!», скажет под старость Арсений Тарковский. «Туркменский Байрон любит эпос – подстрочник выглядит как ребус», пробубнит другой его современник. Пастернак долгие годы «говорит из Гёте, как из гетто», по случайной и неопубликованной обмолвке одной советской поэтессы. Владимиру Лифшицу достался никому не известный англичанин Джеймс Клиффорд, его ровесник, погибший в 1944 «при отражении немецкой танковой атаки», как сообщает Лифшиц в биографической справке о нем. Привожу его стихотворение *Квадраты*.

И всё же порядок вещей нелеп.
Люди, плавящие металл,
Ткущие ткани, пекущие хлеб, –
Кто-то бессовестно вас обокрал.

Не только ваш труд, любовь, досуг –
Украли пытливость открытых глаз;
Набором истин кормя из рук,
Уменье мыслить украли у вас.

На каждый вопрос вручили ответ.
Всё видя, не видите вы ни зги.
Стали матрицами газет
Ваши безропотные мозги.

Вручили ответ на каждый вопрос...
Одетых серенько и пестро,
Утром и вечером, как пылесос,
Вас засасывает метро.

Вот вы идете густой икрой,
Все как один, на один покрой,
Люди, умеющие обувать,
Люди, умеющие добывать.

А вот идут за рядом ряд –
Ать –

ать –

ать –

ать, –

Пока еще только на парад,
Люди, умеющие убивать...

Но вот однажды, средь мелких дел,
Тебе дающих подножный корм,
Решил ты вырваться за предел
Осточертевших квадратных форм.

Ты взбунтовался. Кричишь: – Крадут!.. –
Ты не желаешь себя отдать.
И тут сначала к тебе придут
Люди, умеющие убеждать.

Будут значительны их слова,
Будут возвышенны и добры.
Они докажут как дважды два,
Что нельзя выходить из этой игры.

И ты расквасишься, бедный брат,
Заблудший брат, ты будешь прощен.
Под песнопения в свой квадрат
Ты будешь бережно возвращен.

А если упорствовать станешь ты:
– Не дамся!.. Прежнему не бывать!.. –
Неслышно явятся из темноты
Люди, умеющие убивать.

Ты будешь, как хину, глотать тоску,
И на квадраты, словно во сне,
Будет расчерчен синий лоскут
Черной решеткой в твоём окне.

Каждый печатный материал в Советском Союзе – от плаката *Не позволяйте детям играть с огнем* до академического Пушкина – трижды проходит литование. Три визы – в набор, в печать, в свет – напутствуют каждую публикацию в трех ее последовательных утробных формах: рукопись, последнюю корректуру, сброшюрованную книгу. Как могли быть напечатаны – и переизданы*! – эти стихи? Не художественные их достоинства (о них речь дальше), не авантюризм и гражданское мужество поэта, – поражает то, что нашлись ведь люди из числа причастных к изданию, не узнавшие Лифшица под прозрачной полумаской Клиффорда, поверившие, что речь в этом стихотворении идет – об Англии! Что же говорить о читателе? Он и вовсе ничего не заподозрит, допускает Лифшиц. И помогает недогадливым. Цикл, содержащий *Квадраты*, поэт в последнем издании** назвал так: Джеймс Клиффорд. *Порядок вещей. Поэма в двадцати трех стихотворениях, с биографической справкой и прощанием*. Биография Клиффорда кажется зеркальным отражением биографии Лифшица. Оба родились в 1913 (правда, один в Англии, а другой в России), оба поэты, для обоих поворотным моментом судьбы явилось столкновение с нацизмом. Лифшиц мог не вернуться с той самой войны, на которой погиб Клиффорд. «Почему судьба не судила помянуться мне с ним местами?» Самое созвучие имен – английского и еврейско-славянского – многозначительно. Но читатель всё еще сомневается. Тогда поэт идет на последнюю крайность: прямым печатным текстом он говорит нам: «Такой могла бы быть биография этого английского поэта, возникшего в моем воображении и материализовавшегося в стихах, переводы которых я предлагаю вашему вниманию»***. Книга вышла тиражом в двадцать тысяч экземпляров. Нашел ли Клиффорд дорогу к читателю? В самый год выхода книги, с торжествующей репликой: – «В Советском Союзе можно издать всё!» – мне впервые показала ее одна немолодая женщина. Но экземпляр, выданный мне в Ленинградской Публичной библиотеке летом 1983, был нечитанным.

* Не менее чем дважды. Впервые эти стихи появились в газете *Батумский рабочий*.

** Владимир Лифшиц. Избранные стихи. Сов. пис. М., 1974.

*** Там же.

И всё же у Джеймса Клиффорда теперь немало читателей и почитателей. Не единственный из героев своеобразной драматургии советских поэтов-переводчиков*, Клиффорд, возможно, окажется самым ярким из них. Поэма состоит из нескольких его монологов, по преимуществу лирических, рисующих героя выпукло и правдиво. Русский язык Клиффорда-Лифшица художественно достоверен, хорошо имитирует строй английской поэтики и содержит терпкую психологическую автохарактеристику. Вообще, лирический, а не обличительный тон вещи составляет ее главное достоинство. Привожу полностью один из лучших монологов, *Элегию*.

За годом год и день за днем,
Без бога в сердце или с богом,
Мы все безропотно идем
По предназначенным дорогам.

И тихо, исподволь, не вдруг –
За этим уследить не в силах –
Всё уже делается круг
Единомышленников милых.

Одни, – числа им нынче нет, –
Живут вполне благополучно,
Порывы юношеских лет
Давно расторговав поштучно.

Другие, потерпев урон
Из-за незнания здешних правил,
Шагнули в лодку – и Харон
Их через реку переправил.

И невдали от той реки
Я тоже начал понемногу
Жечь письма, рвать черновики,
Сбираться в дальнюю дорогу.

Лишь едва уловимая словесная недостаточность, не окончательная, не последняя напряженность слова и страсти, мешает

* Вспомним, например, *Мкртчянца* Михаила Светлова.

мне поставить это прекрасное стихотворение в один ряд с тютчевским «Она сидела на полу...». Я не плакал над *Элегией* – просто сразу, с первого прочтения, запомнил ее и часто повторяю про себя.

Но вернемся к *Квадратам*. Именно это стихотворение Клиффорда люди заучивают наизусть и цитируют с горящим взглядом. Я тоже думаю, что эти стихи по-своему замечательны. Ужасающе яркий портрет массовых помрачений XX века (написанный, впрочем, много позже антиутопий Замятина, Хаксли и Орвелла, после прозы Казакевича, В. Некрасова, Гранина, Дудинцева и Тендрякова, не говоря уже о Солженицыне), *Квадраты* не несут в себе какой-либо сущностной или хотя бы информационной новизны. Их трагизм, их притягательная сила и гуманитарная ценность определяются для нас тем, что портрет Молоха-Аргуса двадцатого века написан как бы изнутри: выкормышем и жертвой чудовища, человеком самостоятельно всё понявшим, но так и не сумевшим до конца «выйти из этой игры». Было бы простой неблагодарностью пройти мимо человеческого подвига Лифшица. О том, чего он ему стоил, говорит и вся нелегкая жизнь поэта, и даже самый первый стих *Квадратов*, начинающийся с «И всё же...». Недостатки вещи хорошо видны, они – общие для Лифшица и советской поэзии вообще. Ее достоинства – тоже общие. О них уместно сказать несколько слов.

Одни восхищаются *Квадратами* как неким откровением, другие откладывают стихотворение, равнодушно пожалав плечами. Между тем оно выполнено с большим мастерством. Любой академизм предъявляет высочайшие требования к композиции произведения. Социалистический реализм в поэзии, точнее: круг авторов, вынужденных с этим термином считаться, развил упомянутые требования чрезвычайно, – и поздние стихи Лифшица удовлетворяют им. Композиционная беспечность бывает оправдана только очень большим талантом (впрочем, и тогда не украшая его), как и косноязычие, которое, соответственно, должно быть высоким. Хлебников, обэриуты, а в наши дни – опыт так называемой второй литературы, показывают, как мало на этом пути удач. Лифшиц знает характер и масштабы своего дарования, и на котурны не становится. Стихи его выстроены и уравновешены, язык отчетлив, рифмы точны. Ни одна деталь в *Квадратах* не является случайной, и все – взаимодействуют, взаимопроникают. Игра

ассоциаций неглубока, но надежна, без петухов. Даже последняя строфа стихотворения, самая неудачная, так некстати снижающая накал, достигнутый в предыдущей, выведена автором из соображений полноты и стройности: она комментирует название и замыкает вторую часть стихотворения, содержащую теперь, как и первая, ровно шесть катренов. Конечно, логическая полнота более приличествует теореме, но приблизительность одинаково отвратительна и в математике, и в поэзии. Точность и графичность письма – реальные достоинства вещи, залог ее жизнеспособности.

Этими же чертами отмечены и другие стихотворения Клиффорда, среди которых отмечу *Кафе*, с его удивительным чувством эпохи и невеселой концовкой: «И вертится планета и летит к своей неотвратимой катастрофе».

Молох-Аргус двадцатого века явился нам детищем не одного или двух, а многих народов. Человек нигде вполне не свободен, всюду вынужден более или менее продаваться, всегда трагически несовершенен. Страсть, одиночество, старость – неизбывное достояние всех времен и народов. Лифшиц в Клиффорде возвышается до этих общечеловеческих тем. Клиффорд несводим ни к узкой затее обойти цензуру, ни к плоской проповеди переустройства мира: он – переживание.

... Я тоже рос на этом рынке,
И сам работал зазывалой,
И мне вручал мой потный шиллинг
Один не очень честный мальй.
Мы торговали чем попало
С тележки: библиями, платьем,
И покупателям казалось,
Что не они, а мы им платим...
С тех самых пор, –
Вхожу ли в церковь,
Или в общественные залы,
Или газету раскрываю, –
Я узнаю вас, зазывалы!
О нет, здесь речь не о рекламе,
В ней отличить довольно просто
Солидный стиль почтенной фирмы
От красноречия прохвоста.

Но вот о таинствах искусства
Толкует седовласый некто –
Обыкновенный зазывала
Перед тележкой интеллекта.
А тот, что проповедь читает,
На нас поглядывая строго,
Обыкновенный зазывала
Перед большой палаткой бога.
А зазывал-политиканов
Я узнаю, едва лишь глянув, –
Уж больно грубая работа
У зазывал-политиканов.
Всего семнадцать юной леди,
О, эти губы как кораллы,
О, эти плечи, эти груди,
О, эти бедра-зазывалы!..
Хотел бы я найти поляну,
И там в траву лицом уткнуться,
И задремать под птичий щебет,
И, если можно, не проснуться.

Я давно вглядываюсь в эти стихи, и они нравятся мне всё больше. Их внешняя и, пожалуй, нарочитая незначительность скрадываются, и за каждой строкой проступают скрепляющие их боль и судьба.

* *
*

В советской литературе Джеймс Клиффорд соседствует с Иваном Денисовичем – и почти вовсе скрыт отбрасываемой им гигантской лагерной тенью. Оба выведены советскими писателями в эпоху последних иллюзий, когда А. В. Белинков еще не произнес своего – «неисправима, неизлечима». Оба созданы людьми, не отделяющими себя от родины, надеющимися на лучшее, сеющими разумное-доброе-вечное. Этим неравновеликим героям хочется отвести одну нишу в галерее памятных 1960-х.

Поэма о Джеймсе Клиффорде, лучшее из лирических творений Лифшица, пережила своего автора и продолжает жить, оставаясь чем-то большим, чем простое документальное сви-

детельство последней поры оттепели. Ей принадлежит известное место в русской литературе, понятой как пересечение трех ее современных составляющих: русско-советской, русской зарубежной и самиздата. Культурная Россия еще не раз с благодарностью вспомнит имя Владимира Лифшица.

Но Россия вспомнит это имя только в связи с Клиффордом*. Лирике Лифшица как целому нет места в русской поэзии. Своего лексико-семантического поля, единственным образом указывающего авторство каждого стихотворения, Лифшиц не создал. Прекрасно владея современным русским стихом, чувствуя его лучше многих, он сохраняет к нему, в целом, потребительское, нетворческое отношение. Его влечет не «зияние разверзтых гласных», а сатирический выпад, острота, шпилька; не лирические, а политические пропасти. Вот еще одна по видимости простодушная обмолвка – стихотворение *Сверчок* (1968):

Трещат и венцы и крылечки,
Бульдозер их топчет, урча.
Сигает сверчок из-за печки
И в страхе дает стрекача.

И рушится домик вчерашний,
Поверженный падает ниц –
К подножью Останкинской башни,
Вонзившейся в небо как шприц.

Оба, и цензор и читатель, любят новую Москву; оба знают, что религия, а не телевиденье, суть опиум для народа, – и первый пропускает в печать, а второй между делом проглатывает не благодушное приветствие новизне, а убийственную сатиру. Помните карикатуру, обошедшую страницы советской периодики: Статуя Свободы со шприцем – вместо факела – в руке? А тут уже Останкинская башня – шприц для впрыскивания телепрограмм целой супердержаве, известной легкомысленным отношением к своему прошлому... Откуда мог знать чиновник Главлита, что телевизор всегда был для Лифшица «ящиком глупости»?

* И, может быть, пародиями и эпиграммами.

Вместе с Клиффордом останется и горстка поздних стихотворений Лифшица, тесно связанных с поэмой и как бы продолжающих ее. Одно из лучших здесь – посвященное памяти А. Гитовича *Третье прощание* (1966):

Мы расстаемся трижды. В первый раз
Прощаемся, когда хороним друга.
Уже могилу замечает вьюга,
И все-таки он не покинул нас.

Мы помним, как он пьет, смеется, ест,
Как вместе с нами к морю тащит лодку,
Мы помним интонацию и жест
И лишь ему присущую походку.

Но вот уже ни голоса, ни глаз
Нет в памяти об этом человеке,
И друг вторично покидает нас,
Но и теперь уходит не навеки.

Вы правду звали правдой, ложью – ложь,
И честь его – в твоей отныне чести.
Он будет жить, куда ты живешь.
И третий раз уйдет с тобою вместе.

Это возражение Эдгару По и, одновременно, развитие его мысли о том, что человек умирает дважды: вторая, духовная смерть наступает тогда, когда о нем забудут все, знавшие его при жизни... Если чего-либо и недостает Лифшицу в *Третьем прощании*, то вновь – «лишь ему присущей походки». Отвлекаясь от этого *окончательного* критерия, нужно признать, что советская поэзия небогата стихами, написанными с большим мастерством и вдохновением. То же самое придется сказать о нем, мысленно поместив его в контекст сегодняшней второй литературы, значение которой так часто преувеличивают.

* * *

Мы живем в удивительное время: мы существуем на пересечении трех современных русских литератур: подцензурной,

зарубежной и машинописной*, входя почти в одинаковое соприкосновение с каждой. Первой из них для нас (но не для наших детей) была русско-советская литература. В 1972 г. ей был нанесен тяжелый удар. Будучи чуть ли не голым выброшен за границу, один молодой человек, советский безработный, отсидевший за тунеядство, в течение очень непродолжительного времени сделался всемирно известным поэтом, действительным членом двух зарубежных академий, лауреатом международных литературных премий**. Его приключение, а также похожее, но не столь неожиданное, приключение известного прозаика, поставили русско-советскую литературу перед фактом существования еще двух русских литератур, с которыми нужно было отныне делить и читателей, и право народного представительства, и монополию на русский язык. Союз писателей пережил легкий шок. Основной читательский корпус не шелохнулся, но миграция читателей, а за нею – и писателей, началась. Элитарный слой, близкий к писательским кругам и образующий их референтную группу, начал причинять советским писателям мучительное беспокойство, всё явственнее предпочитая машинописные тексты печатным. Весы качнулись в другую сторону.

В наши дни оценки уже настолько сместились, что в глазах очень многих принадлежать ко второй литературе – почетно, а к первой – постыдно, безотносительно к реальным достижениям писателя. Это явная передержка. Среди русско-советских писателей были и есть люди не то чтобы отыскивавшие

* Настоящая статья была написана летом 1983 в Ленинграде и подверглась лишь незначительной переработке в 1985, в Иерусалиме.

** Лифшиц знал И. Бродского (с 1970) и любил его стихи. Он был одним из первых подписчиков (т. е., следовательно, спонсоров) машинописного собрания Бродского, которое готовили в Ленинграде В. Марамзин, М. Хейфец и Л. Лосев. По поводу процесса над Бродским, где общественным обвинителем выступил журналист Воеводин (сын известного писателя приключенческих повестей), сохранилась и до сих пор передается изустно следующая эпиграмма Лифшица:

Наверное, ты, родина,
Испытываешь зуд,
Когда два Воеводина
По тебе ползут.

Вообще, в последние годы Лифшиц субсидировал многих и делал это с необычайной щедростью.

свою совесть в период оттепели, а просто никогда ее не терявшие. Это люди разных воззрений: марксисты, православные, деисты, агностики, – но правду, как они ее поняли, они зовут правдой, а ложь – ложью, притом иногда с риском для жизни. Скучность общего мировоззрения не обязательно влечет за собою эстетическое убожество; провозглашение высоких духовных принципов не заменяет таланта, а часто лишь подменяет совесть, прикрывает бездарность и разнузданность. Поэтому и огульное отрицание первой, русско-советской, литературы так же бессмысленно и бесплодно, как огульное превознесение второй и отпочковавшегося от них обеих поколения современных зарубежных писателей. В конечном счете, все три ныне существующие русские литературы – лишь сообщающиеся сосуды: не только эстетические идеи свободно конвектируют между ними, но и сами писатели, порою даже ничего видимо не меняя в своей жизни, часто невольно, переходят из одной в другую. И, как и должно быть в сообщающихся сосудах, уровень после завершения переходных процессов устанавливается в них общий.

* *
*

Владимир Лифшиц, второстепенный русский поэт середины XX в., был смелым, мужественным и благородным человеком. Жизнь его была полна испытаний, он участвовал в самой страшной из бывших на земле войн, он жил в беспрецедентное время. Кульминацией этой жизни оказалась короткая и мрачная старость, потребовавшая от поэта неизмеримо больших сил и мужества, чем военные подвиги. Он пережил свое время. Идеалы, которым он служил, потускнели; народ, за который он пролил кровь, отвернулся от него. Жена, оставившая его в годы войны, и друзья, покинувшие «круг единомышленников милых», не могли не способствовать мизантропии. Но он остался идеалистом. Свое время и свою ношу он принял с достоинством, ни от чего не уклонился, никогда не лавировал. Уже совсем не молодым человеком он внес в поэзию свой основной вклад, который и следует почитать тем, для кого совесть – не пустой звук, а вдохновение – не предмет насмешки.

ПРОЩАНИЕ С КЛИФФОРДОМ

Good bye, my friend!.. С тобой наедине
Ночей бессонных я провел немало.
Ты по-британски сдержан был сначала
И неохотно открывался мне.

Прости за то, что по моей вине
Не в полный голос речь твоя звучала
О той, что не ждала и не встречала,
О поправленных надеждах и войне.

Мы оба не стояли в стороне,
Одною непогодой нас хлестало.
Но хвастаться мужчинам не пристало.

Ведь до сих пор устроен не вполне
Мир, о котором ты поведал мне,
Покинувший толкучку зазывала.

* *
*

При исправлении настоящей статьи, написанной первоначально для ленинградского самиздата, я использовал критику и дополнения Б. Хазанова, С. Максудова и, в особенности, Л. Лосева, которым и приношу мою искреннюю благодарность.

*Ленинград, 1983,
Иерусалим, 1985.*

Г Р А Н И № 139

под редакцией

Г. Н. Владимова

В номере: киноповесть Василия Аксенова «Блюз с русским акцентом», стихи Льва Лосева, литературно-критические статьи Михаила Лемхина, Ильи Сермана, П. Вайля и А. Гениса, беседа А. Батчана с Владимиром Паперным, Открытое письмо Марии Спиридоновой ЦК партии большевиков и комментарий к этому письму Юрия Фельштинского, статья Бориса Парамонова «Низкие истины демократии», интервью с проф. Уолтером Макдугалом «СССР и США – противоборство в Космосе», статья Романа Редлиха «Россия, Европа и реальный социализм», библиография...

«Грани» выходят 4 раза в год. В каждом номере 320 стр. Большой отдел прозы, поэзия, литературная критика, философия, история, публицистика, полемика, воспоминания, документы...

Подписывайтесь на журнал «Грани» непосредственно в издательстве «Посев» (Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M., -80) – 56 н. м. или 25 ам. долл. в год, в представительствах издательства (70 н. м. или 28 ам. долл. в год) или покупайте его в любых русских книжных магазинах (17,50 н. м. или 7 ам. долл. за номер).

Вместо колонки редактора

СЕРЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Писатель Георгий Владимов вынужден уйти с поста главного редактора журнала «Грани». В письме, адресованном ему хозяевами журнала, причина их немилости сформулирована с откровенным простодушием: они расстаются с ним за то, что он счел «возможным занять в отношении НТС нелояльную позицию». К сожалению, нам это напоминает печально известные советские формулировки, вроде: «За действия, несовместимые с высоким званием члена Союза советских писателей», или «За действия, наносящие ущерб престижу Союза Советских Социалистических Республик». Увы, партия, даже такая крохотная, как НТС, остается партией со всеми вытекающими отсюда закономерностями. Но, тем не менее, сегодня мы всё же считаем себя вправе спросить руководителей организации, широко прокламирующих при каждом удобном случае свою демократичность: «По каким правилам или законам писатель, редактор литературного журнала, не принимавший на себя по вступлении на пост никаких партийных обязательств, должен непременно проявлять к вам политическую или человеческую лояльность, да еще в частном порядке?»

Прекрасный русский писатель, опытный новомировский редактор, многолетний председатель Московской группы «Эмнести» дорого заплатил за свою «нелояльность» к советской системе и руководящей ею партии. К сожалению, и здесь, в свободном мире, он снова вынужден платить за «нелояльность» к антисоветской системе и руководящей ею партии. Но писатель, художник, подлинный гражданин своей страны, по самому своему положению и призванию, не может и не должен проявлять обязательной лояльности к какой-либо партии или системе, иначе он не соответствовал бы своему высокому назначению. В этом для нас были и остаются смысл и цель профессионального и человеческого служения, как у себя на родине, так и в изгнании. И писатель Георгий Владимов всей своей жизнью и деятельностью отвечал и продолжает отвечать такому служению.

Уход Георгия Владимова из «Граней» – потеря не только для него, у него найдутся возможности занять в эмиграции достойное его место, – это потеря прежде всего для журнала, который, благодаря ему, вышел наконец-то к широкому читателю в России и за рубежом, для русского читателя и русской культуры вообще.

К несчастью, сформулированный самим Владимовым закон «Серые начинают и выигрывают» порою заявляет себя и в условиях Свободы.

Что ж, в таком случае мы сделаем для себя по отношению к НТС и его изданиям соответствующие выводы.

Василий Аксенов, Людмила Алексеева, Герман Андреев, Сара Бабеньшева, Александр Батчан, Василий Бетаки, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Борис Вайль, Петр Вайль, Томас Венцлова, Галина Вишневская, Ангелина Галич, Александр Генис, Юрий Глазов, Наталия Горбаневская, Фридрих Горенштейн, Татьяна Горичева, Анатолий Гладилин, Александр Глезер, Зинаида Григоренко, Петр Григоренко, Сергей Довлатов, Наталия Дюжева, Петр Егидес, Виолетта Иверни, Феликс Кандель, Лев Копелев, Анатолий Краснов-Левитин, Эдуард Кузнецов, Илья Левин, Михаил Лемхин, Лев Лосев, Юрий Любимов, Михайло Михайлов, Владимир Максимов, Владимир Малинкович, Владимир Марамзин, Эрнст Неизвестный, Виктор Некрасов, Вадим Нечаев, Раиса Орлова, Димитрий Панин, Борис Парамонов, Татьяна Плющ, Кирилл Померанцев, Елена Ракитина, Василий Ракитин, Тамара Самсонова, Кира Сапгир, Саша Соколов, Сейтхан Сорокина, Виктор Сорокин, Андрей Тарковский, Владимир Тольц, Аля Федосеева, Виктор Федосеев, Этан Финкельштейн, Татьяна Ходорович, Алексей Цветков, Семен Черток, Михаил Шемякин, Ефим Эткинд, Лев Юдович

Наша почта

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Нечто новое в литературно-человеческих отношениях. Вы сидите в кафе, ждете группу писателей к чаю. Они появляются, персон пять-шесть, среди них одна дама. Прошу вас, господа, располагайтесь. Все располагаются, но не успевают и рта раскрыть, как дама вытаскивает из сумочки магнитофон, бухает его перед вами и говорит:

– Ну-ка, Аксенов, отвечайте, почему вы сотрудничаете с реакционерами «Континента»?

– Помилуйте, Мария Васильевна, ведь это же просто-напросто кафе «Рондо», ведь мы же просто-напросто чай собирались пить с сухарями!

– Нет уж, вы не увиливайте, а прямо отвечайте, что вы в материальной зависимости от Максимова!

Сотрудничество с реакционерами впервые предстает перед вами в таком свете. Не без некоторой поспешности вы производите в уме калькуляцию и соображаете, что и в самом деле кое-что заработали за шесть лет («Цапля», «Свяжск», кусок из «Изюма»...) – месяца на два проживания, не меньше.

Шокированное общество пытается шуточками и остро-тами сгладить пламенную инквизицию Марии Васильевны. Вам остается только долбать себя за легкомыслие: чайные церемонии в литературе надо нынче устраивать с осторожностью, не прежние времена. Более-менее все сглаживается, хотя время от времени Мария Васильевна все-таки дает вам понять, что вам никогда не вырваться из-под тирании Максимова и вы никогда не сможете решиться на сотрудничество с «Синтаксисом». Зато, отвечаете вы, я всегда могу решиться на разрыв с журналом «Партизан ревью», хотя он заплатил мне ненамного меньше.

Вечеринка, хотя бы внешне, начинает принимать какие-то человеческие черты. На магнитофон посредине стола стараются не обращать внимания. Подходим к более-менее благополучному завершению, встаем. На выходе из кафе Мария Васильевна показывает вам в спину и тихо говорит молодому поэту:

– Напиши против него статью, врежь этому гаду!

.....

Неплохая концовка этой маленькой истории; однако проходит несколько тактов молчания, и флейта взвизгивает вновь: вы обнаруживаете свое имя в списке попечителей журнала «Синтаксис». Мария Васильевна, как это понять? зачем вам этот гад? Реакционеры мало ему платят, чтобы печься о Вашем журнале.

Вашингтон

Василий Аксенов

ОТ РЕДАКЦИИ: Что и говорить, приемы вполне достойные пламенных пропагандистов демократии, терпимости и плюрализма!

Уважаемый господин Максимов!

В 46-м номере журнала «Континент» была опубликована статья Томаша Мянвича. В ней автор пишет:

«Лев Копелев занимается в Германии анти-антикоммунистической пропагандой».

В другом месте автор говорит об «одноголосом хоре» и продолжает: «...те, которые выступают по телевидению и печатаются самыми большими тиражами, не выносят Рейгана, Шпрингера, западную политическую систему», а «члены западногерманского союза писателей со страстью разбирают вопрос, как привести к падению «американскую империю», и к роспуску НАТО».

Автор пишет в связи с этим, суммируя: «когда же этому одноголосому хору подпевают эмигранты из советского блока – а именно таков случай Копелева, – надо бить в набат».

Утверждения, содержащиеся в первом и последнем предложениях, являются клеветой, поскольку они ничем обоснованы и ни на чем не основаны. Автор даже совсем и не пытался их обосновать. Клевета содержится и в заключительном замечании о симпозиуме Высшей народной школы Штеглица (Западный Берлин) и «Хаус ам Чекпойнт-Чарли» в Берлине 3.6.1985 (тема: «Движение защиты прав человека как

альтернатива диктатуре»), в котором участвовали как Лев Копелев, так и Томаш Мянвич. А ведь может сложиться впечатление, что аргументация Льва Копелева была в русле приведенных утверждений.

И организаторы симпозиума, и многочисленные лица из публики могут свидетельствовать, что на симпозиуме эти представляемые автором мнения не фигурировали (хотя и была такая возможность), не говоря уже о том, что Лев Копелев к такому ложному толкованию едва ли дал малейший повод.

Политические воззрения Льва Копелева, связывающие его во многих пунктах с его другом Сахаровым, известны, так что на них нет надобности останавливаться. Мы не знаем никого, кто с такой страстью и последовательностью участвовал в спасении Сахарова. Автор, тем не менее, представил из многочисленных его инициатив только одну, ту, что базируется на достойной сожаления неправильной информации – добавим: имеющей давнюю историю (это можно быстро и точно проверить). Между тем, автор всё это утверждает в статье (уже тогда лучше всех обо всём узнав); а ему не мешало бы в целом обладать подобающей этому сдержанностью.

Так как организаторы, и без того затрудненные отказом Копелева, желали свободных от вмешательства действий и так как клевета против симпозиума, изложенная вначале, должна быть рассмотрена – Вы можете быть, согласно действующему в Германии закону о прессе¹, призваны опубликовать в Вашем журнале опровержение, или поправку – ясную и на подобающем месте. В противном случае против Вас будут предприняты шаги в судебном порядке со стороны «Хаус ам Чекпойнт-Чарли», или, соответственно, его юридического лица, а также со стороны Комитета 13-го августа.

С глубоким уважением.

Комитет 13-го августа.

Правление:

Д-р Райнер Хильдебрандт, д-р Хауке Йессен, Гюнтер Ирганг.

Д-р Райнер Хильдебрандт, Председатель

¹ Так как журнал «Континент» имеет в Германии большой круг подписчиков и поскольку господин Копелев живет в Германии, немецкий суд надо счесть компетентным в деле рассмотрения этого вопроса.

На письмо Райнера Хильдебрандта я отвечаю с чувством некоторой неловкости: возможно, заняв своим ответом место в «Континенте», я отниму это место у какого-либо текста, который – из-за разнообразной цензуры, гласной и негласной, действующей в других периодических изданиях, – только здесь и мог бы появиться. Многие могли бы поучиться у главного редактора «Континента» тому, что такое свобода убеждений и отвага высказывать их вопреки интеллектуальным модам и настроениям общественного мнения, подверженного манипуляциям масс-медиа.

Я не думаю, что угрозы, адресованные Р. Хильдебрандтом В. Максимову, заслуживают ответа. Комментарий же к его письму уже существует – это первая фраза из заметки Н. Горбаневской «От переводчика» к моей статье в 46-м номере «Континента». Считаю, однако, своим неприятным долгом написать несколько слов по поводу «необоснованной клеветы», допущенной мною, по мнению Р. Хильдебрандта. Чтобы не сводить спор к рамкам его письма, позволю себе привести несколько цитат – с мыслью о тех читателях, которым неизвестны политические взгляды Л. Копелева (те, кто их знает, и без этого оценят аргументацию Р. Хильдебрандта).

«У нас (в СССР. – Т. М.) преследуют людей не за то, что они антикоммунисты, но как раз за то, что они хотят быть хорошими коммунистами» (цитата из книги «Антикоммунизм на Востоке и на Западе», которую я упомянул в своей статье).

«Томас Манн сказал однажды, что антикоммунизм – одна из величайших глупостей этого столетия» (дважды в той же книге на стр. 15 и 51; эту же цитату привел Лев Копелев и 1 июня в «Хаус ам Чекпойнт-Чарли», заменив, однако, слово «глупость» на «безумие»).

«Я, скорее, говорил бы об антикоммунистическом рефлексе, антикоммунистическом синдроме, своего рода болезни» (стр. 67 – речь идет о дефиниции антикоммунизма).

«Не знаю, как распадется американская империя («das USA-Reich»). Может, путем малых войн – но им пришлось отдать Филиппины, они уходят и из бассейна Тихого океана» (стр. 79).

Возможно, Р. Хильдебрандт не знает этих взглядов Л. Копелева – возможно, делает вид, что не знает. У меня, однако, создается впечатление, что в письме Р. Хильдебрандта речь идет не о фактах и не о знании фактов. Но если Л. Копе-

лев имеет полное право беспрепятственно продолжать свою деятельность (о чем так тревожится Р. Хильдебрандт), то и я позволю себе воспользоваться тем же правом, чтобы еще раз выразить иные взгляды.

Во время встречи в евангелической церкви в Дармштадте Л. Копелев назвал Рональда Рейгана «одним из самых худших президентов, каких когда-либо имели Соединенные Штаты» (с критикой по адресу президента Рейгана Л. Копелев выступил и 1 июня 1985 года в Берлине). Рабочие металлургического комбината в Новой Гуте, по иронии судьбы носящего имя Ленина, во время одной из демонстраций скандировали «Да здравствует Рейган!» Я согласен с польскими рабочими.

Наталья Горбаневская пишет в 46-м номере «Континента»: «Прогрессивные интеллектуалы (...) хотя и слышат совершенно определенные вещи – поэтому они слушают тех, кто им это говорит». Дополню эти слова высказыванием Нормана Подгореца – редактора еще одного из тех немногочисленных журналов, которые открыто говорят о коммунистической угрозе: «Парадоксально то, что для того, чтобы говорить правду, требуется – особенно в среде интеллектуальной элиты – большое мужество». И верно. Например, можно нарваться на обвинение в распространении «необоснованной клеветы».

18. 4. 1986

Томаш Мянвич

В журнал «Континент»

Глубокоуважаемый господин редактор,

прошу Вас опубликовать следующие исправления и уточнения, касающиеся опубликованного Вами сообщения г-на Мянвича о вышеупомянутом симпозиуме:

1. Те высказывания и утверждения, которые приписываются в статье г-ну Льву Копелеву, никогда им не были произнесены.

2. Ни публикации и тенденции издательства «Шпрингер», ни политика США не были предметом заседания.

3. Господин Лев Копелев – весьма отважно и ясно – рассматривал исключительно нарушения прав человека в СССР,

а также преследуемых в Советском Союзе, а не политику Запада. Он, правда, призвал Запад более недвусмысленно, чем до настоящего времени, оказывать поддержку этим преследуемым.

4. Являясь председательствующим на данном заседании и обладая многолетним опытом общения с эмигрантами, и хорошо зная их зачастую вздорные распри, я дал бы отпор подобным высказываниям со стороны участников симпозиума.

Заявления г-на Мянвича 3 июня 1985 г., к сожалению, отличались отсутствием высокого уровня и боевого духа, которые г-н Лев Копелев продемонстрировал перед лицом многих берлинцев. Л. К. вовсе не предпринял атаку против западной системы, он ее защищал!

Смею надеяться, что Вы, во имя служения истине, опубликуете мои возражения в одном из ближайших номеров Вашего журнала, весьма мною ценимого и читаемого.

С дружеским приветом,

Берлин, 7 мая 1986

Карл-Хейнц Розе,

Изд-во «Виктор-Голланц»

ОТ РЕДАКЦИИ: Итак, мы с приятным удивлением можем констатировать – благодаря письму г-на Розе, – что Лев Зиновьевич Копелев не произносил ни одного из «приписанных ему» высказываний и утверждений, а именно:

– НЕ говорил (в июне 1985), что «предвидит скорое улучшение судьбы Сахаровых... благодаря Вилли Брандту, который как раз летит в Москву»;

– НЕ критиковал Рейгана, поскольку это не было темой симпозиума, и НЕ выражал восхищения Валэнсой;

– НЕ цитировал слов Томаса Манна об антикоммунизме;

– НЕ обвинил Томаша Мянвича в экстремизме и желании «бомбы метать»;

– НЕ говорил, что права человека надо защищать повсюду, т. е. и на Востоке, и на Западе.

Вот (кроме истории с поддельной «открыткой» – точнее, фототелеграммой) все публичные «высказывания и утверждения» Л. З. Копелева, которые приводились в статье Т. Мянвича. Г-н Розе компетентно опровергает факт их произнесения. Мы были бы готовы признать его правоту, но опасаемся, что после этого может поступить опровержение от Копелева,

который – а вдруг? – сообщит, что и Томаса Манна он критиковал, и в миссию Брандта (тогда) верил, и не обязан (как всякий человек) жестко держаться темы симпозиума, и автора нашего считает экстремистом (что тот подтвердил заглавием своей статьи), и – ну, конечно, – Валэнсой восхищается, и убежден, что права человека надо защищать повсюду... И так далее. Так что пусть уж г-н Розе и Лев Копелев разберутся между собой: может быть, Лев Зиновьевич сможет точнее перевести г-ну Розе текст Мянновича, чем это сделал кто-то, видимо, просто пересказавший статью.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

В 43-м номере «Континента» опубликован ответ И. Ицкова читателю его статьи «Одна из первых жертв Сталина» («Континент», №38). Читатель-очевидец видел Сталина, идущего за гробом Надежды Аллилуевой. И. Ицков же верит воспоминаниям Светланы Аллилуевой, которая утверждает, что Сталин на похороны не пошел. Существенно для И. Ицкова и то обстоятельство, что за 17 лет после опубликования мемуаров С. Аллилуевой никто не опроверг достоверность ее сообщения.

Лет пять тому назад у меня в руках была любопытная книга, изданная в США году в 1934. Ни автора, ни названия сейчас не помню, но могу описать и содержание, и некоторые внешние приметы книги. Это путевые заметки о поездке в 1932 году американской семьи – муж, жена, сын и дочь, оба школьного возраста, – в Германию и Советский Союз. Родители были коммунистами или сочувствующими коммунистами. Приехали в Москву в день похорон Надежды Аллилуевой и видели Сталина идущим за гробом. Книга написана от лица сына, но это, конечно, не более чем литературный прием. Помнятся еще кое-какие подробности. В Европу семья плыла на пароходе. В России были поражены бедностью простых людей. Сын и дочь учились в школе для детей иностранцев, проживающих в СССР. Школьники были из разных стран. В основном семья общалась с такими же сочувствующими СССР американцами. Жили где-то под Москвой. Помню, что в книге

было страниц 200, в твердом переплете, кажется голубоватого цвета, высота книги меньше обычных 22 см.

Замечание по другому поводу. В 44-м номере «Континента» опубликована рецензия Иосифа Косинского на книгу Майи Каганской и Зеева Бар-Селла «Мастер Гамбс и Маргарита» (о «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова и о «Мастере и Маргарите» Булгакова). На стр. 271 И. Косинский, переписав цитату из Булгакова, приведенную на стр. 85-86 книги Каганской и Бар-Селла, ошибочно соотнес ее с пьесой Булгакова «Пастырь», более известной под тоже интересным, но навязанным Булгакову названием «Батум» (просматривается анаграмма Батумбить, т. е. пьеса о поражениях Сталина, о том, как его били). Между тем, цитата («Через семь дней трехактная пьеса была готова. ...я не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности – это было совершенно особенное, потрясающее. На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?!») относится не к пьесе «Пастырь» («Батум»), которая была задумана в 1936 и писалась в 1938–1939 годах, а к пьесе «Сыновья муллы», написанной во Владикавказе в 1921 году. К тому же, в «Пастыре» («Батуме») четыре действия, а не три.

С уважением

Соломон Иоффе

Сиэтл, США

**Редакция журнала «Континент»
выражает глубокое соболезнование
Наталии Кузнецовой - Владимировой
по случаю внезапной кончины ее матери**

**ЕЛЕНА ЮЛЬЕВНА
ДОМБРОВСКОЙ**

Критика и библиография

КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕСТЬ У ДВОРНИ?..

Фридрих Горенштейн – один из выдающихся писателей русского зарубежья, активно печатающийся как в русских зарубежных изданиях, так и в иностранных. Его пример показывает, что хотя отрыв писателя от родной почвы тяжок и потеря зачастую невосполнима, – тем не менее жизнь на Западе, давая возможность свободного самовыражения, открывает перед автором широкие перспективы. Новое окружение почти не нашло отражения в творчестве Ф. Горенштейна – он, как правило, работает на старом материале советской жизни, которого, судя по всему, ему хватает с избытком.

Новый его рассказ «Искра», как и вышедшая до него повесть «Куча», повествуют, к примеру, о судьбах современной советской интеллигенции. Герой «Искры» Орест Маркович Лейкин, московский киносценарист, ведет родословную от прославленного Лейкина, издателя сатирических «Осколков», в которых печатался Антоша Чехонте. Только вот старый, «тот» Лейкин волею судьбы выводил в свет будущего гения, а его правнук, считая Ленина чеховским персонажем и сочиняя очерки «в излюбленном диапазоне – между Чеховым и Лениным», несет притянутую за уши чушь о сродстве Ленина с Чеховым и о наличии у Ильича каких-то черт не то Астрова, не то дяди Вани. Очевидно таким образом хитроумный Орест Маркович стремится подчеркнуть родственную близость с «чеховским прадедушкой».

Если говорить всерьез, то, наделенный даром философски проникать в суть вещей и явлений, Горенштейн как в «Искре», так и в «Куче», безусловно проводит идею всеобщей взаимосвязанности и взаимообусловленности. В данном случае, идею преемственности поколений, непрерывности генных цепочек и роковой связи рода. (Она же лежала в основе почти всех произведений писателя, особенно – в пьесе «Бердичев, в романе «Псалом» и повести «Искушение».)

Фридрих Горенштейн. «Куча» (повесть), «Континент» №39. «Искра» (рассказ), «Синтаксис» №14.

Ища внутренние связи между Лейкиным-дореволюционным издателем и Лейкиным-советским киносценаристом, автор вдруг ощутил, что какие-то важнейшие звенья цепи утрачены, как утрачены они и в родословной героя «Кучи» Аркадия Лукьяновича Сорокопута, московского математика и профессора. Корни у Сорокопута крестьянские, однако прадед его крестьянин, не в пример нынешним горлохватам, выходил на стезю университетских знаний с душой, открытой добру и свету, и с твердым намерением «сеять разумное, доброе, вечное». От себя добавим, что рисуя чистых помыслами крестьян, которые при царе выбивались в профессора, писатель их несколько идеализирует, забывая, что в неумном порыве помочь «страдающему народу» они здорово ему напортили. Но это уже совсем иная тема. Другое дело, что предки современных горенштейновских интеллигентов жили в обычной в общем-то стране, подобной всем прочим странам, и жили в ней свободно, душою не кривили и совесть не калечили.

Нынешний Советский Союз ничего общего с Россией не имеет, и выращенный на его нивах цвет народа – интеллигенция – попросту страшен. Каков поп, таков и приход. Кто-то – не помню кто – очень точно определил, что к истории невиданного в мире советского государства больше всего подходит термин «история болезни». В таком случае этой «болезнью» заражены, за редким исключением, почти все обреченные в нем родиться, жить и работать.

Вопреки существующей в современной литературе тенденции создавать героя как личность самодовлеющую, с обществом не связанную и социально как бы незначимую, Горенштейн создает героя, неотторжимого от среды, его породившей. Он, этот герой, и рад бы спрятаться, уйти, жить свободно, поступать, как совесть велит. Но это невозможно. Так как же понять эту слепую, безжалостную, живущую по особым законам силу, которая изначально определяет поступки, судьбу и конечные дни человека?

Размышляя о судьбах личности вообще и о судьбах личности гениальной, в частности, писатель приходит к выводу, что эта последняя неотвратимо бывает сожрана «кучей». Ведь Аркадий Лукьянович – математик и знает термин древнеегипетской математики «хуа», то есть куча – бесформенная неопределенность познаваемого неизвестного. Проще выражаясь – куча это серая свалка тупости, бездарности и зла,

искони царящих в человеческом обществе. Куче противопоставлена отъединенность и цельность исключительности, поэтому она всегда губила и губит дерзновенных и смелых безумцев. В старой России, как, впрочем, и везде, царили глупые законы и приводились в исполнение бездушные приказы. Но подлинным торжеством «кучи», выражением ее беспредельного восторга и мощи, явилась Октябрьская революция, породившая горы безумия, подлости, страха и нищеты.

В самом обычном, не фигуральном, значении слова советская власть породила кучи непролазной грязи и топкого бездорожья на бескрайних просторах российской глубинки. Бредя во тьме кромешной, в одну из таких ям, полных жидкой грязи и строительного мусора, попадает Аркадий Лукьянович, отправившийся из уютной московской квартиры в одну из своих командировок. Лежит он там беспомощный, со сломанной ногой и жалобно стонет. Однако, судя по всему, ни особой авторской жалости, ни авторских симпатий не вызывает.

Чем же неугоден Горенштейну этот профессор математики, неплохой, в общем, человек, мирный, толковый, еще способный откликаться на «святые слезы жизни и усталый ее смех»? А потому, наверно, что главным стержнем существования Сорокопута стала карьера, и только она заполняет мысли этого человека, в какой бы ситуации он ни оказался. Вот весь он, казалось бы, отдается общению с человеком необыкновенным, именно «выломавшимся» из среды, – с Наумом Борисовичем Офштейном, бывшим морским инженером, а ныне истопником поселковой котельной. Но в голове маячит лишь московская квартира, будущее член-корреспондентство, медаль, коллективная госпремия...

Советская «куча» не только глотает без разбору своих Пушкиных и Лермонтовых, она уничтожает саму почву, на которой они могут произрасти, тот питательный слой, который несет им соки, – интеллигенцию. Нынешняя слишком хорошо знает, чего стоит выпадение из системы и какой ценой приходится платить за комфортабельное существование внутри нее. Какие уж тут «святые слезы»! Кончился интеллигент, человек свободный. Начался интеллигент – крепостной советского государства, ставший полной и безраздельной его собственностью. «Так-то, Аркаша, правнук, внук, сын русских демократов, – обращается Горенштейн к своему герою. – Вот

цена нашего ума, духовных разговоров, чести... Впрочем, какая может быть честь у дворни?»

Если повесть «Куча» получилась философски-грустной и даже мистической (что, кстати, находится в ключе писательской манеры Горенштейна), то в «Искре» писатель великолепно сумел проявить себя в новом качестве писателя сатирического. Не будет преувеличением сказать, что рассказ представляется как бы одним большим ядовито-смешным развернутым политическим анекдотом. Тут автор, словно по волшебству, перевоплощается в Наума Борисовича Офштейна, который в своей котельной как бы чудом обретший свободу, волен творить суд над распявшей его «кучей». Офштейн скептик и умница, и страшен его вольтеровский смех, «смех международного агента-интеллигента... плетущего заговор международной интеллигенции».

В «Искре» карикатурно всё – и собрат Сорокопута Орест Маркович Лейкин с его одержимой любовью к Ленину, и сюжет (старому большевику-искровцу Алексееву с самыми добрыми намерениями предлагают закурить сигарету советского производства «Искра», и он, возмущенный до судорог «осквернением святынь», убеждает сотоварищей-ветеранов написать донос на руководство «Росглавтабака»), и насыщенный иронией самый воздух произведения.

Лейкин ведь тоже, вроде Сорокопута, «лауреат», только лауреатство у него какое-то анекдотическое: «лауреат премии имени Крупской за сценарий для юношества „Субботник“». Лейкин всерьез и с волнением относится к супругам Лениным, читает и перечитывает в спецхране все касавшееся общественной и личной жизни Ильича. И конечно же, вычитывает кое-что страшненькое про своего кумира. И что же? А ничего. Изворотливый ум находит немыслимую логическую лазейку: «Все, что в спецхране, – это правда мертвых, а Ленин и сегодня „живее всех живых“». Пригодилась подлая формула Маяковского!

Впрочем, вдумываясь в истоки столь страстной любви к основоположнику социалистического государства, мы замечаем, что она уж не настолько бескорыстна. Лейкин, умеющий по-звериному чувствовать опасность, прекрасно сознает, что в Ленине заключена единственная возможность спасения системы, а вместе с ней и его самого. Вот он, заболевший гриппом и во время болезни по-особому нервный и восприимчивый,

вдруг всем телом ощутил, что его теплая квартира плывет в океане народной ненависти и черные его волны сейчас ворвутся в окна и разрушат стены. Кто спасет, кто защитит? Только родное правительство, которое так же, как и он, боится народной бездны и уже наловчилось бороться с народом «ледяными руками ленинских мертвецов».

«...наш долг восстановить законного Ленина, – безмолвно кричит самому себе Лейкин, – ибо то, что Ленин жив, – не пустая фраза, и оттого, какой Ленин будет стоять во главе страны, зависит судьба народа». А разве нынешний правитель Кремля не точно ли так рассуждает? Именно так и рассуждает, как справедливо было отмечено в одном из появившихся на Западе политических обозрений, связанных с началом XXVII съезда КПСС: «Все начинается с Ленина, который остается источником, и начинается с... Горбачева». Вот уж действительно, герой «Искры» не промахнулся, в самую точку попал. А все благодаря тому, что писатель сумел проникнуть в самые глубины мудрости приспособленца.

Горенштейн легонечко язвительным пером коснулся большевиков-ветеранов, этой особой, уже вымирающей касты советского общества, и они предстали скопищем маразматиков, запрограммированных партией на заданный образ мышления. Сигареты «Искра», видите ли, их возмутили, а вот папиросы «Беломорканал», связанные с созданием одного из гнусных советских концлагерей, почему-то оставили равнодушными. Особенно страшной карикатурой становится гордость Дома ветеранов соратник Ленина Алексеев – ведь он с Ильичом «Искру» в Лондоне основал! Полутруп Алексеев с остекленевшими глазками в состоянии вспомнить лишь, сколько с Ильичом было вместе съедено и выпито. Зато он еще весьма активен в вопросе, на кого бы успешней донести, да покрепче заклеить, да поскорее уничтожить врага, марающего чистоту риз маркизма. Ох, уж эти столпы идеологии и первостроители коммунизма! Даже костенеющими устами они будут твердить, что ленинская партия зажгла страну, а страна зажжет Европу, а Европа зажжет мир. Заключительным аккордом насмешки над обитателями старческого дома становится описание их туалета в саду, построенного в виде... ленинского шалаша в Разливе.

В рассказе описывается период подготовки к ленинскому юбилею, когда по стране ходило множество анекдотов, свя-

занных с виновником торжества. Может, потому «Искре» и придан как бы жанр развернутого анекдота, каждый персонаж которого сам стал ходячим анекдотом. Взять хотя бы художника Павла Часовникова, черносотенца, антисемита и монархиста, который тем не менее (а может, и благодаря этому) участвует в создании ленинских и революционных фильмов. На правах черносотенца и антисемита ему сходит с рук и такое: «А насчет реставрационных работ в Ленинском музее я бы посоветовал добычу кирпича по способу Ильича – из церквей». Или: «Отчего глаза краснее рож. Что с Калининым? Держится еле... В тридцать седьмом чудом удержался». Или рассказ о том, как к приезду Черчилля в молниеносные сроки по приказу Сталина изготовили отечественные сигары под названием «Салют». Черчилль закурил, и из сигары вдруг, словно подтверждая название, посыпались искры. Гость с хозяином мило посмеялись. А на другой день всех изготовителей «Салюта» приказано было расстрелять. Анекдот это или действительный случай – безразлично для страны, где реальность пострашнее любого вымысла. Что же касается Часовникова, то он поступил так, как и положено поступать в анекдоте: черносотенец и антисемит, женится на Наташе Шойхет и ожидает разрешения на выезд по израильской визе.

Так вот и шествует в рассказе «Искра» сюрреалистический и вроде бы веселый мир анекдота, однако в конечном итоге этот анекдот получается по-настоящему «скверным», от которого хочется не смеяться, а плакать. «– Не годится, – заявляет Лейкину редакторша Пуся. – Вычеркнуть из очерка фразу „любимое дерево Ленина – липа“». «– Хорошо», – покорно соглашается Лейкин. Он и сам знает, что все написанное им – «липа». Но какая разница дворовому! Главное, чтобы барин был доволен.

И лишь во время болезни на Лейкина находит нечто подобное просветлению. Даже небольшое страданье начинает сдирать шутовскую маску и прояснять лицо человека. Лейкин начинает понимать, какой все это вздор, какая шелуха – и ленинские дела, и ленинские идеи. Придумали святочного мальчика... А был ли мальчик-то? И у Лейкина болит душа. И у советского интеллигента Аркадия Лукьяновича Сорокопута тоже *болит душа*. А это хороший симптом. Раз душа болит, значит еще окончательно не заглохла и, значит, еще способна воспринять. Случится ли такое чудо с нашими героями? Не

верится. Однако, может, важнее всего, что возник сам процесс пробуждения души. А еще очень важно, что писатель этот процесс уловил и эхом на него откликнулся.

Майя Муравник

ХРЕСТОМАТИЯ ОШИБОК

Необходимость создания учебника по истории России, охватывающего период от зарождения русского государства до наших дней, назрела очень давно. Наши дети (и не только дети) имеют весьма смутное представление о Советском Союзе, что совершенно непрослительно, ибо советско-американские отношения формируют сегодня будущее человечества.

СССР имеет богатую и длинную историю, и изложить ее в сжатой форме – задача необычайно сложная и ответственная, особенно, когда речь идет об учебнике для детей. Авторы выбрали удачную форму изложения, сопровождая историю материалами для чтения и перемежая текст кратко сформулированными фактами. Другое дело – как все получилось.

Книга начинается с рассмотрения климатических условий и географического положения России. И уже здесь, в самом начале, авторы учебника прибегают к примитивным шаблонным упрощениям. Факты, подобранные авторами, свидетельствуют, что СССР является страной вечной мерзлоты, лесов, болот и пустынь, а какие-то жалкие 10,7% обрабатываемой территории страдают от повышенной кислотности почв и повышенной засухи. Россия всегда была страдающей от голода и холода страной – вот вывод, который сделают для себя ученики. И этот вывод будет подкреплен совершенно односторонней подборкой материалов для чтения к первой главе, где слова «холод», «лед», «мороз», «зима», «метель» и т. п. повторяются невероятное число раз. Там же можно найти и «свидетельство очевидца» (W. Miller), что мороз в Москве начинается в конце сентября и продолжается до апреля. Скон-

From Russia to USSR. A Narrative and Documentary History. By J. Vaillant, J. Richards II, C. Horgan, K. R. Richardson, J. Sindall-Uspensky, J. Valin. The Independent School Press, Mass. 1985.

центрировавшись на ужасах зимы, авторы как-то упустили тот факт, что до революции Россия была житницей Европы и вывозила хлеб в огромных количествах, успешно конкурируя с Америкой. Только после коллективизации в СССР сельского хозяйства Советский Союз вынужден был начать ввозить хлеб из США, Канады, Австралии и других стран.

Дореволюционная Россия представляется авторам учебника как страна застоя, где деревня почти не изменилась с XVI по XX век. Между тем, лицо русской деревни изменила отмена в 1861 г. крепостного права и Столыпинские аграрные реформы начала XX века.

Вообще, книга содержит большое число фактических ошибок. Например, Рязань стоит не на Волге, как утверждают авторы, а на Оке (кстати, книге предпослана совершенно невразумительная карта СССР, которая ставит в тупик даже хорошо знакомого с географией читателя). В СССР не отмечается дня Февральской революции, а, наоборот, делается все для того, чтоб преуменьшить это событие. Троцкий был выслан в 1929 г., а не в 1927-м. Партии «русских советских большевиков» («R. S. Bolsheviks») никогда не существовало. Первая победа советской армии в войне против Германии была одержана не под Сталинградом в 1942 г., а под Москвой в 1941-м. Наполеон в момент нападения на Россию был давно уже не «амбициозным французским генералом», а императором. Николай II был убит по приказу Ленина и Свердлова (на что указывает Троцкий в своих дневниках – см. Л. Троцкий, «Дневники и письма», изд. «Эрмитаж», США, 1986), а не по решению местной большевистской организации. Близкие друзья не говорят друг другу «вы», а используют интимное «ты». Принадлежность к коммунистической партии еще не делает человека членом элиты, и уровень жизни при Брежнев не повышался постоянно. Наконец, нежелание советского правительства обеспечить писателям свободу слова нельзя отнести к «парадоксам советской системы», так как оно является выражением существа советского строя.

Ряд важнейших событий советской истории не освещен вообще или затронут крайне поверхностно, например, вопрос о неестественных потерях населения в результате коммунистического террора и спровоцированного в 1933 г. на Украине голода, унесшего от 3 до 5 млн. жизней. Занижено число высланных в годы коллективизации крестьян: не несколько

сот тысяч высланных, а до 10 миллионов, причем несколько миллионов в результате этой высылки погибло от холода и болезней. Повторен фантастический тезис американского историка Шили Фицпатрик, высказанный в ее статье «Культурная революция как классовая борьба», о положительном влиянии чисток на развитие советского государства. Между тем, террор не ограничился 800.000 погибших, как пишут авторы учебника, а дошел до многих миллионов и затронул все слои общества (не только партийные), ослабив прежде всего военную мощь и экономику страны.

Продолжить перечисление подобных ошибок не позволяют объем и задачи данной рецензии, однако необходимо отметить еще один порок книги, когда даже правильным фактам предшествуют расплывчатые или неправильные общие положения. Например, на одной странице говорится, что период 1917 – 28 гг. был «периодом анархии», а на другой, что НЭП (1921 – 28 гг.) был очень успешным как экономически, так и политически, что это был период стабилизации и культурного подъема. На стр. 295 указано, что в СССР существуют выборы, в которых могут принять участие все граждане, достигшие 18 лет, а на 297 стр. объяснено, что выбора, собственно, и нет, так как кандидат всего один.

В результате, учебник оказывается полон двусмысленностей, и читатель часто сталкивается с прямо противоположными высказываниями. Ситуация усугубляется непредставительным подбором материалов для чтения, упускающим, например, произведения Солженицына и Сахарова и концентрирующихся вместо этого на американских источниках.

Но это еще не самое главное. Главный недостаток книги состоит в *нераскрытии сущности советского государства*. По описанию авторов, «сегодняшний Советский Союз – современная сверхдержава, индустриальная, городская, грамотная, крайне националистическая (хотелось бы узнать, что имеют в виду авторы. – Ю. Т.), а в военном отношении – более сильная, чем ее соседи. Царская империя была очень сильно преобразована...» – и все в таком духе. При сравнении американской и советской системы авторы не только используют одну и ту же терминологию, как если бы между этими системами не было разницы («федеральная форма правления», «местные конгрессы» и т. п.), но и делают ряд заявлений, свидетельствующих о том, что авторам близка точка зрения о «моральном

эквиваленте» США и СССР: «каждая сверхдержава проводит свою собственную политику в попытке усилить свое влияние...» В соответствии с этой линией интерпретации фактов послевоенная тактика Сталина (вспомним хотя бы Берлинский кризис 1948 г.) объявляется оборонительной, а Хрущев, спровоцировавший Кубинский кризис и пославший танки в Венгрию, называется борцом за мирное сосуществование. В результате Советский Союз выглядит как «просто другое государство». Самая существенная характеристика СССР – тоталитарность – даже не упомянута в книге, что нельзя объяснить отсутствием места, так как, например, живописному описанию Сандуновских бань отведено три страницы. .

Таким образом, сочетание большого числа фактических ошибок и общего непонимания авторами учебника природы и структуры советской власти и основных тенденций развития советского государства делает рецензируемый учебник мало полезным для студентов, не имеющих достаточных знаний для критического анализа его текста.

Юрий Тувим, Бостон

ТРАВА ПРОБИВАЕТ АСФАЛЬТ

С болью и горечью приходится вспоминать русскую подсоветскую литературу 30-х, 40-х и начала 50-х годов. Зато с середины 50-х наступил перелом, которым русская литература вправе гордиться. Последующие полтора десятилетия были ознаменованы необыкновенным ее расцветом. Проследить историю этого расцвета приятно и радостно, что бы ни произошло с литературой потом.

К эмоционально и живо написанной книге Григория Свицкого «На Лобном месте» (Лондон, Overseas, 1979), охватывающей всю послевоенную эпоху и построенной в значительной степени как свод личных воспоминаний автора, сегодня мы можем присоединить и другое, подлинно литературоведческое исследование истории отечественной литературы периода «оттепели» и последующих лет.

Марк Альтшуллер, Елена Дрыжакова. Путь отречения. Русская литература 1953 – 1968. «Эрмитаж», США, 1985.

Исследование названо, на первый взгляд, несколько странно: «Путь отречения». Понятие отречения обычно связывается с чем-то неблагоприятным, быть может – богопротивным... Но в данном случае авторы поясняют, что имеется в виду отречение позитивное, отмежевание от подлого «социализма», отход от литературы лживой, бездарной, мертворожденной: «Предлагаемая книга является попыткой объяснения и истолкования сущности происходящего в СССР интеллектуального и литературного процесса, в результате которого русская литература, совершив немалый подвиг *отречения от демагогии и фальши*, движется по пути своего возрождения».

Двигается-то движется, но после того пятнадцатилетия, которому посвящена книга М. Альтшуллера и Е. Дрыжаковой, увы, началось уже движение по нисходящей. Так что, по видимому, высшая точка «возрождения» соответствует всё же 60-м годам. Кстати, это обстоятельство как раз и сообщает книге, о которой идет речь, необходимую целостность и законченность: период времени, охваченный ею, выбран очень четко и верно – от смерти Сталина до вторжения в Чехословакию, до подавления «Пражской весны».

К числу особенно удавшихся глав книги следует отнести те, где рассматривается появление в русской литературе могучей фигуры Солженицына. Это чудо, случившееся, так сказать, «вопреки всему», справедливо трактуется как главное событие в русской литературе второй половины нашего столетия.

Марк Альтшуллер подробно анализирует и «Один день Ивана Денисовича», и рассказы Солженицына, и, наконец, романы «В круге первом» и «Раковый корпус». Тюремно-лагерная тема неминуемо должна была сделаться на какое-то время центральной в русской литературе, оттого что небывалое место заняли тюрьма и концлагерь в жизни народа, и еще оттого, что очень уж тщательно обходила эту сторону «советского образа жизни» литература до «оттепели», а точнее – до максимовской повести «Жив человек» и солженицынского «Одного дня...».

В книге подробно рассказано о произведениях писателей, чьи имена теперь уже неотделимы в нашем сознании от этой темы: Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Юрия Домбровского. Знание настоящей жизни, замечает Е. Дрыжакова, дал

Шаламову «20-летний опыт нечеловеческого бытия». Настоящая жизнь – «это не споры об искусстве и демократии, не разговоры о XX съезде и хрущевских обещаниях, не противопоставление Ленина Сталину, не московская квартира и заграничная поездка, не партбилет, не престижная должность». Это был *пастернаковский*, представший перед нами в «Докторе Живаго» еще в реалиях Советской России двадцатых годов, путь отречения – от мнимых, фальшивых ценностей, цепко взявших в плен бездуховную подсоветскую образованщину.

Именно тюремно-лагерная тематика определила собой взлет русской литературы в 60-е годы. Начало же «пути отречения», пришедшееся на середину 50-х, отмечено несколькими иными вехами. Огромный резонанс получили тогда статья Померанцева «Об искренности в литературе» и – три года спустя – роман Дудинцева «Не хлебом единым». «Если статья Померанцева, – пишет М. Альтшуллер, – была требованием, предъявленным к литературе, то роман Дудинцева стал ответом этой литературы... Эренбург нашел название для новой эпохи – оттепель, а Дудинцев начал эту эпоху своим романом. Пожалуй, можно назвать только две книги, которые за последние двадцать лет прочла вся читающая, и не только читающая, Россия. Это „Один день Ивана Денисовича“ и „Не хлебом единым“».

«Дудинцев тщательно исследует советские „коридоры власти“, – замечает далее М. Альтшуллер, – и на каждом шагу совершает удивительные открытия. Одно из таких открытий – мало кем по достоинству оцененная фигура референта министра – Вадима или, как зовут его окружающие, Вадика Невраева. Можно бы было сказать, что не Дроздов, а Невраев является главной фигурой романа».

Пожалуй, это некоторое преувеличение, но, во всяком случае, действительно, Дроздов не был «открыт» Дудинцевым: близкий предшественник Дроздова был выведен двумя годами ранее в очень смелой по тем временам пьесе Л. Зорина «Гости», а вот такой тип, как Невраев – опаснейшее и чрезвычайно закономерное порождение «зрелой» советской действительности, – впервые появился в литературе именно на страницах романа Дудинцева.

В конце 1958 года широким кругам читателей в СССР открылся доступ – не к роману «Доктор Живаго», но лишь к одной

его главе: она приводилась в опубликованном «Литературной газетой» и «Новым миром» пространном письме Пастернаку, подписанном членами редколлегии этого журнала и отвергающем роман как политически неверный и вредный.

М. Альтшуллер справедливо отмечает профессионализм и содержательность разбора романа в этом письме – разбора, из которого вдумчивый читатель мог составить неискаженное общее представление о романе в целом, так и не увидевшем света на родине и по сей день строжайше там запрещенном.

После гражданской казни, учиненной над Пастернаком, какое-то время казалось: литература и даже общественное сознание заморожены, отброшены назад, во времена «до оттепели» – времена худшие из худших. Однако уже в 1961-м вышел примечательный сборник «Тарусские страницы», а в конце 1962-го пришел к читателям «Иван Денисович».

Романы Солженицына до сих пор не оценены по достоинству. Не только потому, что «Один день Ивана Денисовича» сразу же разошелся по России в сотнях тысяч экземпляров (журнальная публикация плюс выпуск «Роман-газеты»), а «В круге первом» и «Раковый корпус» там не только не дождались опубликования, но и находятся под запретом. Как ни странно, даже среди тех, кто читал их (в зарубежном издании), случается встретить мнение, что они «меньше удались» писателю, нежели его первые произведения или «Архипелаг ГУЛаг».

М. Альтшуллер искусно и убедительно опровергает такую точку зрения, основанную на каком-то печальном недоразумении или, может быть, продиктованную теми или иными побочными соображениями, не имеющими отношения к собственно мастерству писателя, к литературным достоинствам романов.

Касаясь теоретических споров в тюремной «шарашке» образца 1949 года и разных, порой непримиримых позиций интеллигентных спорщиков («В круге первом»), М. Альтшуллер замечает: «все намеченные Солженицыным программы (т. е. все позиции выведенных им спорщиков. – И. К.) станут важнейшими течениями русской идеологической и общественной мысли 15-20 лет спустя».

Добавлю от себя: вокруг этих «программ» ломаются копыя и сегодня.

«В речах Сологодина, – продолжает исследователь, говоря об одном из центральных персонажей романа «В круге первом», – находит выражение то идеологическое течение, которое является отрицательной реакцией на полуофициальное советское славянофильство и полузапрещаемый в СССР монархизм. Оно (это течение) прямолинейно связывает советское государство и его коммунистическую систему с историей России, не проводя должной разницы между сегодняшним тоталитаризмом и самодержавием, русским империализмом 16-19 веков и современной коммунистической экспансией. Когда писался «Круг» (т. е. роман «В круге первом». – И. К.), эта система взглядов лишь зарождалась, но ей суждено было бурное развитие.

Если согласиться, что коммунизм в России есть выражение русской народной сущности и исторически обусловлен и фатален, то идеологическая борьба с ним внутри страны как со злой силой, враждебной народу, становится бесполезна и бессмысленна. Эта пессимистическая точка зрения, как и вообще всякий пессимизм, освобождает человека от ответственности, разрешает уклониться от решения любых нравственных вопросов, позволяет действовать „применительно к подлости“».

Это действительно так. Правда, на мой взгляд, уклониться от решения любых нравственных вопросов позволяет не только «исторический фатализм» означенного толка и вытекающий из него пессимизм, но и его противоположность – бездуховный оптимизм, порожденный технократическим мышлением и взявший в плен молодую советскую научно-техническую интеллигенцию.

Этому явлению посвящены многие – хотя, надо сказать, внутренне очень противоречивые – произведения Андрея Вознесенского, который вроде бы тоже шел «путем отречения» и поэтому удостоился отдельной большой главы в книге М. Альтшуллера и Е. Дрыжаковой. Да нет, конечно же, не шел таким путем этот поэт, во многом – прямой антипод Солженицына. Он попал сюда просто как заметное явление русской поэзии 60-х годов, которое не обойдешь, но глава-то о нем названа очень четко и точно: «По параболе* – в никуда» и кончается таким итоговим абзацем:

* «Парабола» – название одного из первых нашумевших сборников Вознесенского.

«Итак, в шестидесятые годы Вознесенский поистине взлетел «по параболе». Эта парабола в восьмидесятые привела его в «черную дыру». Куда дальше понесет его кривая – будущее покажет».

По той же причине (невозможность обойти заметную фигуру) пришлось посвятить более скромную по объему главку Евгению Евтушенко, который, правда, все 60-е, да и 70-е годы только и делал, что «отрекался» – но не от демагогии и фальши власть имущих, а от того, что сам же произносил, писал и печатал не далее как накануне.

Исследование «Путь отречения» непохоже на книгу Григория Свирского. Но это и хорошо, что о послевоенной и послесталинской русской литературе написаны такие разные книги. Хорошо даже то, что в них встречается разная оценка одних и тех же событий литературной жизни.

Приведу хотя бы такой пример.

Велики заслуги А. Т. Твардовского перед русской литературой. Но вот произведения самого Твардовского, даже послесталинского периода, всё же пропитаны привычным, в плоть и кровь вошедшим лицемерием. Г. Свирский восторженно цитирует главу из его поэмы «За далью – даль», где рассказывается о том, как маститый поэт и крупный партийно-литературный чиновник – сам Твардовский – нежданно-негаданно встретил на железнодорожной станции в Сибири друга юности, давно уже списанного из памяти: только что освободившегося (а еще недавно казалось – вечного, безвестно пропавшего) узника сталинских лагерей.

Авторы «Пути отречения» смотрят на эту сцену свидания двух давних, двух бывших друзей совсем другими глазами:

«Что мог сказать холеному поэтическому барину, считающему себя передовым и честным, этот всё на свете повидавший и понявший зэк? Однако поэт берется рассуждать, как бы разбуженный этой неожиданной встречей. Он, видите ли, оказывается, все эти годы чувствовал, что было что-то «не так» с этим его другом, он был его «бедой и болью», и когда поэт ел свой жирный кусок «хлеба», он якобы вспоминал о нем... Но поэт, оказывается, вспоминал о друге не только когда ел, но и когда отправлялся в Кремль, чтобы вместе со «всеми прогрессивным человечеством» ликовать и благодарить Отца Всех

Народов за счастливую жизнь. Он благодарил за двоих: за себя и за своего друга, который

По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле...

Тут зэк, если бы прочитал эти строчки, послал бы поэта подальше... Стыдно было читать эту главу...».

Истинно так. Недаром и Анна Ахматова, прочитав эту главу поэмы Твардовского, сказала, по свидетельству Л. К. Чуковской: «Новая ложь. Большею гнусности я в жизни не читала!»

* * *

Десятки, сотни имен писателей и поэтов, литературных критиков, публицистов и историков страны и ее литературы, шедших в те годы «путем отречения»... Великое множество свежих, упрямых ростков пробило асфальт бесплодного «социалистического реализма» в литературе, взорвало глинистую корку замалчивания и фальсификации в историографии. И при этом М. Альтшуллер и Е. Дрыжакова еще предупреждают читателей, что многие события и имена остались за рамками этого исследования, ограниченного жесткими временными пределами.

«Мы просим наших читателей оценить эту книгу по тому, что в ней есть, а не по тому, чего в ней нет, – замечают авторы в предисловии. – Мы не хотели становиться на путь беглых перечислений в ущерб исследованию процесса».

Безусловно, рассмотрение общего литературного процесса не в пример важнее набирания «обойм» писательских фамилий – «обойм», столь любимых советскими литературоведами и критиками. Однако нельзя не сказать, что в книге «Путь отречения» оказались обойденными не просто отдельные писатели и произведения, но важные темы русской литературы конца 50-х и 60-х годов, особенно важные потому, что при Сталине они были под строгим запретом.

Прежде всего, это тема военнопленных, по своей значимости уступающая разве что главной – тюремно-лагерной – тематике. Поскольку исследователи не рассматривают тему

плена, в книге не нашлось места таким писателям, как Степан Злобин, Юрий Пиляр, Виталий Сёмин, Владимир Бондарец.

Правда, авторы «Пути отречения» могут возразить мне, что военнопленные встречаются у Василия Гроссмана, чьи произведения подробно рассмотрены в книге... Однако ведь Гроссману, к счастью, не пришлось побывать ни в нацистском плену, как Злобину, Пиляру или Бондарцу, ни в «остарбайтерах», как Сёмину, – стало быть, его свидетельство не имеет той цены.

Отсутствует в книге и тема эмиграции. Только в одном месте упоминается «пустая и никем не замеченная» повесть Леонида Леонова «Evgenia Ivanovna», «якобы написанная в 1938 году».

Мне кажется, называть эту повесть «пустой» неверно. Напротив, это хотя и небольшое по объёму, но очень емкое произведение, с достаточно определенным подтекстом. Главное же – в ней впервые за много лет затронут большой для России вопрос о выборе между эмиграцией и почти верной гибелью или бесконечным приспособленчеством тех, кто решил – будь что будет! – остаться на родине. О многом в повести говорится лишь намеком, она осторожна, труслива, – и уже это свидетельствует в пользу отвергаемого Е. Дрыжаковой утверждения Леонова, что повесть написана еще в 1938 году, однако смогла увидеть свет только в дни «оттепели».

Возвращусь еще раз к произведениям В. Гроссмана, чтобы заметить, что влияние на Европу его повести «Всё течет», на мой взгляд, в «Пути отречения» крайне преувеличено.

В начале 70-х годов появились переводы повести на иностранные языки, и, как пишет Е. Дрыжакова, «немало старых коммунистов во Франции и Италии задумались над неотвратимой правдой, рассказанной Гроссманом о ленинизме и сталинизме. В Восточной Европе, в особенности в Польше, книга Гроссмана произвела большое волнение среди некоторых высокопоставленных коммунистов. Неужели «дело», которому они посвятили всю их жизнь, обернулось таким беспрецедентным насилием?»

Неужели, спрошу я, повесть Гроссмана затмила по своему воздействию на умы даже «Архипелаг ГУЛАг»? Получается, что так...

«Путь отречения», на который вступила русская литература, выглядел бы еще более убедительно, если бы авторы исследования уделили больше внимания противному лагерю.

Конвульсии этого лагеря, вызванные произведениями Солженицына, он сам подробно обрисовал в томе своих воспоминаний «Бодался теленок с дубом». Но вот, например, атаку на Дудинцева некому более воспроизвести и закрепить в памяти поколений, кроме историков литературы. А она очень поучительна и характерна.

«Слушая Дудинцева (на обсуждении его романа «Не хлебом единым» в московской писательской организации), – говорила, например, Мария Прилежаева, автор слащавых повестушек «из жизни Ленина», – я всё ждала, что он скажет что-нибудь хорошее, возвышенное, обращенное к молодежи, вдохновляющее, с чем после этого захочется идти на трудовые подвиги».

«Но этого я так и не услышала», – сокрушенно закончила Прилежаева, не подозревая, что попала точь-в-точь в тон печально знаменитому Фаддею Булгарину: тот совершенно так же обличал... Гоголя, упорно не желавшего вывести в своих произведениях благие примеры служения отечеству, великим радетелем которого был Булгарин!

Без сомнения, заслуживают внимания историка и выступления Надежды Чертовой (тогдашнего секретаря московской писательской организации), обращенные против того же романа Дудинцева. Нельзя обойти и вопрос о появившихся тут же ортодоксальных «контрроманах», которые, по замыслу их авторов и партийной верхушки, срочно должны были ослабить впечатление, произведенное книгой Дудинцева. Я имею в виду «Битву в пути» Галины Николаевой и «Братья Ершовы» Кочетова. Последняя поделка забавна в особенности тем, как неприкрыто из нее торчат белые нитки прямолинейной «заданности»: Кочетов в противовес изобретателю Лопаткину (положительному герою романа Дудинцева) вывел фигуру аморального и физически нечистоплотного Крутилича, тоже изобретателя... Случайным совпадением это, понятно, быть не могло, но грубая наивность такого приема уникальна.

В «Пути отречения» встречаются также прямые неточности. Вот некоторые из наиболее бросающихся в глаза.

В 1961 году, когда Паустовский напечатал в сборнике «Тарусские страницы» очерк о Бунине, это не было актом гражданского мужества, так как Бунин тогда уже отнюдь не был «на полузапрещенном положении в СССР»: пятью годами ранее в Москве даже вышло его собрание сочинений («огоньковский» пятитомник). Упоминание здесь же о том, что Шаламов за несколько похвальных слов о Бунине «получил второй лагерный срок», только сбивает читателя с толку: дело в том, что это произошло почти за 20 лет до выхода «Тарусских страниц», совсем в другие времена...

Издательский лагерный порядок «развода без последнего» у Шаламова, при всем зверстве такого порядка, отнюдь не означал, что «последнего ежедневно убивали» конвоиры.

Во время написания книги авторы еще не могли быть знакомы со сборником произведений Шаламова «Воскрешение лиственницы», вышедшим в издательстве ИМКА-Пресс в 1985 году. Отсюда – некоторые неверные акценты и утверждения. Например: «Из всех русских – вологжане, может быть, самые добрые и самые совестливые люди. Даже теперь, после стольких лет советской нивелировки личностей, это чувствуется».

Такое утверждение решительно опровергается автобиографической повестью самого же Шаламова «Четвертая Вологда», вошедшей в сборник «Воскрешение лиственницы», и такими рассказами, как «Белка» (там же). Да, впрочем, опровергается оно уже и неслучайной поговоркой: «Вологодский конвой шутить не любит!» – известной каждому лагернику.

Е. Дрыжакова высказывает предположение, что Шаламов был в первый раз (в 1929 году) арестован «профилактически», за потенциальное сочувствие троцкизму. Это не так. Арест его произошел в подпольной типографии антисталинской оппозиции. Притом, однако, будучи оппозиционером, подчеркивает Шаламов, Троцкому и троцкизму он не симпатизировал.

Дважды упоминается в «Пути отречения» рептильный журналист Давид Заславский – и оба раза отмечается, что это как раз и есть тот известный колымский стукач, о котором

пишет в своих рассказах Шаламов. Помог он «навесить» очередной лагерный срок и самому автору «Колымских рассказов»... Однако – «И. П. Заславский» – называет своего лиходея сам Шаламов. Так что, по всей видимости, это был однофамилец того Заславского, выступившего в «Правде» с позорной статьей в связи с присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку.

Таким образом, выход в свет всего одной книги – шаламовского сборника – позволяет внести ряд уточнений в соответствующую главу литературоведческого исследования.

Говоря о стихотворении Варлама Шаламова, посвященном судьбе протопопа Аввакума, Е. Дрыжакова оценивает его весьма сурово: «К этому времени (речь идет о середине 60-х годов. – И. К.) русская поэзия и литература ушли уже так далеко по пути своего отречения, что неискусные аллюзии в речах мужественного старообрядца... уже не звучали столь актуально».

Между тем, в стихотворении говорится о вечном, вневременном расхождении власти и личности, о противопоставлении властей земных и небесных, о скромных пределах могущества сильных мира сего:

Наш спор не церковный –
О возрасте книг.
Наш спор не духовный –
О пользе вериг.
Наш спор – о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Вязать и решать.

Мне кажется, эта тема всегда была и будет актуальной, к тому же у Шаламова мысль выражена предельно четко и внятно – какие уж там «неискусные аллюзии»!

Кстати, в качестве эпиграфа к главе «Мученик колымского ада», посвященной Варламу Шаламову, приведены тоже стихи, – но они почему-то снабжены пометкой: «Из самиздата 60-х годов. Неизвестный автор». Насколько мне помнится, эти стихи (они начинаются так: «В рыбачьей избушке у плёса...») всегда однозначно приписывались Евтушенко и распространялись в списках под его именем. Сам характер стиха позволяет

считать, что это стихотворение действительно принадлежит Евтушенко.

Упомянув о том, что в последние годы жизни Сталина был запрещен, среди множества других писателей, Александр Грин, сопричисленный к «безродным космополитам», авторы исследования почему-то обходят молчанием позорную статью Виктора Важаева (1950 г.) в «Новом мире», явившуюся кульминационной точкой посмертного осуждения Грина. В том же «Новом мире», уже в 1956-м, была опубликована статья Марка Щеглова, начавшая «реабилитацию» Грина, что убедительно говорит не только о существенном изменении общественного климата, но и об эволюции самого журнала.

И последнее замечание. В исследовании упоминается «Александр Матросов, который во время боев за Москву в 1941 году закрыл своим телом амбразуру немецкого дота. Эту «амбразуру» чуть ли не ежедневно напоминали советскому школьнику»... Верно, напоминали; однако при этом неизменно утверждали, что дело происходило не под Москвой, а в Псковской области, и не в 1941 году, а в 1943-м. Не надо бы давать советским злопыхателям лишний повод принизить действительно ценные литературоведческие и исторические работы, создаваемые в эмиграции.

* *
*

Эти и немногочисленные другие неточности, встречающиеся в книге, не умаляют значения исследования, предпринятого и выполненного М. Альтшуллером и Е. Дрыжаковой. Зарубежная русистика получила по существу фундаментальный курс лекций, охватывающий самый интересный, богатый событиями и плодотворный период в истории послереволюционной советской литературы. Курс, не только чрезвычайно содержательный, но и изложенный с подлинным профессиональным блеском.

Нью-Йорк, 19. II. 1986

Иосиф Косинский

ПОСЛУЖИШЬ – ПОЙМЁШЬ

– Чья песня, товарищ майор?
– Говорят, белогвардейская, лейтенант. И пели ее настоящие офицеры... Они-то знали, что такое честь... Что смотришь, лейтенант? Послужишь – поймёшь...

Виктор Кондырев
«Сапоги – лицо офицера»

Один из героев Ремарка с теплотой и грустным сожалением вспоминал окопные дни Первой мировой. Тем, кто служил в армии, и не только в военное время знакомо это чувство. Не такого ли типа армейские воспоминания помогают советским писателям творить в духе социалистического реализма, оправдывая одновременно перед фронтовыми товарищами и перед самим собой свои «творения»?

Человеческая память напрямую связана с психологическими защитными организмами. Если бы это было по иному – большая часть человечества сошла бы с ума, погибла. Избирательность памяти, а также тяга жителей города («толпы одиноких») к полузабытому армейскому коллективу, тесной дружбе и объясняет, в основном, доминирующую роль смеси «тесных печурок» и ярких описаний подвигов. На встречах с бывшими однополчанами, я заметил, что наиболее сентиментальные воспоминания исходили от тех, кто терпеть не мог службу, казарму, жизнь на виду у всех!

Переезжая на Запад, значительная часть авторов рассказов или воспоминаний о войне и Советской Армии избегается от катализатора партийности и советского патриотизма, но часто та поистине инфантильная избирательная установка на прошлое остается – с переменной, конечно, знака (похожее происходит и у некоторых эмигрантских политологов). Всё теплое сменяется на ледяное, – дружба на предательство, коллектив на толпу дикарей, готовых на все. Автор как бы мстит самому себе за те утраченные иллюзии, молчаливый сговор и обман советской жизни, в котором он так или иначе участвовал! Естественно, эта реакция происходит бессознательно или полусознательно (я не имею в виду авторов конъюнктурщиков).

Виктор Кондырев написал объективную книгу, воссоздал тот тонкий срез бытия, по которому проходит граница точного видения мира и настоящего таланта! Причем, это касается практически всего в повести, – и содержания, и компоновки структуры, и языка.

Как удалось автору избежать тех крайностей, описанных мною выше? Слово «талант», тем более высказанное отдельно, в наше время почти ничего не объясняет, – их (талантов) достаточно! Ярким примером может служить выпущенная несколько лет назад талантливым эмигрантским поэтом повесть-исповедь, где, казалось бы, он дошел до самого дна своего сознания, высказал всю правду-матку. Но в результате мы получили совершенно искаженный образ страны (США), ее людей и... явно патологический диагноз поведения и психики героя, имеющего, помимо других комплексов, гипертрофированную манию величия, скрывающую в свою очередь паникующий страх перед свободой! Я думаю, что фактор отдаленности во времени, а повесть Виктора Кондырева написана не «по горячим следам», сыграл основную роль. Половину этих двадцати лет, прошедших после описываемых в книге событий, автор прожил на Западе, где слова «правда», «свобода», «объективность» имеют реальный смысл и значение. Реальностью является и возможность соприкосновения с русской неподцензурной литературой (отметим сразу, что все это может лишь помочь автору в поисках правды, объективности, но не является панацеей для него, – последнее слово за человеком-писателем, он может многое не понять или воспринять по-иному).

...Медленно идет «Транссибирский экспресс». Мелькают «понурые деревянные дома,... гнилые заборы,... в темное, одетые люди». «Скорость» поезда поначалу порождает язвительность, но шутки надоедают... Светлое пятно этого пейзажа дары Сибири – варёная картошка с грибами и мелкие яблоки. Не определяет ли символически введение книги ее начальную часть и даже всю повесть? – Путь, проезд молодых офицеров по таинственной стране – Советской Армии.

Компоновка повести, ее монтажная структура относится к довольно новому жанру документальной прозы (точнее полудокументальной). По-видимому, появление таких произведений является отражением повышенного интереса к истории, точной информации, анализу состояния важных институтов страны, жизни слоев общества. Между сухими отчетами

заметок, дневников и лирическими отступлениями романов, их частичных выдумок, выбор пал на что-то среднее. Виктор Кондырев мастерски справился с этой задачей. Характеристика его героев предельно лаконична – пара слов, максимум-предложение: «...цыганистого вида Коровин, заядлый картежник», «Друг его, Казаков, нос картошкой, лысеющий, книгочей и любитель выпить...» Для романа это характеристика третьестепенных персонажей, а не главных героев! Но по мере продвижения «поезда» повести, уже с первых ее глав, мы обнаруживаем, что хорошо знаем не только Коровина, Казакова или «курносого голубоглазого симпатягу» Балу, но и с десяток других героев книги.

Красной нитью проходит по повести основной бич советского общества – пьянство. Но помимо всем известных причин и выводов, из контекста книги напрашивается следующее, – большинство частей Советской Армии расположены в диких местах, вдали от населенных пунктов. Бытовые условия и услуги несравнимы даже со средними на гражданке (кроме авиации и флота). Климат играет также не последнюю роль – ясно, что в Узбекистане пьют меньше, чем в Сибирских частях (то же можно сказать о Флориде и Аляске!). Как я слышал, в американской армии стараются расположить подразделения ближе к населенным пунктам, особенно с преобладающим женским населением. В СССР до сих пор политика размещения частей СА была диаметрально противоположной. В повести командир полка полковник Белоус сразу же говорит лейтенантам: «Везите сюда жён! Чтоб волками не выть». То, что никто его совету не следует, показывает не только страх, с приездом семьи остаться в армии, «застолбиться» здесь, но и окопный быт части.

Виктор Кондырев не преподносит нам частые громогласные заявления протеста, споры и разговоры, доходящие до уровня (по теме и накалу страстей) эмигрантских собраний, внутренние монологи – мысли героев, показывающие читателям, что они заядлые антисоветчики и внутренние эмигранты. Образ служащего Советской Армии в повести постепенно проявляется на полустанках, станциях и в вагоне «поезда» книги. Некоторые точные и лаконичные обобщения и выводы появляются в конце книги. Интересно, что главный идейный контрапункт, который и выявляет *лицо*, скрытое за *блестящими сапогами* советского офицера («чем они так сапоги

чистят?» – спросил Коровин), заложен не в определенном месте повести, авторском выводе, а в сопоставлении мыслей и действий героев. В разговоре с Теличко, Казаков замечает: «Каждый из нас в отдельности человек как человек. Некоторые при случае и ребенка из огня вынесут. Это сейчас мы русские, узбеки, якуты, а объединенные в орду, посаженные за рычаги, штурвалы и пульта, мы становимся советскими людьми. Новой, неведомой и невиданной формации, поколениями селекционированными, специально воспитанными... для выполнения самых подлейших приказов командиров». Это говорится о войне и подтверждение сему – Афганистан, но вот во время командировки в колхоз некоторым офицерам приходит идея «сэкономить» на пайках и продать их колхозникам. Вырученные деньги, естественно – пропить. Дело в том, что эти продукты для солдат! В Средней Азии, во время поездки за новобранцами, решается собрать «Аварийный фонд» – по три рубля с каждого «чучмека». Из собранной суммы «сунуть немного проводнику, сержантам дать, чтобы не болтали. Всю дорогу гудеть можно, а о трёшке к концу поездки никто и не вспомнит». Прямо перед этим один из лейтенантов спрашивает, почему многие из этих новобранцев просят в стройбаты, обычно непопулярные? Ему отвечают, что для этих людей и десять рублей богатство. Отсюда можно понять, что трёшки у этих ребят были последние! Во всех этих «операциях» участвуют прямо или косвенно даже лучшие из лейтенантов и, уж конечно, не отказываются выпить, как и закусить, краденой в магазине курицей! Тут-то и вспоминается белогвардейская песня и замечание майора о потерянной чести...

Повесть Виктора Кондырева читается на одном дыхании, в ней простой и легкий язык, не сдобренный громадной порцией мата, так часто встречаемого в эмигрантской прозе. Единственная претензия к автору, – быть может, стоило бы вставить какой-то важный драматический момент-пик в середине книги и улучшить конец, он немного вял, – ждешь другого.

«Сапоги – лицо офицера» редкое произведение о Советской Армии, в котором герой – она сама, ее люди, книга, позволяющая читателю «прослужить» вместе с ее героями, узнать и почувствовать реальное здоровье и пульс Советской Армии, больной как и остальная часть советского общества, но обладающей страшным оружием.

И. Глиер

ПОЛЬСКОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К «АРХИПЕЛАГУ ГУЛАГ»

В первые послевоенные годы из-под пера известных польских писательниц, которым удалось вырваться живьем из Архипелага ГУЛАГ, вышло несколько интересных книг о годах, ими там пережитых. Это: «Из края неволи» выдающейся поэтессы Беаты Обертинской, «Попранные люди» и «Казахстанские ночи» Герминии Наглеровой, «Измененное время» Марии Чапской. Все эти книги раскрывали потрясающую правду о «бесчеловечной земле», но тогда, задолго до солженицынских откровений о ГУЛАГе, Запад не был склонен воспринять истину, в которой видел утрированную антисоветскую пропаганду. В последнее время в польских эмигрантских издательствах неожиданно появилась новая волна воспоминаний бывших узниц советских лагерей и мест ссылок. Одна за другой вышли в Лондоне «На монгольских бездорожьях» Магдалины Дубанович, «Из скитальческих воспоминаний» Марии Кшиштопорой, «Ссылка в неизвестном направлении» Дануты Тенчаровской, «Казахстан» Марии Янушкевич и воспоминания вдовы писателя Александра Вата, Оли Ватовой, «Самое главное». С расстояния нескольких десятков лет, когда улеглись старые волнения и страсти и многое стерлось в памяти, в сознании осело «самое главное». В этой поздней ретроспективе события, явления и люди приобретают новые очертания и иную значительность. Сквозь призму жизненного опыта становится заметным многое, что раньше ускользало от внимания людей, поглощенных в то время единственно лишь своими злоключениями. Тот факт, например, что русских людей гораздо больше было среди сокаторжников, чем среди чекистских опричников. Многие поняли, что остались в живых только благодаря нравственному величию побуждений русских людей.

Самая знаменательная книга пришла к нам из Польши. Ее автор счел необходимым защититься псевдонимом – Виктория Красневская. Название книги – «После освобождения... (1944 – 1956)».

Wiktorja Kraśniewska. Po wyzwoleniu... (1944 – 1956). Biblioteka «Kultury», tom 409. Instytut Literacki, Paris, 1985.

Виктория Эдвардовна, как звали ее русские друзья, проживала до ареста где-то на восточных окраинах Польши, скорее всего в Вильно. Автор намеренно избегает определять свое местопребывание. Условные названия «наш город», «лагерь в Ту» или «колхоз в Буденновке» свидетельствуют о нежелании связывать события с каким-либо определенным местом: так могло быть и было везде, где царил произвол «Органов». Тут своеобразная попытка типизации форм тюремно-лагерной жизни. Красневская была бойцом АК (Армии Крайовой), подпольной военной организации, которая подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне и сражалась с гитлеровцами. В июле 1944 года части виленской АК совместно с советской армией освободили от немцев Вильно, затем вышли из подполья и сложили оружие: Все они были арестованы. Многих расстреляли, остальных приговорили к долгосрочному заключению. Мало кто остался в живых. Викторю осудили на 10 лет лагерей. Отсидела она их «от звонка до звонка». Своим спасением она обязана вынесенному из дома знанию русского языка, присвоенной себе специальности медицинской сестры, твердому характеру и умению приспособиться к любой обстановке и окружению. И, конечно, сочувствию и дружелюбию русских товарищей по несчастью.

В силу своей пытливости и склонности к аналитическому мышлению Красневская приходит к интересным выводам, например, насчет смертности в лагерях. Работа в больнице предоставляла ей много материала для наблюдений.

«Смертность не была чрезмерно велика, если брать день за днем. Иногда в день умирало два человека, другой раз три – в зависимости от времени года. Летом всегда больше, хотя условия работы и были легче. Видимо, мороз сохранял лучше. По сравнению с немецкими концлагерями – немного. Однако статистика эта – неверная. Лучше задаться вопросом, какой процент заключенных имел шанс дожить до конца срока. Вот тогда цифры начинают кричать.

Спустя несколько месяцев на моем первом Туском лагпункте на тот свет отправилось примерно тридцать человек, а ведь это были самые первые месяцы, когда люди еще не превратились в доходяг. Что же с ними было потом? Если в год умирало хотя бы лишь пятьдесят человек из тех двух тысяч, сколько же тогда осталось в живых спустя десять лет? Три четверти? Из четверых в живых оставалось трое. Я даю зани-

женные, наиболее оптимистические цифры, хотя знаю, что были лагеря, где люди мерли как мухи. Существовал в Ту штрафной лагерь, из которого почти ежедневно к нам привозили для вскрытия трупы. Была еще пресловутая командировка №6: тайга, трясина, палатки. Это был кочующий лагерь. Мертвых оттуда не привозили даже на вскрытие, которое якобы делалось там же на месте. Время от времени туда на инспекцию отправлялись наши вольные врачи, которые потом рассказывали ужасы. Не знаю, действительно ли там были случаи людоедства, но слухи об этом ходили. Отчеты оттуда поступали на наш центральный ОЛП, так что ни для кого из нас не было тайной, что в процентном отношении смертность там намного превосходила все остальные лагункты. Точные данные об этом хранятся где-то в архивах ГУЛага. Мы, выжившие, на своем опыте знаем, сколько раз мы были на волосок от смерти. Мы отдаем себе отчет, что выжили мы не только в силу большого биологического иммунитета, но и благодаря людям, которые нам помогли в тяжелую минуту, случайно благоприятным обстоятельствам и отчасти известной доли везения. Такой долей везения была для меня больница.

Больница, больница, работенка неплохая:
тепло, светло и мухи не кусают!»

Отдав должное Солженицыну за обилие фактического материала и точный анализ ГУЛаговской действительности, Красневская, однако, не во всем с ним согласна, ибо, по ее мнению, он видит все с русской точки зрения, изнутри, не замечая иногда того, что бросалось в глаза западным узникам. Эти последние от момента ареста до освобождения обычно реагировали на все по-иному, чем русские, ибо иной была их политическая и моральная ситуация. Все это налагало свой отпечаток на совокупность их поведения и переживаний.

От недостатков книга Красневской не свободна. Материал в ней недостаточно организован: ни стройной композиции, ни последовательной хронологии, ни сколько-нибудь строгой верности избранной тематической линии. Несомненное достоинство книги – ее откровенность, предельная, на грани душевного эксгибиционизма. Исповедуется автор решительно и, я бы сказал, с темпераментом. Не скрывает, например, своего пристрастия к алкоголю. Не замалчивает и того

обстоятельства, что спирт, который потребляла она не только сама, но и в компании непосредственного начальства, был из аптечного фонда лагерной больнички. «Я такая, как есть» – вот принцип подхода автора к себе и своему гулаговскому опыту. Впрочем, возможно, что в пристальном внимании к «материально-телесному низу» лагерной жизни, в избыточности описаний физиологии женского барака и его обитательниц, достоинство откровенности переходит в свою противоположность. Подробности в описаниях этой стороны бытия ГУЛага, к которым автор, возможно, как медицинский работник, малочувствителен, редко встретишь в русских лагерных свидетельствах, даже написанных мужчинами, не говоря уже об авторах-женщинах. В этом смысле Красневская, я бы сказал, информативно беспощадна к читателю.

Как многие из бывших зэков с большим лагерным сроком, Красневская прочно пропитана лагерем. Для некоторых это внедрившаяся в сознание мания, а по Солженицыну – «посвящение в лагерный мир». То же самое у Красневской: «Только зэк в лагере уже ничего не боится, ибо он уже по другую сторону границы, он посвящен... Так понемногу мы утрачиваем душу. День за днем, вместе с голодом, с ежедневным непосильным трудом, с безнадежностью времени сочтется в наши души капля за каплей то, что надо назвать своим именем, – согласие на зло. Мы уже не умеем негодовать, толькожимаем плечами. Нас удивляет, пожалуй, честный человек, на которого можно положиться. Так советская система «перевоспитания» проникает в наши будни».

Вспоминая те времена, автор не без самолюбия изображает своих польских землячек. Она задает себе вопрос: «Чем объяснить, что польки так стойко держались? Они были лишены материальной помощи – посылок из дома, постоянно страдали от голода, русский язык плохо знали и все-таки одолевали трудности, сохраняя вместе с тем достоинство, что кажется просто невероятным. Но это помогало жить и ходить с высоко поднятой головой, несмотря на их потерянность и скованность. Эти два качества со временем улетучились, ибо не подходили к беспощадной действительности, требующей мужества и способности быстро ориентироваться. Но откуда в них было это убеждение, что полька не имеет права торговать собою, что она должна быть недоступна и независима?..

Откуда эта неприступность в этих часто деревенских девках, относившихся свысока даже к русским интеллигенткам, откуда эта гордость, которая зачастую велела им выносить тяжелый труд, но не позволяла кланяться и пресмыкаться? Не из-за того ли нас, девушек из разных слоев общества, ругали, обзывая аристократками и «гордыми полячками»? Неужели мы и впрямь считали себя представительницами народа, посланницами свободы, культуры и высоких европейских идеалов? Какая ужасная мегаломания сопутствовала нам всем, какая уверенность в превосходстве над тем, что казалось нам дикостью, варварством и злом»? Сегодня Красневская считает это отношение необоснованным, особенно когда дело касалось представителей старой русской интеллигенции.

Красневская могла бы добавить, что точно так же держались поначалу в лагерях т. н. «бандеровки» с Западной Украины и Волыни. Она, по-моему, недооценивает значение религиозного воспитания и сплоченности рядов национальных движений. Вынесенная из подполья дисциплинированность действовала еще по инерции.

Лишенные всякой связи с Родиной заключенные польки не могли понять царившей в Польше обстановки:

«Мы сопротивлялись изо всех сил и поэтому с ужасом воспринимали известия из Польши. Почему общество там говорит «да», когда оно должно кричать во весь голос «нет»? Откуда эта наивная вера в доброжелательство «Старшего Брата»? Разве в Польше уже забыли 39-й год, Катынь, депортации, мученичество сотней тысяч, варшавское восстание, процесс генерала Окулицкого*, нас самих? Как случилось, что столь несгибаемый народ вдруг как будто остолбенел, подхалимски улыбаясь, когда ему надевают наручники? Долгое время мы думали, что все нововведения польских властей – это не более чем ловкая тактика, вынужденная обстоятельствами, игра, которую надо вести, чтобы не погибнуть. А там, за этой игрой, хлещет мощный стержень извечно непреклонного польского духа. Падение Миколайчика** поколебало эту

* Генерал Леопольд Окулицкий, последний главнокомандующий АК, приглашенный в штаб сов. войск вместе с группой руководителей Польского Сопротивления, был арестован в марте 1945, вывезен с остальными в Москву, где был в июне 1945 осужден на 10 лет за «диверсию». Умер в тюрьме.

** Станислав Миколайчик (1901 – 1966) руководитель Польской Крестьянской Партии, премьер польского эмигрантского правительства в 1943-44. В

веру, а еще большим ударом явилась для нас весть об объединении социалистической и коммунистической партий Польши. К тому времени мы уже научились читать советские газеты и стали понимать, что кроется между строк. Мы начали осознавать, что это конец, что Польша, пусть и неофициально, не юридически, но фактически перестает быть независимым государством. Это были тяжелые моменты разочарования, боли и ощущения, будто нас предали и вычеркнули из памяти. Невыносимыми стали для нас замечания эзков из русской интеллигенции, что, мол, вы сами теперь убедились в том, что сны о свободе остаются только несбыточными мечтами, а наивность ваша беспредельна. Пора смириться с мыслью, что будущее – это лагерь и пожизненная ссылка...»

Октябрь 1956 года, а вслед за тем события 70-х годов и могучий порыв «Солидарности» доказали, что польский народ сумел очнуться от оцепенения.

Есть еще в книге Красневской одна глава, которая может вызвать противоречивые мнения. Она названа «Любовь» и рассказывает о сексе в лагерях. Общеизвестно, что сексуальные проблемы будоражили главным образом лагерную элиту – придурков и уркаганов. Основная же масса изнуренных голодом и непосильным трудом эзков относилась к этому безучастно, в соответствии с предсказаниями следователей: «Жить-то там будешь, но е... не захочешь». Женщины в тех условиях становились жертвами изнасилований, шантажа и всяких надругательств. Половая связь со способным помочь мужчиной была часто единственным шансом на выживание до конца срока. Красневская, в общем, все это подтверждает, только есть в описании всех этих запрещенных лагерным режимом амурных походов «женатиков» и их «шалашовок» (автор, впрочем, выпустила из памяти это обозначение лагерной сожительницы и вводит нелогично понятие женщины-«женатика») некое любование деталями, которые могут эпатировать читателя. Вот образчик жанра этого своеобразного Декамерона, описание гулаговского «реер-show»: «Однажды мы вышли с Галиной из бани, рядом с которой на расстоянии пятнадцати метров тянулся забор. Было лето, воскресный знойный день.

1945 г. зам. премьер-министра Временного Правительства Единства Народов. В 1947 г. когда начались репрессии против Крестьянской Партии, бежал в США.

Все прятались от солнца. Перед дырой в заборе сидела на земле одна из работниц швейной мастерской. Ее раскоряченные ноги были задраны кверху, свою голую попу пыталась втолкнуть между досок. С другой стороны забора слышались не то стоны, не то просьба мужчины: „Пошире, хочу видеть, пошире...“ – Тьфу, – плюнули мы обе».

При всем восхищении откровенностью и памятьливостью автора на детали сомневаешься в оправданности подобных сцен.

Тем не менее, книгу «После освобождения...» стоило бы перевести и на русский. Это подлинный документ той эпохи.

Игнатий Шенфельд

«СКАЖИ ИЗЮМ» – РОМАН О РОССИИ И ЭМИГРАЦИИ

«Скажи изюм» – третий, после «Ожога» и «Острова Крыма», роман зрелого Аксенова, где изысканный, смелый, неповторимый аксеновский стиль сочетается с необычайной серьезностью темы. «Скажи изюм» – это почти документальное повествование о том, как был создан неподцензурный литературный альманах «Метрополь» и какая судьба постигла его авторов в противостоянии с КГБ, Идеологическим Отделом ЦК и руководством Союза советских писателей.

Действие романа не случайно, однако, перенесено из литературы в фотографию. Аксенов выбирает тот медиум, где связь между действительностью и искусством, между объектом и его изображением, на первый взгляд, наиболее непосредственна. Он намеренно подчеркивает, что его герои, фотографы-нонконформисты, в отличие от классиков соцреализма, не размазывают эмульсию по сырой пленке, создавая «героические вихри», а фотографируют то, что существует на самом деле. В результате, любое явление советской жизни, будь то Пленум Комсомола, молодежная стройка, запуск космического корабля или панорама ВДНХ, оказывается невероятной, скандальной антисоветчиной, по той простой причине, что так называемая советская жизнь – это мираж и

фикция, а действительность – неприглядна и страшна. В то же время, цель фотографии, как и любого вида искусства, это – прорыв через действительность к высшей Истине, и в книге есть проникновенные рассуждения о Божественном в искусстве, принадлежащие и автору, и его героям-фотографам (к которым автор очень близок, он – просто один из «своих»), и эпизодическому персонажу, мистически появившемуся и исчезнувшему негру Чокомену. Эти рассуждения как будто ироничны, ибо такова норма в мире Аксенова – полная серьезность там патетична, смешна, невозможна, а истинно серьезное и трагическое защищает себя иронией.

Негр Чокомен парадоксально объявляет началом фотографии убрус с Нерукотворным Образом Спасителя и несколько нерукотворных же его отпечатков, возникших во время странствий и перемещений Образа. С этой поразительной мыслью перекликаются и идеи Охотникова о Туринской Плащанице как матери всемирной космической фотографии, соединенной с астральным миром, и возведение фотографии к алхимии и поискам *Weltgeist* («мировой души». – Г. К.) Огородниковым.

А вот как описывается творчество «новых фотографов» с точки зрения партийных идеологов: «Основным принципом ее («новой фотографии». – Г. К.) вроде бы считается то, что на одном снимке и в одном измерении некоторые детали выпирали как бы с сюрреалистической точностью, в то время как другие, видимо, не интересующие художника, оказывались «не в фокусе»... Очевидно было, что странное это фокусирование влечет за собой искажение нашей реальной социалистической действительности, но как оно достигается, вот в чем вопрос... Злокозненные «новые фотографы» несомненно вовлечены в западный упадочный процесс, а их попытки объяснить особенности своих снимков комбинацией оптических причин с душевными являются, конечно, происками доморощенных метафизиков, которым партия объявляет бескомпромиссную войну».

Бескомпромиссная война и ведется на протяжении всей книги, в основном, силами КГБ, за которыми стоит, однако, кто-то из «верхушки» партаппарата. Конечно, и документальный рассказ о травле участников «Метрополя» и о духовном процессе, происходившем с участниками этой группы в связи с травлей, был бы безусловно интересен, как были интересны

воспоминания о Бульдозерной выставке и других нонконформистских начинаниях. Но в том-то и дело, что роман поднимается над документом. Поднимается по глубине и точности описания и анализа целых срезов советской жизни: партийно-художественной «интеллигенции» и ее окружения, от руководства до неудачников, жен и секретарш; фрондерской творческой среды, в защите своего достоинства вырастающей от довольно безобидного «самиздата» до бунта; органов КГБ; правозащитников; особой породы журналистов-международников; советских эмигрантов на Западе; западных бизнесменов и журналистов, и пр. и пр. Поднимается по драматургическим достоинствам – роман построен как туго закрученная пружина, с ее потенциалом удара, который реализуется в виде партийного разгрома и арестов среди участников группы, а также двоекратной попытки убийства главного героя – Огородникова и его жены. Поднимается и по ощущению катарсиса в утопической концовке – один здравомыслящий, симпатичный, серьезный и доброжелательный молодой человек с «уютным» именем Вадим Раскладушкин, останавливает волшебными простыми словами гнусную кампанию против авторов фотоальбома «Скажи изюм», и вся страна вдруг просто, естественно, по-солженицынски, начинает «жить не по лжи». Поднимается, наконец, по языковому новаторству, о котором писалось, пожалуй, куда больше, чем об аксеновских идеях. Это – ритмизованная, небрежной походкой движущаяся проза, обыгрывание литературных цитат, каламбуры, блестящий юмор, неисчерпаемая способность к неологизмам, безупречно услышанные диалоги, меткость и емкость описаний. Дай Бог писателю Василию Аксенову не утратить этого редкого чувства языка в бессрочной эмиграции!

В новой книге Аксенова отразился уже и его опыт жизни на Западе, опыт нелегкий, к которому никто из нас не был готов. В России мы были открытыми диссидентами или тайными инакомыслящими, сионистами или нонконформистами, но все мы жили в манихейском мире, разделенном на чужих, врагов («они» – начальство, партия, КГБ, милиция) и на немногих близких, своих («мы»). За тяготы отношений с «ними» жизнь вознаграждала нас особой спайкой, дружбой, теплотой «своих». В этом удивительном чувстве была радость и гордость, бесстрашие и веселье, окрыленность и осмысленность. На Западе же спайка распалась, оказалось, что мы как

социальная группа никому не нужны и что каждый должен устраиваться как может. И тут среда «своих» не удерживает больше от подлости.

Герой и двойник Аксенова, Максим Огородников, столкнувшись с этой ситуацией в своем бегстве на Запад, решает вернуться в Россию, пока путь еще не отрезан. За этим неожиданным сюжетным ходом таится, должно быть, ощущение ностальгии, тоски по утраченной роскоши настоящих человеческих отношений, которая преследует всех тех, – будь то участники французского Сопrotивления, югославские партизаны или советские диссиденты, – кто познали цену жизни, свободы и дружбы в борьбе. Таков нешуточный урок романа «Скажи изюм».

Галина Келлерман

MEMENTO MORI

Как бы обнюхиваясь при встрече, русские эмигранты первым делом интересуются: – А вы к какой волне принадлежите?

И дальнейшее отношение уже зависит от номера «волны»: первая презирает последующие за «советскость», вторая с пиететом смотрит на первую и с дрожью отвращения на третью, а третья плюет на всех, ругает как Запад, так и Восток и открывает кавказские рестораны в Америке.

Много между ними действительно несхожего, но, как ни странно, главнейшее из различий, это – то, что должно бы всех объединить: страна, откуда все родом... Потому что у каждой из «волн» – свой образ России, который они унесли с собой, как Роман Гуль в его «Новом Журнале». У первой – Россия буколически-усадебная, у второй – страшная сталинская, а у третьей – брежневская, скучно-постылая, как вчерашняя каша.

Какова же Россия Игоря Чиннова? Судя по его последней книге «Автограф», никакой России в его стихах вовсе нет – есть только полное ее отсутствие, громадное зияние, яма на месте «1/6 части земной суши».

Игорь Чиннов. Автограф.

Рожденный в пределах великой Российской империи, Чиннов, из-за своего раннего возраста и известных исторических происшествий, едва взглянул «на край родной долготерпенья», и, унеся в памяти лишь несколько примет этого «края, глухого и грешного», оставил его навсегда, чтобы поселиться в Европе, в Америке, в Мире. Казалось бы, это могло нанести фатальный ущерб русскому поэту, сделать заведомо неполноценной его Музу...

Но в поэзии ведь все возможно, ибо она – чудо (плюс египетский труд, но в этом никто не признаётся), и вот с годами и десятилетиями, с публикациями и сборниками этот поэтический минус превратился в известный плюс, а Чиннов стал истинным космополитом, безмятежно-планетарным жителем, но с драматической подоплекой.

Его драма заключается не столько в гамлетовском вопрошании «Быть или не быть?» (Чиннов слишком хорошо знает, что, конечно, не быть), сколько в продолжении этого вопроса: – А что же взамен, что же после?.. Эта неравная антиномия, это колебание между несомненностью конца и сомнительностью бессмертия остается главенствующей темой «Автографа», перейдя в книгу из более ранних сочинений.

Вот характерные осколки метафор этого сборника: «Отплытие в небытие», «в никуда», «совсем», «уснем, не проснемся», чаша весов, приговор, тень Евридики, мумии, посмертные маски, крематорий, Азраил, конь Блед, Смертушка, Душегубушка, водица тусклого Стикса, Харонушка, он же кровавый Хронос, и, наконец, главный его атрибут и ключевой образ книги – песочные часы.

Заведомая мера нашего убывающего времени!

Вот почему и морской песок оказывается сосчитан Чинновым до единой частицы.

Кто может сосчитать морской песок? Весной
Я шел по берегу, устало:
Я точно сосчитал песчинки – до одной.
Но двух песчинок не хватало.

.....

Пусть раковиной бледной и пустой
Я на песке похолодею:
но светлый Мусагет из раковины той
С улыбкой вырезал камею.

Exegi monumentum – на текущем песке времени.

А в этом пересчете секунд – не скрупулезность, но – живое чувство, что если бы даже невероятно увеличить жизненную клепсидру, то и тогда это было б не избавлением от смерти, а лишь откладыванием на потом все той же скучнейшей и жуткой обязанности. Искусство же утешает, но не спасает.

Иначе говоря, все возвращается к исходному: «Я знаю: век уж мой измерен». Но ведь это написал даже не Пушкин, а его герой Онегин, которому, в конечном-то счете, можно было сбиться на банальность (и даже вставить «уж», где не хватило слога). А нам – нельзя. И Чиннов, я утверждаю, – не сбивается.

Выручает улыбчивость Музы, ее искренняя самоирония. Нет, не «ирония», а именно «само-»! И – что ей тоталитарные блазни нашего века, его катаклизмы, гекатомбы и даже самоубийственные порывы целых наций! Все это касается Чиннова постольку, поскольку его охочее до жизни «Я» должно в таких закланиях превратиться в ничто, пропасть, аннигилировать. Даже нейтронная бомба – всего лишь апокалипсическая игрушка, и какая разница, от чего погибать?

Эгоцентризм?

Да, но зато честный. Честней, чем некрасовская скорбь за народ (а своих крестьян при этом – к ногтю!). Честнее всех развесисто-мошеннических «будущих зорь человечества», против которых протестовал еще подпольный человек Достоевского.

Честнее уже потому, что человечеству никогда не больно, но всегда больно человеку.

Никакой пышной риторики! И это, пожалуй, то, что в поэзии Чиннова особенно точно отвечает камертону «парижской ноты», заданному Г. Адамовичем.

Но ведь не одни же гробовые бесспорности утверждает Чиннов, отнюдь нет! В его стихах почти всегда присутствует антитеза смерти, а его предшествующий сборник так и назывался: «Антитеза». Подразумевается, что ею должна быть вера в Бога, в бессмертие души, в воскресение из мертвых, но нет: лишь надежда на это. А то и скепсис. А то и отчаянно-клоуновское комикование. Протест. А может быть, в сознательно заниженной эстетике «ноты» Надежда и есть Вера? Во всяком случае, в полном спектре переливов чинновской иронии от буффонского хохота до просветленно грустной улыбки чувствуется дыхание поэзии.

Духовность.

Нет, не расчетливо-умственный агностицизм, который предписывает себе автор, а скорее, сиротство в Боге, пронзительная оставленность... И обида на всемогущего Судию-Отца, и любовь к Нему, и надежда, что Он еще придет и спасет брошенного ребенка, и самонасмешка над незрелостью этой веры. Отцу, заметим, посвящена его книга «Метафоры»; «Автограф» тоже имеет посвящение: «Памяти матери и отца».

Если стилистически ирония точно соответствует скепсису, то самоирония спасает книгу от солипсизма.

В послесловии к этой книге Чиннов говорит, что его первые сборники были написаны «в сдержанном парижско-нотном регистре». «В четвертой и пятой книге появились гротески, нарочито обедненный словарь сменился обогащенным, с усиленной образностью. Шестая книга оказалась „гимном красоте“, в седьмой опять возобладали гротескные „картинки“».

«Автограф» – восьмая книга поэта, и, мне кажется, в ней произошла смесь названных элементов: в самых смелых гротесках иногда слышится идиллическая флейта, а в безмятежных пасторальных присутствует бродильная капля абсурда, некая творческая «безуминка». И всюду рассыпаны крупинцы терпеливой мудрости.

Если определять характернейший жанр для этой книги, то я бы выбрал не элегию или философическую жалобу, а скорее всего, пейзаж. Наш, земной, почти кругосветный вид, экзотический или очень обыкновенный, который пишется Чинновым порой в головокружительно-галактическом ракурсе.

Он рискует брать для письма ярко-светящиеся, чуть ли не райские краски, не чуждается даже опасного бижутерийно-сапфирового тона, но всегда умеет спасти эпитет от красоты точным смысловым ударом: каким-нибудь маленьким крематорием на заднем плане, либо значком того ж *memento mori*.

В более умеренных стихах сборника эти элементы приглушены, и тогда среди все еще богатых, но не излишне-роскошных эпитетов достаточно поместить лишь намек на латинское напоминание: какого-нибудь червя в дозревающем персике, либо жучка, точащего лист шалфея... В таких стихотворениях все сплавляется в гармонию, к тому же и оркестрованную фонетически, как нельзя лучше.

Розовато-желты абрикосы,
Изжелта зеленоваты сливы.
Золотые пчелы или осы
Населяют сад листошумливый.

И еще один парадокс поэзии Чиннова – несмотря на его гамлетовские медитации над черепом шута (или шута над черепом Гамлета), ни у одного поэта я не нашел столько свежих рифм для «жизни»: тут и «Дизни» (Уолт Дисней), и даже «дизель». Вообще его созвучия очень разнообразны и изобретательны (и, что еще ценнее: естественны) – он применяет и консонансы, и ассонансы, и классические рифмы, и составные с ритмическими провисаниями... Пожалуй, именно в ритмике поэт особенно искусен: во всем сборнике я нашел всего лишь один лишний слог, механический наполнитель размера, наподобие онегинского «уж». Выделю его скобками:

Люди с песьими (все) головами.

Но это (уж), действительно, мелочь.

Игорь Чиннов заканчивает «Автограф» сильным росчерком в духе всей книги. Громадно отсутствующая Россия неожиданно и могильно-отверсто появляется в последнем стихотворении. Но – в каком свойстве? А вот в каком – в качестве желанного места для последнего, так сказать, упокоения...

Умственно возвращая свой будущий труп на историческую Родину, Чиннов примеряет его лежащим на Литераторских Мостках города Санкт-Петербурга. И так, и эдак, а все не выходит, не гоже. Да и пожить еще хочется... И правильно, Игорь Владимирович!

Но последняя строка стихотворения, а значит, и книги является оптимическим контрастом темы и, одновременно, контрапунктом всех главных тем:

А вот стихи – дойдут. Стихи – дойдут.

Свидетельствую: стихи Чиннова доходят и уже дошли до России – я сам их читал в своей коммуналке на Петроградской Стороне. И, надеюсь, они это еще продолжат, пока целиком не поселятся в отнюдь не пустынном Элизии российской изящной словесности.

Дмитрий Бобышев

СТРЕЛЕЦ № 2, 3, 4, 5, 6, 1986 г.

*ежемесячник литературы, искусства
и общественно-политической мысли*

Гл. редактор – Александр Глезер

В номере 2: проза Василия Аксенова, Зинаиды Гиппиус, Александра Журжина, стихи Владислава Лёна, интервью с Георгием Владимовым, воспоминания Юрия Терапиано, публицистика Доры Штурман, статья о творчестве Варлама Шаламова, обзоры выставок Сергея Голлербаха, Юрия Купера, Виталия Комара и Александра Меламида, рецензии на книги.

В номере 3: проза Михаила Лемхина, Вадима Нечаева, малоизвестная пьеса Михаила Зощенко, стихи Виктора Кривулина и Елены Шварц, интервью с английским туристом о ситуации в Ленинграде, статья о религиозных течениях в современной русской литературе, публицистика Сергея Юрьенена, рецензии на книги, обзоры выставок.

В номере 4: проза Гайто Газданова, Юрия Мамлеева, Вадима Нечаева, стихи Юрия Кублановского и Генриха Сапгира, воспоминания Юрия Иваска, интервью с Дмитрием Савицким, статья о творчестве Владимира Немухина, рецензии на книги, обзоры выставок.

В номере 5: проза Владимира Нечаева, Бориса Садовского, Александра Хахулина, стихи Елены Игнатовой и Сергея Петруниса, интервью с Василием Бэтаки, воспоминания княгини М. К. Тенишевой, очерк Вадима Крейда, статья о творчестве Владимира Овчинникова, рецензии на книги, обзоры выставок.

В номере 6: проза Анатолия Вербицкого, Владимира Максимова, Алексея Ремизова, стихи Ольги Седаковой и Александра Радашкевича, воспоминания художника Гавриила Гликмана, интервью с Юрием Кублановским о прошлогодней позорной кампании против А. И. Солженицына, эссе Евгения Хорвата, статьи В. Крейда о судьбе поэта и прозаика Владимира Пяста, рецензии на книги, обзоры выставок.

Стоимость каждого номера – 28 франков плюс четыре франка на пересылку.

Заказы направлять по адресу:
Alexander Gleser, Chateau du Moulin de Senkis,
91230 Montgeron, France.

Коротко о книгах

Эммануил и Ольга ШТЕЙН

ЧТОБЫ ПОЛЬША БЫЛА ПОЛЬШЕЙ

«Антиквариат». Оранж, США, 1985

Интерес к созданию антологии русских стихов о Польше – не нов. Еще в 1940 году известный русский поэт, живший в Харбине, Арсений Несмелов начал составлять сборник такого рода. Тот же замысел в тридцатых годах был и у крупного польского литературоведа Вацлава Ледницкого.

Э. и О. Штейн, составившие эту небольшую антологию, в предисловии указывают, что в наши дни отношение части польской интеллигенции к русским стихам, посвященным Польше, «подверглось странной трансформации» (имеется в виду акцентировка на произведениях шовинистических и точнее антипольских, которые в русской поэзии существуют, но безусловно не они определяют главное в отношении русских поэтов к Польше). Такие произведения, отражающие «старый спор славян между собою» (как выразился Пушкин), в антологию не включены. Не то, что нас разделяет, а то, что нас объединяет, важно сегодня. Поэтому нет здесь, например, пушкинской «Бородинской годовщины», или стихотворения Мицкевича «Друзьям-москалям», написанного резко – в ответ на некоторые стихи Пушкина и Жуковского, пронизанные великодержавным духом. Наше время – если говорить о настоящих поэтах – сдало в архив взаимные обвинения. И когда один из лучших поэтов русского зарубежья Николай Моршен в своем известном «Письме А. С. П.» пишет «И от „Клеветников России“ меня давно уже тошнит», то этот разговор его с Пушкиным воспринимается, как истинные коррективы, внесенные временем в настоящие, неформальные отношения русских и поляков. Они определяются, как верно замечают составители антологии, строками Окуджавы:

Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбою,
В прощанье и в прощенье, и в смехе и в слезах,
Когда трубач над Краковом возносится с трубою,
Хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.

Надежда на то, что «с Польши начнется» – висит в воздухе последнего десятилетия. Потому строки Окуджавы, написанные много ранее, воспринимаются как пророческие. А его романтически-абстрактная строчка о том, что «уходим мы привычно / сражаться за свободу / в свои семнадцать лет», ведет нить воспоминания к тому крылу декабристов, которое именовало себя «соединенные славяне», и чьим лозунгом были слова: «За вашу и нашу свободу». Именно за *вашу и нашу*, а не за *общую*, хотя общая борьба и общая судьба сомнению не подвергаются. В противоположность этой позиции можно привести строки Тютчева из его панславистского стихотворения «На взятие Варшавы», где поэт обращается к полякам с такими словами:

Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша *общая* свобода
Как феникс возродится в нем!

Само собой разумеется, что это мнение, будто России предназначена мессианская роль объединения всех славян, мысль достаточно казенная, официально поданная в печати, мало общего имеет с истинным уважением к польскому народу и польской культуре, которые звучат во всех остальных стихах, включенных в антологию. Сегодня нам куда ближе тютчевских рационалистических пассажей отрывок из гениальной поэмы Александра Блока «Возмездие», тот, в котором Блок пишет:

Не так же ль и тебя, Варшава,
Столица гордых поляков,
Дремать принудила орава
Военных русских пошляков?

Сегодня – очень актуально звучат эти строки – хотя советские «военные пошляки» и не вторглись в Польшу. Эту роль, впрочем, взял на себя их лакей Ярузельский.

Блок писал: «...Лейтмотив возмездия есть мазурка... Мазурка разгулялась: она звенит в снежной вьюге, проносающейся над ночной Варшавой... в ней явственно слышится уже голос Возмездия»...

Более всего места в антологии уделено стихам Александра Галича. Это отрывки из его «Баллады о вечном огне» и из поэмы «Кадиш», поэмы о легендарном педагоге Януше Корчаке, который пошел в газовую камеру вместе со своими воспитанниками из «дома сирот». В антологию включены отрывки о Петре Залевском, об отправке поезда в Трелинку и последняя часть поэмы, та, в которой автор

сам появляется на сцене, сегодня, обращаясь через тридцатилетие к польскому педагогу и святому мученику Янушу Корчаку с такими словами: «Но из года семидесятого /я вам кричу: пан Корчак!/ Не возвращайтесь, вам стыдно будет в э т о й Варшаве!»

Эти стихи, написанные шестнадцать лет тому назад, по своей пронзительной любви, по своей конечной вере в Польскую Вольность перекликаются с замечательными строками Зинаиды Гиппиус:

«Ей два креста сулили: на одном
ее истерзанное тело –
душа немая на другом!»

– пишет она о Польше и заканчивает эти стихи так: «Голгофа ради воскресенья, И веруем: – да будет!»

Вошли в антологию и недавно написанные стихи русского зарубежного поэта Валерия Перелешина, связанного с Польшей и польской темой самым своим происхождением:

А теперь на твои останки
уцелевшие от войны,
пулеметы, пушки и танки
вероломно наведены.
Боже наш, разразиться грому
не позволь! Своему рабу Иоанну-Павлу Второму
вверх несчастной земли судьбу!
Дай ей в дедовских жить пределах
да и нас избавь от стыда,
чтоб царей – ни красных, ни белых
ей не знать уже никогда!

Как справедливо пишут составители в своем предисловии, что темы Кавказа и Востока в русской литературе на протяжении веков и десятилетий чередуются именно с польской темой, но «сейчас Кавказ и Восток как бы отодвинулись на второй план и Польша вновь выходит на авансцену».

АНТИСОВЕТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

«Ардис» Анн-Арбор, США, 1985

Оказывается, что может быть более антисоветским, чем советский быт, советский образ жизни, образ мышления, – да и вообще Советский Союз такой, как он есть, такой, каким его знаем все мы, и каким почти ни один турист его увидеть не сумел, ибо размах в строительстве Потемкинских деревень превзошел многократно размах в строительстве социализма!

Прежде всего, В. Войнович вполне обоснованно утверждает, что мир бочкообразен. И верно, советские люди – это диогены поневоле. «Мы рождаемся, живем и умираем в бочке», – пишет он. Поэтому главной тайной, главным государственным секретом является реальная, повседневная жизнь советских людей. Очерки, собранные в книге, – это рассказ о самых различных сторонах советского быта. И хотя книга состоит из трех частей: «Жизнь», «Литература» и «Политика», но в ней затронуты тысячи сторон, мелькают тысячи мелочей тех, из которых и складывается жизнь советского человека.

Кстати, сам термин «советский человек» В. Войнович справедливо отрицает. «Так же противоестественно было бы назвать какой-нибудь народ монархическим или парламентским или все народы стран общего рынка объединить названием общерыночного народа». Что же касается понятия «Хомо советикус», то это «презренное существо с двойным или тройным сознанием встречается на Западе не реже, чем в СССР», – считает автор. Справедливо отмечает он, что если в одной камере продержат достаточно долгое время русского, американца, эскимоса и тайландца, к примеру, то при разных личностях и национальных различиях между ними появится немало общего.

И не только жизнь рядовых советских людей показывает автор, но и жизнь внутри Союза Писателей, который в миниатюре повторяет – но не как зеркало, а как пародия – всю советскую жизнь. Но кроме того, в литературных буднях интересны такие моменты, которые не имеют параллелей в общесоветском быту. Так, требования «соцреализма», если их пересказать простым человеческим языком, оказываются поабсурднее самых абсурдных литературных произведений. Меткость сатирика, с которой В. Войнович замечает детали, из коих складывается мозаика писательского быта и писательского образа мышления, поразительна: «Если буквально следовать логике тех, кто

учит писателей, как и для чего они должны писать, что и кто должен читать, то шпионские романы должны читать только шпионы, а рассказ Чехова «Каштанка» только собаки».

Сами по себе названия очерков уже дают представление о том, какова широта охвата советской действительности в этих очерках: «Литература государственная и побочная», «Заткнуть глотку», «Пассивный сопротивленец», и так далее. И как всякий русский писатель, не избег В. Войнович попытки ответить на три коренных вопроса нашей литературы: в чем проблема? кто виноват? что делать?

И вся мозаика, все эти пестрые рассказы вместе, попутно высмеивая людей, которые, согласно моде («духу времени»), «выбрасывают из головы одни цитаты, заменяя их другими», в целом показывают СССР таким, как он есть. Показывают наверняка более точно и многосторонне, чем иные самые что ни есть систематизированные и научные творения. Отчасти и потому, что написано это полунаивным-полулукавым тоном, каким объясняют вещи очевидные. Этот особый стиль рассказа – одно из главных достоинств книги.

Книга самым убедительнейшим образом опровергает модное в левых (и, к сожалению, не всегда только левых) западных кругах утверждение, что Россия, дескать, исторически предназначена для тоталитаризма. Любая страна, попавшая в сходные условия, быстро становится близнецом СССР. И еще одну легенду, удобную для «желающих принять желаемое за реальное», развенчивает эта книга: легенду о том, что вот, мол, «ленинские старцы» сменятся молодыми и все пойдет куда надо. В. Войнович замечает, что с новым поколением руководителей главное, самое большое новшество, которое пришло – «на официальных приемах пьют не шампанское, а минеральную воду».

«Новый лидер обещал покончить с парадностью и пустословием, но советские газеты по-прежнему заполняются победными реляциями...» Вот потому-то Советский Союз и остается антисоветским, напоминая чудо-растение из другого произведения В. Войновича – ПУКС, или, говоря более прилично, «путь к социализму»...

В. Б.

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Изд-во «Жизнь с Богом», Брюссель, 1985

Впервые эта книжка вышла в 1897 году в Одессе. Полное ее заглавие – «ПАРАЛЛЕЛИ. Библейские тексты и отражение их в изречениях русской народной мудрости. Составил И. М. Сирот. Выпуск 1. Изречения и притчи Ветхого Завета в сопоставлении с русскими народными пословицами и поговорками».

Как сообщает издатель и автор предисловия А. Рубинштейн, «об авторе нам ничего неизвестно. По всей вероятности он христианин, ибо сообщает о своем намерении издать второй выпуск своей книги, где будут рассмотрены русские пословицы евангельского происхождения».

Вышла ли эта вторая книга, неизвестно. Что же касается «Параллелей», то само расположение материала, его систематизация и небольшой, но тщательно составленный аппарат, говорит о том, что И. М. Сирот – не дилетант, что труд его безусловно относится к числу тех филологических работ, на какие уходят порой целые годы. Основной принцип состоит в том, что каждой цитате из Библии соответствует пословица или поговорка, из этой цитаты произведенная. Случаи несомненных и почти не трансформированных заимствований отмечены звездочками. Причем интересно, что даже при наименьшей трансформации реалии, если они имеются, как правило, заменяются на привычные. Например, изречение из Иезекииля: «Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах» русским фольклором взято с одним лишь изменением – в русской пословице виноград заменен клюквой.

И. Сирот поставил своей целью «во-первых, иллюстрировать с помощью указанных сопоставлений и сравнений влияние библейского мировоззрения на русскую народную мудрость, а во-вторых, указать источники...» множества русских пословиц и поговорок. Эта вторая цель автора особенно важна сегодня, когда многие, даже хорошо знающие родной язык, русские люди не представляют себе, какое большое количество библейских изречений, трансформированных в поговорки и пословицы, искажено создателями советского газетного жаргона и используется ими.

Что же касается фабрикации советского лже-фольклора, необходимость которой в «наивные» тридцатые годы доказывал профессор

Н. П. Андреев, то придуманные им и другими «фольклористами» изречения особенно вульгарной фальшивкой выглядят на фоне настоящих библейских изречений и произведенных из них пословиц. А. Рубинштейн в своем предисловии приводит потрясающие по цинизму и вместе с тем наивности слова этого «фольклоростроителя» тридцатых годов: «Рядом с изданием фольклорных материалов для антирелигиозной работы должно стоять создание материалов, близких по типу к фольклорным, но полнее и острее осуществляющих наши задачи». Как мы знаем, долгое время такие фальсификации издавались в СССР десятками.

Предисловие А. Рубинштейна, в основном точно приводящего факты, страдает, к сожалению, некоторыми досадными ошибками. Так, известного советского антирелигиозника и фальсификатора, бывшего директора Музея истории религии и атеизма М. Шахновича он всерьез называет фольклористом. Между тем, едва ли есть даже в СССР много столь бессовестных «историков» в штатском, как М. Шахнович. Понятие «Гамбургский счет» истолковывается А. Рубинштейном как «двойная бухгалтерия» (!) Но эти мелочи, разумеется, не умаляют значения самого факта разыскания и издания этой редкой и чрезвычайно интересной книги.

В. В.

Феликс КАНДЕЛЬ
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
«Посев», 1985

Сюрреалистический роман – жанр эпического повествования, словно бы специально созданный для изображения советского общества: жизнь человеческая складывается в нем (как и в любом другом) из обыкновеннейших реалистических деталей, но связи между ними (как ни в каком другом) обнаруживают тенденцию к абсурду, к галлюцинации, к бреду наяву.

Феликс Кандель избрал героями четыре поколения одной советской семьи, однако родственная их принадлежность к клану носит характер чисто символический. Они являются семьей в том смысле, в каком является ею народ, нация, некая общность людей, проживших единую историю. Не свою собственную, но историю этой общности: страны, скажем. Что до своей, личной – до биографии каждого из членов этой семьи, то она есть одновременно и производное от Истории, и плод персонального выбора, как бы нищенски узок он ни был, этот

выбор, и как бы ни тяготела над ним железная рукавица «осознанной необходимости».

Сознание этих людей, каждого из этих людей, непременно чем-то связано и ослеплено: то слабостью, то ненавистью, то бессилием, то неверием ни в какие ценности, но надежда – слабая и самое себя стыдящаяся – хоронится все-таки в душе их и готова окрепнуть от самого легкого притока воздуха, животворящего ветра.

Мертвые, погибшие в лагерях или на полях войны, или в собственной постели, живут в их памяти так интенсивно, словно бы и не исчезли вовсе, словно продолжают свой путь на земле, ибо они не поняты, не отмолены, не раскаяны, не отомщены. Их присутствие написано автором мастерски, ибо в нем нет ни пошлости «романа ужасов», ни зловещей мрачности апокалипсического прорицательства. Они существуют в душах живых неостановимой болью и столь же неостановимой памятью (которая, впрочем, и есть ничто иное, как эта боль).

У героев есть, разумеется, имена, есть внешние приметы (обстоятельства) их существования, но и приметы эти, и имена – условны, необходимы только разве что для того, чтобы отличать их друг от друга, чтобы присутствие их в романе и в жизни не оказалось совсем уж призрачным и бесплотным. Каждый из них в глубокой сущности своей – персонификация слома, внутреннего раскола. Одни – потому что они жертвы. Другие – потому, что они хозяева этой жизни, создатели зла, строители инвалидного дома на 270 миллионов мест. Но и эти – в конечном счете тоже жертвы, ибо ни в существовании их, ни в сердце нет ничего, что могло бы дать им душевный покой, когда приходит час итогов и последних вопросов к самим себе.

Люди эти, все общество (если только можно назвать обществом толпу полупризраков, проходящих перед нами в романе) несет в себе болезнь столь же неизлечимую, сколь постыдную: в нем нарушен иммунитет к несвободе, и все человеческие ценности обречены на разрушение. Это началось однажды, семьдесят лет назад, когда веселые и бесшабашные «строители нового мира» выбросили из окна на мостовую старинный рояль, грешивший излишней, непонятной и потому враждебной грядущему завтра утонченностью. Встречи с булыжником (как известно, орудием пролетариата) рояль не выдержал, и струнная душа его навсегда покинула эту несчастную и страшную землю.

Роман Ф. Канделя приемом своим напоминает «Сто лет одиночества» Габриеля Г. Маркеса. Он сложен и прост одновременно, он лаконичен и многозначен, он часто жесток, но чаще – безутешно печален.

По страницам журналов

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Эмигрантское издательство «Серебряный век», находящееся в Нью-Йорке, выпустило четвертый-пятый номер альманаха «Часть речи» (редактор – Григорий Поляк). На обложке этого сдвоенного номера портрет поэта Владислава Ходасевича, столетие со дня рождения которого альманах отмечает публикацией его неизданных стихов и прозы.

Весьма интересна, на мой взгляд, статья Владислава Ходасевича о поэме Марины Цветаевой «Молодец» (основанной на фольклоре), в которой Ходасевич касается звуковых и словесных сочетаний, играющих – по его словам – огромную роль в народной песне.

Он пишет: «Вот эту „заумную“ стихию, которая до сих пор при литературных обработках народной поэзии почти совершенно подавлялась или отбрасывалась, Цветаева впервые возвращает на подобающее ей место. ... Необходимо добавить, что удастся это Цветаевой изумительно. Я нарочно не привожу цитат, ибо пришлось бы перепечатать всю книгу: за исключением двух-трех не вовсе удачных мест, вся сказка представляет собой настоящую россыпь словесных и звуковых богатств».

Уделено большое внимание в альманахе и современным авторам, в том числе живущим в СССР.

Например, в альманахе опубликованы стихи большого и сложного поэта Станислава Красовицкого (готовится публикация его книги стихов с предисловием Иосифа Бродского). Рукописи эти поступили по каналам самиздата и печатаются без разрешения автора.

Красовицкий хорошо известен тем читателям в Советском Союзе, которые интересуются неофициальной литературой. Его поэзия носит новаторский характер, на первый взгляд как будто незаметный, но основанный на утонченных достижениях русской поэзии двадцатого века и знании глубинных пластов языка и фольклора.

Например, стихотворение «Святой»:

Льет дождь.

Поминай нас как звали.

«Часть речи» (альманах литературы и искусства) №4-5, Нью-Йорк, изд-во «Серебряный век», 1985.

За нами окно сожжено.
Деревья из крыш выползали
И били в прямое окно.

Нам птицы садились на руки.
Стучал заколоченный вяз.
И пели дома о разлуке,
Бездумно, обнявшие нас.

Станислав Красовицкий – несомненно один из лучших современных русских поэтов.

Другое открытие (увы, русскую литературу двадцатого века еще предстоит открывать!) альманаха – прозаик Леонид Добычин. Опубликовано всего два его рассказа, но проф. Илья Серман посвятил творчеству этого до сих пор малоизвестного писателя обширную статью, в которой он пишет:

«Кто... знает о Леониде Добычине? А между тем в 1920-30-е годы о нем уважительно и с интересом говорили в писательских кругах Ленинграда, пока неожиданное самоубийство в 1936 году не поставило точку в его жизни и литературной судьбе».

Но в свое время Леонид Добычин, как пишет Илья Серман, пришел в литературную жизнь с произведениями, удивившими всех. Формально он считался «бытовиком», описывающим повседневную жизнь в России в двадцатых-тридцатых годах, но на самом деле, по моему мнению, Леонид Добычин был глубочайшим метареалистом, открывателем новых слоев реальности. Его небольшой рассказ «Отец» – шедевр, потрясающий по своей сконцентрированности и проникновению в эти новые поля реальности. Чем-то Леонид Добычин, возможно, напоминает Платонова, но все-таки он, видимо, шел в другом направлении. Его творчество явно выходило за пределы литературных границ того времени. Недаром Илья Серман озаглавил свою статью о творчестве Добычина словом «Лишний»: техника метареализма стала известна лишь в самое последнее время.

В отделе прозы также – рассказ Владимира Войновича «Аэропортовская», в котором описывается жизнь рядовых советских писателей в кооперативных домах у метро «Аэропортовская» и рассказ автора этой рецензии (Ю. Мамлеев. «Сельская жизнь»).

Напечатан еще рассказ Юрия Олеши «Ангел». Судьба этого рассказа – согласно предисловию Серафимы Блох – весьма любопытна. Он был впервые издан в 1922 году, и в основе его «лежит подлинный эпизод из действий батеньки Махно». В 1976 году в Советском Союзе

была предпринята попытка снять фильм по этому рассказу, но фильм так и не вышел. Не вошел рассказ и в наиболее полное советское собрание сочинений Юрия Олеши. В альманахе «Часть речи» впервые рассказ публикуется полностью.

В целом этот номер альманаха «Часть речи» содержит очень богатый материал, оценить который полностью можно только в специальном исследовании. Например, в нем напечатаны статья лауреата Нобелевской премии польского поэта Чеслава Милоша о поэзии Бродского, замечательные (и, видимо, не изданные в СССР) стихи Фазыля Искандера, неопубликованное стихотворение (с комментариями) Николая Заболоцкого, воспоминания Жозефины Пастернак, Василия Яновского, архивные тексты и т. д. Найдете вы там и статью (в разделе «Вопросы литературы») Вайля и Гениса под интригующим названием «С точки зрения грибов...»

Хочется пожелать альманаху новых успехов.

Юрий Мамлеев

«ПОСЕВ»

Франкфурт-на-Майне, ФРГ

В майском номере этого ежемесячника опубликовано письмо читателя Бориса Мухаметшина, в котором он пишет:

«Когда получаешь «свежий» номер «Посева», то почему-то возникает ощущение «старости», как и от всех предыдущих. Почему? – а) Внешний вид журнала – от «шапки» названия «Посев» до графического дизайна всего номера пахнет 40-50-ми. б) Лэйаут всего номера, набранного одной-двумя гарнитурами шрифта, создает впечатление однообразия и унылости. в) Качество вкрапляемых в текст фотографий очень низкое. г) Заголовки статей и разделов также оставляют желать лучшего».

К несчастью, если бы дело ограничивалось лишь этим! Из месяца в месяц, в особенности после обновления редакции журнала, на его страницах публикуются «новости» месячной давности, своевременно переданные советским слушателям по многим зарубежным радио, вещающим на русском языке (можно уверенно предположить, что читатели «Посева» в Советском Союзе несомненно слушают эти станции), политические комментарии на уровне колхозной многотиражки и теоретические мудрствования, своим качеством и унылостью напоминающие «Блокнот агитатора», только наизнанку.

В особенности этим отличаются сочинения нового Ответственного секретаря редакции, эмигрантского журналиста В. Рыбакова.

Видимо, наивно полагая себя большим специалистом по всем проблемам современного мира, от состояния Советской армии до причин западной безработицы, он буквально заваливает читателя столь же претенциозными, сколь и безграмотными статейками на любые, проходящие ему в голову темы. Лучше бы этому многоречивому господину продолжить на страницах «Посева» практику, успешно использованную им в пору его работы в газете «Русская мысль»: переводить статьи выдающегося французского публициста и политолога Бранко Лазича и печатать их под своим именем. Разумеется, здесь имело бы место некоторое расхождение с профессиональной этикой и законом, зато качество журнала бесспорно повысилось бы.

В июньском номере В. Рыбаков решил попробовать себя и на поприще литературной критики: не боги же в самом деле горшки обжигают! Обзор последних номеров «Граней» написан в лучших традициях партийных погромов на советский лад и явно приурочен к увольнению с поста Главного редактора этого журнала, прекрасного русского писателя Георгия Владимова, что также лишний раз свидетельствует об уровне профессиональной морали и «беспристрастности» обозревателя. Автор трех умопомрачительных по своему убожеству книжонок – В. Рыбаков лихо расправляется со своими неудобными собратьями по перу, у которых ему следовало бы долго и упорно учиться, не гнушаясь при этом и политическими обвинениями по адресу опального редактора.

В. Максимова, к примеру, он сурово осуждает за употребление штампов, вроде «Горизонт темнел» или «Звезда медленно приближалась». Что касается первого «штампа», то еще Чехов, имея в виду прозу Горького, говорил: «„Море смеялось“! Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает. Посмотрите у Толстого: солнце всходит и заходит... птички поют... Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное – простота». И еще в письме к самому Горькому: «У вас слишком много определений... Понятно, когда я пишу: „Человек сел на траву...“ Наоборот, неудобопонятно, если я пишу: „Высокий, узкогрудый среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо озираясь“...» Что же касается второго, то дай Бог В. Рыбакову изобрести в своих убогеньких писаниях нечто подобное, он бы тогда смело мог считать себя настоящим писателем. Увы, до этого ему еще очень далеко!

В заключении мы можем со всей определенностью суммировать основные характеристики нынешнего «Посева»: серость, безграмотность и крайняя политическая претенциозность.

А. К.

Наша анкета

БЕСЕДА С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «БУДУЩЕЕ» ЦЕНКО БАРЕВЫМ

Ведет Ольга Минц

О. М.: Господин Барев, вы – член редколлегии «Континента» и член исполкома Интернационала Сопротивления. Расскажите нашим читателям о себе.

Ц. Б.: В предвоенные годы я был студентом в Софии. Я также был членом Болгарской Крестьянской партии, которая с 1934 по 1944 год была запрещена пронацистским режимом. Эта партия представляла большинство болгарского народа, на выборах она получала около 80% голосов.



О. М.: Вы имеете в виду период до 1934 года?

Ц. Б.: Разумеется. Когда в 1934 г. произошел военный переворот и установился пронацистский режим во главе с царем Борисом, все политические партии были распущены и запрещены. Но поскольку Крестьянская партия была народной, массовой, у нее были установившиеся структуры, и она продолжала действовать в подполье, в том числе среди студентов. Будучи студентом, я был членом молодежной организации Крестьянской партии, а впоследствии стал ее президентом. Я также стал редактором ежемесячного журнала «Свет», который привлек к сотрудничеству лучших болгарских писателей.

О. М.: Этот журнал был подпольным?

Ц. Б.: Нет, он издавался открыто. Дело в том, что вначале этот журнал был местным, издавался в маленьком городке несколькими интеллектуалами, близкими к Крестьянской партии. Мы смогли затем перевести редакцию в Софию,

создать редколлегию из молодежи. Я был редактором журнала с 1938 по 41-й год.

О. М.: А что произошло в 1941 году?

Ц. Б.: В 1941 г. Болгарское правительство присоединилось к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии. Тогда Крестьянская партия, которая уже несколько лет была вне закона, приняла некоторые меры. Ее руководители попросили аудиенцию у царя Бориса, желая объяснить ему, что вступление Болгарии в военный союз с Гитлером неизбежно приведет к национальной катастрофе. Но Борис не принял делегацию и дал приказ об аресте лидера Крестьянской партии, который ушел в подполье. Крестьянская партия, совместно с ее молодежными организациями, опубликовала манифест, в котором призвала болгарский народ к сопротивлению. Мы готовы были сражаться с оружием в руках. Некоторое количество оружия у нас было, так как в болгарской армии нашлись люди, готовые сотрудничать с нами.

Но еще за три месяца до подписания пакта с Гитлером, Гестапо уже обосновалось в Болгарии. Я был арестован в качестве превентивной меры. Гестапо не знало, что я принимаю участие в серьезной акции. На два месяца меня выслали в деревню на севере Болгарии под надзор полиции. Тираж нашего журнала был арестован. На этом и кончилось его существование.

Тем временем, наш манифест в виде листовки начал циркулировать по стране. Около 800 человек, вся верхушка Крестьянской партии, были арестованы. Открылся первый концлагерь. А человек 40, в том числе и я, были отправлены в тюрьму, так как гестаповцы нашли у нас оружие и радиостанцию.

О. М.: А что в это время происходило с Болгарской компартией?

Ц. Б.: Она сотрудничала с нацистами. До 1941 года я был председателем антифашистского профсоюза студентов, объединявшего коммунистов, социалистов и вообще всех демократов. Но в октябре 1939 г., после подписания пакта между Сталиным и Гитлером, коммунисты вышли из нашего профсоюза и объединились с фашистами. Вообще, компартия была крайне малочисленной. В 1944 г., по их собственной статистике, у них было только семь тысяч членов.

О. М.: Вернемся к вашей истории.

Ц. Б.: Так вот, после двух месяцев тюрьмы, меня, вместе с 38 товарищами, судили. Прокурор потребовал для меня смертной казни, но я получил в конечном счете 15 лет и просидел в тюрьме до 9 сентября 1944 г. При новом, демократическом правительстве я вновь вошел в Крестьянскую партию, и меня избрали президентом студенческой организации партии. Кроме того, существовала массовая молодежная организация при Крестьянской партии, и я был избран в ее Центральный комитет. Соответственно, меня избрали в Политбюро Крестьянской партии как представителя ее молодежных организаций. В это время в Болгарии было правительство Патриотического Фронта, в котором участвовали Крестьянская партия, социалисты, коммунисты, республиканцы и два независимых члена. Однако, уже на следующий день после создания этой коалиции началась борьба между коммунистами и Крестьянской партией.

О. М.: Но у вас было большинство!

Ц. Б.: Да, конечно, у нас было 5 мандатов в правительстве, и нас поддерживало 6 других членов Кабинета, в то время как у коммунистов было всего 4 мандата. Но это не имело никакого значения. За ними стояла Красная армия. Да и многие наши друзья, вышедшие из подполья, не понимали истинную натуру коммунистов. Я же в тюрьме познакомился со многими видными коммунистами, даже с членами Политбюро. У нас были ожесточенные схватки, и они даже сообщали на волю, что я – заклятый враг коммунистов. Кстати, интересно, что болгарские коммунисты сотрудничали с нацистами еще добрый год после вступления СССР в войну. Они стали появляться в болгарских тюрьмах только с 1943 г.

Вы знаете, в тюрьме и концлагере человек не может лгать. Все обнажено, все выходит наружу. То, что я узнал о коммунистах в тюрьме, подтвердило мое довоенное мнение о них, мнение аграрника и болгарина. Еще в тюрьме они говорили, что их главная цель – не фашизм, который и так будет разбит на поле боя, а разгром Крестьянской партии, оплота демократии в Болгарии. Уже в конце 1944 г. коммунисты начали кампанию против нескольких лидеров Крестьянской партии, в том числе против главы Крестьянской партии, который провел войну в эмиграции, в Каире и Палестине, и против меня самого. 19 января 1945 г. компартия Болгарии приняла решение, продиктованное Димитрову Сталиным, о ликвидации

Болгарской Крестьянской партии. Такое же решение было принято в Москве относительно Румынской Крестьянской партии. Глава Болгарской Крестьянской партии был посажен под домашний арест. Полиция разыскивала меня. Я знал, что ЦК Болгарской компартии принял решение о моей ликвидации.

Когда пришли меня арестовывать, я сумел бежать. Мне пришлось уйти в подполье в то время, когда наша партия еще входила в правительственную коалицию! Но мне удалось войти в контакт с вторым лидером нашей партии, Николой Петковым.

О. М.: Когда, кстати, была создана Крестьянская партия?

Ц. Б.: В 1899 г. Вначале это была партия, защищавшая только экономические интересы крестьян (а они составляли 90% населения) от богатой земельной аристократии. Это была вначале партия простых крестьян, не агрономов и учителей. Но уже в 1902 г. она потребовала себе портфель Министра сельского хозяйства. Тогда же было принято решение превратить чисто экономическую ассоциацию, что-то вроде профсоюза, в политическую партию. Ее рост был фантастическим. Уже в 1914 г. она стала первой партией оппозиции. Глава партии, Стамбульский, призывал к политике нейтралитета для Болгарии, против союза с Австро-Венгрией. За это он провел несколько лет в тюрьме, но по окончании Первой мировой войны стал Премьером Болгарии. При нем, с 1919 по 1923 гг., были проведены глубокие, поразительные реформы в экономике, политике, социальной жизни. Во-первых, Стамбульский не желал войн с соседями, он не был националистом, он пытался создать федерацию южных славян и народов Балкан. Во-вторых, земля была передана от феодалов крестьянам, нельзя было обладать землей сверх определенной нормы. Были созданы сельскохозяйственные кооперативы. В каждой деревне был Дом культуры. На предприятиях был введен 8-часовой рабочий день, запрещена эксплуатация детского труда. Давались кредиты, чтобы каждый болгарин, будь то рабочий, служащий или крестьянин, мог построить себе дом и купить участок земли. Было введено обязательное образование до 16 лет. Были расширены университеты, созданы новые дисциплины: агрономия, лесное дело, медицина, которые не преподавались ранее в Болгарии. За три-четыре года Болгария, отставшая в своем развитии из-за турецкого ига, пере-

шагнула в 20-й век. И при этом Болгария платила репарации! К тому же, Болгария, по Версальскому договору, потеряла часть своих территорий. 400 тысяч беженцев из Македонии и других районов, ранее принадлежавших Болгарии, наводнили страну. Надо сказать, что первые беженцы, 30 тысяч армян, прибыли в Болгарию в 1915 г. И все эти людские массы правительство Стамбульского смогло принять и устроить! Все получили жилье и работу, возможность воспитывать детей. Когда смотришь, что происходит в современном мире с беженцами, понимаешь, что правительство Стамбульского сотворило чудо. Но Стамбульский сделал и серьезную ошибку – он полностью упразднил армию. Военная повинность была превращена в нечто вроде гражданской службы. Молодые люди вступали в строительные отряды на 4-6 месяцев. По существу, эта гражданская служба давала молодым людям профессию. Например, большинство мечетей турок, которых преследуют в современной Болгарии, было построено стройотрядами. Эти отряды строили почтовые бюро, школы, больницы, дороги. Были и курсы трактористов для крестьян и другие курсы. Другого такого реформатора в первой четверти двадцатого века не было. Даже русским эмигрантам, отец или дедушка которых сражались за освобождение Болгарии от турецкого ига, была дана пенсия и право жительства в Болгарии. Когда в России в 1922 г. вспыхнул голод, Стамбульский отправил туда корабли с продовольствием. Но правые круги не могли мириться с такой политикой. В 1923 г. царь Борис, с группой военных и с помощью Муссолини, устроил военный переворот. В кровавой резне погибло около 20 000 болгар. Стамбульский умер страшной смертью. Ему отрезали ножом руки и т. д. После переворота Крестьянская партия была запрещена, главой правительства стал Цанков. Заметьте, что Компартия Болгарии участвовала в заговоре военных против Стамбульского. Таким образом, борьба между коммунистами и Крестьянской партией восходит еще к началу 20-х годов.

В этот период Зиновьев был главой Коминтерна. В Москве сделали переоценку военного путча против Стамбульского и пришли к выводу, что компартия совершила ошибку. Стамбульский-то не преследовал коммунистов, но и не принимал их всерьез. Он всегда повторял им: «Я вам выделю район в Болгарии, устраивайте там свои колхозы и посмотрите, чем дело кончится». Итак, Коминтерн дал приказ болгар-

ской компартии исправить ошибку. Из Москвы был послан Коларов, и болгарская компартия решила устроить «акцию», контрпереворот. Конечно, ни один коммунист не поднялся, а участвовали в восстании одни крестьяне. Восстание было потоплено в крови. А потом была еще одна кровавая акция коммунистов – устроенный Димитровым взрыв во время богослужения в крупнейшем соборе Софии. Погибли тысячи людей, а правительство Цанкова не пострадало. Но зато после этого покушения была в большой части ликвидирована именно либеральная интеллигенция, поддерживавшая Крестьянскую партию. В 1927 г. кабинет Цанкова сменился более либеральным, и Крестьянская партия вышла из подполья. В 1931 г. Крестьянская партия, в коалиции с демократами и радикалами, вновь пришла к власти. Но в 1934 г. царь Борис, как я уже говорил, устроил новый, фашистский переворот...

О. М.: Вернемся к послевоенным дням. Итак, вы скрывались?

Ц. Б.: Да, я скрывался. Друзья по партии посоветовали мне бежать в Грецию, так как министры Крестьянской партии вышли в отставку из-за террора Красной армии и коммунистов. В отставку вышли и министры-социалисты, образовав оппозицию с Крестьянской партией. Глава Крестьянской партии, доктор Димитров (не путать с коммунистом!) был под домашним арестом. Оппозицию возглавил второй лидер Крестьянской партии Николай Петков. В дело Димитрова вмешались союзники (в Софии еще действовала англо-американская комиссия контроля), которые добились для него права выезда за границу, в Америку. Образование легальной оппозиции и было возможным из-за присутствия союзников, которые по ялтинским соглашениям обязаны были следить за демократическими нормами в стране. Соответственно, мои коллеги по партии хотели, чтобы я бежал в Грецию, так как невозможно было иметь одновременно легальную и нелегальную оппозицию.

В Греции меня сразу арестовали и отправили, со свойственным этой эпохе цинизмом, обратно в Болгарию. Меня спас простой крестьянин-грек, ибо Болгарская Крестьянская партия, к верхушке которой я принадлежал, была моделью для всех аграрных партий на Балканах: в Румынии, Югославии, как, впрочем, и в Польше и Чехословакии. Стамбульский мечтал даже о создании Крестьянского, «зеленого» Интер-

национала. Короче, этот крестьянин провел меня нелегально в Болгарию. Затем мой друг Николай Петков вошел в контакт с английской и американской миссиями, чтобы меня «передали» в руки союзников в Греции. Так и случилось, и американцы поместили меня в военный лагерь. Но греки требовали моей выдачи и, в конечном счете, добились своего. Я провел два с половиной года в греческой тюрьме, а затем в концлагере. Когда в Греции пришло к власти более либеральное правительство, меня выпустили на свободу. В Афинах я попросил французскую визу беженца и переехал во Францию.

О. М.: Вы – редактор ежемесячного болгарского журнала «Будущее». Когда и кем был основан этот журнал?

Ц. Б.: Еще в начале моей эмиграции мы организовали Болгарский национальный комитет, членом и секретарем которого я был. В этот комитет входили представители различных политических партий, признающих демократию. У нас было много публикаций. Я был редактором журнала «Освобождение». Этот журнал издавался до 1972 г. В 1973 г. наш Комитет был реорганизован. Люди старели, изменилась вся политическая ситуация и в Болгарии, и на Западе. Наши друзья в Болгарии сидели по тюрьмам и концлагерям. А на Западе, в условиях «мирного сосуществования» и «разрядки» о нас почти забыли. Нужно было найти новые формы борьбы. Нужно было найти в себе мужество продолжать. Евреи говорят уже две тысячи лет: «В будущем году в Иерусалиме!» Так и мы, пусть через двадцать, пятьдесят или сто лет, но Болгария будет свободной, и изгнанники смогут туда вернуться.

С этой надеждой мы организовали «Движение за национальное освобождение» и его орган, журнал «Будущее». Журнал выходит десять раз в год, по 80-85 страниц в каждом номере. У нас есть подписчики, которые нас поддерживают, ибо, должен сказать, что мы не получаем ни копейки из-за границы. Мы ничего ни у кого и не просили, так как решили, что должны бороться сами, своими силами. Мы решили, что не можем быть объективными, если получаем от кого-то фонды, а кроме того, настоящая борьба невозможна без жертвенности. И эта жертвенность, готовность помочь деньгами и своим трудом исходит от простых людей со скромными доходами. Благодаря нашим подписчикам, мы купили маленькую типографию и маленькое бюро, всего две комнаты. И члены нашей организации, куда бы ни забросила их судьба, работают, работают на совесть.

О. М.: Представляете ли вы всю болгарскую эмиграцию? Есть ли другие болгарские политические организации на Западе?

Ц. Б.: Конечно, есть и другие болгарские организации. Но большинство из них существует только на бумаге. На деле же, серьезно работает и сплачивает все лучшее, что есть в среде болгарских эмигрантов, только наше Движение. Мы – и наиболее многочисленная эмигрантская организация. Но дело не в этом. Наша цель – установить диалог с нашим народом в самой Болгарии, с теми, кто борется с коммунистическим режимом. Наша цель – знакомить их с нашими идеями и быть в курсе всех их проблем.

О. М.: А как вы устанавливаете контакты внутри Болгарии? При посредстве вашего журнала?

Ц. Б.: Кроме журнала, у нас есть и другие издания. Иногда мы публикуем прозу болгарских писателей, издаем и теоретические изыскания, и специальные материалы для студентов, для рабочих, для крестьян. Некоторые наши публикации ориентированы на партийные кадры, а также на военных.

О. М.: Болгария проводит политику «открытых дверей» в отношении западных туристов. В этой ситуации вам, видимо, легко передавать туда свои материалы?

Ц. Б.: На деле это не так. Туристы едут отдыхать на берег Черного моря, и они не хотят проблем. Редко можно встретить туриста, который интересуется жизнью болгар и соглашается взять какую-то литературу. Они едут туда как господа, которых болгары должны обслуживать. А кроме того, режим очень хорошо контролирует иностранцев, если не на границе, то в отелях, в кемпингах. Так что мы действуем не через туристов.

О. М.: Получаете ли вы самиздатские материалы из Болгарии?

Ц. Б.: Разумеется. Но мы печатаем их только с разрешения автора. Были и случаи, когда люди теряли работу из-за публикации за границей. Так случилось недавно с одним весьма ответственным работником, книгу которого мы опубликовали. Я думаю, правда, что он не сожалеет о своем поступке. Иногда авторы просят опубликовать их произведения под псевдонимом. Недавно семь авторов, занимающих очень важные посты в государственном аппарате, прислали нам, под псевдонимом, свое исследование по болгарской эко-

номике с 1939 по 1979 год. У них был доступ к подлинной статистике, и они также изложили свой план реорганизации экономики, от социализма к плюрализму. В этой книге 500 страниц, ее издание дорого обошлось нам, но мы пошли на это. У нас много связей с Болгарией. В каждом номере «Будущего» есть хотя бы 10-15 страниц, присланных из Болгарии.

О. М.: Какова идеология вашего Движения? Какого будущего вы хотите для Болгарии?

Ц. Б.: Во-первых, мы хотим освобождения страны. Конечно, формально, Болгария – не оккупирована. Болгария подписала мирный договор в феврале 1947 года, и Красная Армия должна была выйти из страны три месяца спустя. Она этого не сделала. В сентябре того же года Крестьянская партия, у которой был 101 депутат, была распущена, ее глава был повешен, начали работать концлагеря, куда были брошены тысячи и тысячи людей. Лишь после этого Красная Армия ушла. Но до выхода из страны. Советский Союз установил всю государственную структуру Болгарии. Даже сегодня болгарский офицер не может подняться до ранга капитана, если он не прошел офицерскую школу в СССР. Начальник отдела болгарского КГБ проходит выучку в Союзе. Член ЦК Болгарской компартии должен иметь хотя бы год стажа жизни в Союзе. Такова история Болгарской компартии, что она целиком подчинена советской. Все, что происходит в Союзе, немедленно повторяется в Болгарии. Горбачев производит сейчас чистку партаппарата, чтобы укрепить свои позиции. Немедленно устраивается чистка и в Болгарии, сотни людей устраниваются из Политбюро и из партаппарата, хотя в самой Болгарии ничего не произошло, не было даже партсъезда.

Учтите, что Москва видит Болгарию совсем другими глазами, чем мы с вами. Для Москвы, Болгария – не столько балканская страна, сколько путь на Ближний Восток. Для СССР дорога на Сирию, Ливан, Ирак, Египет проходит через Болгарию, ибо Союз не может воспользоваться турецкой территорией. Когда Советский Союз развил свою деятельность на Ближнем Востоке, стратегическая роль Болгарии выросла. Болгария – это военная база СССР. Все советские корабли с военным оборудованием, идущие на Ближний Восток, проходят через Болгарию. Когда Насер выгнал советских военных советников, они даже не вернулись в СССР, а ждали в Болга-

рии, и, действительно, вскоре он позволил 5000, кажется, вернуться в Египет. Болгария служит и базой международного терроризма, и базой шпионажа.

О. М.: Значит, без радикального изменения режима в СССР нет надежды и для Болгарии?

Ц. Б.: Поэтому-то я и сотрудничаю и с «Континентом», и с Интернационалом Сопротивления. Мы должны сделать переоценку своих действий и признать свои ошибки. В 1956 г. началась Венгерская революция. Если бы одновременно в СССР, в Болгарии, в Румынии и в других соцстранах начались бы активные действия и если бы Запад оказал действенную помощь, политика СССР могла бы измениться. В 1968 году в Чехословакии происходила «Пражская весна». И опять, чехи оказались в одиночестве. Хотя, надо сказать, что в Болгарии были приняты превентивные меры, около 2000 человек посадили в тюрьмы и концлагеря. Когда в Польше началось движение «Солидарности», мы им аплодировали. В Болгарии были даже попытки создать секцию «Солидарности», появились одна-две листовки. Но этого недостаточно! Я считаю, что оппозиция всех соцстран должна координировать свои усилия, как внутри самих этих стран, так и в эмиграции.

О. М.: Но есть ли в Болгарии достаточная прослойка населения, которая способна на открытое недовольство? Мы много слышим про Польшу, но не про Болгарию.

Ц. Б.: А я вам скажу, почему. Во-первых, Сталин с самого начала решил сделать из Болгарии образцовую соцстрану, модель на экспорт. В Болгарии, с 48 по 52 год, было национализировано 90% всех земель. Этого не произошло ни в одной соцстране. В Болгарии всего 8 миллионов жителей. До 1953 года 92 тысячи было отправлено в концлагеря. Такого процента заключенных не было ни в одной соцстране. В Польше коллективизировано только 10-12% земель. В Чехословакии процесс коллективизации был более длительным и начался позже. Никакая активная оппозиция в Болгарии до 1958 года вообще не была возможна. Все потенциально опасные элементы были истреблены или загнаны в лагеря. А потом людям надо было прийти в себя. Ситуация полностью изменилась за последние десять лет. Во время празднования 40-й годовщины взятия власти коммунистами, когда готовился военный парад, демонстрации и празднества, нашлись люди, подложившие множество бомб. До сего дня милиция обыскивает каждого

болгарина, входящего в государственное учреждение! В Болгарии нельзя больше купить будильник, так как он считается опасным инструментом для изготовления бомб. Болгарские дипломаты пытались даже добиться от французских властей закрытия нашего журнала и высылки нас из Франции, ибо мы, якобы, засылаем в Болгарию террористов. Но сейчас доказано, что эти бомбы были изготовлены внутри страны. А поджоги? Знаете ли вы, что в Болгарии, во всех районах, это – частое явление?

О. М.: Есть ли сейчас в Болгарии политзаключенные?

Ц. Б.: Конечно, хотя их число трудно определить. Как и в других соцстранах, часть политзаключенных «проходит» по уголовным статьям, а некоторые объявлены душевнобольными.

О. М.: Но есть ведь и политические статьи? Как в СССР, «антисоветская пропаганда и агитация» или «измена Родине»?

Ц. Б.: Увы, болгарский кодекс в точности соответствует советскому. Это просто советский кодекс, переведенный на болгарский. Выходит новый закон в СССР, он тут же внедряется и в Болгарии. Единственное, чем Болгария отличается от СССР, – это более «элегантное» отношение властей к интеллектуалам. Может быть, болгарские власти извлекли урок из того, что произошло с русскими диссидентами, Солженицыным, Максимовым и другими. Вместо того, чтобы выгонять из страны или сажать недовольных, Тодор Живков вызывает их к себе, устраивает им дружественный прием и спрашивает, чем они недовольны. Он дает им деньги, назначает их на ответственные посты и этим компрометирует их.

О. М.: И все принимают подачки Живкова?

Ц. Б.: Некоторые принимают, некоторые – не принимают. Во всяком случае, есть интеллектуалы, которые сотрудничают с нами, есть сильное оппозиционное движение среди интеллигенции.

О. М.: Но почему все-таки во Франции ничего не известно о болгарских диссидентах?

Ц. Б.: Во-первых, во Франции вообще мало интересуются Болгарией. Во-вторых, Болгария два раза воевала против Франции, поэтому к ней нет особых симпатий. Кроме того, тут есть и наша вина. У нас нет денег издавать по-французски, как и на других западных языках, материалы о положении в Болгарии и распространять эти материалы. Заметьте также, что в

Чехословакии, в Польше есть западные корреспонденты, которые освещают все, что связано с оппозицией. В Болгарии вообще нет западных корреспондентов. Агентство Франс Пресс, например, пользуется услугами болгарина, который, естественно, находится под контролем властей. Иногда иностранные корреспонденты приезжают, чтобы осветить то или иное событие, но что они могут понять за короткое время, да еще постоянно находясь в присутствии «сопровождающих лиц»? Они ходят повсюду с «гостеприимными» хозяевами и даже не могут отлучиться, чтобы встретиться с инакомыслящими.

О. М.: Как вы оцениваете современную экономическую ситуацию в Болгарии?

Ц. Б.: В Болгарии пытались воспроизвести «венгерский эксперимент», но не слишком удачно. Конечно, народ не голодает, но не из-за заботы партии, а только благодаря приусадебным участкам. Болгары, по традиции, – хорошие земледельцы, это у них в крови. И все же, в последние два года Болгария переживает огромные трудности. Ей пришлось даже закупить зерно в Финляндии.

О. М.: Кажется, Болгария испытывает трудности и с электроэнергией?

Ц. Б.: Болгария получает электроэнергию от СССР, но уже Андропов начал урезать поставки, а при Горбачеве они еще уменьшились. Для обеспечения своих нужд, Болгарии приходится теперь закупать нефть на Ближнем Востоке по ценам свободного рынка. К тому же, была засуха и две тяжелых зимы. Надо сказать, что несколько лет тому назад Болгария заключила договор с Турцией о поставке электроэнергии, и теперь приходится соблюдать договор за счет болгарского народа. Болгария ведет ужасную экономическую политику. Теперь, когда Запад находится во второй фазе технологической революции, Болгария строит огромный металлургический комплекс. Один огромный комплекс уже построен около Софии. Он «съел» 15 лет национального бюджета и оказался совершенно бесполезным. А новый комплекс поглотит национальный бюджет еще и на десять следующих лет. Через несколько лет начнут производиться машины, которые устарели уже сегодня. Таков заразительный пример Советского Союза, советская страсть к гигантизму. Только СССР может себе позволить роскошь бессмысленного расточительства, а для маленькой страны – это самоубийство.

О. М.: Решение о строительстве металлургического комплекса принято болгарами независимо или под советским давлением?

Ц. Б.: Мы задавали этот вопрос многим болгарам. Одни говорят, что это – в рамках Комекона, другие утверждают, что СССР, вместо того, чтобы тратить свои средства, заставляет работать на себя соцстраны. По существу, оба мнения совместимы. Конечно, это эксплуатация маленькой страны большой, хотя и Советский Союз помогает Болгарии.

О. М.: В чем выражается эта помощь?

Ц. Б.: Болгария должна огромные суммы Советскому Союзу, около 30 миллиардов рублей. Брежнев заявил Живкову, что 11 миллиардов СССР списывает со счета, но теперь Горбачев требует их назад, так что есть серьезные трения.

О. М.: Существует ли по-прежнему в Болгарии традиционная любовь к русскому народу?

Ц. Б.: Да, несомненно, болгары делают различие между советским режимом и советским народом, особенно русскими. Мы знаем об этом достоверно от многих людей, которых мы расспрашивали. Многие болгары жалеют русский народ, так как считают, что русским живется еще хуже, чем болгарам. А болгарские интеллектуалы систематически передают изданные на Западе русские книги в Россию. Одно это обстоятельство показывает, что нет ненависти, есть понимание и сострадание.

О. М.: И последний вопрос, наш традиционный. Как вы оцениваете журнал «Континент»? Читают ли его в Болгарии?

Ц. Б.: Журнал «Континент» делает честь его главному редактору и всей редакции. Заслуга «Континента» – в сплочении России с Восточной Европой для ведения общей борьбы на базе общих идей, общей идеологии. Это большой успех. Мы оставляем в стороне то, что нас разделяет, и ищем общих путей. Мы все за равенство народов, свободу, демократию, сотрудничество, дружбу. «Континент» читают в Болгарии. У нас его просят из Болгарии. Иногда больше просят «Континент», чем наш болгарский журнал «Будущее». Кроме того, в Болгарии не только читают «Континент», но по прочтении передают в Советский Союз. Недавно, у нас запросили большое количество номеров «Континента» именно для отправки в СССР через Болгарию. Короче, «Континент» выполняет свою роль. Это полезный, хороший журнал. Продолжайте!

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Специальное приложение

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОЛЬСКО-РУССКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

НАТАЛЬЕ ГОРБАНЕВСКОЙ

Дорогая, глубокоуважаемая пани Наталья!

Я обращаюсь к Вам с просьбой о принятии почетного членства в редакции «Нижнесилезского бюллетеня» и духовного покровительства над этим журналом, который я редактирую вместе с моими товарищами с июня 1979 года.

В августе 1981 года мы поместили в нашем бюллетене репринт русской листовки, изданной НТС и призывающей советских солдат к неповиновению в случае, если они получат приказ стрелять в польских рабочих. В том же номере мы опубликовали (по-русски и в польском переводе) полученное от наших знакомых из Москвы обращение к Первому съезду НСПС «Солидарность». В каком-то смысле обращение съезда «Солидарности» к трудящимся народов Восточной Европы и Советского Союза явилось ответом на этот текст.

За публикацию этих и других текстов в сентябре 1981 года на меня было заведено дело, и до 13 декабря во Вроцлаве тянулся мой судебный процесс. Потом я ушел в подполье – из подполья я и пишу это письмо.

Тематика отношений между народами Советского Союза и Польши издавна и часто появляется на страницах «Нижнесилезского бюллетеня». Нам чужды националистические фобии. Мы изо всех сил стараемся писать правду, пусть даже горькую и возбуждающую споры. Мы стоим на почве права наций на независимость, а за ней – на свободное определение своего места в сообществе соседних народов, в Европе и в мире. Мы отвергаем всяческие территориальные претензии. В условиях неразрешимо запутанных взаимных исторических претензий народов, находящихся под коммунистическим господством, мы выдвигаем принцип согласия на существующие границы – как между государствами, так и между республиками сегодняшнего СССР, которые получают право свободно решать, станут ли они отдельными государствами.

Весной 1984 года организация «Борющаяся Солидарность», ныне являющаяся издателем «Нижнесилезского бюллетеня», отправила в Советский Союз тысячи листовок со своей программой, переведенной на русский язык. Время от

времени мы издаем по-русски листовки, распространяемые в Польше (прилагаю одну из них)*.

Почему именно к Вам я обращаюсь с такой странной просьбой? Потому что я ценю Вас и знаю Ваши симпатии к Польше и «Солидарности». В известной степени, не вполне по праву, я уже считаю Вас своим духовным руководителем: я сослался на Ваши слова и позицию в заявлении «Почему я не вышел из подполья» («Нижнесилезский бюллетень», №8/58, декабрь 1984, прилагается)**. Ваше согласие быть почетным членом редакции доставило бы мне и моим товарищам много радости. Кроме того, оно было бы гласным примером связи между Вами, представительницей русских, сопротивляющихся коммунистическому порабощению своей родины, и нами, для кого идеалы солидарности людей и народов являются фундаментом борьбы за свержение коммунистического ярма в Польше.

Прошу Вас не опасаться, что Ваше согласие повлечет за собой новые докучливые пожелания с нашей стороны. (Я и то уж глупо себя чувствую, что так расписался, и простите, пожалуйста, что по-польски.) Зато в любом случае – Вашего согласия или отказа – я с благодарностью приму все Ваши советы и замечания.

С чувством огромной симпатии, уважения и благодарности

председатель «Борющейся Солидарности»,
редактор «Нижнесилезского бюллетеня»

Вроцлав, 26 апреля 1986

Корнель МОРАВЕЦКИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМУ КОРНЕЛЯ МОРАВЕЦКОГО

* Эта листовка была воспроизведена на первой странице «Русской мысли» от 11 апреля 1985 года.

** Примечание Н. Горбаневской: Этот текст Корнеля Моравецкого мне известен давно, и именно потому, что он начинается ссылкой на меня, я в свое время и не включила его ни в один из обзоров подпольной прессы, публикуемых в «Русской мысли», хотя он того заслуживал сам по себе. Теперь мне ничего не остается, как – с опозданием – воспроизвести его полностью.

ПОЧЕМУ Я НЕ ВЫШЕЛ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

«Не до жиру, быть бы живу, / быть бы живу, мой дружок, / не отдать сухую жилу / заплести в чужой смычок», – это четверостишие написала Наталья Горбаневская, русская поэтесса, живущая теперь на Западе (перевел Виктор Ворошильский, цитирую по памяти). В августе 1968 года Наталья с семьёю себе подобными «безумцами» вышла на Красную площадь в Москве, демонстрируя против советского вторжения в Чехословакию. Всех их быстренько загребло КГБ. Они сделали то, что считали своим долгом, то, что могли.

Амнистия, нормализация, так называемое национальное соглашение – это всё чужие смычки. Ими водят по струнам всё те же исполнители таких хорошо известных произведений, как убийства на шахте «Вуек» и в Любине, объявление «Солидарности» вне закона, «тропинки здоровья», убийство Гжегожа Пшемька и о. Ежи Попелушко, нищета и несправедливость. Они играют в тон тем, кто фальшивит с ещё большим размахом: лагеря, сбитый южнокорейский самолет, Афганистан, ракеты СС-20, бредовая гонка вооружений, насилие и произвол. Либо нам удастся оборвать эту игру, либо ее финалом станет гибель нашей родины и всего мира.

Борясь за НСПС «Солидарность», за демократию, за независимость, мы боремся за то, чтобы остаться в живых, ибо: «кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16, 25). Некоторым покажется неуместным цитирование здесь Евангелия. Давайте, мол, не мешать религию и политику. Нет, давайте мешать. Только такая политика, которая соки свои черпает из религиозной подпочвы, из правды, справедливости и любви, – только такая политика поведет нас путем жизни. Здесь, на этой земле. Даже если бы мне, тебе, многим, кто лучше нас, пришлось на этом пути пожертвовать жизнью. Этим путем идет наш народ, идет «Солидарность». Мне на этом пути досталось место в подполье. Не лучшее и не худшее. Я понимаю тех, кто считает, что, выйдя на поверхность, они будут полезнее делу. Я же считаю, что больше сделаю там, где нахожусь. Даже в том случае, если в конце концов меня схватят, – больше, чем если бы сейчас вышел.

Ст. 3 закона об амнистии от 21.07.84 обещает милосердие каждому, кто «добровольно явится до 31 декабря в компетентные органы... и заявит с записью в протокол, что прекращает преступную деятельность, указав род совершенного деяния, время и место совершения преступления...». Да ведь не я же веду преступную деятельность, а те, кто насилием и преступлениями, вопреки воле большинства поляков,

удерживают господство над нашей страной. И я стою за то, чтобы предпочесть быть схваченным, нежели сдаться на их милость. Не гордыня ли это? Судить об этом предоставляю друзьям, которые меня охраняют, врагам, которые меня ловят, и всем тем, кому приходится труднее, чем мне, кто соединяет повседневные семейные и трудовые обязанности с конспиративной деятельностью.

Я хотел бы – больше, чем тюрьмы, больше, чем боли и чем смерти, бояться измены делу свободы и солидарности. Мне не хватает храбрости – я боюсь и того, и другого. Потому-то я не выхожу из подполья.

Декабрь, 1984

Корнель МОРАВЕЦКИЙ

ОТВЕТ КОРНЕЛЮ МОРАВЕЦКОМУ

Дорогой пан Корнель!

Я принимаю Ваше предложение как великую честь и, разумеется, согласна стать почетным членом редакции «Нижнесилезского бюллетеня». Я отношусь к этой чести как к признанию не столько моих личных заслуг, сколько значения той упорной и постоянной деятельности по преодолению розни между народами коммунистического лагеря, которую со дня своего основания ведет «Континент», а в течение ряда последних лет и «Русская мысль» – две редакции, к которым я принадлежу.

У меня бережно хранится номер «Нижнесилезского бюллетеня», вышедший осенью 1980 года и тогда же привезенный из Вроцлава в Париж, – с сердечной надписью, обращенной к русским друзьям, и с подписями сотрудников редакции. Известно, что редакция «Нижнесилезского бюллетеня» и во времена легального существования «Солидарности» не раскрыла свой полный состав, поэтому еще не пришло время опубликовать факсимиле этого дорогого для нас документа. Но оно не за горами.

Быть может, единственное, что смущает меня в Вашей просьбе, – это слова о «духовном покровительстве», «духовном руководстве». Скорее мне, из моего безопасного далека, следовало бы смотреть с восхищением, с восторженной завистью на достижения польского и, в частности, вроцлавского подполья, но я стараюсь умерять эти напрашивающиеся эмоции и относиться ко всем вам не как к вознесенным на недо-

стижимую высоту героям, а как попросту к людям, нашедшим свое место в жизни. «Не лучшее и не худшее». Точно так же, как вы написали о нас, о демонстрантах с Красной площади: «Они сделали то, что считали своим долгом, то, что могли», – и, прибавлю, то, что мы ощущали как наиболее естественное для нас в тех обстоятельствах. Так что, может быть, нам, с обеих сторон, стоит говорить о духовном р о д с т в е, а не о чем-нибудь другом.

Думаю, что у меня и отнюдь не малочисленных моих русских единомышленников нет со всеми вами никаких принципиальных расхождений. (Хотелось бы, чтобы все расхождения между поляками и русскими были не больше, чем наше с Вами заочное – о том, как переводить «Солидарность вальчонца»: «Борющаяся Солидарность» или «Сражающаяся»...) Я надеюсь дожить до того времени, когда ваша программа станет реальностью и советская империя начнет рассыпаться, и тайная моя надежда – что первой республикой, которая отделится от нынешнего СССР, тут же превращая его в бывший, станет Россия. А еще я надеюсь приехать в Польшу и встретиться со всеми моими друзьями – особенно с теми, кого никогда не видела.

С самым дружеским приветом Вам лично и всей редакции «Нижнесилезского бюллетеня»

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Париж, 26 мая 1986

Перед сдачей номера в печать

Париж, «Континент», В. Е. Максимова

Дорогой Владимир Емельянович, не имея возможности выступить в журнале «Грани», который я редактировал с №131-го по 140-й, прошу Вас опубликовать мое обращение к авторам и читателям этого журнала.

Искренне Ваш Г. Владимов

НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Майским вечером 1983-го года, едва приземляясь на Франкфуртском аэродроме, я попал в их круг – такой плотный, что Анатолий Гладилин, примчавшийся из Парижа для первого интервью, минут сорок не мог ко мне пробиться. Поздней он заметил: «Они окружили тебя, как ксендзы – Козлевича. Видно, ты им очень нужен». Может, и впрямь ситуация напоминала «Телёнка» – не того, который бодался, а «Золотого», ильф-и-петровского. Но, измученный предотъездными неделями, нескончаемым расставанием, зверским таможенным досмотром, каким заботливая Родина дает нам напоследок доброго материнского пинка, я был тронут встречей. Дружеский ужин у председателя НТС Артёмова, приготовлены комнаты в тихом мотельчике, телефона нет, адрес никому не сообщается, письма с приветствиями новому эмигранту приходят в «Посев», там же и встречи с корреспондентами – и не со всяким, а кто **нужнее**; свои переводчики, свои поводыри на первых шагах в неведомом мире.

На другое же утро – первое утро на чужбине – они предложили мне журнал: «Это наша мечта, чтобы Вы приняли и повели „Грани“». Я еще не знал, что они его не мне первому предлагали, помнил, как они мне писали в Москву: «Это Ваш журнал», просили консультировать тогдашнего редактора Н. Б. Тарасову – **что нужно для России**, и курьеры привозили оттиски – на мое одобрение, и что я ни посылал своего или своих друзей – печатали без возражений.

И все же было о чем задуматься. «Ваш журнал» – это очень украшает речь и льстит и вселяет надежды, но он же еще – и партии. Легко ли оно – редактировать партийный журнал? С другой стороны, разве у Твардовского был он свой? И партия нависала над редакторским столом, и собственный партбилет – слева, где сердце, – удерживал от слишком резких телодвижений, но как много он смог, успел. Ну, наконец, и партия все-таки другая, совсем противоположная. И хотя известен закон, что любая оппозиция зеркально копирует своего противника, однако и законы имеют же исключения...

Ни все те ругательства, какими обкладывает «солидаристов» бесталанный советский агитпроп, ни их брошюрки и листовки, которых там, «за бугром», никто и читать не трудится, – облика НТС, конечно, не создают. Но когда из-под пресса ГБ – с непрестанной слежкой, подслушками и глушилками, обысками и допросами – видишь сами лица их курьеров, молодых идеалистов из Англии, Дании, Италии, Нидерландов, прекрасные лица **свободнорожденных**, – таким и представляется лицо этой партии, единственного политического объединения в российском Зарубежье. Любопытно, однако, что курьеры непрестанно меняются; за двенадцать лет редкие приезжали ко мне дважды: должно быть, со временем они составляют себе представление о Народно-Трудовом Союзе – и порывают с ним. Мне же теперь – все больше кажется, что его вообще не существует – ни «Народного», ни «Трудового», ни «Союза».

НТС, конечно же, партия, как ни избегают они этого слова. Но какая-то странная партия. Ее становой хребет, ее ствол, разросшийся по всем континентам ветвями и побегам, составляет семейный клан – Артемовы-Редлихи-Славинские-Бонафедэ-Горачеки, – объединенный перекрестными супружествами, кумовствами, крещениями, шаферствами и всех степеней родствами. Остальное – «второй сорт», батраки, служащие ему кто по совести, с искрой в душе, а кто потому лишь, что деваться некуда. Этим кланом несменяемо правит одинокий и престарелый, уже на восьмом десятке, Евгений Романович Островский-Романов, ласково и почтительно именуемый – «Романыч». Клан выдвигает его, поддерживает и, разумеется, давит на него, требуя своего, но лидерство его бесспорно, а слово весомо и непререкаемо, как орвелловского Старшего Брата. Одной чековой книжкой, которую он цепко держит в кулаке, перемещаясь вместе с нею с одной должности на дру-

гую, такого авторитета не объяснишь; это действительно если не самый интересный, то самый живописный человек в НТС, олицетворение его и скрепляющий стержень; многие и думать боятся, что случится с организацией, когда «Романыч» уйдет.

Борис Прянишников (Серафимов), один из основателей «Посева» и «Граней», знавший «Романыча» в лучшие годы, так его характеризует в не изданной еще книге: «...многогранен и сложен. С одной стороны, это энергичный, умный и толковый человек, отличающийся редким самообладанием и огромной силой воли. С другой стороны – эгоцентрик, скрытый и замкнутый... Властолюбив, вероломен и лжив до крайности... Если человек ему чем-то необходим, он с ним исключительно вежлив, обаятелен, предупредителен, даже задушевен; но завтра же он может повернуться к нему спиной, коль скоро надобность в нем миновала. Людей он, в сущности, не любит... Отношение к ним циничное и подчас жестокое... Мастер интриги, долго вынашиваемой в тайниках души... Одна из замечательных черт его – умение пользоваться чужими руками... Любит и ценит деньги, умеет их «делать» и знает их власть над людьми. В области духа и идей у Е. Романа интереса нет».

Я застал личность, уже изрядно потускневшую, в которой одни черты затвердели и выпятились, другие – смягчились или стерлись. Но кто скажет, какие для политика мелкого пошиба важнее? Отыграв многие роли, нынче он, седогривый и седобородый, в ампула «благородного отца». Забот ему все прибавляется – клан оброс детьми и уже внуками, невестками и зятьями, которых нужно же «пристраивать». Один из зятьев, с многообещающей фамилией Жданов, пристроенный руководить издательством «Посев», двух внятных фраз по-русски не напишет, а понятия его о литературе – как у того мистера Хиггинботама, который, читая произведения Мартина Идена, всякий раз укреплялся в убеждении, что только дураки могут платить за это деньги. Да, впрочем, не думаю, что бы он вообще читал то, что издает. Считается, что это и не нужно ему, коли при нем издательский совет, а что старик Форд сам неплохо разбирался в автомобилях, на то вам ответят вполне серьезно: «Это другое дело!» Любимейшее же их возражение: «Это Вам так кажется», то есть они одни – держатели патента на Истину. Однако, проблема возникла – не отцов и детей, а детей и пасынков – «третьей волны» эмиграции. Весь ее цвет просле-

довал мимо, примкнули только послушные. От цирковых дрессировщиков знаю, что, к сожалению, как раз те пантеры и тигры, которые царапаются и кусаются, они-то и есть «артисты». «Третья волна» оказалась и непокорнее, чем ожидалось, и соответственно талантливее, энергичнее, профессиональнее, и знает Россию. Никак не укладывается она в те рамки, что составились у них сорок лет назад. Так вот и ждали меня, как потом выяснилось, – на укрепление клана.

Простецки-улыбчивый, мягко стелющийся А. Н. Артемов все чаще приговаривал: «Вот когда Вы вступите в НТС... Вот когда Вы наш будете, как Галич...» В конце концов, я заявил, что никогда ни в какую партию не вступлю, партийное мышление противопоказано писателю, да и что оно такое – партийное мышление? это – с понедельника всем считать белое черным, а красное – серо-буро-малиновым? потому что – инструкция вышла, генсек решил? Мудрый «Романыч» согласился: «Вы совершенно правы». И совсем подкупило, когда он сказал: «У Вас – полный карт-бланш. С нашей стороны – три условия, точнее – пожелания. Чтоб не было фобий: русофобии, юдофобии... Второе – чтоб «Грани» не стали ареной счетов и эмигрантских склок. Ну, и чтоб не было критики НТС». Собственно, первые два – никакие не условия, они – из кодекса интеллигента, третье же было – на редкость привлекательно, я не хотел даже упоминания НТС – помня, чем это грозит авторам в СССР.

Но вскоре – как говорится, «мягко, но твердо» – мне предложили в ответственные секретари влиятельную даму из клана, чуть не хозяйку его, «матку пчелиного улья» – в качестве Фурманова при Чапаеве (не называю ее, так как пришлось бы раскрыть ее псевдоним – М. Рубцова). В первые же дни она меня информировала, что «богомерзкий Лев Толстой за все свои дела (?) сейчас в аду лижет сковороды». Такая, значит, сотрудница. Комиссарствовала она неукротимо: «Ведь это мы не печатаем, не правда ли». Вопросительного знака в ее интонации не слышалось. Зато как грозно он вырос, когда я предложил главы из нового романа «Континенту» (в «конкурирующий журнал!»): «А Вы об этом сообщили Романычу?!» Ей не стукнуло в голову, что, пересылая в «Посев» из России «Верного Руслана», я не испрашивал разрешения ЦК КПСС. Сказывают, в годы былые эта дама, теперь пенсионерка, «свергала кабинеты». Должно быть, то были не чересчур сильные

кабинеты, если падали от интриг дамы, катастрофически не разбирающейся в людях. С чего-то ей показалось, что мною легко управлять (это не казалось Союзу писателей СССР); когда я упрявился, она раздражалась и насылала на меня Артемова или «Романыча» – увещевать. Обиженным авторам она отвечала по-ленински: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает... Обидно, когда что-то прозёвываешь, но не вешаться же!» С последним я был совершенно согласен, а все же попросил г-жу Фурманову уйти из «Граней» – за полной ее профнепригодностью. «Романыч» и на это пошел. Но роковой шаг был сделан. Я потревожил клан. Хуже того – разочаровал его. И клан – зашевелился.

Следующий мой номер, при новом секретаре, не мог выйти полгода. Опоздания сделались хроническими и прогрессировали, хоть все материалы сдавались по графику. Сейчас, в июне, когда пишу это, выходит лишь 139-й, первый номер года. Не таким ли способом советская цензура в годы Твардовского сбивала подписку на «Новый мир»? Сама картотека подписчиков – число их? профессия? возраст? страна проживания? – глухая тайна для меня, как многое в этом причудливом заведении, как бюджет «Граней» и штат сотрудников, как полагающаяся им зарплата и отпускные дни. Естественно, при смене редактора меняются и читатели, но если о новых ему знать не дано, то уж посыпавшиеся вдруг, как по команде, отказы (да может, именно по команде) исправно кладутся ему на стол: «Ваш русскоязычный листок я не желаю больше видеть в своем почтовом ящике. Объяснить Вам, почему данный листок является плевком в русскую православную душу, я надеюсь, излишне» (Елена Ванина, член НТС). Соккрытие от меня рукописей, перехват читательских писем, содержащих похвалу журналу, анонимки, подбрасываемые в Новый год вместо поздравления, – кажется, чем еще выразить редактору, что пришелся «не ко двору»? Почему же нечем? Можно и саму комнату «Граней» запереть на ключ и не пускать заведующую редакцией, чтобы ни я к ней, ни авторы не могли дозвониться.

Совершил ли я ошибку, не поискав «худого мира» вместо «добрый ссоры»? Может быть. Но вот что бывает, когда такой ошибки не делают, а дают сесть себе на голову, вот о чем за год до моего приезда писала «Романычу» перед уходом (в монастырь!) несчастная затравленная Тарасова, отдавшая «Граням» три десятилетия жизни:

«Что касается... состояния моего здоровья, то оно сильно ухудшилось. И не только из-за общего старения, но и в связи с тяжелой рабочей обстановкой, которая складывалась постепенно и теперь дошла до кульминации.

Многочисленные поиски нового главного редактора для «Граней» без моего ведома и при том, что я не собиралась в то время оставлять журнал; постоянное вмешательство в редакционные дела нечленов редакции; принятие без моего ведома новых рукописей в «Грани» нечленами редакции; кардинальные переделывания... не только подготовленного мною для набора материала, но уже и набранного – тоже без моего ведома; наложение запрета на принятые редакцией рукописи – по всем разделам «Граней»; клевета, распространяемая обо мне как о редакторе председателем НТС А. Н. Артемовым... грубое вмешательство в мою редакторскую переписку – распоряжение Н. Б. Жданова не передавать адресованное мне письмо...»

Самое трагичное тут – но и пикантное! – что плачется она в жилетку тому, кто всем ансамблем и дирижировал, при главном аккомпаниаторе – г-же Фурмановой. Помните? – «чужими руками...»

Между тем, всё это уже и на меня надвигалось неотвратимо. Как ни следили я и мои помощники, но ушла в набор без моего ведома рецензия на «Ярмарку в Сокольниках» Ф. Незнанского (тоже член НТС). Маленькая случайность – неведомый рецензент подписался кокетливо латинскими инициалами «L. N.» – озадачила наборщицу, и она позвонила мне – так ли и набирать? Рецензию извлекли; она меня поразила не только своей беспомощностью, чудовищной грамматикой и безудержными комплиментами «писательскому дару» г-на Незнанского, но и такими вот блестящими мыслями:

«Частный, не типичный случай отношений правоохранительных органов обнаруживает конструктивные, нравственно положительные силы, действующие почти на всех уровнях власти» (в СССР!! Но почему же – «почти»? – Г. В.).

«В романе возникает и властно захватывает позиция добра, возникает ярко очерченная этическая граница (?), как сущность той культуры (?), оторвать от которой (кого? что? от жилетки рукава? – Г. В.) так и не смогла советская власть».

«Нет обстоятельств, при которых нельзя было бы сделать доброе дело» (вызволить Сахарова из ссылки? избавить афганцев от «братской помощи»? – Г. В.)

Что это было – подвох редактору? Или – истинное кредо, которое хотели за моей подписью высказать? И кто эту ахиною заслал в набор? Как говорится – «с концами».

Но дальше пошло «крещендо». Стало ясно, что ничего за моей спиной сделать не удастся, за любой вставкой или вычерком я услужу; их требование сдавать весь номер целиком (и только директору Жданову) – нелепое, непрофессиональное, не способствующее ни качеству журнала, ни выходу его в срок, – я тоже разгадал: так удобнее тайному цензору, не бегать же ему в типографию за каждым материалом по отдельности. Наконец, и тон их писем ко мне переменялся: «Как в общественном сознании, так и практически, «Грани» неизбежно останутся журналом НТС... Делать «Грани» возможно только совместно с НТС и в опоре на него». Вот это и называлось – «Ваш журнал», это и называлось – «карт-бланш».

3-го июня, с наивностью «небитого фрея», я предложил им: «До НТС мне дела нет. Прошу только об одном – не мешайте мне делать журнал «Грани». Вот единственный приемлемый компромисс с вами». Но встречно, датированное тем же днем, уже шло их письмо, объявляющее мне отставку: «Остается лишь искренне пожалеть, что Вы сочли возможным занять в отношении НТС столь нелояльную позицию».

Время подвести итоги. Из тех, кто дал себе труд вчитаться в программу «солидаристов», одни в ней находят непереверенный марксизм, другие – считают ее устаревшей. Это не так, она всё-таки обновляется, вот уже поставлен крест на правозащитном движении, которому так недавно присягали в верности; оно «исчерпало себя бесперспективностью... не сумели перейти к иным методам борьбы», как пишет В. Рыбаков в №6 «Посева», с той суровой решимостью, с какой он, вероятно, кидался, обвешанный гранатами, под машину тирана Брежнева; ищут теперь опоры «в конструктивных силах правящего слоя», то есть номенклатуры, не мучая себя вопросом – хочет ли она опоры на НТС. Но по мне, программа любой партии, куда она не у власти, гроша не стоит. Большевики нам не обещали ГУЛага и 66-и миллионов жертв. И какая же партия не напишет на своем знамени что-нибудь приятное и возвы-

шенное? Это ведь только морские пираты честно предупреждали о последствиях, поднимая черный флаг с черепом и костями. Нужно не в программу смотреть, а на то, каковы они сейчас.

Что толку обещать демократию, когда ею не пахнет на Флуршайдевег 15, во Франкфурте, где упомянутый зять рвякает на подчиненных, не исключая пожилых женщин, топает ногами и шваркает дверью, и трепещущие сотрудники, придя на работу, не о новостях из России осведомляются, а – в каком сегодня настроении Николай Борисыч. Хуже не придумаешь сочетания – советского бюрократизма с семейным предприятием. Что толку обещать отмену цензуры, когда у самих, живущих в свободном мире, она учреждена, и материал за моей подписью не примет типография без директорской «Ж» на каждой странице; когда иной Тамиздат здесь под запретом – «не рекомендуется», к примеру, Саша Соколов, а за чтение Н. Решетовской или Д. Панина можно из партии вылететь и с работы. Что толку обещать «свободное развитие наций и народностей», когда в тех же брошюрках пишут: «русское дело может сделаться только русскими руками» (куда только отнесем Редлихов, Раров, Бонафедде, Брюно, Брудерера, Ламздорфа, баронессу фон Кноринг?) и ведут учет, сколько печатается в «Гранях» евреев и полуевреев.

Называют себя «духовными наследниками власовцев», «Третьей силы», сражавшейся «против Сталина и Гитлера». Против Сталина – да, против Гитлера – тоже бесспорно, помогли восставшей Праге. Но не примут поздравлений с 9 мая – «это не наш праздник». Это как прийти на похороны и поздравить покойника с днем рождения. Почему ж так? Ведь всё же – кончилась кровавейшая война, и одним вселенским злодеем, одним тоталитаризмом стало меньше на Земле. А что другой укрепился при этом, расширил свои владения – да, печально, горестно, и тем не менее, сознавая это, миллионы моих соотечественников отмечают в этот день **свою** победу, даже и те многие, кого не вытацишь на демонстрацию 7 ноября, действительно черный праздник России. Для «солидаристов», стремящихся задним числом «перевоевать» войну (в СССР тоже немало таких охотников, только с обратным знаком), это не довод. Их концепция войны проста, как помидор: весь народ встречал оккупантов хлебом-солью, и только немецкие зверства подогрели сопротивление, организованное чекиста-

ми. Отстаивали Москву и Сталинград, взламывали Курскую дугу и брали Берлин – «обманутые пропагандой». Толстовская «теплота патриотизма» – не из этого лексикона...

Вот странно: мое поколение, в большинстве с тяжелым военным детством, готово понять трагедию власовцев – стрелявших, между прочим, не в Сталина, а в наших отцов и братьев! – готово и к Белому движению отнестись непредвзято, даже сочувственно, но тщетно нам ждать ответной готовности – понять и другую сторону выбора. Трагедия генерала Свечина или командарма 2-ой Конной Миронова, пусть и того же Тухачевского, трагедия 30-ти тысяч царских офицеров и генералов, пошедших служить в Красную Армию, – это не тема для размышлений, это закрыто, другие персонажи истории волнуют воображение «солидаристов». Вот читаю в №2 «Посева» рецензию В. Ламздорфа, замечательную в своем роде, восстанавливающую добрую память – кого же? – генерала Охранного отделения Герасимова и провокатора Евно Азефа. Этот совсем душка был, выданных им – жалел, просил не вешать. «И постепенно читатель, – уверен наш рецензент, – проникается уважением к этому умному и храброму человеку, рисквавшему жизнью в течение долгих лет, чтобы удержать Россию от крайностей...» Ладно, это положительный герой, кто же – отрицательный? По В. Рыбакову (тот же «Посев» №6), «сталинский кинематографический сатрап» (!) Михаил Ромм, автор «Обыкновенного фашизма», любимый учитель Андрея Тарковского, Василия Шукшина, человек, показавший нам пока что самый высокий пример самораскаяния. Отчего предпочтительней для «Посева» облик двойного агента, не берусь сказать, но нужно же было – дойти до апологии стукачества и виселицы для революционеров, о которой не могли молчать Толстой, Короленко, Куприн, Леонид Андреев! К 1000-летию Крещения Руси следует, видимо, ждать реабилитации попа Гапона. Да, наконец, и Павлика Морозова почему опять не восславить, ведь цель великую имел паренек, а к средствам, как нас убедил г-н Ламздорф, постепенно проникнуты уважением. Не вспомним ли знаменитое: всё нравственно, что ведет к нашей победе. И начинай всё сначала...

К счастью, ничего этого не случится. Не ждут их в России, и не так уж тянет их туда. Это попросту «участок работы», а могла бы быть Ангола или Камбоджа. А по склонности большинства людей преувеличивать значение своей деятельности,

они тешат себя, что нынче НТС и популярнее в России, и многочисленнее, и лучше вооружен теоретически, чем были большевики в 1907-8 годах, в «период шатания и разброда» (а что нет пока Льва Давидовича Бронштейна-Троцкого и Владимира Ильича Ульянова-Ленина, так выдвинутся еще, возрастим в своем коллективе!). Их послушать, так вся Совдепия пронизана «молекулярной сетью», в тайном членстве состоят и рабочие, перекидывающие брошюрку «солидаристов» от станка к станку (живо представим себе: от сверлильного к токарному, а от него к фрезерному), и колхозники, ловящие листовку с неба и тут же вступающие «самоприемом» (понадеемся, что без помехи для посевной); есть даже целый город, так густо населенный НТСовцами, что хоть завтра восстание поднимай (и не спросишь – какой же город? какой хотя бы области? это же дураку ясно – конспирация!). Многого тут хвачено через край, но для иных мозгов – хорошая пудра. И сами они, наверное, не врут, похваляясь, что деньги на их борьбу поступают из 19 стран. Потому-то, когда какой-нибудь Валентинов или Татьянин (публицисты из КГБ любят брать в псевдонимы имена своих жен) громит их в «Неделе» Известий, под рубрикой «За кулисами диверсии», это – именины сердца, в такие дни копировальный аппарат дымится от перегрева, ксерокопии перепархивают из комнаты в комнату, и виновники торжества, раскрасневшиеся от гордости, размахивают ими, как еще не привинченными орденами. Ведь это – сертификат, оправдание их работы, да и жизни самой. Всё те же Ильф и Петров, «Союз Меча и Орала», бессмертные «Рога и копыта»!..

Говорят об инфильтрации НТС гебистами. Вероятно, не без этого; был случай, когда за моим другом в Москве, которого благополучно посетил курьер, тотчас после этого установили слежку. А он человек стреляный, ошибиться не мог. Я попросил более никого к моим друзьям не посылать – и это мне тоже зачислили в «нелояльность». Но, сдаётся мне, и самый вопрос об инфильтрации становится как бы излишним: своя же новейшая установка «солидаристов» – пристроиться в ногу советской номенклатуре («конструктивные, нравственно положительные силы, действующие почти на всех уровнях власти») – набрасывает на них такую смирительную рубашку, какую не могло бы изобрести самое хитроумное управление Лубянки.

Я полагаю, единственная и бесспорная заслуга НТС, да и того же Е. Р. Романова, что в труднейших условиях они основали издательство и журналы, печатали наш художественный и публицистический Самиздат, многих из нас – и самых разных – в пору «похолодания» поддержали, не дали нам заглухнуть. Никогда не забывая об этом, я и пытался сделать «Грани» – и надеюсь, 10 выпущенных мною номеров доказывают мои усилия – центром, объединяющим российских авторов по цензу таланта и мысли, всех, имеющих что сказать, независимо от партийных влечений и установок. Этого хозяева НТС не потерпели. Своей кастовой природы наши «солидаристы» преодолеть не смогли. «В области духа и идей... – помните? – интересов нет». И поскольку это так, политически они – битая карта. Никаких надежд Россия с ними связывать не может.

К счастью, и «Грани», и «Посев» – давно не единственное, и даже не основное, прибежище свободной литературы. Поэтому вынужденный мой уход – ни для меня не трагедия, ни для моих авторов. Но надвигающуюся трагедию самого НТС вскоре придется ему осознать.

Георгий Владимов

12 июня 1986 г.
Нидернхаузен, Зап. Германия

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

К сожалению, место оставленного с поста главного редактора журнала «Грани» Георгия Владимова согласилась занять моя сестра Екатерина Брейтбарт (Самсонова). Мне горько сознавать, что, вопреки практически единодушному возмущению наиболее видных представителей эмигрантской общественности русского зарубежья, в прошлом близкий мне человек согласился сыграть в этом деле роль интеллектуального штрейкбрехера. Еще горше, находясь уже в почтенном возрасте, да к тому же еще на чужбине, терять близких людей, но, по моему глубокому убеждению, лучше уж оказаться в полном одиночестве, чем после всего случившегося остаться в каких-либо связях с подобного типа родственниками.

Владимир Максимов

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,- ДМ, или 17.50 US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,- ДМ, или 3.50 US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





ЮБИЛЕЙ НАТАШИ ГОРБАНЕВСКОЙ

Этот юбилей – важная веха в жизни человеческой, пора подводить первые итоги, пора раздумий, пора зрелости.

За плечами у Наташи – богатое, трудное, достойное прошлое в России: поэзия, воспитание детей, правозащитная деятельность, Красная площадь, психбольницы.

Она ни в чем не изменила себе и не изменилась в эмиграции. Заместитель главного редактора «Континента», сотрудница «Русской мысли» и радио «Свобода», Наташа продолжает писать стихи, переводить польских поэтов, заниматься публицистикой, держась неизменно честной, умной, бескомпромиссной позиции.

Наташа – женщина светлая и удивительная. Немногие в Советском Союзе чувствовали угрызения совести по поводу вторжения советских войск в Чехословакию. А Наташа, участница демонстрации протеста, одна из неполного десятка пошедших на Голгофу, написала несколько лет спустя горькие строки:

«Это я не спасла ни Варшаву тогда
и ни Прагу потом,
Это я, это я, и вине моей нет искупленья...»

Дай Бог России побольше таких людей, как Наташа!

Дай Бог Наташе, прекрасному поэту и человеку, долгих лет, вдохновения, счастья!

Редакция «Континента»



М. Шемякин. 1986 год.

К статье И. Янушевской
«Заметки о петербургском Шемякине».